ОТВЕТ НА ВОПРОС, ЗАДАННЫЙ МНЕ ЧЕРЕЗ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ

Признаюсь, я не люблю, когда меня вдруг спрашивают о том, какой из дней, прожитых на войне, врезался в память больше других. Прежде всего мне трудно ответить на такой вопрос, к тому же трудно вспомнить сотни тысяч смертей, которые носились надо мной, ревмя ревели вокруг и только чудом не скосили меня. Чаще вспоминается мне моя жизнь на войне. Ведь жизнь, как бы она ни складывалась, прекрасна уже сама по себе. Рано или поздно она врачует все печали и горести, всю боль и страдание.

На войне смерть столь же реальна, как, скажем, и жизнь. Реальна, или, точнее, просто неизбежна. И на войне смерть не пугает не потому, что человек там по-особому храбр, отважен и всякое другое. Просто на войне не остается времени для отчаяния.

Я уже сказал, что мне трудно ответить на вопрос, какой из дней на поле брани запомнился мне больше других. Таких дней было много. Я пробыл на фронте три года и двести девяносто один день. И вот выжил. Как? И сам не знаю. На войне выживают случайно. Там не гибель случайна, а жизнь.

Не считая дней, проведенных в госпитале (их было сорок два), я почти всегда находился на передовой: сначала рядовым, наводчиком в минометном расчете, а потом и командиром минометной роты. Прошел с боями не меньше пятидесяти — шестидесяти тысяч километров, и все пеший. Отрыл тысячи

кубометров земли — траншей, окопов, землянок, блиндажей, могил... И всякий раз чудилось, что вот это я рою могилу себе.

А на вопрос о том, какой из дней?.. На этот вопрос я отвечу так: все три года и 291 день на войне. О них и мой сказ.

Год половинчатый — 1941-й

МНЕ СЕМНАДЦАТЬ С ПОЛОВИНОЙ

Двадцать второе июня. Воскресное утро.

На улице старший брат отвел меня в сторонку:

— Война...

Он был суров и собран. Я завернул в сад к дяде. Согнувшись в три погибели, он косил траву. Пересказал ему то, что услышал. Коса, ударившись о пень бывшего тутового дерева, переломилась.

— Что, что?..

— Немцы напали на нашу страну. Война!..

Дядя опустился на колени...

Отец у меня умер, и все мои надежды связаны с дядей. А он вдруг сломался, как его коса...

Вечером брат вернулся домой очень поздно.

— Надо собирать припас, скоро заберут.

Мать и жена брата заплакали. Я рассердился:

— Что вы распустили нюни! Война ведь, значит, нам надо уходить.

Я очень хочу пойти в армию, стать военным. Наш сосед, Арам Арутюнян, ушел служить, когда ему едва исполнилось семнадцать. А мне уже семнадцать с половиной. Я шалею, когда вижу его в форме.

Очень хочу стать военным.

Весной я трижды ходил в военкомат и умолял забрать меня. Они пообещали, даже обрили, но в армию не взяли. Теперь вот война...

Уже год, как я учительствую в селе. Сейчас каникулы. Я хочу пойти в республиканский военкомат, просить, чтобы меня направили в армию. Это не беда, что я малость тощ и частенько простуживаюсь. Сейчас война... Я побаиваюсь: а что, если меня все равно пока не возьмут в армию, скажут, не дорос и здоровьем слабоват?

Ночь. С надеждой жду восхода.

* * *

Рассвело. Я направился в военкомат. Военком сумрачно глянул на меня.

— Опять ты?.. Ну, беги домой и возвращайся с трехдневным припасом...

Дома мать плакала.

— Что я теперь буду делать?!

Откуда мне знать, что ей делать? Я хочу, чтобы меня взяли в армию.

* * *

Трясет нас в кузове грузовика. Тесно, жмемся друг к другу. В мгновение ока исчез с глаз наш маленький-премаленький городок. Мы промчали под кронами дедовских ореховых деревьев.

— Назад больше не вернемся...

Я вздрогнул. Это сказал Серож Зарелян, щуплый паренек, в учениках у сапожника был, может, годочка на два постарше меня.

Двое новобранцев всхлипнули.

Мы подминаем мешки с продовольствием, наспех сшитые из брезента, сатина и даже из постельного белья. Я говорю, что мы непременно вернемся назад. Но даже весельчак Андраник Адонц не верит. А коротышка Барцик пробурчал под нос:

— Э, болтаешь, да!..

Солнце бьет нам в лицо. Мы дышим зноем. Андраник попробовал было запеть, но получилось что-то вроде всхлипов. Серож прикрыл ему рот ладонью. Я вспомнил, что захватил с собой записную книжку и химический карандаш.

* * *

Добрались до сборного пункта. На железнодорожную станцию нас не повезли. Приказали расположиться в помещении школы...

Еще в техникуме я пристрастился записывать все увиденное и услышанное. По старой привычке я и тут примостился на подоконнике и извлек свою записную книжку. Но что мне писать? И зачем?

Однако вот пишу...

* * *

Двадцать четвертое июня. Мы уже второй день солдаты. Солнце огнем раскалило медно-бурые скалы. Мы не смогли уснуть, хотя на ночь растворили все двери и окна в школе.

Полдень. Все собрались на школьном дворе слушать радио. Какие новости сообщит нам Москва? Восемь юношей подошли к нам.

— Где ваш командир? — спросил один из них. Его густые буйные волосы спадают на лоб, на шею.

— Какой командир? — говорю я ему.

— Самый старший.

Парень сказал, что они только-только окончили среднюю школу и получили аттестаты зрелости.

— Поздравляю! Похоже, вы закончили ее с успехом?

— Да. Но мы хотим на фронт. Затем и пришли. Нас восемнадцать, все только что окончившие школу. Хотим добровольцами в рядах красноармейцев отправиться на фронт — защищать Родину!..

Парни с такой надеждой смотрят на меня, как будто именно я и есть тот самый командир, которого они ищут. И, признаюсь, у меня в душе шевельнулась радость — эти горцы, эти армянские юноши, уверенно несут в себе ту силу, ту любовь к отечеству, которые мы, учителя, взрастили в них!..

— А ваши родители не против? — спрашиваю я.

— За родителей нам сейчас — родина. Она в беде! — отчеканил все тот же кудлатый парень. — Помогите нам отыскать командира, чтобы сказать ему о нашей просьбе.

Я посоветовал им обратиться в райвоенкомат. Это там занимаются такими вопросами.

Ребята послушались, ушли. Я долго провожал их взглядом. Вот они вошли во двор военкомата. Я мысленно крикнул вероломному зачинщику этой войны фашисту Гитлеру: «Эй, безумец, и ты считаешь, что можешь победить народ, сыновья которого — такие парни? Готовь саван, безмозглый. Не сегодня, так чуть позже сгинешь!»

Двадцать четвертое июня. Через полгода и четыре дня, двадцать восьмого декабря, мне будет восемнадцать.

Мои записки начались вот так.

КОМРОТЫ АРАМ АРУТЮНЯН

Небо полыхает жаром, вода теплая. Мы хватаем воздух, словно рыбы, выброшенные на сушу.

Всю провизию пришлось побросать. Куры протухли, сыр высох. Не мудрено. Кому охота есть в эдакую жару!

Прибыли еще два эшелона с солдатами. Один из Грузии, другой из-под Шемахи — и пожилые и совсем еще юнцы. Почти все — кавказцы.

Нас разделили на роты и взводы. Я попал во вторую роту. Командиром в ней Арам. Он из наших мест. Арам участвовал в финской кампании и всего два месяца назад демобилизовался. Собирался жениться. Однако вот опять война...

Арам Арутюнян спросил:

— Зачем тебя направили в эту часть?

Я не понял его. Как так — зачем? Мне хотелось, чтобы меня взяли в армию, вот и взяли. Арам как-то особо подчеркнул слова «в эту часть», но ничего толком не объяснил...

Изнуренные жарой, мы лежим в тени, под самыми стенами. Мне чудится наш сад, ручей...

Вечереет. Всех собрали на школьном дворе. Политрук роты сказал речь. Мы с воодушевлением приветствовали его криком «Ура!».

* * *

Принесли обмундирование. Я не стал выбирать. Взял первые попавшиеся под руки шинель и гимнастерку с брюками да тут же на месте и облачился в потемневшую от пота латаную форму.

Когда вся рота обмундировалась, я так и обомлел: ребята стали невероятно смешными. Серож в черных матросских штанах, а сверху еще наброшен какой-то вроде бы мешок. На Андранике гимнастерка командирская, а у Барцика — с дыркой на спине и к тому же очень короткая.

На мне серая, штопаная шинель. А штаны — еще и Серож бы в них со мной поместился. Башмаки тяжелые, сбитые, шнурки длинные. Но истинное мучение — это обмотки. Как бы крепко я их ни закручивал, разматываются и путаются в ногах.

* * *

Нас пешими препроводили в горы, в небольшое село. Дорога туда обрывистая, каменистая, зажатая кустарником.

До места мы добрались только к полуночи. Было холодновато. На вершинах лежал снег, горная деревушка — серая груда камней. Я спросил у комроты, зачем нас сюда привели.

— Будем строить, — ответил он. — Наша часть — стройбатальон.

— То есть как это? — оторопел я. — Выходит, мы не настоящие бойцы?

Он не ответил.

Здесь нет деревьев. Каменная щель высоко в горах. И только.

Выдали палатки. Мы расположились в них. Батальон начал землеройные работы — расширяем дороги, строим бараки. Я тоже рою землю...

Комроты вызвал меня к себе.

— Будешь ротным писарем, — сказал он, — а еще почтальоном. И читальней будешь ведать. Ясно?..

Больше я не хожу рыть землю.

* * *

Ночь. Поступил приказ, и мы по тревоге собрались в путь. Идем по направлению к станции. Я обескуражен. Не понимаю, кто я? Меня охватывают болезненное отупение, мрачность и чувство безнадежности. Это и есть военная служба, к которой я так стремился?! Голова словно не моя, как пустая. И сам я как девяностолетний.

Томит тоска по дому, по саду, по той школе, в которой я учительствовал. Сердце разрывается, а поделать с собой ничего не могу.

Сегодня шестнадцатое июля. Через пять месяцев и двенадцать дней мне исполнится восемнадцать лет. Записи мои все еще ни о чем.

КОЛЕСА СТОНУТ

Нас прямо с ходу повернули к станции. Эшелоны вытянулись вдоль берега реки, пропахшей нефтью и илом. Вагоны товарные, старые.

На перроне какая-то женщина рвется ко мне, кричит:

— Братик, эй!..

Я узнаю свою двоюродную сестру, дочь тетки по отцу, Ареват. Она здесь живет. Давно уже замуж сюда выдана. Обняла меня и опустилась на камень.

— Ну тебя-то куда они забирают?.. Ты же еще ребенок!..

Вспомнила отца моего и дала волю слезам:

— Вай, дядя!..

Мне тоже хочется плакать, но я сдерживаюсь. Меня ведь никто не «забирает», я сам пошел в армию, добровольно... И впервые я вдруг ощутил нечто вроде тревоги. Слезы Ареват открыли передо мной ужасы войны.

Скомандовали всем в вагоны. Ареват вцепилась в меня:

— Ну тебя-то зачем забирают?..

Она горько плачет. На войне ведь погибают...

Грохот колес заглушил ее плач.

* * *

В вагоне душно и тесно.

Я пытаюсь вспомнить лицо Маро, цвет ее глаз — ничего не получается. Передо мной туман, а в ушах причитания и плач Ареват.

Маро учительствовала со мной.

Вечерами мы вместе выходили из школы, шли рядом и молчали. Когда переходили речку, Маро разувалась, приподымала подол и ступала в воду. В воде тогда светился белый луч...

Душная ночь. Мне не спится. Я жду рассвета.

Наш эшелон ползет по левому берегу Аракса. Ползет, будто жмется к земле, будто боится ее, опаленной зноем.

Касаюсь железной ручки, и меня жжет огнем.

Колеса скрежещут, стонут. Неужели мы такие тяжелые? Ребята, тесно прижавшись друг к другу, улеглись на двухъярусных нарах. Ехать сидя невозможно. Только Серожу повезло — с его росточком хоть сиди, хоть лежи.

Все разговаривают. О чем? Я не прислушиваюсь. Едем. А куда? Ах да, война же. Наш политрук — худощавенький парень, с чуть подхриповатым голосом. Я спрашиваю у него, почему нам не дают оружие.

— Задавать такие вопросы запрещено!

— Почему? — удивляюсь я. — Будь у нас оружие, мы бы учились... А то ведь бездельничаем...

Ну, и чтоб мы не бездельничали, нам дали потрепанную книжицу..«Строевой устав» называется.

— Читайте, учитесь...

Читать в нашем вагоне политрук приказал мне. Делать нечего, уселся я поудобнее и громким голосом отбарабанил весь устав, чем и заслужил похвалу политрука.

— Товарищ политрук, — сказал я, подбодренный его похвалой, — выдайте нам хоть одну винтовку. Ведь никто из нас еще в руках не держал оружия.

Политрук только плечами пожал и удалился.

Серож протянул мне кусок гаты[1].

— Это из дома...

Гата как камень. С трудом разжевываю остатки того, что хранит запахи наших гор.

Девятнадцатое июля. Политрук сообщает, что идут тяжелые бои под Киевом. Серож смотрит на мои ноги.

— Сними-ка башмаки, я залатаю.

* * *

В Махачкале нас привели в какую-то воинскую часть — дали поесть. Впервые в жизни я попробовал рыбного супу. И впервые увидел своими глазами мороженое мясо. Удивился, как его можно употреблять в пищу. Серож усмехнулся:

— Еще не такое увидишь...

Мне жаль Серожа, уж очень он тщедушный.

Колеса вагонов мерно перестукиваются...

* * *

Пересекали Волгу. Кажется, где-то возле Саратова это было.

Вот и Чкалов.

Каждый день шлю письма домой. Может, хоть одно из десятка дойдет?.. Барцик тоже пишет: «Ах, милая мама...»

Серож не пишет писем. Я упрекаю его, уговариваю. А он знай отмахивается:

— Ну чего писать-то?..

На одном из полустанков Серож раздобыл деготь.

— Смажьте ваши башмаки, — сказал он нам. — Чтоб не трескались...

Бесконечная, необъятная степь. Мы все едем и едем... И Чкалов остался позади. Это бывший Оренбург. Здесь умер и похоронен Ваан Терян[2].

Барцик шумно вздохнул. Серож ухмыльнулся:

— О чем горюешь?..

Жара стоит изнуряющая. У Барцика от жажды все губы потрескались. Мы без конца пьем, как нализавшиеся соли бычки. Серож орет:

— Не пейте эту воду! В ней микробы!..

На одной из станций он добыл целое ведро кипяченой воды. Здешнюю воду сырой пить нельзя.

Серож уберег нас от расстройства желудка.

Необыкновенны закаты в степи. Любуйся — не налюбуешься. Сегодня двадцать седьмое июля. Через пять месяцев и один день мне станет восемнадцать лет. Записки мои полны ужаса.

СТОЛКНОВЕНИЕ С ОГНЕМ

Вот мы и на Балхаше. С севера к нему подошли.

Зной здесь, как в пустыне, вперемежку с пылью. Меднорудный Балхаш — городок небольшой. Он прижат к берегу озера, словно бы наполненного кипятком.

Нас расквартировали в одноэтажном бараке. Спим на полу, подстелив под себя шинели.

Роты распределили по рудникам и медеплавильням. Артиста Хачика Мкртчяна поставили поваром, сапожника Серожа — санитаром, а Саша Минасян у нас за электромонтера. Ладит проводку и качает головой:

— Я вовсе и не устаю...

Андраник правит доставшуюся ему в наследство от отца-парикмахера бритву.

— У меня работка царская!..

Барцика жалко. Он возвращается из рудника разбитый, измученный, но и ему вскоре повезло: Арутюнян помог, направил Барцика в хлеборезку.

* * *

Уж очень пустынный город, какой-то голый. Здесь только-только посадили деревья, получилось что-то вроде чахлого парка.

Нас сводили в баню, после чего дали увольнительные в город до десяти вечера.

В парке стайки девушек. Это все эвакуированные из западных областей страны. В легких летних платьях, привлекательные и манящие. Мы смешались с ними. Я облюбовал себе синеглазую, золотоволосую девушку.

— Меня зовут Шурой, — сказала, она.

Белая, как лилия. Высокая, носик ровный, взгляд прямой, открытый.

Мы прошли аллеями. Шура смеется, как птица... Шура плачет.

— Там, в родном Смоленске, я оставила свою жалость...

Губы Шурины пахнут айвой.

— Шура!..

— А?..

* * *

В часть я вернулся поздно. Прилег рядом с Серожем. Он двинул меня в бок:

— Чего плачешь?..

Я и сам удивился, что плачу. Передо мной наши далекие горы.

— Прости меня, прости, Маро...

* * *

В ушах звенит Шурин голос:

— А?..

Здесь только озеро и Шура, мое утешение. Песок горячий-горячий.

* * *

Ночь. Я сказал Шуре:

— Завтра уходим.... Она вздрогнула.

— Писать будешь?

— Нет, не буду. Прости меня, Шура, прости!..

Ее синие глаза наполняются слезами, и я вижу в их блеске свое растерянное лицо.

— Прости, прости!..

* * *

Утро. Мы уезжаем. На станцию пришла и Шура.

— Еще встретимся!..

Я пожал плечами. Кто знает, может, и встретимся.

Она уверенно посмотрела мне в глаза.

— Обязательно встретимся!..

Отсюда нас переправляют на север, в Караганду.

Меня зовут к комиссару батальона. Я обнимаю Шуру за плечи и... убегаю.

Сегодня девятнадцатое августа. Через четыре месяца и девять дней мне будет восемнадцать. Записки мои да будут о добре.

СТЕПЬ ПРЕКРАСНА

Комиссар батальона повел меня к грузовикам, стоявшим поодаль.

— Батальон отправляется поездом. Железная дорога делает большой круг. В Караганду поезд придет только через девять дней. Я везу продовольствие машинами прямиком. Подготовьтесь ехать со мной...

Какая у солдата подготовка? Скатай шинель, перебрось через плечо вещмешок — и айда.

Полдень. Мы выехали из города. Я стараюсь не вспоминать Шуру. Она сказала: встретимся. Чудачка. Как встретиться?..

Комиссар назначил меня своим помощником. Грузовики наши с медеплавильного комбината. Они до предела нагружены продуктами: мукой, маслом, зерном, макаронами, сахаром и еще многим другим.

Комиссар говорит:

— За два дня нам надо добраться до Караганды, успеть там подготовить, где расквартировать батальон, и испечь хлеб.

На каждом грузовике едут четыре солдата, два повара и два хлебопека.

Едва мы выехали из города, комиссар остановил караван, оглядел желтый горизонт пустыни и сказал мне:

— Послушай-ка, я должен вернуться. Старшим каравана назначаю тебя. Доберетесь до Караганды, ждите нас. Понятно?

— Слушаюсь! Где прикажете ждать?

— В военкомате. Они там знают о нас.

Комиссар сошел с грузовика. Я занял его место рядом с шофером в головной машине.

* * *

Автоколонна тронулась. Шофер, с которым я сижу, русский парень, лет тридцати пяти. Он гражданский. Лицо его дочерна прокалилось в пустыне. В кузове он везет жену и двоих детишек.

— Родственники у нас в Караганде, — говорит, — сдам с рук на руки. Не сегодня-завтра и меня забреют.

Мы уже едем по пустыне к северу от Балхаша.

Водителя зовут Сергеем. Я спросил, как он считает, когда мы будем в Караганде.

Он усмехнулся.

— Может, и вовсе не будем...

— То есть как это?..

— А так. Пустыня. Дороги-то нет. Упаси бог, ветер поднимется. Я этими местами всего только раз один и ездил. До Караганды семьсот километров. Вообще-то за два дня можно одолеть, если... если не будет ветра, если не потеряем направление, если...

— А как же это ты детей своих подвергаешь опасности?

— Что дети? — вздохнул он. — Война ведь...

Я пожимаю плечами: и чего все так боятся войны? Где она, наконец, эта война? Мне же тоже надо добраться до нее, своими глазами увидеть, какая она такая есть...

* * *

Наступила ночь. В пустыне она необычная: вязкая, мрачная. Сергей говорит:

— Пока прохладно, надо ехать без остановки, а-то днем пески накалятся...

Машина монотонно урчит, вроде бы сама по себе катится.

Пустыня, безбрежные пески. То, что называется дорогой, — едва различимая в кромешной тьме, чуть утрамбованная полоска песка. Изнывающая пустыня пышет жаром. Раскалившийся за день песок вселяет ужас своей мертвящей безбрежностью. И чудится, будто всюду в нем прячутся рыжие тигры. Того и гляди, пустыня очнется от забытья и ревом своим содрогнет всю вселенную...

Меня клонит ко сну. Чтобы не дать и Сергею задремать, я рассказываю ему разные байки про наши зеленые прохладные горы. Сергей время от времени останавливается и, спустив ногу на ступеньку, выглядывает. Вдали светятся фары следующих за нами машин.

* * *

Полночь. За нашей спиной ничего не светится. Куда девались семь других грузовиков?

Рассвело. Стало ясно, что мы сбились с курса. Нет никаких признаков, свидетельствующих о том, что здесь, по этому мертвому царству, прошли машина или верблюд...

Сергей огляделся по сторонам и схватился за голову.

— Беда! Беда!..

Поистине беда. Он спрашивает у жены:

— Давно перестали видеть свет?

— Где-то около полуночи. А что произошло, Сереженька?..

— Сбился с пути!..

— Что, что? — встревожилась женщина.

Сергей безнадежно опустился на песок. Проснулись детишки, попросили пить. Отец прикрикнул на них:

— Замолчите! Откуда я возьму вам воды.

У наших кашеваров был бидон с водой, я попросил их вскипятить чаю и сварить еды. Они развели огонь, распечатали две пачки макарон. Мы с Сергеем между тем рыскали во всех направлениях, высматривали дорогу. Только где же ее найдешь? Вокруг нас глухая пустыня без всяких признаков жизни.

Наскоро поели, запили чаем и повернули обратно по своему же следу.

Километров больше ста проехали назад, пока наконец увидели след наших машин. Они, оказывается, ушли влево, а мы вправо. Развернулись и поехали по их следу. А Сергей все клял себя, простить не мог:

— Ну и дурак же я! Чего взял вправо?..

А меня между тем стал одолевать страх: как бы машина наша не вышла из строя? И уже чудилось, будто отяжелевший грузовик хрипит и пыхтит, вот-вот заглохнет.

Сегодня двадцать седьмое августа. Через четыре месяца и один день мне будет восемнадцать. В записках моих мгла, перемешанная с песком.

«НЕ НАДО ТЕРЯТЬСЯ, СЫН МОЙ»

Утро. Мы добрались до какого-то поселения. Юрты, приземистые дома из необожженного кирпича-сырца. У одного из них стоят наши грузовики. Но не все семь, а только пять. Я кинулся к спящим в их тени солдатам:

— Где две другие машины?

— Вышли из строя. Пришлось бросить их в пустыне..

Я в отчаянии оглядел всех спавших:

— А где солдаты, которые были на тех машинах?..

— Здесь они, с нами. Мы взяли их с собой...

Я не знаю, что делать. Мысленно на чем свет стоит кляну своего комиссара: хорош, нечего сказать, сам остался, а на меня взвалил автоколонну. Что я могу предпринять в таком положении? Под моим началом тридцать два солдата, восемь водителей да еще шесть машин. Что мне делать, какое дать приказание? И к тому же я в своей жизни никогда никому ничего не приказывал?..

Ничего не видя перед собой, я подошел к Сергею.

— Две машины потеряли. Это ужасно!

— Ты лучше о тех, что остались, позаботься, — сказал он. — Думаешь, их убережешь?..

* * *

По совету Сергея я пошел к военкому. Он принял меня довольно приветливо и спросил:

— А продовольственный аттестат у вас есть?

Какой еще аттестат? Я впервые об этом слышу. Выяснилось, что, имей мы аттестаты, военком обязан был бы накормить нас, принять на довольствие.

Я только попросил его помочь нам испечь хлеб из нашей муки. Он охотно согласился.

— Ну что ж, товарищ красноармеец, — сказал мне военком, — вы за командира, а потому проследите, чтобы все было как надо...

* * *

Ребята чуть передохнули, и я отдал свой первый в жизни приказ:

— Приготовиться в путь!..

Водителям велел не отрываться друг от друга...

Жара невыносимая. Одно слово — август и пустыня... Сергей утешает, говорит, что километров через сто пятьдесят должен быть колодец. А тем временем вышла из строя еще одна машина.

Что мне будет за брошенные в пустыне машины?..

Только к вечеру мы наконец-то доехали до колодца. Вокруг ни деревца, ни росточка зеленого, даже колючек и тех нет. У самой дороги притулился колодец, выложенный прутьями. Я заглянул в него, и в глубине, словно в круглом зеркале, качнулось мое отражение.

Досыта мы все напились да с собой еще воды прихватили и снова тронулись в путь. Еду — а передо мной неотступно мама. Я в пустыне, а она там, в наших горах, горюет обо мне, и в мире такая страшная война. Чем все это кончится?

И Сергей вдруг, как будто подслушал меня, спросил:

— Мать у тебя есть?

— Есть!..

Господи, неужели и моя мама напрасно будет ждать моего возвращения?!

* * *

Мы едем навстречу ночи, и все пустыней. Меня одолевает дремота, и — о диво! — я вижу сон. Вижу Аветика Исаакяна![31] Он поцеловал меня в лоб и что-то говорит. И еще я вижу караван верблюдов.

Сергей подтолкнул меня:

— Не спи, а то и я разомлею.

Я мысленно иду за караваном и громко, чтобы снова не уснуть, чеканю:

Караван мой бренчит и плетется
Средь чужих и безлюдных песков...
Погоди, караван! Мне сдается,

Что из родины слышу я зов...[4]

* * *

Еще одна из наших машин испортилась. И ее пришлось оставить.

Небо нависло совсем низко — мрачное, бурое. Сергей пытается приободрить меня:

— Километров через сто будет оазис.

Эти сто километров кажутся мне бесконечно долгой дорогой, до края света. Нужно еще целую вечность добираться до злополучного «оазиса».

— Нам, браток, везет, — говорит Сергей, — ветра нет, не то бы...

А я хочу, чтоб был ветер, хочу увидеть, какая она — песчаная буря.

Уже полдень. От жажды в горле все пересохло.

Но вот вдали показалась черная полоса. Это и есть оазис.

Сегодня третье сентября. Через три месяца и двадцать пять дней мне исполнится восемнадцать. Записи мои жаждут. Жаждут...

СЛЕЗЫ ПУСТЫНИ

Вот он, оазис.

Спугнутое непривычным грохотом наших машин, ринулось прочь стадо бычков. На них восседали мальчишки-казахи.

Скоро мы добрались до стойбища в несколько юрт. Невысокие, войлочные, с куполообразным верхом, они были накрепко всажены в землю. Толпившиеся возле них женщины и девушки, завидев нас, тотчас скрылись. Надо сказать, вид у них был необычный. В огненно-красных шароварах по самую щиколотку босых ног, с множеством тоненьких косичек, подпоясанные разноцветными кушаками...

Неподалеку сидели трое стариков. Лица у них загорелые, какие-то словно бы тоже пустынные, голые, почти без признаков растительности. Они в халатах, в конусообразных войлочных шапках. Нас будто и не замечают.

Наши все бросились к колодцу. Сергей говорит мне:

— У казахов кумыс хорош!

— Что это такое?

— Напиток из кобыльего молока.

Сергей обратился к старикам по-казахски — попросил кумысу. Те замотали головами: нету, мол. Тогда Сергей посоветовал мне показать им чай и сахар. Я велел своим поварам принести головку сахару и пять пачек чаю. Увидев все это богатство, старики тотчас поднялись с мест, что-то сказали Сергею по-своему и один из них, зайдя в ближайшую юрту, вынес целый бурдюк с кумысом — в обмен на чай и сахар.

Этот древний, испытанный способ торговли оставил мне на память воспоминание о кисловатом, но очень приятном на вкус кумысе.

Через полчаса оазис был уже далеко.

* * *

Испортилась еще одна машина. Бросили и ее, поехали дальше.

Продвигаемся очень медленно. Грузовички, прямо скажем, дряхлые. Часами простаиваем, чиним то одно, то другое. И навстречу нам — никого и ничего. Опять вокруг неоглядная, таинственно-гнетущая знойная пустыня...

Спустя день пришлось бросить в пустыне еще две машины.

Только машина Сергея остается пока на ходу. Теперь уже всего одна машина.

* * *

Добрались до нового оазиса. Здесь овцеводческий совхоз. Остановились у барака. К нам подошел коренастый мужчина в возрасте, русский.

— Чем могу быть полезным? Я директор совхоза.

Мы опять попросили испечь нам хлеба из нашей муки. Он с готовностью согласился. Совхозный ветеринар-казах повел меня к себе в юрту. У входа нас приветливо встретила его мать. Юрта застлана коврами.

Мать заботливо подложила нам с сыном под локотки приятно пахнущие сеном мутаки, расстелила на ковре белую скатерть. Маленькие ее руки ловкие, ласковые. Сначала она подала мне вкусный, ароматный чай — это чтобы усталость прошла, а потом — плов с мясом. Тарелки, стаканы — все сверкало чистотой, все было так по-домашнему...

Женщина через сына спросила:

— Мать у тебя есть?

— Есть.

— Ай-яй!.. На войну идете?..

— Да.

— Ай-яй!..

Казашка-мать пожелала мне на своем языке доброго пути, и это прозвучало как молитва.

* * *

Выбрались наконец в Карагандинскую степь. Пустыня осталась позади, жара чуть ослабла.

К вечеру встретились с воинским патрулем.

— А мы уже ищем вас, — сказал капитан. — Где вы плутали?..

Капитан проводил нас в свою часть, дал помыться, поесть. Там я впервые в жизни увидел генерала. Глянув на нас, генерал усмехнулся.

— Ну, робинзоны, выкрутились? Потери людские есть?

— Никак нет!

— Молодцы.

Он дал нам проводников, и на следующий день мы были в Караганде, в своей части. Серож протянул мне стакан:

— Выпей водки. Из могилы живым выбрался.

Впервые я попробовал свекольного самогона. А у Серожа для меня была еще одна новость:

— Твоя Шура здесь!..

— Что?..

Серож кивнул в сторону деревянного домика с красным крестом на двери.

— Санитаркой у нас в медпункте... Мы уже грузились в машины, когда она вдруг принесла направление из военкомата и подсоединилась к нам.

— С ума спятила!..

Серож пожал плечами:

— Кто знает...

Я тотчас забыл про все свои мучения в пустыне. Зачем она приехала?.. Деревянный домишко медпункта словно бы заполыхал пламенем. Я боялся приблизиться к нему — обожжет.

Сегодня двадцать первое сентября. Через три месяца и семь дней мне станет восемнадцать. В записях моих испуг.

ЧТО БЫЛО ВЧЕРА

Штаб нашего батальона расположен в двухэтажном кирпичном здании, в пригороде, в довольно приятном месте. Там живут и наши командиры, в том числе и Арам Арутюнян.

На третий день после моего возвращения он вызвал меня к себе.

— Из дому тебе письмо, потому и позвал, — сказал лейтенант, протягивая мне конверт. — Намучился в пустыне?

— Не надеялся уже, что выкручусь.

Этот светловолосый человек, усыпанный мелкими веснушками, был для меня истинным спасением. При нем я чувствовал себя

сильным, способным совладать с любыми испытаниями, любыми неприятностями. Я спросил его, какие новости с фронта. Но порадовать ему меня было нечем.

— Отступаем!.. — проговорил он.

— В чем же причина наших неудач?..

Арам долго молчал, курил, затем с присущей ему прямотой сказал:

— Я тоже не очень-то могу ответить на этот вопрос. Значит, такие обстоятельства...

— Но почему такие?

Он посмотрел мне в глаза. Чувствовалось, что и его гложет тот же вопрос. И правда — почему?

Эта вторая мировая война началась еще в тысяча девятьсот тридцать девятом году, когда фашистская Германия первого сентября напала на Польшу, ввела туда свои танки и солдат, получила тем самым возможность потом обозревать нашу границу, ее укрепления...

— Да, — сказал наконец лейтенант, — ждали давно. Но у нас был с Германией договор, и мы не думали, что они окажутся столь вероломны.

Лейтенант — человек бывалый. Он воевал в финскую кампанию, а раньше, в сентябре тридцать девятого, входил с нашими войсками в Западную Белоруссию. Он знает много больше, чем я...

* * *

Мое сердце болит.

А чье сердце не болит в эти тяжелые, горестные дни?..

Родина в опасности. Я со страхом разворачиваю ежедневные газеты и с опаской всматриваюсь в очередные сводки Совинформбюро: хоть бы не было сообщения о сдаче противнику еще какого-нибудь города.

Во мне все усиливается желание поскорее попасть на фронт. Кажется, что, если я буду там, на передовой, положение целиком изменится в нашу пользу и обнаглевший враг не сможет больше сделать ни шагу вперед. Наивно, конечно. Но так оно было: так мне думалось.

И, словно бы догадываясь о моих думах, лейтенант сказал:

— Всем нам место на фронте. И не завтра, так чуть позже мы все отправимся воевать. Но чем раньше, тем лучше...

— А значит, — прервал его я, — давай прямо сейчас и двинем!..

Он даже не улыбнулся.

— Командованию лучше знать, где нам сейчас быть, а когда там понадобимся, отправят.

Это меня не утешает. Конечно, где должен находиться Лейтенант Арам Арутюнян, командование знает точно. У него есть боевой опыт, и, как мне кажется, он еще совершит героические подвиги, к тому же он старше меня на целых пять лет, у него рыжеватые усики, и вообще он — настоящий мужчина. А я кто? Какое дело командованию до меня? Я еще мальчишка и никогда не служил в армии. Часто простуживаюсь и... Мне надо самому напомнить командованию о моем существовании. Надо доложить им, что я очень и очень хочу попасть на фронт, воевать хочу. Ведь я... Поверьте мне, я смогу хорошо воевать! Поверьте мне!..

— Так что же нам делать, товарищ лейтенант? Ведь враг приближается к Москве!

— Да, — кивает лейтенант, — трудно осознавать, что мы так стремительно отступаем, оставляем наши земли и наших людей...

Караганда очень далека от передовой, но я и здесь ощущаю грозный натиск войны, и желание попасть на фронт крепнет во мне день ото дня.

В письме мама написала, что моего брата, который на несколько лет старше меня, отправили на фронт. Брат мой — военный, и очень он любит это дело. Значит, ушел? Выходит, дома сейчас нет мужчины? Остались только девять женщин. Запаслись ли они дровами на зиму?

Сегодня двадцать четвертое сентября. Через три месяца и четыре дня мне исполнится восемнадцать лет. Записи мои не знаю на что и похожи.

ПО СТАРЫМ СЛЕДАМ

Наш батальон разместился в одном из пригородов Караганды. Разбили большие, длинные палатки, прямо в открытом поле. Из дерева сколочен только один домик для медпункта. В нем — Шура. Я ее вижу очень редко.

Здесь мы тоже роем. Котлован. Под фундамент для завода.

Вечерами, после нелегкого трудового дня, мы обычно собираемся и поем. Все больше грустные песни.

В одной из палаток устроили нечто вроде клуба-читальни. И меня снова сделали заведующим. Я развесил плакаты и лозунги, разложил книги. Стал выпускать стенгазету, сразу на четырех языках: на русском, армянском, азербайджанском и грузинском.

Как-то ко мне подошел боец. Я не знал его.

— Не разживусь ли у тебя бумагой для курева?.. — спросил он.

Это был довольно высокий человек, лет тридцати — тридцати пяти.

Я протянул ему целую газету. Он удивился:

— Такой богатый?..

— Не очень-то, — ответил я. — Просто ты мне понравился, дружище.

Он усмехнулся.

— Чем бы это?.. Однако будем знакомы. Моя фамилия Сахнов. Запомни, может, пригожусь. Я штукатур.

— Это твоя профессия?

— Профессия у меня совсем другая. Просто я научился этому. Стоящее дело.

Почему-то он показался мне странным. А в общем — обыкновенный боец Александр Михайлович Сахнов, родом из западных краев России. И сложением, и речью он какой-то весь кряжистый, от земли. И вид у него внушительный.

— Мою деревню фашисты захватили, — сказал он. — Я в ней тогда не был, слыхал только. Да хоть и был бы, что бы я сделал? Почему все так получается, ума не приложу? Ты хоть что-нибудь понимаешь?

— Думаю, причина в том, что враг очень сильный...

— Это и дед мой может засвидетельствовать из могилы, — буркнул Сахнов. — Я спрашиваю тебя: почему он сильный? А мы, значит, нет?

Так мы с ним и не пришли к единому мнению. Но одно было ясно обоим: неравенство сил не может быть долгим, очень скоро наша чаша на весах станет еще тяжелее. В нас вселяло веру и то, что

страна напрягает все силы, чтобы остановить врага. У нас есть союзники. Эмигранты-чехи создают свое войско в пределах нашей страны. И поляки тоже. Они, как пишут газеты, скоро отправятся на фронт.

— Тоже сила, — говорю я Сахнову, — тоже помощь!

— Для верности ты лучше надейся на свои кулаки, — усмехается Сахнов. — Я вот, браток, удивляюсь, почему нас не отправляют на фронт, — меня, тебя? Штукатурить ведь и бабы могут. К тому же завод вполне можно разместить и в неоштукатуренном здании...

У всех одно на уме. Все мы с тревогой следим за событиями на передовой. Ребята нашей части, едва придут с работы, бросаются ко мне в читальню: какие новости с фронтов? По приказанию комиссара я регулярно отмечаю на карте города, которые оставляют наши, отходя на восток. Это очень тяжелая обязанность, но ничего не поделаешь. Бойцы долго разглядывают захваченные гитлеровцами города и области и молча отходят от карты. И кажется, будто они присутствуют на погребении близких. Черные кружки, которыми я отмечаю передвижения наших войск на карте, уже поджались к Москве. Неужели мне еще предстоит окружить черным и столицу!.. Нет, не верю в это!

* * *

Я зашел к Шуре в медпункт. Голова, говорю, у меня болит... Но Шура поняла, что моя головная боль только предлог.

Она в белом халате, в белой косыночке.

— Досыта наглотался пыли в пустыне?

В голосе у нее тревога...

— А ты, — спрашиваю я, — зачем пошла в армию?

Она смело и прямо глянула мне в глаза и вдруг неожиданно тихо проговорила:

— А что же мне, в тылу ржавчиной покрываться?.. Голова, говоришь, болит?

— Да... нет.

— Живот?

— Нет.

Я сердито посмотрел в ее синие глаза.

— Ничего у меня не болит, и никакая твоя помощь мне вовсе и не нужна.

Она закрыла лицо ладонями. Я вышел.

Едва я, переступив порог читальни, притворил за собой дверь, слезы невольно полились у меня из глаз. Отчего бы?..

* * *

У нас в батальоне полный комплект бойцов и командиров. Все, как один, поднимаются в шесть утра, по команде дневальных. Умываются, делают зарядку, в семь завтракают, после чего строем отправляются на работы. Возвращаются вечером — в девять. В палатках остаются только дневальные, больные и... я.

Я написал письмо Маро:

«...Знаешь, Маро-джан, мы еще не на фронте. Живем, можно сказать, как на курорте. Но это очень плохо. Я очень хочу на фронт. И поскорее. Ведь проклятые фашисты топчут нашу землю. Но ты, наверно, все знаешь из газет и радио слушаешь. Я спросил у нашего комиссара, почему мы не отправляемся на

фронт, он сказал, что тыл — тот же фронт. Но в этом я ему не верю. Я хочу на самом ответственном и трудном участке фронта воевать с врагом. Я с нетерпением жду, когда наконец нас повезут на запад, на передовую...»

Написал письмо и отправил. Свои треугольники мы отсылаем без марок. Это специальная льгота для бойцов.

Серож пишет химическим карандашом. Послюнявит грифелек и пишет. И язык у него от этого подолгу остается синим. Сложив письмо в треугольник, он обычно протягивает его мне, просит адрес надписать...

Я чувствую себя придавленным. Все думаю, зачем же нас призвали в армию, если оружия не дают, не готовят к бою? Немцы ведь уже Киев заняли, под Ленинградом стоят. И натиск их продолжается. Мое горячее желание воевать с фашистами не сбывается.

— Я хочу на фронт! — говорю Серожу.

— Я тоже, — отвечает он. — Но нас не отправят...

— Почему?

Он пожимает своими узкими плечами.

— Откуда мне знать!..

Я решаю покончить с этим и рвануть на фронт. Интересно, Шура согласилась бы уйти со мной? Но я и словом не обмолвлюсь с ней о своем решении.

* * *

Холода наступили ранние, очень ранние.

Ночами мы в наших палатках промерзаем до костей. Шура изредка приносит мне немного спирту. Разведет водой и говорит:

— На, пей.

— Эту отраву?

— Пей, согреешься...

И я понемногу привыкаю пить спирт. Шура требует, чтобы я еще и ежедневно, утром и вечером, обтирался холодной водой.

— Знай, что чистое тело меньше мерзнет.

Я с удовольствием выполняю ее советы. Но все равно холодно. Я написал маме:

«Милая мама, пришли мне стеганую душегрейку. И теплые носки, если есть шерсть...»

От холодов свалились трое ребят-азербайджанцев. Один из них из нашей соседней деревни. Отличный парень, скромный. Я давно его знал. Он привозил к нам в городишко черешню, виноград, персики и всякие фрукты — на продажу. Погоняя навьюченного корзинами осла, с весами-тарелками через плечо, он проходил по улицам и выкрикивал по-армянски:

— Отборные персики, персики!.. Самый лучший виноград!..

Вскоре он умер. Мы похоронили его...

«Самый лучший виноград!..»

А у него двое детей. Там, в наших далеких ущельях...

Я выменял на толкучке свою пайку хлеба на вату. Сошью себе стеганку, надену, чтоб спина не мерзла. Хотел Шуре отдать, чтоб она мне сшила, да постыдился. Шура смотрит на меня с такой грустью, с такой жалостью, что плакать хочется...

Разорвал я одну из своих рубах и с грехом пополам выстегал подобие душегрейки. Надел, и сразу стало теплее. Смастерил такие же штуки Андранику и Барцику тоже. Оставался только Серож. Ваты на черном рынке больше не попадается...

Встретил Сахнова.

— Не замерзаешь? — спросил он.

— Пока терплю.

— Нагревай кирпич и на ночь подкладывай его себе под ноги, — посоветовал он. — И следи за тем, чтоб портянки у тебя всегда были сухие и чистые. Морозы будут еще сильнее.

Сегодня первое октября. Через два месяца и двадцать семь дней мне будет восемнадцать лет. Записи мои неспокойны.

ОЛЕДЕНЕЛАЯ ЗЕМЛЯНКА

В холод работать под открытым небом истинное бедствие. Парни-то все ведь с юга!.. Руки коченеют. Носы и уши отморожены.

Каждое утро растираюсь до пояса снегом, как советовала Шура. Она-то знает, как уберечься от холодов.

Не стало хватать хлеба... И, надо сказать, голодная жизнь пострашнее морозов. Ужасные дни.

Шура все учит меня:

— Смотри пей только кипяченую воду...

Мы вырыли себе землянки и перекочевали в них из палаток.

Стены очень скоро сковало морозом. И с топливом беда. Спим, укрываясь чем можем.

Кто-то вдруг кричит из угла:

— Братцы, замерзаю!..

Боец-грузин, сидя на заиндевевшей доске, напевает по-своему что-то жалобно-тоскливое...

* * *

В Москве завершились переговоры глав правительств трех великих держав — Советского Союза, Соединенных Штатов Америки и Великобритании, на которых обсуждались вопросы о совместной борьбе с гитлеровской Германией и об оказании материальной помощи Советскому Союзу. Я знакомил бойцов подразделения с сообщениями о ходе и об итогах переговоров, часто читал им вслух газеты. Все эти новости вселяли надежду. Но тревожило то, что на подступах к Москве в эти октябрьские дни шли тяжелейшие бои. Я расчертил карту красными стрелами к западу и югу от Москвы, указывая предполагаемое направление контрнаступления наших войск, хотя они пока еще всё оборонялись.

Слух о том, что большинство наших правительственных учреждений эвакуировано из Москвы в Куйбышев, подействовал на бойцов подавляюще.

— Неужели нашим войскам придется и столицу оставить?!

Эти слова, тяжелые и горькие, были у всех на устах. Никто больше не улыбался.

Серож Зарелян припал ко мне:

— Давай сбежим?..

— Куда? — спросил я.

— Сбежим на фронт, под Москву! Почему не отправляют нас воевать! Чего оружия не дают?!

Комиссар нашего батальона Тоно Надоян, очень смуглый и очень добрый здоровяк. Он лично руководит моей читальней.

Как-то вечером я говорю ему:

— Товарищ комиссар, разрешите обратиться к вам с просьбой?

— В чём дело? — спрашивает он.

— Прошу направить меня на передовую!..

— И много таких желающих?

— Много. Почти все.

— Это хорошо! — кивнул он. — Но ты все же подожди, дорогой. Командование помнит, где мы есть. И раз не отправляет на фронт, значит, и здесь мы тоже очень нужны.

* * *

Я по-прежнему сплю и во сне вижу, как бы мне оказаться на фронте. Тут чувствуешь себя каким-то ничтожным. Такое в мире творится, а ты отсиживаешься в тылу!..

Шура время от времени приносит немного спирту, для бодрости духа. Но мне уже все не впрок. Я пропадаю.

Город полон эвакуированных. Все они из западных областей. За хлеб и сахар отдают все, что имеют, — костюм, кольцо, часы...

Ночь. Серож разбудил меня, сунул в ладонь краюху хлеба.

— Откуда?

— Не спрашивай, — вздохнул он. — Я теперь хлеб в часть доставляю...

Он поспешно отошел от меня. Зажимая в ладони хлеб, я чуть не заплакал. Ведь этот кристально чистой души парень... украл его?! Боже праведный!..

* * *

Я еще из дому прихватил с собой две книжки — «Песни и раны» Исаакяна и сборничек «Западноармянские поэты». Записные книжки я уже исписал и отправил их матери. Теперь все свои заметки делаю на полях «Песен и ран».

Смерти я не боюсь.

* * *

Артист из Батуми, Каро Зананян на год старше меня. Я помню его по сцене. Он был очень хорошим Пепо, Сейраном[15]. Его красивое лицо сейчас как бы погасло, плечи обвисли. Втянув руки в рукава, она едва передвигает ноги.

Как-то спрашивает меня:

— Смерти боишься?..

— Не знаю.

— Боишься! — сказал он с гамлетовской улыбкой. — По глазам вижу. Все мы боимся. Все, как один...

* * *

Вечер: Каро говорит мне:

— Я познакомился с двумя женщинами, эвакуированными. Пойдем к ним?

Мне даже слушать его страшно. Он захохотал, как Мефистофель.

— Надеешься домой живым вернуться? Э-эх!.. Я свою жену, Аиду, знаешь как люблю? Но я уже мертвый! Слышишь, мертвый?..

Я попробовал было усадить его рядышком, ну хоть бы в шахматы, что ли, сыграть, успокоить. Он снова захохотал.

— Меня пожалеть надо и тебя тоже... Не идешь? Выходит, и ты тоже мертвый!..

И он ушел. Жаль. Ему всего двадцать шесть. Никогда еще я не видел его таким красивым.

Сегодня восьмое октября. Через два месяца и двадцать дней мне будет восемнадцать лет. В записках моих мефистофельский дух.

ЛЕДЯНЫЕ ПОЦЕЛУИ

Я снова написал Маро: «Прими мои ледяные поцелуи. (Это потому, что здесь очень холодно.) Прости мне мой грех. Ты — богиня Анаит, чей трон в небесной выси!» Все это я начертал на полях «Песен и ран». И не отправил, конечно. Помнит ли Маро меня? Я ведь даже к руке ее не прикасался!.. Еще одной раной стало больше на страницах «Песен и ран». А я все писал и писал. «На восходе дня, коленопреклоненный, я шлю тебе свою молитву, мой далекий огонек!..»

Октябрь. Снежные сугробы. Морозно.

* * *

Лейтенант Арам Арутюнян вызвал меня к себе.

— Я уезжаю, — сказал он.

— Куда?

— На фронт.

Я с мольбой уставился на него. Он собирает вещи. Подтянутый, стройный, бравый. Начищен до блеска, все так и сверкает — пуговицы, пряжка, сапоги. Протянул мне брюки и пару белья.

— Это от меня на память.

Я почувствовал себя совсем осиротевшим.

— Значит... уезжаете?

— Родина в опасности. Надо, брат, ехать. Надо фашистам показать!..

— А я? — кричу в отчаянии. — Меня тоже возьмите с собой, умоляю!..

— Это не от меня зависит...

Но на прощанье он вдруг сказал:

— Желаю тебе от всей души попасть на фронт.

Я обнял его, как когда-то отца обнимал маленьким и беспомощным.

— Возьмите и меня! Возьмите!..

Лейтенант высвободился из моих объятий. Что он мог сделать? Я не заплакал, только зубы сжал. Встречу ли еще его? Едва ли...

* * *

Сегодня мы похоронили двух бойцов. Шура принесла мне спирту.

— Берегись морозов!..

Пришло письмо от Арама Арутюняна. Из Чкалова.

«Мне присвоили звание старшего лейтенанта и назначили командиром роты, — пишет он. — Направляюсь на передовую...»

Морозы стоят отчаянные. Арам уехал сражаться. А я — в этой промозглой землянке. За что?..

Зашел Каро.

— Что поделываешь, дорогой? — спросил он.

— Мозгую, как бы рвануть на фронт.

Он засмеялся. Попросил махорки. У меня ее не было. Хлеба спросил — тоже не было. Увы, и воды у меня не было. Он шмыгнул носом и пробурчал:

— С ума вы все посходили!..

Я предложил ему вместе махнуть в Караганду, в военкомат, на фронт проситься. Он спрятал свое изборожденное морщинками лицо в обмороженных ладонях и прохрипел:

— Псих!

* * *

Вечером Серож дал мне кусок хлеба.

— Один из наших упал и ногу сломал. На льду поскользнулся. Его домой отправляют... — сказал он.

— Несчастный, — посочувствовал я. — И тяжелый перелом?

Серож зашептал:

— А он очень даже рад...

— Чему?

— Что домой едет.

* * *

После отъезда Арама командиром нашей роты назначили старикана. Первым долгом он прикрыл мою читальню.

— Какие еще тут книги? Чушь собачья! Отправляйся-ка лучше землю копать.

И я пошел землю копать.

На бетономешалке работаю. Стараюсь не обморозить лица и рук. Шура волнуется:

— Ты ведь такой хлипкий, не выдюжишь.

— Чему быть — того не миновать, — говорю я.

И Шура вдруг придумала просить начальника санчасти взять меня санитаром.

— И не вздумай! — рассердился я.

Шура плачет.

* * *

Седьмое ноября. Двадцать четвертая годовщина Великой Октябрьской революции. Наш батальонный комитет комсомола принял решение работать в этот день на строительстве, ознаменовать праздник двухсотпроцентным выполнением плана. Наше подразделение сейчас на важном задании: мы строим помещение для эвакуированного сюда предприятия. Наш лозунг: «Все для победы родной Красной Армии!»

С шести утра мы уже на стройке. Вернемся только в десять вечера. Так было решено на ротных комсомольских собраниях. Про себя все невольно задаемся вопросом: будет ли и на этот раз парад на Красной площади, как во все мирные годы? Бои ведь идут уже на подступах к Москве?.. Гитлер бросил на Москву свои отборные силы, приказав войскам Гудериана именно седьмого ноября пройти по Красной площади.

— Ах ты, оголтелая тварь! — взъярился Сахнов. — Смотрите-ка, каков у него аппетит!..

У нас на стройке еще вчера установили громкоговорители. Комиссар уверяет, что парад обязательно состоится и мы услышим голос Москвы...

Так оно и случилось. Ровно в десять наши громкоговорители все, как один, разнесли над стройкой знакомый родной голос Красной площади.

Сахнов прослезился.

— Москва не сдается, братцы! Вы слышите ее?

Слышим. Вот по Красной площади идут воинские соединения. Держа равнение на Мавзолей Ленина, с клятвой в сердцах, прямо с парада воины уходят на передовую, уходят отражать натиск врага на подступах к Москве.

Что сталось с гитлеровским молниеносным ударом, с его блицкригом? Сахнов произносит «блицкрик». Оно и впрямь так: крик издыхающего.

* * *

В столовой Сахнов отечески обхватил меня за плечи.

— Нос-то побелел. Обморозился?..

Он вывел меня во двор и стал растирать снегом. Тер до боли.

— Ну, — засмеялся наконец Сахнов, — нос я тебе спас. Ты, парень, как из теплицы... А что, если тебя в штукатуры взять? Знаешь это дело?

— Да нет...

— Тьфу! — разозлился он. — Хоть бы соврал! Ну что тут мудреного, штукатурить-то?.. Я бригадир у штукатуров. Нас шестнадцать человек. Попрошу комроты, и тебя возьмем. Спросит, какой разряд, говори — шестой. Понял? Мы сейчас в помещении работаем и раствор замешиваем на теплой воде. С нами и нос сбережешь.

Сахнов сдержал свое слово. Комроты направил меня к нему в бригаду.

Работаем мы во вновь отстроенном огромном здании. Оно уже подведено под крышу, окна застеклены. Вода тут не замерзает.

— Ну, сынок, — говорит Сахнов, — будь побойчее, одолевай ремесло. В жизни все сгодится. А войне еще конца-краю нет.

Он дал мне мастерок и поставил рядом с собой:

— Делай все, как я.

Из кожи лезу, учусь штукатурному мастерству.

Сахнов старше меня на целых восемнадцать лет. Крепко слаженный, добродушный, в глазах чертики бегают, и всегда улыбается.

Сегодня двадцать пятое ноября. Через месяц и три дня мне стукнет восемнадцать. В записях моих холод.

ЖЕЛАНИЕ МОЕ НЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ

Уже месяц, как я штукатур. На Доске почета рядом с фамилией Сахнова красуется и моя. И еще число «200». Это означает, что дневную норму я выполняю на двести процентов. Сахнов похлопывает меня по плечу.

— Ну, культурник, доволен?

Не доволен. Я снова и снова рвусь на фронт.

Нас неожиданно вызвали в часть и приказали сворачиваться. Едем в Челябинск. Конечно же всем батальоном.

* * *

В товарном вагоне тепло. Топится «буржуйка». То и дело подсыпаем угля. И трескучий мороз нам сейчас нипочем. А какой мороз стоит — слеза, не скатившись, льдинкой оборачивается. На

базарных прилавках и в станционных ларьках шаром покати. Останавливаемся часто. По нужде далеко не бегаем.

На одной из станций Шура дала мне головку чеснока.

— Не ешь его. Только десны каждый день натирай.

— Зачем?

— Чтоб цингой не заболеть.

На станциях добываем кипяток. Только «кипяток» этот чаще нависает над краном сосульками. Иной раз приходится набирать горячую воду из паровозного крана. Она попахивает смазкой, но делать нечего: мы пьем ее, запивая черные сухари.

* * *

Челябинск — город огромный. Над ним глыбой висит дымная туча. Здесь видимо-невидимо заводов. Трамваи ходят полупустые. На улицах гуляет ветер.

Нас привели на знаменитый Челябинский тракторный. Выделили участок, дали кирки, лопаты и ломы и сказали:

— Стройте себе казармы.

Земля промерзла больше чем на полметра. Мы начали орудовать топорами. Каждый взвод прежде вырыл себе землянки. На счастье, вокруг были навалены горы угля. Едва наши «буржуйки» раскалились, балки «заплакали», земля над ними разомлела-размякла и жижей посыпалась-потекла на нас. Но это ничего. Только бы отогреться.

Я снова работаю с Сахновым. Как и прежде, штукатуром. Работаем по шестнадцать часов. Подъем в шесть утра. На завтрак — кусок рыбы или горсть разваренного гороха да

жиденького чая, после чего мы спешим на работы. Хлебная пайка у нас — пятьсот граммов на каждого.

* * *

Командир роты вдруг вызвал меня ул себе.

— Грамотный? — спросил он.

— Да, был учителем.

— Комсомолец?

— Так точно!

Он привел меня в канцелярию огромного завода и представил приветливой седовласой женщине.

— Я беру вас в помощники, — сказала она. И поручила заниматься выдачей хлебных карточек.

Сижу в тепле, работа чистая.

Командир роты спросил:

— Как, доволен?

Не доволен. Я, как прежде, рвусь на фронт.

* * *

Моя начальница наделила меня талонами на обед.

— Столовая в подвале, — сказала она. И это уже здорово.

В столовой дважды в день бывает чай с сахаром и один раз дают горячее. При такой жизни пайкой можно и поделиться. На первый раз я все пятьсот граммов хлеба понес в казарму. Серожу хотел отдать. Он отказался.

— Дай, — говорит, — Каро, а я пока обхожусь.

Каро совсем отощал и духом упал. Почти все время лежит. Лицо усыпано болячками. Хлеб мой заглотнул в мгновение ока.

— Если отдам концы, прошу тебя, напиши Аиде, что погиб я на фронте. Сделаешь?

— А с чего это ты вдруг собрался концы отдавать? — говорю я. — Лучше займись чем-нибудь. Нельзя так. Ты еще молодой.

Никак мне не удавалось поднять его с нар, вселить надежду, желание жить, действовать. Парень здорово сдал. А какой был красавец!.. Физическая его слабость от инертности духа.

Он нагонял на меня тоску. Еще, чего доброго, и я ударюсь в отчаяние? Но нет! До этого я не дойду! Меня в болото не затянешь. Я родился в каменистых горах. Дух во мне крепкий. И сил хватит. Я хочу жить. Я верю, что снова встречусь с Маро.

* * *

Матушка-начальница целыми днями у рабочих. Говорит она очень мягко, едва слышно. Никогда не сердится. Я часто вижу в глазах у нее слезы, которые она старается скрыть. Два ее сына и муж воюют. За них, верно, переживает. А может, и еще о чем-то тревожится.

Есть хорошие новости. Сегодня утром, едва она вошла, я встал по всей форме и сказал.

— Мария Александровна! Позвольте мне вас порадовать!

— Чем? — она сразу встрепенулась, и голос ее прозвучал звонче обычного. — Чем порадовать?..

— Вчера наши войска освободили город Волоколамск!..

Глаза у моей начальницы заблестели. Она бросилась к карте, висевшей на стене.

— Где Волоколамск? Ах, да! Вот он, обведен черным. Это я, сынок, сама его карандашом обвела, когда сдали... А ну, найди-ка ластик, надо стереть черный круг. Обязательно надо стереть...

Волоколамск расположен к западу от Москвы. Выходит, защитники Москвы перешли в наступление и, продвигаясь вперед, уже довольно далеко отбросили гитлеровских захватчиков?..

— Ах, как же это здорово!

И я впервые увидел на лице у нее улыбку.

* * *

Скоро очистились от черных кругов Тихвин, что неподалеку от Ленинграда, Калинин и Клин — это к северу от Москвы. А сейчас бои идут южнее столицы, в районах Наро-Фоминска и Калуги. Со дня на день и их освободят. У меня теперь всегда наготове ластик и красный карандаш. Отныне они могут понадобиться каждую минуту...

Матушка-начальница поручила мне сообщить всем нашим об освобождении Волоколамска.

— Беги и расскажи об этой радости! Вдруг они не слыхали?! У вас в землянках ведь нет радио?

— Конечно нет, — ответил я.

— Надо поговорить в горкоме, чтобы везде установили радиоточки. Ох, сынок, наконец-то дождались! Так оно и должно было быть. Эта зима обязательно принесет нам перелом в войне. Понимаешь, сынок?.. Может, и я письмо получу, хоть от одного из трех своих воинов?..

На дворе морозы, а я иду как по горячей земле. Передо мной одна картина сменяется другою — мне видятся отступающие немцы, тающие снега и... буро-красное пламя, которое, откатываясь, уносится на Запад.

Я радуюсь и в то же время чувствую себя в какой-то степени виноватым. Меня-то ведь там нет, на линии огня!..

Какая-то женщина с противоположной стороны улицы кричит:

— Эй, солдатик, слыхал добрую весть?..

— Про Волоколамск? — крикнул я. — Слыхал. Поздравляю, тетушка.

— Спасибо. Пошли тебе бог счастья!..

Огромный город словно бы высвободился из леденящих оков. Подумать только, какая сила в победе воинов! Пусть пока еще в малой победе. Эта весть теперь уже небось на весь мир разнеслась. Мне вспомнился «блицкрик» Сахнова, и я расхохотался. Интересно, что сталось с фельдмаршалом Гудерианом? Он ведь собирался Седьмого ноября провести по Красной площади свои войска и свои танки. Получил шиш под нос!..

Я на радостях забыл, что надо бы сходить в столовую, чего-нибудь перехватить по своему талону. Да вроде и не голоден...

Сегодня двадцать первое декабря. Через семь дней мне стукнет восемнадцать дней. Записки мои писаны красными чернилами.

ВО ИСПОЛНЕНИЕ МОИХ ЖЕЛАНИЙ

В землянке у нас духотища. Пахнет потом, немытыми ногами и нестираными портянками. Дым от печки забивает носоглотки.

По утрам все как негры. Только зубы белеют.

С помощью своей начальницы я присмотрел у нас в канцелярии для Каро место счетовода. Но он отказался, не захотел работать.

— Я хочу умереть!

Никак мне не удается побороть его упадочное настроение. А жаль...

* * *

Возвращаясь с завода, я в пути встретил женщину с маленькой девчушкой. Остановила меня и спрашивает:

— Махорки нет ли, солдатик? Есть махорка...

Дал ей на закрутку. Курево сейчас — товар дефицитный. За пачку махорки кольцо золотое можно выменять.

— А ты, солдатик, видать, сытно ешь? Вон какой гладкий! — говорит женщина.

— Да, не голодаю, — согласился я.

— Это хорошо... Муж мой тоже в армии, значит, и он сыт. Подумать только, что с нами сделали эти фашисты, этот проклятый Гитлер! Не сочтите, что я отчаялась. Нет, нет! Ни за что! Уверена, что мы победим и выгоним вон врага с нашей земли.

— Конечно! — подтвердил я. — Мы все верим в победу!

— Ну, вот и хорошо! — женщина улыбнулась. — До свидания, солдатик! Я верю, что муж мой вернется с победой. Обязательно вернется! До свидания...

* * *

Сегодня день моего рождения, двадцать восьмое декабря...

Войдя в землянку, я увидел там незнакомого лейтенанта в зимней, ладно пригнанной форме. Отдал честь, как положено. О дне рождения, понятно, ни слова. Вокруг столько боли и такая стужа, чему и как можно радоваться? Ничего не сказал я и Шуре. Зачем? Ей будет грустно.

Лейтенант вышел. Я спросил у ребят, зачем он приходил. Говорят, подбирает людей на фронт. Я оторопел от неожиданной радости.

— И подобрал?

— Уже около пятидесяти человек у него в списке, — сказал Серож. — Я тоже записался. И Сахнов. А еще медсестра Шура.

Я бросился вдогонку за лейтенантом. Он уже был в землянке у нашего комиссара. Запыхавшись, я ворвался туда и, вытянувшись в приветствии, сказал:

— Товарищ лейтенант, я к вам с просьбой.

Комиссар, испытующе глядя на меня, спросил по-армянски:

— Что тебе?

— Я хочу на фронт!..

— Иди-ка лучше занимайся своим делом и не торопи время, — мрачно бросил комиссар.

Я упрямо стоял на своем: прошу, мол, направить меня на фронт, да и только.

Лейтенант поинтересовался, о чем мы спорим. Я сказал ему. Стал просить-умолять.

— Возьмите, — говорю, — на фронт.

И он записал меня в список.

— Завтра в девять быть здесь, — объявил лейтенант. — Для препровождения к месту боевой службы!

На улице тепло!

Моя радость обрушивается на мороз и одолевает его.

В землянке ко мне рванулся Барцик:

— Ну зачем ты напросился?

Я узнал неприятную вещь: Каро ушел из нашей землянки. Кто знает, где он сейчас? Надо разыскать, чтобы отправился со мной на фронт? Только этим можно спасти парня.

Барцик тем временем твердил свое:

— Ну зачем?.. Зачем ты напросился?.

Утром все собрались в назначенном месте. Сахнов помахал мне рукой:

— Ну, сынок, вот и отправляемся! Надо, очень надо нам быть там!..

За нами пришел вчерашний лейтенант. Он сделал перекличку, выстроил нас и, возглавив колонну, повел...

Мороза я не чувствовал, словно его и вовсе не было. А где Шура?.. Ведь и она записалась добровольцем на фронт... Говорят, ночью уже одну группу отправили. Наверно, Шура с теми...

По милости нашего сопровождающего мы должны целых шесть часов без толку проторчать на вокзале — опоздали на поезд. Ужасно такое ожидание. Меня одолевает страх, как бы нас снова не вернули в землянки...

* * *

Я потянул Серожа на базарчик рядом с вокзалом. Кто знает, может, удастся соленых огурцов добыть или чесноку. Но на базаре только ветер сипло завывает на все лады.

Мы вдруг увидели лежащего ничком бойца. Пьяный, наверно, вот и заснул... Без шапки, волосы совсем уже запорошены снегом. Я пригнулся...

О господи, это же Каро! Мертвый!.. Заложил руки за пазуху, уткнулся лицом в лед и угас.

Серож добыл в доме поблизости топор. Мы вырыли в промерзшей земле яму, с трудом отодрали ото льда тело умершего и опустили в могилу. У меня в комсомольском билете хранилось несколько засушенных лепестков шиповника, еще из дому. Я взял один из них и положил на губы Каро, как частичку земли, его породившей. Мне почудилось, что Каро улыбнулся.

И мы засыпали его мерзлой землей.

* * *

На вокзале толпилось довольно много народу. В основном женщины. Все в ватных телогрейках и брюках, в стоптанных

валенках. Головы замотаны шалями, платками. Мужчины тоже в ватниках, а иные в шинелях, подпоясаны брезентовыми ремнями, в меховых ушанках, все больше пожилые.

Челябинский вокзал очень хорош. Белокаменное здание русской архитектуры девятнадцатого века.

Какой-то мужчина с балкона речь говорит. Он седобород. На груди, прямо поверх полушубка, красуются четыре «Георгия» всех степеней, какие я прежде видел только в книжках на картинках. Рядом со стариком стоят пятеро парней, младший из которых мне ровесник: безусый, безбородый юнец.

Мужчина громко говорит:

— Поздравляю вас, люди русские! Наши войска освободили Малоярославец! Враг отброшен от Москвы. Да здравствует победа! Гитлеру как своих ушей не видать Москвы! Смерть фашизму и всяким другим захватчикам! Я их хорошо помню еще с восемнадцатого года, когда воевал на Украине. И вот сейчас, братья и сестры, я, старый воин, и пятеро моих сынов идем на фронт защищать любимую Родину. Да здравствует наша великая Родина, наша Россия!..

Ему зааплодировали. Он продолжал говорить, а мы поспешили по вагонам — поезд уже трогался. Я больше не чувствую себя придавленным, приниженным. Вот бы тому белобородому знать, что и я еду на фронт!..

* * *

Ночь. Мне в вагоне не спится. Перед глазами Каро, в наскоро вырытой чужбинной могиле, в ушах — его смех.

Ночь. Мы в Кургане. Здесь формируется новая дивизия. Нас распределили по подразделениям. Спустя полчаса меня, Сахнова и еще кое-кого из нашего стройбата направили в ближнюю лесную деревеньку.

Шагаю по хрусткому снегу, греюсь своим дыханием, и мне тем не менее очень хорошо. Вот теперь-то я — настоящий воин, настоящий человек.

С Шурой я так и не встретился. Может, ее оставили в медсанбате дивизии, а может, послали в другую часть? Мне взгрустнулось, и я ругаю себя в душе: уж очень был сух и даже груб с нею.

Сегодня девятое января. Уже двенадцать дней, как мне восемнадцать. Черно´ в моих записях.

* * *

Всяк человек, чтоб явиться в мир, должен родиться. Выходит, я тоже родился. Отец мой — сельский почтальон, мать — крестьянская девушка, чуть ли не единственная грамотная женщина на все большое село.

Человек должен родиться в каком-нибудь месте: в селе, в городе, на корабле, в пути или где-то еще.

Я родился в пещере. Разок кашлянешь — скалы тысячекратно повторят. Место моего рождения — Зангезур, село Горис (теперь это уже, правда, город), страна — Армения. По свидетельству древних летописей, селу нашему целых три тысячи лет. Три тысячи лет и его крепости, по прозванию Дзагедзор, и нашему дому-пещере. Деды и прадеды мои были пастухами, землепашцами, строили мосты. И еще песни сказывали — пели оровелы. Из поколения в поколение славился наш род искусными костоправами. Последним из них был мой дядюшка Атун.

Бабки и прабабки у нас в роду тоже были чудо-сказочницами и еще повитухами, по нынешним понятиям — акушерками. До самой смерти моей бабушки по матери, до тысяча девятьсот двадцать третьего года, всех новорожденных нашего села принимали женщины нашего рода...

Все это я рассказываю Шуре, которая вдруг объявилась. Она смеется.

— Любишь сказки!..

Я уже говорил, что сегодня девятое января. Двенадцать дней, как мне исполнилось восемнадцать лет. И в записях моих, как сказал, черно...

Год черный — 1942-й

К ОРУЖИЮ, БРАТЬЯ!

Серож насвистывает. Он с виду вроде бы подрос, и голос у него окреп.

— Наконец-то мы избавились от бесславной службы.

Село это — истинно уральское, со свойственным Западной Сибири пейзажем, окруженное лесами. Тут и там, как бы недовольные, светятся слабые электрические огоньки. То и дело раздается хриплый собачий лай, тоже недовольный...

Нас разместили в большом деревянном строении.

— Постелей нет, — объявил старшина.

Сахнов весело засмеялся:

— Зачем нам постели? Вшей только разводить! Здесь и без того тепло. Храпанем, аки медведи.

* * *

Утро. К нам пришел познакомиться командир части, майор. Высокий человек с открытым лицом, и выправка на зависть. На приветствие его мы ответили стоя, все в один голос. Он присел на подоконник, внимательно оглядел нас.

— Стрелять обучены?

— Нет!..

Он помрачнел. Всех распределили по ротам. Меня, Серожа и Сахнова майор вроде вовсе не приметил. Я забеспокоился: что, если и за людей не считает, а? Однако когда все разошлись по своим подразделениям, майор сказал, обращаясь к нам:

— Вас я направляю в минометную роту, крупнокалиберные минометы — оружие сложное. Там нужны грамотные люди.

Когда мы уже держали путь к месту назначения, Сахнов вдруг сказал:

— С чего майор решил, что я грамотный, ума не приложу? У меня всего-то шесть классов за душой.

— Будет лучше, если ты не станешь уточнять этого, — посоветовал я Сахнову. — Ты боец — вот что главное.

* * *

Командиром в нашей минометной роте — лейтенант. Его строгая военная выправка, его заботливое, внимательное отношение к нам расположили меня к нему. Сапоги у него сверкают, грудь перехвачена портупеей; на кожаном ремне блестит золоченая пряжка со звездой. Предметом моей особой зависти были его планшет и пистолет. Именно таким, как наш лейтенант, мечтаю стать я...

— Через два часа получите орудие, а пока постригитесь, побрейтесь, — сказал командир.

— А парикмахерская тут есть? — спросил я.

Он с укоризной взглянул на меня и сказал:

— Сами должны уметь бриться. Раздобудьте бритву, и через час явитесь ко мне бритый.

Легко сказать. А если я никогда еще не брился?.. Сахнов дал мне свою бритву. Я попросил было, чтоб он меня побрил, но Сахнов отказался.

— Учись, сынок. Лейтенант ведь приказал.

Деваться некуда. Пришлось самому взяться за незнакомое дело. Да это же экзекуция! И все на собственной шкуре!.. Каково, а? Раздирая в кровь лицо, я кое-как справился и облегченно вздохнул. Пошел доложиться лейтенанту.

— Сами побрились? — спросил он. — Молодец!

Это было мое первое поощрение от командования.

Серож добыл мне бритву и помазок.

* * *

Сахнова назначили заряжающим, меня — наводчиком, а Серож подносчик мин. Все трое — в одном расчете.

Миномет — оружие новое не только для нас. Командир нашего расчета, сержант, тоже не очень с ним знаком. Сахнов недоуменно развел руки, стоя над еще несобранным минометом.

— Что нам теперь делать? И зачем только меня поставили заряжающим?

Вместе с орудием нам выдали руководство и описание материальной части миномета. Я начал читать его, пытаясь разобраться, что к чему. Сахнов и Серож помогали мне. Наконец нам удалось свести концы с концами и, сладив три наиболее крупные части и множество мелких деталей и винтиков-шпунтиков, собрать и зарядить наш миномет.

Спустя три дня перед всей нашей ротой мы с Сахновым испытали свое орудие. С третьего удара нам удалось поразить условную цель, находившуюся в двух километрах от нас.

Классное орудие — миномет, только уж больно тяжелое. И ствол, и лафет, и тренога — все у него неподъемное. Я как наводчик таскаю на себе ствол, а это ни больше ни меньше — целых тридцать пять килограммов. В иные дни километров по пятьдесят — шестьдесят отмахиваем, а я все с ней, с ненаглядной своей ношей. К тому же еще винтовка, лопата, противогаз, всякие специальные приспособления для наводки и прочее. В общем — обычная жизнь готовящегося к бою солдата. Наконец я избавился от ощущения своей ненужности, никчемности. Теперь-то я человек, у меня есть оружие.

* * *

Дело у нас нелегкое. Подъем в шесть утра. В исподнем выскакиваем на улицу, прямо на снегу делаем зарядку. Потом умываемся-обтираемся ледяной водой, одеваемся и строем идем на завтрак.

День, весь целиком, проводим на полигоне. Возвращаемся в десять вечера, и опять же строем — на ужин. И туда и обратно непременно с песней. Сахнов знает только одну-единственную песню.

...Я сиротка бедная,
Бездомная птица... —

поет он.

И хотя это не какой-нибудь марш, мы дружно подхватываем:

...Я сиротка бедная...

Отбой в одиннадцать. Нелегкая жизнь, но мне она по сердцу. И никогда еще я не чувствовал себя таким здоровым, бодрым.

Сегодня третье февраля. Месяц и шесть дней, как мне восемнадцать лет. От записей моих веет воинственным духом.

САХНОВ ЗАГРУСТИЛ

Нам выдали новое обмундирование.

Ватные брюки, телогрейку и шинель, оставшиеся у меня еще от стройбата, я свернул и сунул в вещмешок. Хочу послать домой. Мама выменяет на картошку или на дрова. Все — дело. А пока я положил вещмешок в изголовье вместо подушки. Однако вездесущий ротный старшина скоро углядел мой «клад» и велел все срочно ликвидировать:

— Выкинь эти лохмотья! Не смей мне портить вид казармы!

Как назло, в этом селе нет почты. Съездить хоть на день в Курган мне не позволили. Ничего не поделаешь; я решил, когда пойдем на учение, по пути выбросить вещички на свалку. Сахнов отсоветовал:

— Погоди еще.

* * *

На другой день Сахнов снес мои пожитки в село и выменял там на хлеб и на сало. Обрадовались мы несказанно. Того, что нам выдавали, не очень-то хватало. И вот неожиданная добавка.

Но и сало и хлеб скоро стали мне поперек горла. Как-то вечером Сахнова вызвали в штаб полка. Он ушел удивленный и испуганный и вернулся очень подавленным.

— Барахлишко, что я продал, застукали. Пришлось следователю сказать, что они твои, сынок. Накажут теперь нас.

— Так они же у нас не ворованные, за что наказывать? — удивился я.

— Накажут, — вздохнул Сахнов. — Тебе-то ничего. Ты впервые влип. А меня уже дважды тягали за эдакие делишки...

Надо было идти в штаб — за мной явился посыльный. Призвал на помощь все свое самообладание и пошел. Вся надежда на то, что проданные вещи я не украл, они мои. В стройбате нам их выдали. А сапоги я сам купил, на свои деньги.

* * *

Штаб размещался в деревянной избе с узкой дверью. Я вошел, представился капитану, начальнику особого отдела полка. Он составил акт, спросил имя, отчество. И разные другие вопросы задавал. Глянув мне прямо в глаза, сказал:

— Вам известно, что в армии за воровство положен расстрел?

— Известно, — едва выговорил я в ответ.

— Где вы украли проданное обмундирование?

— Не украл! Честное комсомольское, не украл! — стараясь не выказать волнения, заверил я. — Это все мое! Мое собственное...

Я объяснил капитану, как дело было. Он выслушал меня внимательно, но явно без сочувствия.

— Вы сами решили их продать?

— Да, я сам...

— И никто вам советов на этот счет не давал?

— Нет...

— Но почему их продавал боец Сахнов, а не вы?..

— Он же старше меня!

Капитан рассмеялся, посмотрел мне в глаза, покачал головой и разорвал акт.

— Я верю вам и прощаю. На первый раз отсидите на гауптвахте. Это будет вам уроком, чтоб в будущем чего хуже не натворили. И вам, и всем другим. Повторите приказ.

Я повторил.

С меня сняли ремень, отобрали бумаги и вещи и отвели на гауптвахту. И хотя наказание легкое, но унизительное...

* * *

Нас, тех, кто на «губе» в одиночке, кормят только раз в сутки. Днем водят на работы. Света нам вечерами не дают. Однако я утешаю себя тем, что Сахнов не пострадал.

* * *

И все-таки я счастливый. Всего пять дней просидел под арестом. Ночью нас вывели с гауптвахты и скомандовали:

— Разойдитесь по своим подразделениям. Отправляемся на фронт.

Серож и Сахнов обняли меня. Сахнов даже всхлипнул и говорит:

— По моей вине чуть не сгинул, сынок!.. Прости уж!..

Вышли из села и почти до утра шагали по безлюдным местам. На одной из станций нас усадили в товарный эшелон, и мы устремились на запад.

Едем на фронт. Я безмерно рад.

Сегодня двадцать восьмое февраля. Уже два месяца, как мне стукнуло восемнадцать.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ПЕСНЬ

Миновали Свердловск, потом Казань, и вот наконец Москва. Из вагона смотрю на занесенные снегом пригородные поселки, на церковные купола, пытаюсь разглядеть вдали Кремль.

Здесь еще сохранились оборонительные сооружения, заграждения, доты и дзоты. Еще совсем недавно в этих местах шли тяжелые бои. Москва, приложив титанические усилия, отбросила орды фашистов далеко от своих стен. Москва победила. И сейчас город подобен исполину, залечивающему свои раны.

К нашему эшелону приблизилась стайка школьников — мальчиков и девочек. Все они бледные, повзрослевшие. Ребята

принесли нам в подарок бумаги на курево, карандашей, тетрадок и разных других мелочей. Это очень нас взволновало.

* * *

Ночь. Мы едем прифронтовой полосой. Это Калининская область Здесь еще не стерты следы войны. Целых два месяца Калинин был оккупирован фашистами. Целых два месяца фашизм насаждал здесь свой «новый порядок» — жег, крушил, убивал.

Наш полк расположился близ фронтовой полосы, в деревне Красный Холм.

Начало марта.

Наш расчет расквартировали в маленькой бревенчатой избенке. Хозяева потеснились — жили на кухне. Сама хозяюшка совсем еще молодая. Чем-то она напомнила мне Шуру. «Где она, Шура? Вспоминает ли меня?» — подумал я и посмеялся в душе над своей наивностью — нашел время, размечтался...

Хозяйка вошла к нам в комнату и сказала:

— У меня ничего не просите, потому как ничего-то у меня и нет...

От нее пахло молоком и сеном. На глазах были слезы, а в голосе — мольба.

Мы бы и не стали у нее ничего просить.

В этот вечер я пил чай с сухарями, а свою долю сахара отдал хозяйке. Ее золовка, маленькая девочка-сиротка, баюкает грудного племянничка и дрожащим голоском горестно напевает:

Люли, люли, люленьки,
Прилетели гуленьки.
Вот веселый пастушок

Заиграет во рожок...

И печаль этой колыбельной так и звенит в голове...

* * *

Целыми днями у нас учения, и все на снегу. Порой доходим до изнеможения. Но такая жизнь мне по душе.

Дело подвигается к весне, часто бывают оттепели. Иной раз до нитки промокаем. Придя вечером, разводим огонь и начинаем сушиться. Бывалые солдаты многому меня обучили. Вот, к примеру, как портянки накручивать? Оказывается, надо так их наматывать на ногу, чтобы часть обхватила ступню, а часть — голень. И если случится, что на ступне портянка промокнет, достаточно перемотать ее сухой стороной на ступню, а мокрой на голень — ты спасен, ног не простудишь, а тем временем то, что мокро, просохнет, и можешь начинать сначала. Я так и поступаю — по житейской науке. Оттого и ноги не промерзают.

Вечер. Хозяйка из коровника поманила меня.

— Никак не могу окаянную привязать, — сказала она. — Не корова, а горюшко. Помоги, солдатик.

Я вошел в хлев, с трудом привязал корову к стойлу. Хозяйка с грустью проговорила:

— Трем нашим голодным ртам — вся надежа на эту коровушку.

— А где же вы сено берете? — спросил я.

— Колхоз дает. То есть не дает, а разрешает косить в поле. И еще, кроме приусадебного участка, каждому выделили землицы под картошку и капусту.

Я сказал, что ей, наверно, очень трудно одной кормить семью, когда муж на фронте.

— Трудно-то оно трудно, — ответила женщина. — Да что тут можно поделать? Надо напрячься из последних сил, вся страна сейчас в беде. Помогать ей надо. У меня, как у жены фронтовика, есть кое-какие льготы. Пропасть с голоду не дадут. А мы-то ведь тоже народ трудовой. Денно и нощно работаем, чтобы дать фронту все, что требуется.

Мы вошли в дом. Хозяйка протянула мне опасную бритву:

— Мужнина. Возьми себе в подарок. Сейчас она нам не нужна, да я и не знаю, вернется ли мой Андрюша...

Она заплакала.

— Хороший он у меня был. Бригадиром в колхозе работал... Не дрался и не пил. Дай бог, чтоб жив остался!..

Я попытался было отказаться от бритвы, но она разобиделась.

— Бери. Глядишь, и добрым словом меня помянешь.

Пришлось взять у нее бритву. В душе я был полон почтения к этой русской крестьянке. Ведь такую дорогую память мне отдавала! Как же велика доброта в душах этих людей! Особой любовью они одаривают солдат. Нам предоставляют свое жилье, топят печь, помогают всем, чем могут, только бы чувствовали себя хорошо, передохнули б немного. Я думаю, на свете нет женщин, которые относились бы к воину добрей и заботливей, чем русские женщины.

Я всегда буду хранить у себя этот подарок.

Сегодня одиннадцатое марта. Два месяца и четырнадцать дней, как мне восемнадцать. Записи мои облагорожены.

ОТТЕПЕЛЬ УСИЛИЛАСЬ

Снег тает вовсю. Мы целыми днями на учениях. В грязи по шею, закоченевшие от промозглой сырости.

Вечерами хозяйка встречает нас уже натопленной печью. Мы смущаемся, а женщина довольна.

— Сушитесь, ребятушки, — предлагает она. — В мокром спать нельзя.

Мы разматываем свои портянки, развешиваем их вокруг печки. Комната наполняется тяжелым, но приятным человечьим духом.

* * *

Вечер. Весь наш полк построили. Комиссар сказал:

— С завтрашнего дня вместо хлеба мы будем получать муку. Выпекать хлеб придется самим. Кто из вас пекарь, выйдите вперед!

Пятеро солдат вышли вперед. Среди них был и наш Сахнов...

Сахнов отправился печь хлеб. Я стал выполнять в нашем расчете и его обязанности.

Самый младший у нас Коля Максимов. Узкоглазый круглолицый парнишка. Он не курит, и за это мы все готовы молиться на него — ведь он отдает нам свою долю курева. Зато и аппетит у него куда лучше нашего. И при разделе хлеба мы отрезаем ему ломоть побольше. Варева тоже стараемся дать лишнего.

* * *

Вечером пришел Сахнов, и все вокруг наполнилось хлебным духом. Он выложил на стол целую буханку.

— Это мы сверх нормы испекли, — сказал он, — из того, что соскребли со стенок корыта, в котором тесто месим. Хозяйке принес и ее детишкам. Я утром приметил: они молоко без хлеба пьют.

Сахнов взял буханку и уже хотел было выйти к хозяйке, как в комнату неожиданно вошел сержант, помкомвзвода.

— Откуда этот хлеб?

Какое-то мгновение никто не мог придумать, что сказать. То были тяжелые секунды. Но вот Сахнов заговорил:

— Этот хлеб принес я, товарищ сержант...

— Украл в пекарне?!

— Нет, товарищ сержант, — твердо сказал Сахнов, — этот хлеб выпечен сверх нормы, из соскребышей. Честное слово! Поверьте мне. Буханку эту я принес хозяйке и ее детишкам...

— Чтоб продать ей?

— Нет, товарищ сержант! Как можно! И хозяйка, и дети утром пили молоко без хлеба. Я это своими глазами видел. Вот и подумал... Она ведь жена фронтовика...

Сержант долго смотрел на Сахнова. Видно, трудно ему было решить, как следует поступить в его положении. Наконец он сказал:

— Как бы то ни было, а это все одно что воровство, боец Сахнов, и я вынужден доложить обо всем комиссару полка. Воровство в армии исключено. Оно расценивается как тягчайшее преступление!..

— Но, — проговорил Сахнов, — это же никакое не воровство, товарищ сержант! Ведь хлеб я принес...

— Молчать! — оборвал его сержант.

С буханкой в руках, как с вещественным доказательством совершенной кражи, он направился к выходу. Нас словно бы ледяной водой окатили. Не знаю, откуда во мне смелость взялась, я встал у него на пути; сержант с удивлением посмотрел на меня.

— Что скажете?

— Ничего не скажу, товарищ сержант, — ответил я. — Просто хочу просить вас поверить Сахнову. Он хлеб не украл. Из соскребышей испек эту буханку для голодных детишек. Он не вор. Прошу, поверьте!

— Вот оно что! — усмехнулся сержант. — А кто это вам позволил поучать своего командира?

— Совесть позволила, товарищ сержант. Сахнов на своем веку уже много перестрадал, я это хорошо знаю. Не обвиняйте его в краже, это неправда. Неужели вы доложите комиссару?..

— Да! — решительно сказал сержант. — Доложу. И рядовой Сахнов будет строго наказан по закону военного времени!..

— Это несправедливо, товарищ сержант! — упорствовал я. — В нашей армии несправедливость так же исключена, как и воровство.

Сержант посинел от злости:

— Что вы болтаете? Разве я неправду говорю?

— Так получается..

Мы с сержантом стояли лицом к лицу. Я по стойке «смирно», а он — нет. Ребята тоже стояли вытянувшись, как положено. Они

начали поочередно просить сержанта, чтобы не сообщал командованию о случившемся. Говорили, что Сахнов только из человеколюбия вынес из пекарни эту злосчастную буханку. Сержант молчал. Головой лишь покачал, что, мол, долг велит ему доложить командованию все, как есть...

— Что они решат, это дело не мое, — сказал он наконец, — а скрывать от вышестоящего начальства то, что произошло в моем подразделении, я не имею права. Не забывайте, что мы с вами на службе.

Мы говорили тихо, чтобы хозяйка в своей каморке не услыхала наших голосов и не проснулась. Стыдно все же, что мы пререкаемся с командиром, хотя он и есть-то всего только помкомвзвода.

Сержант положил буханку на стол и вышел.

Спали мы беспокойно. А Сахнов всю ночь курил лежа.

Сейчас двадцатое марта. Два месяца и двадцать три дня, как мне восемнадцать. Записи мои полны горечи.

ЗВЕЗДА НА ПРЯЖКЕ

В избе тихо плывет-качается колыбель. В ушах у меня оживает плач моей матери над колыбелью ее четырнадцатого отпрыска.

Снег тает все сильней. Наш минометный расчет вышел на одно из первых мест в полку по боевой подготовке. Нам выдали на учения новые боевые минометы. Из них мы с большой точностью били по условному противнику — по шалашам из еловых веток. За это нас похвалили и даже в газете пропечатали о нашей отличной подготовке...

Снег тает все сильней. А полк снова и снова на учениях.

На этот раз степень нашей готовности к бою мы демонстрируем командиру дивизии, специально приехавшему на смотр.

Полк выступил на учения со всей техникой и всеми вспомогательными службами. Все как на поле битвы: мы ползем по-пластунски к назначенному месту, окапываемся, в пять минут устанавливаем миномет и по приказу начинаем «стрелять». Я доволен собой, доволен тем, что освоил миномет, и тем, что, в общем, оказался не плохим и исполнительным бойцом. Это, конечно, внешняя сторона дела. Гораздо важнее то, что и внутренне я уже чувствую себя готовым вступить в бой, готовым воевать с противником, которого страшатся многие народы. И не только во мне живет такая уверенность. Ею полны и Сахнов, и Коля Максимов, и почти все бойцы, которых я знаю.

Все идет, как надо. Вот только неприятности с буханкой Сахнова никак не могу позабыть.

После учений, когда уже смеркалось, полк выстроили в каре. Командир дивизии похвалил нас и сказал, что он доволен нашей боевой подготовкой и состоянием духа...

— С вами будет легко в бою, товарищи, — добавил он под конец. — Перед нами трудная и ответственная задача: разгромить и уничтожить фашистские полчища, освободить нашу священную землю. Я уверен, что ваш полк с готовностью выполнит любое самое сложное боевое задание...

Вслед за комдивом выступил командир стрелкового полка, полковник, фамилии которого я не расслышал.

Наш расчет стоит в первом ряду. Полковник говорит о воинской дисциплине, о недопустимости ее нарушения. Рассказывает о некоторых нарушителях и о том, каким наказаниям они были подвергнуты. Все это не имеет прямого отношения к нашему полку, а потому мы слушаем его относительно безучастно.

— Страна наша сейчас в тяжелом положении, — говорит полковник. — Мы не на жизнь, а на смерть деремся с заклятым врагом, с солдатами гитлеровской Германии, которые вот уже девять месяцев разоряют нашу страну. Долг каждого из нас свято

исполнить приказ Родины — сделать все, чтобы вышвырнуть врага с нашей земли. Так будет непременно. Но чтобы это свершилось как можно скорее, каждый боец прежде всего должен соблюдать железную дисциплину. Не допускайте ни малейших нарушений, товарищи! И честь и совесть ваши должны быть незапятнанными!..

Я нет-нет да посматриваю на своих товарищей. У них-то уж истинно и честь и совесть чисты, как стеклышко. И они готовы выполнить любое задание, пусть хоть даже ценою жизни. Они готовы и умереть во имя Родины.

Взгляд мой останавливается на Сахнове. Я опять вспоминаю про буханку и в общем-то чувствую себя виноватым. Ведь я, хотел того или не хотел, пререкался с сержантом, а это само по себе есть нарушение воинской дисциплины. Сахнов принес хлеб для хозяйки, не доложившись начальству, взял самовольно из пекарни. И если это не воровство, то во всяком случае непорядок.

Но все же как бы то ни было, а Сахнова защитить следовало...

Сейчас говорит уже наш комполка. Заложив руки за спину, вышагивает вдоль строя. Все молчат. Слышна только его речь — чеканная, грозная.

Но вот он кончил и подошел ко мне. Остановился, сумрачно глянул и сказал:

— Снимите ремень!..

Меня как подкосили. Все, конец! Снять ремень — значит, я арестован?..

Комполка взял ремень со звездой на пряжке.

— Комиссар наш с брезентовым ходит. А вы себе попросите другой, пусть старшина выдаст, скажите, я приказал... Идите.

Я вернулся в строй, как вновь родился. Мои друзья, видно, тоже изрядно поволновались.

Сахнов почему-то спросил:

— Голова не кружится?..

Все в порядке. Помкомвзвода нас не выдал.

Сегодня тридцатое марта. Уже три месяца и два дня, как мне восемнадцать. Записи мои путанны.

А ФРОНТ УЖЕ РЯДОМ

Семь дней, как мы в пути.

Вот и Малая Вишера. Небольшой этот городок разрушен до основания. Два месяца назад наши войска выдворили отсюда противника. На железнодорожной станции грудятся разбитые паровозы. Всюду рвы, воронки от снарядов. Снег еще не везде растаял, но он уже черный, осевший. Кое-где попадаются незахороненные трупы — наших и немцев. Один вон торчком дыбится на обочине дороги, наполовину под снегом. Сахнов подтолкнул меня:

— Гляди-ка!..

Череп у мертвеца белый — это снег. На него падают лучи солнца, и снег тает, медленно стекает желтыми каплями. На это невозможно смотреть без содрогания. Я отвернулся. Только куда тут деваться взгляду — всюду трупы. Идущий следом за мной Серож шумно вздохнул. Коля спрашивает:

— Это наши или фрицы?

Никто не отвечает. Мы и сами не знаем.

* * *

Ночь. Остановились передохнуть на лесной опушке. Приказано костров не разводить и курить только в рукав. О горячей пище и мечтать не приходится. Погрызли сухарей и заели снегом. Вспомнился Шурин наказ: «Пей только кипяченую воду...»

А где ее взять, кипяченую?

Днем вдруг подморозило. И теперь мы словно на льдине. Спать хочется донельзя. Но как тут уснешь, на ледяном ложе? Ноги уже не держат. Делать нечего, повалили все рядком прямо на лед — один к одному, дыша друг другу в затылки. Вот теперь примерзну ко льду и больше не встану...

В небе вдруг показался самолет. Его красные огни и зловещий рев вселяли ужас. Того и гляди, сбросит свой груз прямо нам на головы... Максимов зашептал:

— Ты боишься?

— Да... А ты?

— Я мертвецов боюсь...

Я тоже. Трупы издают зловоние, скалятся, словно клянут нас, живых.

Чудо-небо обрушилось на меня.

Во всем том, что зовется фронтом, передовой, есть, наверно, какой-то свой смысл. И тебя как бы затягивают в капкан эти незахороненные трупы, ледяные ложа и оголтело снующие над головой бомбардировщики.

Мы вслушиваемся в тяжелый гул близкого фронта. Похоже, будто земля и небо схватились не на жизнь, а на смерть.

Сахнов не дает мне уснуть. Говорит, замерзну.

Я ничего не чувствую. Стал заледеневшей глыбой. И Серож вроде концы отдал… Нет! Теплый еще. Держится… Моей минувшей короткой жизни словно вовсе и не было. И весны не было. И Маро не было. Шуры тоже не было. Ничего-ничего не было… Были и есть только эта оледенелая земля, этот голый череп. Не было меня и нет… Где я, если я есть?..

* * *

Выглянуло солнце, и идти лесом стало невозможно: грязь, вода по колено, рыхлый снег.

Мы прошагали еще два дня. Война уже бьет в лицо запахом крови и дымом побоищ. Через каждые полчаса только и слышим предостережение: «Во-о-здух!» Как вспуганные овцы, кидаемся в рвы, прячемся в кустах, жмемся к земле. Я зарываюсь лицом в землю, и мне кажется, что я истекаю кровью, что вот-вот, еще миг, и уйду в небытие. Сколько раз я умирал?..

К нам подошел комиссар.

— Ну как вы тут, орлы?

От него пахнет одеколоном. Подпоясан моим ремнем со звездой на пряжке. Но это не вызывает во мне зависти. Да я уж и завидовать разучился.

Мы снова идем…

* * *

Остановились на правом берегу реки Волхова, неподалеку от Новгорода. Нам приказали рыть землянки. Всем расчетом мы сладили себе одну общую землянку. Но, на беду, из-под земли, не переставая, сочится вода. Она уже до самых наших нар

поднялась. Оставляем на ночь одного дежурного, чтоб вычерпывал воду ведром. Сахнов смастерил нечто вроде печки. По ночам в землянке, как в предбаннике, тепло и влажно.

Днем роем рвы, сооружаем укрепления. Немцы периодически «угощают» нас огнем дальнобойных орудий. Нашего помкомвзвода ранило прямо рядышком со мной. Осколок угодил ему выше колена. Только этим бедолага не отделался: заодно в пах угодило. Я перевязал его. Он дико орал:

— На что я теперь годен?..

Руки у меня дрожат. Впервые они коснулись чужой крови и развороченного человеческого тела.

Я взвалил сержанта на спину и потащил в медпункт. Он пробурчал:

— Никогда не забуду твоей доброты.

— А я вашей, — сказал я в ответ. — Помните про хлеб?

— Ты думал, выдам?

Из медпункта я вернулся скоро. Комиссар наш похвалил меня перед строем за то, что помощь раненому сержанту оказал. Я, не отрывая глаз, смотрю на свой ремень со звездой на пряжке.

* * *

Я написал заявление о приеме в партию. Наш комиссар тоже дал мне рекомендацию.

Командир роты, проверяя ночью отряд, застал часового Крюкова спящим на посту, сказал, что, как сменится, его выведут перед строем.

Сегодня семнадцатое апреля. Три месяца двадцать дней, как мне восемнадцать лет. Записи мои пахнут порохом.

ГОЛОС КРОВИ

Перешли Волхов. Здесь наши войска уже отбили у врага небольшое пространство. Здесь-то мы и заняли боевые позиции вместе с еще одним полком нашей дивизии.

Немцы бесконечно атакуют нас, пытаются отбросить назад, утопить в реке. С большим трудом мне наконец удалось сориентироваться, где мы сейчас. За нами Волхов. Он уже по-весеннему разлился — широкий, могучий. Впереди крепость. С Большой землей нас соединяет только понтонный мост. Я набросал на клочке бумаги схему нашего плацдарма. Он получился похожим на завязанный мешок, узкой стороной упирающийся в реку.

Немцы и с воздуха и с земли бесперебойно бьют по нашему понтону. Однако снаряды и бомбы падают все больше в реку.

* * *

Зазеленели деревья. Земля сменила свой убор.

Весна.

Вечером нам велели строиться. Построили и повели на ближнюю лесную поляну. Там уже был весь наш полк — несколько сот человек.

Посреди поляны, на виду у всех, стоял приговоренный к расстрелу боец. Я с ужасом смотрел на него. Майор юстиции, прокурор военного трибунала дивизии, объявил перед строем, что приговоренный осужден за дезертирство с линии фронта.

Это был страшный день.

* * *

Но почему этот расстрелянный дезертир не идет у меня из головы? Мера наказания была заслуженной и справедливой. Как он мог покинуть свою позицию, поставить под угрозу всю свою часть? Ведь ему была доверена защита родной земли, пусть ее небольшого отрезка! Он обязан был сражаться за нее самоотверженно, как за свою собственную жизнь. Нет, такого нельзя жалеть! Что же выходит? Фашист жаждет всех нас уничтожить, а этот негодяй бросает свою позицию, и ему нипочем, что тем самым он открывает врагу возможность уничтожить нас? Но и это еще не все. Враг, возможно, завладел тем клочком земли, который был доверен дезертиру?

Так, размышляя о происшедшем, я целиком соглашаюсь с тем, что дезертир осужден справедливо и что жить дальше он не имел права.

Думаю-то я так, но чувствую себя все равно скверно.

Да, страшный это был день.

* * *

Передо мной разрушенная стена. Это развалины дома с кирпичным фундаментом — только одна стена выстояла. Под ней-то и заняли позиции наши ребята. Дальше враг.

Огонь чуть поутих. Сейчас только редкие вражеские пулеметные очереди прочерчивают стену, как мухи ее обсыпают.

Клонит ко сну. Но я пересиливаю себя, занимаюсь тем, что пытаюсь припомнить, как называются травы и кустики, растущие

под полуразрушенной стеной. И вдруг в зелени четко проступили красные буквы. Что это? Я раздвинул траву. Что-то написано красной краской. Нет, не краской, а кровью. Сон как рукой смахнуло...

«Я ранен. Остался один со своим пулеметом. И вот умираю. Умру, но не сдамся этим псам. Прощай, Родина!..»

Все это написано кровью и уже закаменело на светлом кирпиче. Нет ни имени, ни даты. Ничего больше нет. Я осторожно провожу по этим кровью писанным словам.

Каким он был, паренек, который до последнего дыхания сопротивлялся врагу? Светловолосым или брюнетом? Какую песню любил?.. Никто этого не знает и теперь уже никогда не узнает. Но то, что он любил свою Родину и люто ненавидел врага, это я знаю! Об этом он начертал своей кровью. Кровью простился с родимой землей.

— Как тебя звали, брат мой?..

Стена не отзывается. Я заношу в записную книжку то, что написано кровью. И не замечаю, как на глаза навертываются слезы. Да, этот парень люто ненавидел врага. Ничего другого я о нем не знаю, только об этом говорят моему сердцу его слова. Боец был непреклонен. Надпись — это голос его крови.

Я похолодел: выходит, у крови есть голос?

Я прополол траву, закрывавшую надпись. Пусть все ее видят, пусть все услышат голос его крови!

Эх, донести бы голос этой крови до всей Европы, может, они там отслужили бы в своих соборах молебны по брату моему, по Неизвестному солдату?..

Этот воин не покинул своей позиции. Как истинный герой он лицом к лицу бился с врагом до последнего и тем восславил себя.

Фашисты дошли до этой стены — и дальше ни шагу. Не смогли сделать ни шагу, — потому что здесь стоял он, сын своей Родины,

силой и мощью которого была его непоколебимая вера, его патриотизм, его преданность отчизне!

Я и прежде многое чувствовал. Еще до того, как до меня дошел голос его крови, душа моя полнилась патриотическим порывом, только я не очень это осознавал. А вот теперь, когда я увидел эту надпись на стене, чувство патриотизма стало для меня понятием вполне реальным, осязаемым. Вот оно, во мне. Я дышу им, оно мне как свет для земли!

Я подозвал своих товарищей, показал им послание безымянного бойца и стену, которая хоть и полуразрушена, но стоит на крепком фундаменте.

* * *

Вскоре к нам на позиции пришел какой-то лейтенант.

Сказал, что он из дивизионной газеты и пришел, чтобы собственными глазами увидеть обнаруженную мною надпись.

Мы оба опустились на колени перед стеной. Так в прошлом склонялись перед ликом святых, моля об отпущении грехов и об очищении души.

Лейтенант сфотографировал надпись. Потом мы еще поискали вокруг, не найдется ли какой другой реликвии. Но что еще такого можно найти, что было бы сильнее голоса крови.

Сейчас двадцать девятое апреля. Четыре месяца и один день, как мне восемнадцать. В моих записях — голос крови.

КРОВЬ САХНОВА

Едва земля чуть подсохла, враг начал усиленно атаковать наши позиции. В реку нас хочет сбросить, утопить, как котят.

Мы передислоцировались и укрепились близ деревни Мясной Бор. Дневник вести больше не на чем. Я теперь записываю события дня на полях книжки «Западноармянские поэты». Бумаги нет совсем. Письма домой тоже приходится писать на вырванных из этой книги страничках.

Ночи здесь сейчас белые, чуть подернутые сумеречной мглой, как душа у меня...

Выдалась кратковременная передышка. И мы не ведем огня, и враг тоже. Ясное майское утро, легко дышится, и кажется, что ясность эта никогда и ничем не замутится, не померкнет. Мы сидим в окопах. Нас восемь человек: Сахнов, Серож, я и еще пятеро бойцов.

Тепло. Мы сбросили шинели и покидали их на стволы минометов. Очень смешно получилось: словно это вовсе и не минометы, а люди, сидящие на корточках.

Над нами показались пять немецких «юнкерсов». Их сопровождают несколько пикирующих «мессершмиттов». Они то, как осы, роятся вокруг бомбардировщиков, то вдруг взмоют вверх, а оттуда снова кидаются вниз.

«Юнкерсы» идут тяжело, подобно пресытившимся стервятникам. Медленно снижаются над нашими позициями, оглашая все окрест тяжелым ухающим грохотом. Бомбят они довольно далеко от нас, похоже, где-то у переправы.

— Как бы мост не разбомбили, сучьи выродки! — первым из нас заговорил Сахнов.

Он довольно спокоен, можно подумать, даже безразличен ко всему, что происходит вокруг. И стоит мне только взглянуть на Сахнова, на душе делается как-то радостно. Ну какая сила может сломить таких, как Сахнов? Несломленный непременно побеждает...

Вокруг нас леса. Деревья тоже ранены. В стволе одного из них поблескивает осколок снаряда. Он такой, что кто-то из бойцов даже скатку на него навесил, как на крюк. Это раненая липа. Чуть поодаль от нее сосны с полуошкуренными стволами. Ох, эти беззащитные, девственно-стройные, нежные деревья! И кора у них такая тонкая. Но почему стволы почти сплошь оголены? Ах, да... Это с них специально сдирают кору, шалаши кроют, чтоб от дождей хоть немного спастись. Сначала делают топором вертикальный надрез, потом осторожно оттягивают, и кора довольно легко отдирается. Метра по два снимают с каждого дерева. Так у нас в горах освежевывают овец: делают на ноге забитой овцы надрез, накачивают под кожу воздух и с раздувшейся туши разом сдирают шкуру. Из шкур потом делают бурдюки для хранения сыра. Здесь сыра нет. Здесь кора уберегает измученных воинов от ливней. Вот почему горемыки сосны полуголые.

— Этот лес уже ни на что не сгодится, — говорит Сахнов.

— Почему?

— Голые сосны посохнут. А те, что с виду целы, тоже в дело не пустишь, на строительство не пойдут. В каждом из деревьев по тонне стали — осколки снарядов да бомб, пули и разное такое. Никакая пила не возьмет, все зубья переломаются.

Вот и еще урон, нанесенный фашистами. Как бесконечно много бед принес нам враг, с огнем и мечом ворвавшийся на нашу землю!..

«Мессершмитты» и «юнкерсы» убрались восвояси. Воцарилась удивительная тишь.

Настроение у меня вовсе не плохое. Только вот ведь проклятье, нестерпимо хочется увидать человека в гражданском, особенно какую-нибудь девушку или женщину... Товарищи мои нет-нет да и предаются воспоминаниям, рассказывают, кто и как в первый раз целовался, познал женщину. Для меня все это что-то очень далекое, несбыточное... Люди хоть на минуту забываются и, отрешившись от ужасов окружающего, уносятся в мечтах... Я с

грустью и сожалением вспоминаю тех девушек, которых мог бы целовать, но не делал этого. Эх, прожить бы все сначала!..

Кажется, будто здесь, на этой разоренной земле, никто и никогда не жил. Но нет! Роя окоп, один из бойцов нашел осколок зеркала. Он пристроил его в ложбине, заглянул и расхохотался.

— Эй, братцы, а я вижу в зеркале девушку, вот те крест!..

Он целует в осколочке свое отражение.

Мы тоже хохочем...

Сегодня я богатый. Раздобыл листок бумаги. На письмо. Чуть желтоватая, но на письмо сойдет, я вывел химическим карандашом:

«Здравствуй, мама. Прошло совсем немного времени с того дня, как я отослал тебе последнее письмо, а адрес наш опять переменился. Сейчас я нахожусь на берегу реки Волхов, в действующей Красной Армии. Чувствую себя очень хорошо...»

Потом написал адрес. Вот он:

«Действующая Красная Армия, полевая почта 1670/75, С/П Мин. бат.». «Милая мама, два дня назад меня приняли в кандидаты партии!.. Ты обо мне не тревожься. Я здоров. И совсем не болею».

* * *

Мы сражаемся упорно, отважно. Немцев не видно, они хоронятся за деревьями, за пригорками и в земле окапываются. Бьют по нашим расположениям из пушек, из пулеметов, из автоматов и с неба. Очень нас одолевают немецкие снайперы. Они, как дьяволы, на деревьях гнездятся. И лупят оттуда нещадно. Истинное бедствие для нас.

Мы ни дня не стоим на месте. То и дело меняем позиции на узком плацдарме. Бесконечные передислокации, бесконечное рытье окопов совсем измотали нас. Так устаем, что на коротких привалах валимся на месте, хоть в грязь. Сахнов ворчит про себя:

— Я этому треклятому Гитлеру самолично глаза повыкалываю. Что ему здесь надо было?..

* * *

Мы забыли, что май, что весна, зеленеют деревья, травы, цветут цветы. Мне хочется только поспать на мягкой земле в вырытом мною же окопе. Лечь, укрыться шинелью с головой и спать, спать... Но как тут уснешь, если фашисты опять атакуют? И я, скрежеща зубами, бросаюсь к своему миномету, готовый к схватке.

* * *

Светает. Мы занимаем позиции близ узкоколейки, на лесной опушке. Я лег на спину и, о чудо, увидел, что небо синее-синее и есть в нем что-то трепетное, дивное. В его лиловых далях еще поблескивают несколько неотгоревших звезд. Где оно было, это небо до сих пор? Голова моя обычно все больше клонится к земле, глаза видят только оружие и следы смерти. Саму смерть...

Поляна напротив взбучивается, словно кипит от беспрерывных разрывов снарядов. Враг атакует. Я не вижу немцев. Их самолеты летают так низко, почти над головами. Бомбят, строчат из пулеметов. Одного бойца из нашего взвода убило, другого ранило. Кто-то как безумный бегает, видно, ищет укрытия понадежней... Коля!.. Я схватил его за ногу, потянул к себе в окоп.

— Дурень, чего носишься?

— Я? — удивился он. — Разве я бегал?..

Мы в упор бьем по наступающему противнику.

Ранен командир нашей роты. Это переполошило нас. Политрук хоть парень-то что надо, но сейчас растерялся, не знает, что ему делать. А мы воюем, стреляем, стреляем.

Передо мной все затянуто дымом. Это от нашего огня.

* * *

Полдень. Пригибаясь, мы вслед за командиром взвода пересекаем поляну. Ползти невозможно, мы ведь с минометами — тяжело.

Сахнова ранило в ногу, я кинулся к нему. Он застонал.

— Перевяжи меня, сынок.

Я вытащил свой индивидуальный пакет и перевязал его.

— Если кровью не истеку, значит, выживу. У меня в вещмешке три сухаря и бритва. Возьми их себе.

— Мне не надо, — попытался отказаться я. — У меня есть бритва.

— Возьми! — настойчиво твердил он. — Меня же в тыл отправят. Там я найду все, что потребуется, а тебе память будет.

Я исполнил его просьбу, взял бритву и сухари тоже. Он попросил мой домашний адрес.

— Буду с ногой, — сказал Сахнов, — снова вернусь в нашу часть. Ну, а если с культей останусь, твоих разыщу.

Я вырвал страничку из «Песен и ран» и написал адрес. На этой странице было напечатано стихотворение: «Поведайте о скорби

моей». Отец мой изредка напевал эти слова на какую-то свою мелодию...

Сахнов ползком стал отходить назад, а я — вперед.

Поведать о скорби моей —
Горы взвоют...

Пули свищут вокруг — над ухом, перед глазами. Наших не видно, но я держусь их следа. Вовсю жарит солнце... Задыхаюсь под тяжестью своей ноши — миномет как в тисках меня зажал.

Добрался до невысокого холмика. Лиловые головки клевера поникли, подбитые пулями. Я вытянулся на траве. Прямо перед глазами, в голубой цветочной чашечке, две букашки. Постель у них небесно-голубая, и крылышки обласканы солнцем. Чуден мир!..

Я поднялся и перепрыгнул через холм. И тотчас вслед мне застрочил пулемет, но я уже был в воронке. Дно ее застилала спекшаяся кровь.

* * *

Только под вечер я нашел своих. Из всей роты остались в живых восемнадцать человек. И с ними политрук. Хоть я и был зверски усталым, все же вырыл себе неглубокий окопчик и залег в нем. Чуток бы поспать...

Старшина принес нам в термосах еду и ахнул:

— Вас так мало осталось?!

Мы протянули свои котелки. Каши он дал на сей раз не жалея.

— Ешьте и за убитых...

Я быстро справился со своей долей и забрался в окоп.

Вдруг одна за другой грохнули две мины, разорвались в том самом месте, где сидели мои товарищи. Только две мины...

Я выскочил из окопа. Передо мной лежало тело с оторванной головой, а рядом Коля с разорванной грудью. На кровь уже слетелись мухи. И когда только они успели учуять смерть, проклятые?

Из восемнадцати человек уцелели я, Серож и еще наводчик. Четверо ранены, а остальные убиты. У одного в руках, у другого в зубах еще зажаты куски хлеба. Чтобы не потерять сознание, я до боли прикусил себе язык и вдруг услыхал голос политрука:

— Помоги раненым.

Из Колиного котелка еще шел пар, рядом лежал надкусанный ломоть хлеба...

— Убитым уже не поможешь, ты лучше перевяжи-ка меня...

Это сказал раненый боец. Он сжимает свою оторванную левую руку, пытается хоть как-то остановить кровь.

Я содрал с себя обмотку, кое-как перевязал его руку и только после этого обрел дар речи.

— Санитар!

Из-под деревьев вынырнула девушка с санитарной сумкой. Худенькая, высокая, неприметная... О боже, это же Шура!.. Но она меня не узнала. Сколько уж мы не видались друг с другом!.. А может, узнала, только виду не подала? Нет, не узнала. Я ведь сейчас на себя не похож, обросший, грязный и весь обтрепанный. От страха и ужаса на мне небось и лица нет.

Она окинула взглядом раненых и отпрянула...

Я не знал, что и подумать. Политрук дернул меня за руку.

— Пусть… Испугалась крови…

Может, я ошибся, и это вовсе не Шура? Но если не она, то отчего же мое сердце так бьется?

Кровь Сахнова засохла на моих руках и на бумагах в моем нагрудном кармане.

Сегодня двенадцатое мая. Уже четыре месяца и пятнадцать дней, как мне восемнадцать. Записи мои в крови.

СВАДЬБА ПОД ГУСЕНИЦАМИ ТАНКА

Ночь. Мы вдруг неожиданно наткнулись на командира нашего полка. С ним было всего человек пятьдесят — шестьдесят. Под деревом лежал убитый комиссар, и ремень мой на нем, со звездой на пряжке.

Командир полка посмотрел на ствол миномета у меня на спине и покачал головой:

— Молодец, что вам удалось уберечь эту штуку! — На лице у него страдание. — Заберите свой ремень. Комиссару он больше не нужен…

Но я даже не взглянул на ремень.

— Во всяком случае врагу все же не удалось выбить нас с наших рубежей.

* * *

Мы заняли новые позиции на высотке в полусожженном, поредевшем лесу. Из трех минометных рот едва сколотили взвод. Меня назначили командиром расчета и придали еще двух бойцов. Вполне достаточно: вместе с Серожем нас четверо.

Враг не одолел нас. Хотя я ума не приложу, как нам удалось выстоять. Войну я раньше представлял совсем по-другому. А она вон какая!..

* * *

Мы ведем оборонительные бои. По-прежнему не хватает провианта и оружия. Мины расходуем с расчетом.

Белая ночь.

Немцы снова начали штурмовать наши позиции. С неба к тому же на наши головы посыпалось бессчетное множество листовок, как снег. И надо сказать, листовки эти очень даже нам пригодились — все пошли на самокрутки.

Политрук увидел торчащую у Серожа из кармана листовку и насупился:

— Зачем подобрал?

— Махорку закручивать, товарищ политрук!..

Политрук приказал собрать все листовки и сжечь.

* * *

Июнь на севере. Ночь, как день, только пасмурный. Дома меня в такие дни обычно клонило ко сну. Сейчас не поспишь. Фронт, война, мы на левом берегу Волхова у деревни Мясной Бор. Самой

деревни уже нет, враг сровнял ее с землей. И леса нет — сгорает и рушится под нескончаемым перекрестным огнем. Бьет артиллерия, сыплется град бомб с «юнкерсов» и «мессершмиттов». И градины эти весят тонны. Угоди одна из них в нашу вершину Лачи´н — следа не оставит.

Мы ведем бой, зарывшись в землю. Я бью из миномета. Подносчик подает мне мины, я закладываю их в ствол и стреляю.

— Дай бумаги на закрутку...

Во всей части нет бумаги для курева. Я уже говорил, что у меня были с собой две книги «Песни и раны» и «Западноармянские поэты». Последняя напечатана на очень тонкой бумаге, и есть странички, где только половинка занята текстом. Я осторожно бритвой отрезаю чистую полоску и подаю подносчику — пусть покурит. На этой странице напечатаны строки поэмы Варужана[6] «Наложница». «Весенним вечером в палатах мраморных», — шепчу я по-армянски. Подносчик мой ничего не понимает. А мое сердце переполняется каким-то удивительным благоговением к этой едва занимающейся весне, к этой земле и небу. И смерть, которая окружает меня со всех сторон, уже ничто.

«Песни и раны» я заучил наизусть от первого стихотворения и до последнего. Исаакян всегда со мной...

Кто-то окликнул меня. Я обернулся. Высокий, смуглый парень Смбат Хачатрян. Он из села близ Гориса. В руку ранен. Я не мешкая перевязал его.

— Где тут санбат?..

Я показал ему направление. Ранение у него тяжелое, но он держится на ногах довольно твердо. Мне вспоминается его отец, землепашец Симон Кривой, и сестры, их ни много ни мало — целых шесть. Сейчас они все, наверно, в ожидании и надежде.

— Поправишься, Смбат!..

— Конечно, а как же иначе... Куревом у тебя не разживусь?..

Я снова берусь за свою книжку. Отрезаю кусочек бумаги и сворачиваю ему цигарку. Он с удивлением уставился на книгу.

— Смотри-ка, на что сгодилась!..

Даю ему прикурить, и он уходит. «Встретил я, сестра, страждущего сына твоего. Пулю прижимал к груди, а не ярь свою...» Поэт шептал мне на ухо: «Мужайся, сын мой». Мужаюсь, только бы Смбат выжил.

* * *

Сорок второй год, восьмое июня.

Жесточайшие бои идут и днями и ночами. Хотя какие тут ночи? Небо светлое, одно слово — белые ночи. К тому же бесчисленные ракеты и отблески артогня не дают ни на минуту сгуститься сумраку и сморить нас сном. Ничто другое не мучает так, как жизнь без сна. У меня одна неизбывная мечта — спать, спать и спать, досыта отоспаться.

Гитлеровцы беспрерывно атакуют нас, и наши ребята вконец измучены без сна, без домашнего тепла, без многого другого, чего ничем не заменишь и без чего души не утолишь. Они с неистребимой отвагой и самоотверженностью противостоят гитлеровцам. Иные, уже тяжело раненные — в ногу или в руку, — продолжают сражаться, подрывают танки противотанковыми ружьями, гранатами, из последних сил делают все, чтобы не дать врагу продвинуться вперед.

В каждой из стрелковых рот нашего полка осталось всего по пятнадцать — шестнадцать человек. И тем не менее вот уже восемь дней врагу не удается приблизиться хотя бы к одному из наших блиндажей. Никто не оставляет позиций. Не ребята — орлы! Какая сила духа, сколько отваги! Только пусть бы все эти самоотверженные, мужественные парни остались живы!..

* * *

В сообщениях Совинформбюро о боях на нашем фронте было написано так:

«...Противник, сконцентрировав большие силы, атаковал наши позиции, но советские войска, героически сопротивляясь, отбросили его назад».

Это строгая констатация факта. А я за этим вижу своих павших товарищей.

Наши огневые точки разрушены. Мы спешим наскоро соорудить новые. В моем расчете нас осталось только двое — я и ефрейтор Давыдов. Я прицеливаюсь, а Давыдов заправляет в ствол мину. «Выстрел!» — командует он, как положено по уставу, и убирает руки от ствола. Миномет грохочет, и я вижу, как мина по траектории, словно поджавший крылья сокол, сначала устремляется вверх, чтобы потом ринуться вниз и точным попаданием поразить цель.

— Выстрел! — повторяет Давыдов в тот самый миг, когда я уже подправляю прицел, чуть сместившийся после предыдущего удара.

* * *

Семь пятнадцать. Противник обрушил на нас новый ливень огня. Давыдов взял было очередную мину, да вдруг ткнулся головой во взрытую землю. Каска свалилась с него, и я увидел кровь.

Пуля попала Давыдову в лоб.

Кровь — фонтаном бьет на зеленый ствол миномета и стекает вниз...

Теперь я один устанавливаю прицел и закладываю мины в ствол.

— Выстрел!.. — командую я себе.

«Давыдов, встань, я же совсем один! Давыдов, миленький, поднимайся! Враг атакует, вставай!..»

Давыдов мертв.

* * *

Только через два дня мне дали подмогу. Бойца с передовой, выбравшегося из вражеского окружения. Худущий, глаза отекшие.

— Два месяца были в кольце. Восемь дней ничего не ели...

Как бы то ни было, а у меня теперь есть товарищ. И с ним война уже не так страшна.

Сегодня восьмое июня. Пять месяцев и одиннадцать дней, как мне восемнадцать. Записи мои изранены.

МОЙ СОН СБЫВАЕТСЯ

Белые ночи. Не могу надивиться. Такого я в жизни не видел, даже птицы поют в кустах.

Нам выдали «энзе». Это паек на три дня: сухари, сахар, концентраты и разное другое.

«Энзе» выдают на случай непредвиденных обстоятельств. И вот, получив этот самый «энзе», Серож, удобно устроившись, принялся тут же с ним расправляться.

— Ешь, — сказал он мне. — Для чего его беречь? Съедим, и все тут.

— Но это же «энзе»! Как можно?..

— Ясно, что «энзе». Только кто же поручится, будешь ты жив через полчаса или нет? Ешь давай...

* * *

Мы ведем тяжелый бой.

Неподалеку от моей позиции стоит батарея «катюш». Так мы называем наши гвардейские минометы. Слава этих мощных орудий велика. Они наводят страх и ужас всюду, где появляются.

«Катюши» открыли огонь. И в то же мгновение на позициях противника поднялся невообразимый переполох, все вокруг затянуло гигантским огненным заревом.

У меня кончились мины. Я обратился к командиру взвода. Он сидел в траншее, глубокой, едва макушка головы виднеется. Говорю, мины кончаются. Он заорал:

— Пошли людей, пусть принесут, дурак!

Ну и обозлился я на него за этого «дурака». С чего вдруг «дурак»?

Я отправил двух бойцов за минами. Возвращаюсь в окоп, а там уже полно воды. Вычерпал ее котелком и лег прямо на сырую землю в ожидании, пока они принесут мины.

На передовой все грохочет. В небе видимо-невидимо немецких самолетов. На фоне утренней голубизны эти крылатые чудища напоминают стервятников и в клювах смерть. Я прикрываю веки, чтобы не видеть этих грохочущих и воющих сеятелей смерти.

И глаза больше не открываются. Так устал!.. И вдруг я на свадьбе.

* * *

Сон это. Нас с Маро женят. Играет музыка, хлопают в ладоши. Вот меня зовут в пляс, а мама тянет за полу и уводит из комнаты.

«Не твой сегодня день...»

Проснулся от того, что земля на меня сыплется. Поблизости разорвалась бомба. Смахнул землю с лица, и сон снова одолевает.

Опять разрыв. Что-то сильно сдавливает мне ребра — откуда-то сверху навалилось. С трудом разнимаю веки. Темно. Двинул рукой, и, о ужас, на меня навалилась какая-то глыба, как мост. На миг мне кажется, что меня уже нет, что я мертв. Я застонал и... провалился в бездну. Легко, очень легко я умираю, легко падаю...

Дым шибает в нос. Вот диво — перед глазами уже свет! Я сажусь. И вижу Серожа. А с ним еще какой-то боец.

— Ты жив?!

Откуда мне знать, жив или мертв? Нога тяжелая, ребра болят.

Серож выволок меня из ямы.

— Через тебя танк прошел...

Чуть поодаль на опушке леса стоит подбитый танк. И я что есть силы начинаю хохотать, чтоб ума не лишиться.

Этот танк раздавил целый минометный расчет. Из четверых только один спасся. Ну, а меня, как говорят, бог уберег: окоп у меня глубокий и узкий, к тому же по краям вбиты два толстенных бревна — стволы деревьев. На них-то как раз и угодили гусеницы танка, потому я и выжил. Выходит, мой бог бревном обернулся. Вот и не верь после этого в судьбу и скажи, что сон — это враки!..

Как бы то ни было, на этот раз я спасен. Но оглушило меня, словно ударили обухом, и зуб на зуб не попадает — такая бьет

дрожь. Серож водой меня поит. Прибежала Шура со своей санитарной сумкой. Бледная. Она потрогала мою ногу, погладила лицо, проверила пульс. Я слышу, как от нее пахнет лекарствами и сырой землей. Взял ее за руку. Она говорит:

— Мне кажется, у тебя трещина в ноге.

Рука у Шуры холодная, кожа мягкая. Серож ищет мою каску и пилотку. Но они же были у меня на голове?! И нету. Шура заполнила листок на раненого и сунула мне в карман.

— Ой, боже мой! Ты под танком был?!

Нога ужасно распухла. Шура взвалила меня на спину. Я смутился. Одно только утешало, что весу во мне не очень много — килограммов пятьдесят, не больше, а потому не такая уж это тяжесть для Шуры. Я вдыхаю знакомый запах Шуриных волос, губ моих касается непослушный золотистый завиток. Глаза сами собой закрываются от блаженного удовольствия.

Сегодня десятое июня. Пять месяцев и тринадцать дней, как мне восемнадцать лет. Записи мои на немецкой бумаге.

В ПОЛЕВОМ ГОСПИТАЛЕ

Шура дотащила меня до медпункта и положила на земле.

— Потерпи.

Она склонилась надо мной и приникла губами ко лбу.

— Потерпи, слышишь? Не умирай!..

Насыпала мне в карман горсть махорки.

— Не умирай!..

В голосе ее тревога и трепет. Я очнулся, словно выплыл из мглы.

— А где ты была до сих пор, Шура?

— В аду! — вздохнула она. — И сейчас тоже.

— Шура! А я ведь тебя видел, — сказал я. — Недели две назад.

— Не помню... Ну, давай держись. Не падай духом.

Попоила меня из ладошки, склонилась, хотела поцеловать, но потом вдруг отпрянула.

Здесь, вокруг медпункта, в кустарнике раненые.

В окровавленных халатах, забывшие о сне и отдыхе, усталые и измученные, врачи не успевают помочь всем раненым. Ребята истекают кровью. Скольким из них Шура оказала первую помощь и вынесла из огня?.. Как знать? И сейчас она опять ушла помогать раненым, спасать их. Моя Шура — спасительница!.. Моя Шура. Александра Михайловна Иванова.

Фашистские самолеты коршунами нависли над нами, ранеными, и стали бомбить. Ходячие кинулись кто куда мог. А мы остались лежать на месте. Я закрыл глаза. Рядом парень закричал нечеловеческим голосом:

— Бейте, кончайте!..

Ад кромешный! Проклятый немец снова бьет и без того истерзанных людей. И к тому же безнаказанно.

До полудня враг бомбил нас пять раз. Мимо меня прошел врач.

— Помогите, ради бога!..

Никогда я раньше не поминал бога. Врач поднял меня и положил на повозку.

* * *

Повозка эта еще петровских времен. Катится так, будто колеса у нее не круглые, а квадратные. От тряски нога у меня так болит, словно ее отрывают. Из последних сил стискиваю зубы, чтоб не закричать. Фашистские истребители строчат из пулеметов. Угодили в нашего возницу. Он упал замертво. Я снял с себя ремень, стеганул лошадей и погнал их к ближнему лесочку.

Огненный ливень не прекращается.

Только к вечеру добрались мы до санбата. Я совсем обессилел, едва руками шевелю, а ноги и вовсе не мои.

* * *

И врачи и медсестры в госпитале диву дались, прочитав в моей справке о ранении. Шура там написала: «Попал под танк».

— А как же это вы живы остались?..

Их удивление меня вдруг страшно перепугало. Мне уже не спится не от боли в ноге, а от ужаса. Как только вспомню себя лежащим там, под танком, так волосы на голове дыбом встают.

Меня поместили в сырой и тесной землянке. От комаров и москитов спасенья нет. Тучей вьются вокруг. Каша, пока ее съешь, покрывается москитами слоем в палец. Нога у меня туго-натуго перевязана. Врач смотрел, сказал, что нерв защемлен. Это меня обрадовало, выходит, кости целы, а значит, буду с ногой.

Я раздобыл себе хорошую палку и, опираясь на эту свою самодельную трость, начал пробовать ходить.

От нечего делать играю в шахматы, от точки до точки прочитываю все попадающие под руку газеты.

Грустные, тоскливые дни. Того и гляди, одичаешь от этой лесной жизни.

Сегодня шестнадцатое июня. Пять месяцев и девятнадцать дней, как мне восемнадцать. Записи мои ранены.

ЧЕРНЫЕ ВЕСТИ

Оказавшись в полевом госпитале, я в первый же день написал своим ребятам, чтобы все мои письма пересылали на этот адрес.

Под густой ветвистой елью сколочен стол из нетесаных досок. Это наша почта. Ворох писем приносят сюда. Кто-нибудь из раненых громко выкликает фамилии на треугольниках и конвертах.

На фронте у бойца нет большей радости, чем получение почты. Вот и здесь, в полевом госпитале, этот длинный поскрипывающий стол — самое заманчивое место.

Полдень. Я, прихрамывая, подхожу к «почте». Какой-то высокий парень читает фамилии на конвертах. Вот наконец он с трудом, отчаянно коверкая, выкрикнул и мою. Я взял у него конверт и не отхожу.

— Ну, что стоите?.. — удивленно спросил он.

— Жду. Может, мне еще будет письмо.

— Какой ненасытный! Тут есть люди, которые уже вовсе не получат письма.

Это ужасно, но действительно так. Иные бойцы знают, что все их родные погибли и в сожженных дотла деревнях никто уже не надет их, и писем, понятно, писать некому. Знают, а тем не менее каждый день собираются вокруг «почты» с затаенной надеждой и с безнадежностью: что, если вдруг?.. Но так и уходят ни с чем.

Никто не воскресает из мертвых!..

Уходят, а на следующий день опять собираются у стола-«почты»...

Я со своим письмом отошел в сторонку, под дерево, сел на скамейку, предвкушая радость вестей из дому... Письмо от сестры, от той, что учится в техникуме.

«Дорогой мой брат! Мама тяжело заболела. Ведь к нам пришла черная бумага...»

В глазах у меня потемнело, и я непроизвольно сполз со скамейки, повалился на коленки прямо на землю. Откуда ни возьмись, подбежала медсестра:

— Вам плохо?.. Давайте я отведу вас, уложу. Зачем вы встали с постели?.. Вы еще не совсем здоровы...

Но тут она заметила дрожащий листок в моих руках и, видно, сразу поняла, отчего мне не по себе.

— Несчастье?..

— Брат... Убит на фронте...

— Из дому пишут?

— Да...

Она помогла мне встать и усадила на скамейку.

— Ну зачем они так? — с досадой в голосе сказала девушка. — Разве можно бойцу на фронт сообщать о гибели близких! А вдруг это еще и неправда? Ведь бывает же так, часто ошибаются, и смотришь, считали убитым, а человек, оказывается, жив...

Добрая, славная девушка, самоотверженная и сердобольная, как сама богоматерь, откуда тебе знать, что эти же самые слова я ровно месяц назад говорил другому бойцу. Ему тоже пришло письмо из дому, где писали, что его брат погиб под Тулой.

Помню, он прямо на позициях прочитал письмо и тут же начал горько плакать. Я тогда подбежал к нему.

— Что, — говорю, — ранен?

— Нет, — отвечает. — Письмо вот пришло из дому...

Он продолжал плакать. Я прочел письмо. В нем было написано о гибели брата, о том, что получили извещение.

И я тогда тоже сказал:

— А вдруг это еще и неправда?..

Но он только больше расстроился...

Ничем мне не удалось утешить бедного. Целый день он ходил как потерянный. Места себе не мог найти, все метался, как раненый зверь... В тот же день бедолага погиб, так и не придя в себя от горя...

И вот сейчас эта курносенькая девушка, с еще детским личиком, тоже пытается успокоить-утешить меня и делает это с таким рвением, с таким состраданием, что я уже стыжусь своих слез...

Ночью я написал письмо нашим. Тоже старался убедить и маму и сестру, что, возможно, это еще и ошибка, недоразумение. Что на фронте такое случается сплошь и рядом... Не утешить старался, а обнадежить. И делал это с уверенностью. Сердце мне подсказывало: «Неправда это! Неправда! Брат жив, жив!..»

А перед глазами стоял тот отчаявшийся, потерянный боец, который погиб, так и не придя в себя от обрушившегося на него горя.

Неужели судьба и мне уготовила такую долю? Но нет! Сердце подсказывает другое, совсем другое.

* * *

Утро. Комиссар госпиталя зашел к нам в землянку.

— Я должен сообщить вам, товарищи, неприятную новость! Фашисты подошли к Сталинграду. У этой нашей крепости на Волге сейчас идут тяжелейшие бои, уже на подступах к городу.

Больше он ничего не сказал. Мы все спустились со своих нар и сгрудились вокруг врытого в землю стола. Там лежала истрепанная карта. Взгляды наши сошлись на синей жилке — на Волге, у самого Сталинграда. Ни у кого рука не поднялась прочертить стрелу к большому кружку, обозначавшему город.

И куда же это он добрался, Гитлер?.. Неужели и Волгу одолеет?

Никто слова не произнес. Казалось, что люди даже и не дышат. Капитан один, в руку раненный, рванул с груди марлевую косынку и сказал в гробовом молчании:

— Рука у меня почти здорова! — Он поднял ее и встряхнул. — Ну конечно же здорова. Я возвращаюсь к себе в часть.

Капитан вышел. Я видел, что из раны у него засочилась кровь — бинт стал красным.

— Вот тут-то, на берегу Волги, мы и сломаем хребет немцу, — сказал стоявший рядом со мной майор. — Дальше нам отступать некуда.

Один из лежачих вдруг запел:

Волга, Волга, мать родная,
Волга — русская река...

Сегодня восемнадцатое июля. Через пять месяцев и десять дней мне исполнится девятнадцать лет. Записи мои изранены.

ПРЕЖНИЙ СТРАХ

Нога у меня еще забинтована, но я уже довольно свободно хожу. Познакомился с одним лейтенантом. Он из особого отдела. Нераненый. Живет и работает в маленьком домике, чуть поодаль от наших землянок. У него там и телефон есть.

Однажды он дал мне целую буханку хлеба и сказал:

— Два моих бойца в командировке. Это их доля. Возьмите, пожалуйста, не отказывайтесь.

Я, конечно, взял буханку, принес и разделил со своими соседями по койке. А еще краюху отнес Ерему Шалунцу. Ерем мой земляк, мы вместе пошли в армию, вместе еще в стройбате служили. Потом он тоже после Челябинска был в Кургане — перед отправкой на фронт. Словом, давно мы вместе, только в разных подразделениях. Он ранен в руку.

Бедняга вечно голоден.

— Ненасытный я какой-то, — с грустью признается он. — Просто беда...

Он высокого роста, рыжеватый. У него даже брови рыжие. Все вспоминает счастливые времена там, дома.

Они вместе с отцом продукты развозили у нас в городе со склада по магазинам. На тележке, с впряженным в нее ослом.

— Бывало, утром намазываю маслом печенье и ем сколько влезет!..

Рассказывает, а глаза горят алчущим блеском.

— Нет, никогда, наверно, больше досыта не наемся...

* * *

Мой знакомый лейтенант как-то позвал меня к себе. В его тесной, но довольно благоустроенной комнате был еще какой-то солдат, с глазами полными страха и ужаса. Лейтенант сказал, что человек этот грузин. Объявился в расположении госпиталя, по-русски не знает ни слова, и не могу ли я поговорить с ним, выяснить, кто он и откуда.

Я знал от своих товарищей-грузин всего несколько слов.

Делать нечего; вооруженный своими скудными познаниями, я начал спрашивать, как он сюда попал и из какой части. С грехом пополам выяснилось, что парень потерял свою часть в пути к фронту и теперь не знает, как быть.

— Три дня уже блуждаю без сна, без пищи. Помогите...

Я все пересказал лейтенанту. Но поскольку бедняга грузин не помнил, из какой он части, только фамилию командира взвода знал, то и отправить его было невозможно — неведомо куда.

— А что, если он дезертир или?.. — предположил лейтенант.

— Не думаю, — возразил я. — Просто растеряха. По глазам видно.

Лейтенант улыбнулся.

— Ну если это не голос крови в вас говорит, то, может, вы и правы.

И он направил грузина в ближайшую часть, в батальон для выздоравливающих раненых.

— Пусть там отдохнет; видать, поголодал, намучился. А потом его препроводят в какую-нибудь часть.

* * *

Утро. Мой знакомый лейтенант из особого отдела зашел ко мне и говорит:

— У меня печальная весть: ночью пал Севастополь.

Это очень тяжелая весть для всех. Осажденный врагом еще с октября прошлого года, Севастополь долго и упорно героически оборонялся. Сегодня пятое июля. Восемь месяцев город был в осаде. Целых восемь месяцев самоотверженно, на грани легенды, противостоял лютому натиску врага! Какой силой и мощью духа обладали его защитники, вынесшие все это? Есть ли подобный пример в истории человечества? Едва ли.

Севастополь пал. Гитлеровцы широким фронтом продвигаются к Кавказу.

* * *

Комары одолевают раненых. И спасу от них никакого. Лейтенант-особист дал мне кусок марли.

— Сшейте, — говорит, — мешок и наденьте на голову. Все будет лучше. И, к слову, скажите-ка, Ленинакан от турецкой границы далеко?

— Да нет. Он как раз у самой границы, — сказал я, вспоминая печальные события минувших лет. — А почему вы вдруг об этом спрашиваете?

— Турция стягивает войска к границам Армении.

— Уже напала?.. — У меня сердце оборвалось.

— Пока только готовится. Немецкие войска наступают на Северный Кавказ. Они приближаются к Грозному...

— И что же будет?..

— Турция ждет падения Баку. Они так и заявили Гитлеру: мол, только немцы захватят Баку, она, Турция, двинет на нас. Вот оно что...

В пятнадцатом году Турция накрыла могильным камнем Западную Армению, теперь она готовится обратить в прах и Восточную Армению. Что за судьба?.. Под пятой у Германии почти вся Европа. На моей карте тысячи черных кружочков — от самых Карпат и до среднего течения Волги. Когда теперь доведется стереть эти кружки?

— Послушайте, товарищ лейтенант, — сказал я, — вы так много сделали для меня доброго, не смогли бы еще помочь, чтобы меня из госпиталя прямо сейчас отправили на юг Армении, на границу?

— Думаю, в этом нет никакой надобности, — сказал лейтенант. — Гитлер и до Грозного не дойдет. Он увяз в Сталинграде. А Баку ни в коем случае не будет сдан. Судьба Северного Кавказа решается в Сталинграде.

Его уверенность обнадежила меня.

Ерем Шалунц забыл о своем вечном голоде.

— Если турки нападут на нас, — сказал он, — растопчут Армению. Пусть они даже месяц пробудут на нашей земле, это смерти подобно. Что нам делать?

— Проситься в часть, — решил я. — Полечились, и будет. Надо возвращаться на фронт.

Ерем согласно кивнул.

* * *

К главврачу мы пошли вдвоем.

— Хотим вернуться в наши части...

Он осмотрел у нас раны и помрачнел.

— В таком состоянии никто вас из госпиталя не выпишет. И вообще не считайте, что наступил конец света. Мы еще покажем Гитлеру свою силу. Вот долечитесь, тогда и пойдете снова на фронт. Понятно?

Сегодня десятое августа. Спустя четыре месяца и восемнадцать дней мне стукнет девятнадцать. В записях моих тревога.

БРАТЕЦ-ОХОТНИК

Меня вызвали в штаб. Спросили, какое образование и профессия, и сказали:

— Направляем вас на курсы младших лейтенантов.

— Куда?..

— Рядом это. В нашем же лесу.

Срок обучения — всего два месяца. Выходит, уже в сентябре закончу курсы и стану младшим лейтенантом. Что ж, это не плохо.

* * *

Я учусь.

Войны здесь нет. Но боевой подготовкой мы занимаемся по восемнадцать часов в день. Мне легко, я-то был наводчиком и

миномет знаю отлично. Плохо тем ребятам, которые впервые берутся за оружие.

* * *

Утро. По дороге на учение я вдруг услыхал в лесу песню.

Братец-охотник, в горы придешь,
Горную серну станешь искать...

Напевал кто-то по-армянски. У меня от волнения дух захватило. Я рванулся на голос. Вижу, три-четыре человека роют яму. Один из них смуглый, с маленькими усиками, подбородок чуть выдается, что характерно для наших горцев. Боже праведный, да это же Серож! Он бросил лопату и обнял меня.

— Вот так встреча! Ты курсант?

— Курсант, — сказал я, — минометчик. А ты?

— А я пулеметчик.

— Здорово поешь, брат.

— Просто песня хорошая. Благодаря этой песне я столько армян нашел. Едва запою, как на голос идут то один, то другой...

Он угостил меня махоркой.

— Стал курить? — удивился я.

— А что делать?..

* * *

Я часто встречаюсь с Серожем. И это здорово.

Не прошло месяца со дня обучения, а нам вдруг присвоили звания младших лейтенантов и рассылают по частям.

— Там большая нужда в командирах...

Группой пробираемся к правому берегу Волхова, туда, где дислоцируется наша дивизия. На мне командирское обмундирование, и на петличках один кубик. Я ужасно смутился, когда вдруг какой-то сержант меня поприветствовал. В новой форме я более сдержан и полон чувства ответственности. Моя жизнь меняется.

* * *

Серожа направили в пулеметный батальон особого назначения.

Нашу дивизию, как выяснилось, перебросили неизвестно куда, а потому меня прикомандировали к другой части командиром минометного взвода. Здесь все люди для меня новые, кроме Сахнова. Он вылечился и только неделю назад, выписавшись из госпиталя, прибыл по назначению в эту часть. Мой адрес: полевая почта 143, в/ч 168. Сахнов стал говорить со мной на «вы». Я удивился:

— Что это еще за новости, Сахнов?

— Ну а как же? — удивился и он в свою очередь. — Вы же теперь командир, нельзя без уважения...

Я хмыкнул, а сам с грустью подумал: может, это начало нашего отчуждения?

Командир нашей роты человек пожилой — лет под пятьдесят — и добродушный. Он долго со мною беседовал, и, похоже, я пришелся ему по душе.

Наш полк стоит на правом берегу Волхова, близ Селищевской крепости. Место высокое. Внизу река, а дальше еще высота, и на ней уже враг. Там церковь, говорят, времен Александра Невского. Она разрушена. За каменной стеной, опоясывающей церковный двор, немцы устроили свои огневые точки.

Мы ведем оборонительные бои.

Я познакомился со своими бойцами и с позициями, которые занимает взвод.

Командир роты направил меня на наблюдательный пункт, заменить там лейтенанта-наблюдателя.

— Это я тебе по дружбе такое дело доверяю, — сказал он.

— Благодарю. Я с удовольствием исполню приказание.

Он угостил меня водкой.

— Похлопочу, чтобы тебя назначили на мое место...

Чувствуется, у него какая-то боль на душе. И до чего же много у этих стариков разных сложностей!

Он рассказал, что три месяца назад его разжаловали. Был раньше полковником, командовал полком.

— Не спрашивай только, за что разжаловали, — попросил он. — Тридцать лет службы перечеркнуты...

Я не нашелся, чем его утешить. Но чувствовал сердцем, что страдает он безвинно. Этот добрый русский человек чем-то очень напоминал мне отца.

Я перебрался на наблюдательный пункт нашей минометной роты. Даже не пытаюсь искать Шуру. Боюсь сталкивать свою черствость с ее нежностью. Одно слово — дичаю.

Сегодня четвертое сентября. Через три месяца и двадцать четыре дня мне будет девятнадцать. В записях моих все неизменно.

РАННИЕ ХОЛОДА

Дни идут чередой. Стоит чудесная осень. А нам лучше бы туман или дождь, скрыли бы нас от треклятого врага. Но нет, погода ясная, золотая осень, звездные ночи.

Мой наблюдательный пункт на крутом берегу реки. Вход в него из глубокой траншеи, с тыла. Три узкие бойницы смотрят в сторону противника. В средней из них установлена стереотруба. Блиндаж сам по себе небольшой, но укрыт он надежно, да еще и ветками замаскирован. Внутри две скамьи и врытый в землю стол.

Со мной здесь еще три бойца: связист и два разведчика-наблюдателя при стереотрубе. Они доносят мне обо всем, что делается на вражеских позициях.

Справа и слева от меня наблюдательные пункты артиллеристов и целый батальон пехоты в блиндажах и землянках. Ужас, который еще недавно, еще вчера, вселяли в нас фашисты, стал рассеиваться, и я уверен, что немцы, засевшие сейчас в Званках, недолго будут там оставаться и едва ли кто из них вернется к себе домой.

* * *

Диву даемся, но на этом сыром песчаном склоне видимо-невидимо чудесной спелой малины. Особенно много ее у самого берега. Ягода сладкая, как садовая клубника, и очень нежная. Обнаружили мы ее совсем неожиданно, по многочисленным следам птичьих лапок на песке, устремленных к зарослям малинника.

Наш связист мигом набрал целый котелок малины, и мы все также мигом с нею расправились — лакомство что надо.

А один куст растет прямо у амбразуры моего блиндажа. Ветки у него красноватые, как у виноградника.

Я объявил о нашей находке соседям-пулеметчикам. И они, понятно, тоже набросились на ягоды, потому губы у них у всех теперь словно крашеные.

Однако на истерзанной земле и радость недолга. Ночью полил сильный дождь, и вся малина осыпалась, даже незрелые ягоды. Жаль...

— Чего жаль?

Это спрашивает Сахнов. Он по телефону соединился с моим НП, и вот беседуем.

— Малины жаль. Такая была вкусная...

— А я-то уж подумал, не случилось ли там у вас чего, — Сахнов засмеялся. — Больно вы мягкосердечны, сынок. Однако можете меня поздравить...

— Никак орден получил?..

— Получу, — хмыкнул он, — если только... Э, да ладно, не хочу о грустном говорить!.. День рождения у меня сегодня, вот что.

Я не удивляюсь. Человек, он и должен помнить день своего рождения. Хотя не то я, конечно, говорю. Сам-то он не помнит: когда подрастет, либо метрику свою увидит, либо родители скажут, в какой день на свет явился. А Сахнов, между прочим, давным-давно потерял отца с матерью.

— А как это ты узнал, что именно сегодня день твоего рождения? — спрашиваю я у него.

И мне чудится, что я вижу по проводу полевого телефона горькую мину на лице Сахнова.

— Уж и этого мне не знать? — отвечает он вопросом на вопрос.

— И сколько же тебе сегодня стукнуло?

— Ну зачем же уточнять...

— Хочу салютовать тебе — за каждый прожитый тобою год залп из двенадцати орудий!.. О чем тебе мечтается, Сахнов, что тебе видится в твоем завтрашнем дне?

— Фашистский пулемет. Вон его ствол прямо в грудь мне нацелен. Однако шутки в сторону...

Да, всем нам в грудь нацелены фашистские пулеметы, пушки, автоматы и черт знает какое еще оружие. А тут один разнесчастный горемыка в кои-то веки вспомнил день своего рождения, вспомнил жизнь!.. И первый мой порыв — захотелось посвятить Сахнову стихи. Тщетно ищу карандаш. Нет карандаша. Тогда я решаю попросить соседа-пулеметчика «сыграть» эдак мощно на своем «инструменте» в честь Сахнова. И вижу, пулеметчик убит: только-только беднягу сразило, лежит у своего пулемета один-одинешенек.

Я отошел от него. И вокруг и во мне снова властвовала война...

Опять полили дожди. Не видать нам больше малины. Стеной хлещет, одинаково заливая и нас и врагов. Я приказал своим солдатам пообильнее смазать оружие, чтобы не поржавело. Всюду вода — и под ногами, и на голову льет, того и гляди, все блиндажи смоет. А по траншеям так целые реки текут.

Мне вспоминается старая песенка:

Вот и дождь заморосит...

А дальше? Дальше не помню.

Вдруг ударила «катюша». Всеми своими стволами жахнула, и ракеты смертоносным ливнем огня и пламени ринулись сквозь водяную завесу в сторону вражеских позиций... Вспомнил!.. Вспомнил припев песенки: «Джан, любимая, джан...»

Близ Званки от огня «катюши» загорелось дерево. Гигантский огненный столб вознесся в мглистое небо. Неописуемое зрелище. Пылающее дерево унесло меня в наши ущелья. Росла у нас возле дома высокая черешня. С нее был виден сад Маро. Я забирался на самую ее верхушку — гибкие ветви, того и гляди, сломаются — и высматривал оттуда Маро. Отец снизу кричал мне:

— Эй, парень, разобьешься. Слезай... Не разбился.

* * *

Мгла рассеялась. На очень большой высоте летит самолет. Не могу определить, наш или немецкий. Вот он раскидал букеты осветительных ракет — красных, белых, зеленых. Чудится, будто небо обрушилось и звезды, медленно падая, гаснут в пути.

Что там делает Сахнов? Как отмечает свой день рождения? Я, конечно, свинья, надо бы сходить поздравить его. Но кого оставить на НП? И стихотворения в подарок не написал...

Снаружи какая-то возня. Что там? Ах да, к пулеметчикам прибыла кухня, горячую пищу доставили. Я накинул плащ, натянул на голову капюшон и вышел.

Под высокой насыпью стоит полевая кухня. «Привет тебе, любезная, — мысленно заговорил я с нашей кормилицей-кухней. — Ты горемычному брату-солдату лучший друг, пустая ли, полная, все одно. Здравствуй. Мы безгранично любим тебя, как малое дитя грудь своей матери. И хотя твоя «грудь» дымится и часто бывает полупустой, мы любим тебя, даже песенку в твою честь сложили: поем ее, когда голодны. Но сейчас я сыт...»

Запряженная в полевую кухню, маленькая кобылка съежилась под дождем и дрожит мелкой дрожью. Кухонная печурка открыта, из нее вылетают искры и с шипением гаснут. Огромный котел полуоткрыт, и из него валит пар. Пулеметчики спокойно стоят в очереди, один за другим подают повару свои котелки. Тот быстро наполняет их похлебкой и на чем свет стоит клянет дождь, который льет не переставая.

— Не ругайся, — успокаивает его кто-то из пулеметчиков, — он же тебе помогает, недостачи не будет.

Все хохочут.

— А если суп испортится? — вздыхает повар.

— Только бы голова твоя уцелела, по всему видно — товар дорогой.

Очередь опять закатилась смехом.

А дождь не смеется. Он знай себе крутит свой жернов.

* * *

Я люблю нет-нет да «покусывать» противника. Покручу телефон и приказываю своим:

— Сахнов, слушай ориентир пять, прицел десять, угол шесть с половиной. Двенадцатью минами — беглый огонь!..

И по моему приказу сто сорок четыре мины вылетают из двенадцати минометов и все обрушиваются на Званку. Я понимаю, что своевольничаю и меня могут за это взгреть, но ничего не могу с собой поделать. Иной раз еще и километра на два дальше Званок направляю огонь, стоит мне только завидеть там дымок или услышать гул моторов. И этим я, надо сказать, очень даже здорово злю немца, не даю ему спокойно спать и по ответному огню чую, что прыти у него уже поубавилось.

* * *

Светает. На другом берегу реки, в низине, я приметил какую-то черную точку. Глянул в стереотрубу, а это человек. Удивительно то, что он в нашей форме и автомат у него наш.

Я поспешил «разбудить» его. Может, кто из наших, пленный? Или немецкий разведчик в нашей форме? Похоже, он только прикинулся убитым.

Лежит в низине, следовательно, пулеметы наши его не могут достать. Автоматная очередь тоже не возьмет, до него метров шестьсот пятьдесят. Только минометным огнем можно взять в щупальца, навесным.

— Сахнов, будь наготове!..

Первые три мины я положил на таком расстоянии от цели, чтобы не тронуть его. Он не двинулся с места. Я послал еще три мины. Еще и еще бил.

И цель наконец вскочила и ринулась в сторону немцев.

Оттуда помахали рукой. Я перенес огонь на пересечение его пути. Надо во что бы то ни стало уничтожить сукина сына.

— Сахнов, беглый огонь десятью минами!..

Цель моя хоть и не без труда, но одолевает крутой склон. Вот-вот доберется до своих. Я злюсь. Огонь, огонь!.. Наконец он упал, прямо у самых немецких окопов, упал и скатился вниз...

И странно, но мне стало как-то не по себе. Ведь я же убил его. Однако чего это я так размяк? Это же враг, он пришел убить меня, я не дался, сам его уложил. Все справедливо и естественно. Только мне не очень-то по нутру эдакие «естественные» поступки.

Загадочна человеческая душа.

* * *

«Западноармянские поэты» иссякают. Я все продолжаю писать письма на страничках этой книги. Молодцы издатели: бумага что надо и страницы полупустые. А пишу я всего по нескольку строк.

Ежедневные боевые донесения пишу между колонками «Правды» или «Красной звезды» или на промасленных обертках. Не только бумаги — у многих даже ложек нет и котелков. Ложки вырезают из дерева.

Керосин нам и не снится. В землянках жжем лучину. Ноздри у нас закоптились, как дымоходы. Откашливаешься черной сажей.

* * *

Октябрьские праздники провели на позициях. Выдали нам по сто граммов водки, и посылки пришли. На мою долю выпала из Кировской области, от старушки какой-то. «Сынок, да убережет тебя бог». В посылке нет ни острого, ни водочки. Бабушка моя, похоже, не очень-то богата. У меня даже сердце защемило от жалости. Спасибо ей, она подарила мне самое дорогое: «Сынок, да убережет тебя бог». Доброту подарила.

* * *

Составляю словарик: перевожу на армянский военные термины и названия. Мина, миномет, минометный. Землянка, блиндаж, окоп. Дзот. Амбразура. Наводчик. Ствол... Что сказали бы наши лингвисты, доведись им заглянуть в мой словарик?..

* * *

Армяне мне встречаются очень редко. Серожа и того совсем потерял из виду. Не знаю даже, где он сейчас. Встретив армянина, я всякий раз первым долгом спрашиваю:

— Новой песни не знаешь?

Земляки дивятся:

— Нашел время о песнях!..

Выпало много-много снега, но морозы пока еще терпимые. Нам выдали зимнее обмундирование: ушанки, теплое белье, телогрейки, ватные брюки, рукавицы, овчинные полушубки. В них особенно тепло и уютно. Но плохо, что и паразитам тоже раздолье: размножаются, как в инкубаторе...

Я устроил баню-шалаш: выстелил траншею еловыми ветками и сверху ими же накрыл. Нагрели воды в жестяной бочке, и я отменно выкупался. Потом еще и пулеметчиков пригласил:

— Эй, ребята, идите в баньку мыться!

Командир пулеметной роты дал мне за это в награду два листа бумаги для писем.

— Банька у тебя, браток, славная!

Мой метод борьбы со вшами — огнем их жарить — устарел. К нам в полк прислали специальную дезкамеру.

Сегодня шестнадцатое октября. Через два месяца и двенадцать дней мне исполнится девятнадцать. В записях моих благословение.

ПЕРЕЛЕТНЫЙ ОГОНЬ

Частенько я перекочевываю с двумя-тремя минометами то влево, то вправо от основной позиции и часа по три веду огонь по врагу. В таких случаях немцы на какое-то время умолкают, как бы удивляясь: что, мол, это за новая огневая точка? Потом начинают искать меня, поливая артиллерийским огнем. Но пока найдут, я уже возвращаю минометы на прежнюю позицию.

Надо отдать должное, звукоуловители у немецких артиллеристов мощные, и вот они наконец засекли мою огневую точку. Целых полдня уже лупят по ней. Только там-то никого и ничего.

Такая тактика ведения артиллерийского боя называется перелетным огнем.

* * *

Как-то после очередной операции «перелетный огонь» я вернулся на свою основную позицию. Еще не вошел в блиндаж, как в нос мне ударил запах духов. Что бы это значило? Может, я ошибся и забрел в обиталище медсестер?

В блиндаже за моим маленьким столиком сидит какая-то женщина и беседует с дневальным. Она в полушубке, капитан медицинской службы. Голова ее не покрыта, пышные волосы. Красивая, тоненькая, шея точеная, пальцы длинные, ноги сильные, стройные... «И с каких это пор я стал понимать и ценить женскую красоту? Ах да! Надо поблагодарить Шуру».

Я поприветствовал капитана как положено по уставу, хотя она и женщина. Надо сказать, что все фронтовики очень почитают врачей. Рано или поздно все пройдем через их руки. Об этом мы помним всегда. Одного только не знаем, вызволят они нас из лап «костлявой» или нет. На всякий случай у каждого в специальном пистончике (в брюках) зашит жетон с именем, фамилией и адресом. Это в помощь похоронной команде, чтобы знали, куда сообщить на случай гибели.

Я свой жетон выбросил, хотя нам строго-настрого велят хранить их.

Одним словом, врачей мы, фронтовики, очень ценим и любим как матерей, если это женщины, и как братьев — если мужчины. Зато к интендантам отношение другое. Нам почему-то кажется, что они поедают добрую половину наших пайков, сидят себе в тылу, бездельничают и едят. Глупо, конечно, но так думают многие.

Врач-капитан улыбнулась:

— Не удивляетесь, что я ворвалась в ваши владения?

— Нет, почему же, — сказал я. — Это даже радует меня. Оставайтесь с нами хоть до самого конца войны!

Женщина удивительно приятно засмеялась. Это смутило меня. Я даже испугался, что вот сейчас вдруг грохнусь перед ней, обниму ее колени... Но я взял себя в руки. Докторша, видно, почувствовала мое обалдение и увидела, что я пожираю ее взглядом... Она поднялась — до чего же стройная! — и сказала:

— Мне поручена проверка санитарного состояния позиций. Хотела бы быть чем-нибудь вам полезной, но у вас тут такой порядок, что мне просто нечего делать...

Я вышел ее проводить.

— Знаете новость? — спросила она. — Наши войска окружили на Сталинградском направлении триста пятьдесят тысяч немецких солдат. Я слышала сообщение об этом прошлой ночью по рации.

— Это прекрасная новость, дорогой товарищ капитан медицинской службы. Спасибо вашей рации! Но не оставайтесь здесь дольше, поспешите уйти.

— Почему? — удивилась она. — Боитесь, что меня убьет?

— Боюсь, что вы кого-нибудь убьете...

— Кого?

— Ну, скажем, связиста. Ведь целых полтора года он женщины и в глаза не видал...

— Неужели мы, женщины, такая необходимость?

— Не знаю, не знаю!..

Она засмеялась и ушла. Я вернулся к себе в землянку.

Во мне вдруг всколыхнулось какое-то особое чувство собственного достоинства. Я солдат и бьюсь за свою Родину. Солдат и тот, кто насмерть стоит под Сталинградом и сейчас окружил и уничтожает фашистов. Гордость солдата безгранична, горе тоже. Гордость рождает победа, а горе — от неудач.

Я взял на своей карте в большой круг Сталинград, сел и стал в подробностях припоминать лицо, глаза, голос, фигуру той женщины, которая только что сидела здесь, у меня. В землянке сейчас какая-то необыкновенная теплота. Отчего бы это? От женщины или от того, что Сталинград становится могилой фашизма? И от того и от другого.

Пугает меня только одно — почему я не вспоминаю Шуру? И почему я вбил себе в голову врачиху и совсем забыл о Шуре? Я же не скотина!..

Под горячую руку сел и накатал письмо Шуре. Постарался подобрать слова потеплее, что называется, вложить душу в письмо. Только ничего у меня не получилось, и я разорвал письмо и выбросил.

Ужасно это! И почему я не могу быть решительным при таких важных для меня обстоятельствах? Докторша подобна перелетному огню. Попробуй засеки ее!..

Сегодня двадцать четвертое ноября. Через месяц и четыре дня мне исполнится девятнадцать. В записях моих «перелетный огонь».

ГОЛОС ЗЕМЛИ

Я получил из дому несколько номеров газеты «Советакан Айастан». Сунул их в карман полушубка до лучших времен. В землянке темно, и к тому же снова начался жаркий бой. Снег взрыт и раскидан от беспрерывных разрывов. Бедный снег, тоже вместе с нами страдает, тает и умирает... Не умирай, мягкий снег, ты прикрываешь раны земли. Мы с Сахновым растапливаем тебя, чтобы утолить жажду, я обтираюсь тобой, чтобы не обморозиться... Добрый, мягкий русский снег...

Противник вспахивает небо ракетами, орудийным огнем, пулеметными очередями. Терзает и небо, и нас, и снег, и землю... Теперь у нас боеприпасов много и мы отвечаем ему с удвоенной силой. Фрицы больше не могут продвинуться вперед, хотя еще и пытаются, скрежеща свинцом и сталью. Воют сильнее вьюги.

Утро, зимний свет... В одной руке у меня сухарь и кусок сахару, а в другой — газета с родины. В ней напечатано послание армянского народа нам, воинам-армянам. Сердце мое стучит от волнения. Тысячелетними письменами со мной говорит земля моих предков, говорит с материнской строгостью, с материнской нежностью:

«Помните, сыны наши, всюду, на любом участке фронта, воюя против фашизма, вы воюете за Армению, за ее свободу и независимость. Помните вечные для нашего народа слова: «Неосознанная смерть — это смерть, осознанная смерть — бессмертие!»

Я уж и забыл, что читаю письмо. От него веет духом армянских гор и долин, и мне чудится, что меня, еще маленького, прижала к своей теплой груди мать. В руке я все еще сжимаю сухарь, только хлебом насущным мне сейчас — голос земли родной. Вчитываюсь в подписи, ищу знакомые фамилии, а слезы сами по себе катятся из глаз...

Попытался разыскать Ерема Шалунца, поделиться с ним радостью, но его товарищи по роте сказали, что он... Не услышал, бедняга, голоса родной земли. Он уже в ней, в родной земле. Мне сказали, что Ерема посмертно представили к награде.

Среди подписей под посланием стояло имя поэта Наири Зарьяна. Я написал ему письмо: «Клянусь, что не пожалею жизни за свободу родной земли». И, обнажив голову, трижды вслух повторил:

— Клянусь, клянусь, клянусь!..

Сегодня тридцатое ноября. Не через месяц, а всего через двадцать восемь дней мне стукнет девятнадцать. В записях моих клятва.

НА БУМАГЕ НАПИСАНО ПО-АРМЯНСКИ

К нам на позиции неожиданно зашел командир полка. Я доложил ему обстановку. Он пожал мне руку, внимательно осмотрел, как укреплен наш наблюдательный пункт, и спросил:

— Вы хорошо знаете расположение войск противника?

Я подвел его к стереотрубе и подробно рассказал о состоянии немецких укреплений.

— Неприступны, проклятые! — сказал он.

— Да, в лоб их не возьмешь.

— Через два дня мы должны атаковать Званку. Необходимо отбить у противника эту высоту. Что вы на это скажете?

— Наступление по всему фронту? — поинтересовался я.

— Нет, только силами нашей дивизии. Мне придется руководить боем с вашего НП? Он удобен и хорошо укреплен.

— Ну конечно, товарищ майор. Но Званка — орешек крепкий, тридцать один пулемет, двадцать восемь орудий и более ста минометов. Надо ударить всей мощью, окружить ее. Взять такую крепость силами одной дивизии, да еще в лоб, невозможно...

Командир полка закурил. На его бумажном пакетике с табаком я приметил армянские буквы. Попросил отдать мне пакетик. Он высыпал табак в карман.

— На что он вам?

— Это с моей родины...

На пакете по-армянски было написано: «Кафан». Я понюхал его и спрятал как реликвию во внутренний карман. Майор улыбнулся.

— А у вас, я вижу, нежная душа!.. Однако мы должны взять Званку. — И он заговорщически шепнул: — Когда день рождения Сталина?

— Двадцать первого декабря...

— Сегодня семнадцатое. День рождения вождя нам надо встретить боевым подарком. Этим подарком и станет освобождение восьмисотлетней Званки. Понятно?

— Так точно, понятно, товарищ майор!

— Что ж, будьте готовы.

* * *

Командир полка вместе со своим штабом разместился на моем НП. Меня отозвали в роту. Готовлю свой взвод к наступлению.

Сегодня девятнадцатое декабря. Через девять дней мне будет девятнадцать. Записи мои спокойны.

ПЕРЕХОД ПО ЛЬДУ

Ночью стянулись к берегу. Приказано, воспользовавшись темнотой, перейти реку и занять позиции на том берегу для последующего штурма.

Я со своими людьми с минометами и средствами связи жду приказа форсировать реку.

Волхов здесь широк, он весь схвачен льдом и устлан мягким покрывалом свежевыпавшего снега.

* * *

Первой пошла пехота. Мы, минометчики, затаив дыхание пережидаем, когда наконец в темноте иссякнет черная цепь пехоты, чтобы двинуть следом. Но вот вдруг слышим тревожные голоса:

— Лед ломается...

Ледостав еще не установился, не выдерживает тяжести. Это привело меня в отчаяние. У моих-то людей вон какой груз — минометы.

Но делать нечего, надо выполнять приказ, надо перейти реку. И я тоже приказываю своим подчиненным ступить на лед цепочкой и держаться один за другим на расстоянии десяти метров друг от друга.

Мне припомнилось благословение доброй старушки, приславшей мне посылку: «Да убережет тебя бог...»

Я ступил на лед. Снег мягко хрустнул под валенком. Пошел!..

Слева надо мной вихрь артиллерийских залпов. Бьют и наши и немцы. Слышится треск разламывающегося льда и всплески воды. Мои солдаты идут разбросанным строем, на расстоянии друг от друга.

Лед пока держит.

Я еще не дошел до середины реки. Тяжелая волна ударилась мне в ноги, откатилась, смыла снег, и лед стал очень скользким. Ноги не слушаются, разъезжаются в разные стороны. Не приведи бог грохнуться: лед не выдержит тяжести падающего тела, проломится — и тогда каюк...

Солдаты, опираясь на винтовки, как на посох, движутся вперед. Мне не на что опереться, и волна сносит меня вниз.

— Помогите!..

Метрах в тридцати от меня идет Сахнов. У него за спиной телефонная катушка. Он разматывает кабель и бросает мне конец. Волна прибивает кабель к моим ногам, я хватаюсь за него и останавливаюсь. Сахнов тянет меня за собой, как тянут за веревку упирающегося теленка.

* * *

Мой взвод переправился через реку без потерь.

На берегу пехота роет себе укрепления. Я выбрал позицию и приказал своим срочно окопаться.

Мороз до костей пробирает. Земля вся промерзла, только топор ее и берет. Мы взмокли и от этого еще больше коченеем. Велю вырыть яму, развести в ней костер и накрыть плащ-палаткой, чтоб удержать тепло. По очереди посылаю солдат погреться и обсушиться.

Перед нами голая равнина, километра на два. А за ней возвышается, как вздыбленная, Званка. Пехота наша цепью широким фронтом продвигается вперед.

Рассвело.

Я выбрал наблюдательный пункт на небольшом пригорке и вместе со своим связистом укрылся в снегу. Отсюда как на ладони видна вся равнина и Званка с ее укреплениями.

* * *

Наш штурм начался сначала с воздуха, потом «заговорила» артиллерия с правобережья. Я тоже ударил по Званке. Но знаю, что наш огонь существенного урона врагу не принесет. Званку в лоб не взять.

В атаку пошла пехота. Гитлеровцы ударили по ней мощным пулеметным и минометным огнем. Снег и земля — все вокруг закипело. Я с точностью исполняю приказ: держать Званку под непрерывным минометным огнем. Вся наша артиллерия делает то же самое. Однако нам не удается сломить огневую мощь противника.

Первая наша атака захлебнулась, не достигнув и подступов к Званке. Я вижу, что все наши ребята бесстрашно бросаются в атаку, но чего можно добиться только одним мужеством, если противостоит ему неприступная крепость, если на каждом квадратном метре разрываются несколько мин и артиллерийских снарядов?..

* * *

Вторая наша атака началась после полудня. На взрытом, истерзанном поле боя прибавилось убитых.

* * *

На другой день мы тоже атаковали. И тоже безрезультатно.

* * *

На четвертый день, к вечеру, нам приказали отойти на старые позиции. Несколько сотен убитых оставили мы на берегу реки. Их укрыл вновь выпавший снег.

* * *

Вечером двадцать первого декабря состоялось торжественное заседание в полку.

Неподалеку от нашей батареи соорудили нечто вроде трибуны, украсили лозунгами и большим портретом Сталина. Собрались представители от каждого подразделения. Были речи. А в конце вечера зачитали приветственное письмо вождю.

После торжественной части состоялся концерт силами артистов, прибывших на фронт из Узбекистана.

Враг обстреливает, не дает нам покоя. Как бы шалый снаряд не угодил сюда, где собралось человек четыреста...

Вечер закончился, и мы разошлись по своим подразделениям. Возле нашего НП, прямо рядом со мной разорвался немецкий снаряд. Я едва успел распластаться на земле, но воздушная волна все же подняла меня, ударила о ствол дерева, накрыла землей.

Я лишился чувств...

* * *

Открыл глаза и вижу — я в медсанбате. Понял, что контужен. В ушах гудит, словно поток в них бушует. Голоса звучат, как откуда-то из колодца. Неужто оглох?

Меня переправили в госпиталь. Мне-то еще что — всего лишь контузия, а связист, который шел бок о бок со мной, убит.

Сегодня двадцать второе декабря. Через шесть дней мне исполнится девятнадцать. В записях моих глухота.

Я В ПРОИГРЫШЕ

Живу надеждой, что слух вернется ко мне.

Замучила тошнота, болят все кости, язык не ворочается, а я все равно верю, что буду слышать, что все еще будет хорошо.

Госпиталь наш в лесу, само местечко называется Ак-Соч. После полуторагодичной жизни под открытым небом я впервые попал в человеческие условия: есть и окна, и кровать есть, и постель... Все тут по-людски — помыли, побрили, выдали чистое белье... От удовольствия я проспал десять часов кряду.

* * *

Проснулся, у моей кровати стояла Шура. Не могу сказать, что это меня очень обрадовало. Она что-то говорила, а я не слышал.

— Громче, Шура!..

Наконец расслышал. Только будто очень издалека. И тут я сообразил: значит, не совсем оглох, раз слышу. От радости даже подпрыгнул на кровати.

— Слышу, Шура, я слышу! Понимаешь, слышу!..

Находившиеся в палате раненые, все, как один, рассмеялись. Я не услышал это, а увидел по их лицам. Шура склонилась надо мной.

Я спросил, чего они смеются. Шура закричала (так мне показалось):

— Ну и пусть себе смеются. Что ты, не видал, как люди смеются? Тебе уже девятнадцать лет, если не ошибаюсь...

— Да. Через шесть дней исполнится девятнадцать. А тебе?

— Женщин о возрасте не спрашивают!..

— Что ты здесь делаешь?

В ответ на это Шура написала что-то на листке, видно, не хотела снова кричать, чтобы все вокруг ее слышали.

«Привезла сюда майора, начальника медсанбата нашего полка. Он ранен, не очень тяжело».

— А почему обратно не возвращаешься?

«Майор не отпускает».

Что это? Мне показалось или она правда так ответила?

Я посмотрел на Шуру: уж не замужем ли она за майором?

* * *

Шура привела меня к майору. Узнав, что я контужен и оглох, он сочувственно покачал головой и заорал:

— Как слышишь?

— Понемногу дело идет на лад, — ответил я, — надеюсь через пять дней быть на передовой.

Он что-то сказал, я не услышал его, попросил повторить погромче.

— А почему именно через пять дней?

— Можно, — говорю, — и раньше. Двадцать восьмого декабря день моего рождения. И вообще зря меня уложили здесь. От контузии я бы и у себя в части очухался.

* * *

По просьбе майора меня осмотрел «ухо-горло-нос». Я сказал, что знаю верный способ излечиться от контузии.

— Дайте, — говорю, — проспать подряд три дня и три ночи, все как рукой снимет. Шутка ли, почти полтора года не спал.

«Ухо-горло-нос» улыбнулся и говорит:

— А верно ведь. Придется пойти вам навстречу, юноша. Откуда вы родом, эдакий красавчик?

Я смутился и не ответил.

Шура проводила меня обратно. Она какая-то странная. Смотрит виновато и вроде испуганная. Я решил, что майор ей, наверно, не нравится. Почему так решил, и сам не знаю. Но злился я здорово.

— Никак в ловушку попала, Шурочка? А?..

— В какую еще ловушку? — она побледнела. — Что ты этим хочешь сказать?

— Ничего особенного. У каждого своя голова на плечах.

Я попросил Шуру не приходить ко мне минимум дня три. Попробую выспаться.

Сходил к парикмахеру: кудри замучили и усики мои распушились, надо привести себя в порядок.

* * *

Пять дней уже, как я в госпитале. И чувствую себя почти совсем здоровым, голос восстановился полностью, слух тоже. Только левое ухо чуть побаливает.

* * *

Контузия моя постепенно проходит. Шура не верит мне.

— Контузия длится месяцами, — говорит она.

Не понимаю, зачем ей надо, чтобы я лежал в госпитале месяцы. Здесь, конечно, хорошо. Сплю на кровати, и пища сносная. Даже оказалось, что есть и библиотека. Больше того, среди книг я увидел «Страну Наири» Чаренца в русском переводе. Мгновение я смотрел на эту книгу как ошалелый, глазам своим не верил. Попробуй в Армении ее отыщи, а тут вдруг!..

Библиотекарша заметила мое удивление.

— Вы армянин, товарищ младший лейтенант?

— Армянин.

— И Чаренц тоже армянин. Прекрасный писатель. Я прочла книгу. Счастливые вы, армяне: народ небольшой, а какого писателя имеете! Чаренц небось тоже сейчас на фронте, не так ли?

Я не знал, что ей сказать, но потом нашелся.

— Да, — говорю, — Чаренц тоже на фронте. Он тоже воюет с фашизмом... Дайте мне эту книгу, если можно...

— Конечно, можно...

Я прижал «Страну Наири» к груди и пошел искать уголок поукромней.

* * *

Настроение у меня что надо. И у ребят тоже. А все оттого, что наши войска ведут успешные бои на Северном Кавказе. Наступление немецких войск там приостановлено. И сейчас их отбрасывают все дальше и дальше от предгорий Кавказа. Баку гитлеровцам не видать как своих ушей, а стянутые к Карсу турецкие войска теперь не решились бы и к Ахуряну подойти, что у самой границы.

Сталинград стал легендой. Вот уж сколько месяцев держится. Рассеченный надвое, он упорно противостоит фашистам. В городе идут бои буквально за каждый переулок, за каждый дом. Один этаж в доме занят нашими, а другой — гитлеровцами. Говорили ведь, что Волга станет могилой фашистов. Истинно так.

Сталинград вселяет в нас веру, дает нам силы. Сталинград врачует наши раны и здесь, на далеком северо-западе.

Однако где же это наши союзники? Обещали ведь открыть в Европе второй фронт против гитлеровской Германии. Уже полтора года мы один на один воюем. Почему же не создается так называемый второй фронт? Какие же это союзники?

* * *

Шура принесла мне лекарства. Я читал книгу; притворился, что не вижу ее. Она чуть постояла и вышла. Я обманул медсестру, сказал, что мне надо на почту, и под этим предлогом выпросил часа на два свою одежду. При этом ласково подмигнул ей. Она смутилась, залилась краской и, поверив мне, принесла мои вещички. Я оделся и был таков.

Сегодня двадцать седьмое декабря. Завтра мне исполнится девятнадцать лет.

ПОДБИТЫЙ ТЕТЕРЕВ

Тяжелый снег, трудная зима.

Немного прошел пешком, но скоро меня нагнал попутный грузовик, и я забрался в кузов.

Вот так чертовщина! В кузове вместе с шестью-семью другими солдатами сидят Шура и майор.

— А, молодой человек, смотрите-ка, снова встретились! Куда же это вы направляетесь? — не без иронии спросил майор.

— На фронт, куда же еще?..

— Я вот тоже получил новое назначение. Направляюсь к месту службы. Ну, что скажете?

А что я должен был сказать? Шура сидит какая-то сама не своя: головы не поднимает, меня словно и не видит. Я тоже стараюсь смотреть в другую сторону. Очень-то они мне нужны: она и ее майор, получивший новое назначение.

* * *

Завтра день моего рождения. Прекрасно, что я не потерял слух, что убежал из госпиталя и что вот сейчас такая сухая зима, приятный легкий морозец и вшей на мне нет.

А майор ничего себе — человек, видать, веселый.

— Эх, парень, вряд ли ты разыщешь свой полк. Он небось давно уже перебрался в неизвестном направлении...

— Разыщу, — сказал я уверенно. — Для меня нет ничего невозможного, неизвестного!..

Дорога проходит замерзшим болотом. Едем по деревянному бревенчатому настилу. То одно, то другое бревно время от времени подскакивает под колесами. Я не гляжу в сторону Шуры. Мне во что бы то ни стало надо добраться до своего наблюдательного пункта. Неужели я и правда не найду своих, как говорит этот майор?..

А майор-то старик! Бедная Шура. Я терпеть не могу старости.

* * *

Машина остановилась, нужно было воды набрать. Метрах в трехстах от нас опушка леса. На верхушке одного из деревьев сидит большая черная птица. Спрашиваю, не орел ли...

— Здесь тебе не Кавказ, — говорит майор. — К тому же орлы на деревья не садятся. Это тетерев.

— А мясо у него съедобное?

— В наших условиях — просто деликатесное.

Я попросил у одного из солдат винтовку и прицелился.

Майор ехидно хмыкнул:

— Сейчас в клочья разнесет.

Я попросил не мешать, но майор не унимался.

— Сейчас попадет в мягкое место. Сейчас...

Я выстрелил. Птица взметнулась вверх, но затем, покачиваясь, полетела на землю. Один из солдат соскочил с грузовика и сбегал за добычей.

Машина тронулась. Тетерев мой был еще теплый. По черным крыльям белый опоясок, голова, как у курицы, только без гребешка. Весу в нем килограмма полтора, не меньше. Я очень рад неожиданной добыче. Шура тоже. Она погладила тетерева.

— Красавец какой...

— Послушайте, юноша, — сказал майор, — давайте меняться: я вам пачку махорки, а вы мне свою добычу.

— Нет! — обозлился я.

— Я не шучу. Могу еще тысчонку денег накинуть.

— Нет, товарищ майор.

Он встал, снял с руки часы.

— Нате, и их отдаю. Не отказывайтесь.

— Ни за что.

Шура сверкнула глазами и потянула майора за рукав:

— Садитесь, товарищ майор. Этот юноша — мой знакомый. Он рыцарь, не надо его обижать.

Майор протянул мне еще и бутылку водки, но я покачал головой.

Доехали до штаба армии. Майор и Шура стали прощаться. Я протянул ей тетерева и ушел. Майор закричал мне вслед:

— Хоть махорку возьмите!..

Я не оглянулся.

Все еще двадцать седьмое декабря. Завтра мне исполнится девятнадцать. В записях моих растерянность.

С ГРЕХОМ ПОПОЛАМ

В штабе армии меня приписали к офицерскому резерву, впредь до отправки в нашу часть.

Досадно, что день своего рождения я проведу без Сахнова.

В длинной большой землянке нас человек тридцать. Я оказался самым младшим по возрасту. Старший в группе сказал:

— Будете у нас в землянке старшим.

— Ну что вы? — запротестовал я. — Среди вас есть даже полковники.

— Зато вы — фронтовик, а мы нет.

Они и правда все из тыла, «старички». Пополнение фронту. Жалко мне их.

Я устроился поближе к выходу, на деревянных нарах. Думаю о Шуре и ее старом ухажере. Она наверняка майоровская ППЖ, полевая передвижная жена, так злые языки называют на фронте иных женщин. Неприятно, конечно... А майор небось сейчас обгладывает косточки моего тетерева?

* * *

Утро. День моего рождения.

Решил поискать, не найду ли кого из армян. Мне указали одну из землянок.

— Там, кажется, есть ваш земляк...

Я толкнул дверь, спустился по деревянным ступенькам. В землянке едва тлеет коптилка, освещая чью-то лысину. Человек этот встал. Глаза и нос южанина. Но не армянин. Я уже хотел уходить, когда кто-то обнял меня за плечи и назвал по имени. Я чуть не онемел — это был мой односельчанин Баграт Хачунц. Он даже мне родственником приходится по материнской линии. В последние годы жил в Ереване, партработник.

— Ой, Баграт, товарищ капитан, и ты здесь?!

— Да, браток, и я здесь.

Он средних лет. Ему под сорок. Военная форма сидит на нем прекрасно, и он совсем не кажется пожилым. Я будто отца нашел.

— Когда приехал? — спрашиваю.

— Три дня назад.

— Зачем ты приехал?

Он рассердился.

— Воевать приехал, Родину защищать... Зачем люди едут на фронт?..

Баграт Хачунц достал из своего вещмешка бутылку коньяка «Арарат» и банку американской тушенки.

— Везет тебе, — сказал он, — последний коньячок-то. Из дому еще.

Он пригласил и всех других офицеров, кто был в землянке. Разлил коньяк кому во что — в жестяные и алюминиевые кружки, в банки разные — и говорит:

— Я очень хорошо помню, что у тебя сегодня день рождения. Ты честно жил на этом свете. Живи еще пять раз столько, солдат Родины.

Баграт повернулся к своим гостям:

— Я горжусь этим юношей, моим соотечественником, солдатом-армянином. Мы, армяне, всегда были и будем верны советской власти. Так выпьем же за эту верность.

Мне приятно, и я очень горд.

Мы долго разговаривали. Это самый счастливый день моей жизни. Баграт был со мной добр по-родственному.

Сегодня двадцать восьмое декабря. Сегодня мне исполнилось девятнадцать. Записки мои полны гордости и любви к Родине.

ТРЕТЬЯ ЗЕМЛЯНКА СЛЕВА

С Багратом Хачунцем видимся каждый день. Он все сетует:

— И чего так задерживается приказ о нашей отправке на передовую? Как в доме отдыха здесь живем...

— Потерпи, — говорю я. — Этот день обязательно наступит. Командование знает, что делает. Я, думаешь, меньше рвусь?

* * *

Новые люди появляются в нашем резерве. Все из разных мест. Но как все похожи друг на друга! Сразу по прибытии начинают жаловаться, почему их тотчас же не отправляют на передовую? И, чтоб не помереть от тоски, целыми днями возятся с оружием. А мои «старички» попросили меня познакомить их с минометом.

— Ты был в боях, у тебя есть опыт. Поделись с нами...

Я приказал отрыть неподалеку от землянок специальные углубления для минометов и начал учить «стариков». И надо сказать, они с большим рвением принялись изучать военное дело, как школьники. А ведь какие люди, есть даже секретарь райкома, директор МТС, преподаватель института и даже артист один — тот самый, лысый.

* * *

По вечерам я выстраиваю своих «старичков» и веду на кухню на очередную раздачу варева. «Старички» стараются идти как можно стройнее и, если даю команду, начинают петь:

Ты лети, лети, мой конь,
Пока не споймаю...

Они покорно протягивают свои котелки вольнонаемным девушкам-поварихам, достают из карманов с утра припасенные ломтики хлеба и запивают горячей похлебкой. Потом, не ожидая команды, выстраиваются и продолжают петь, будто и не прерывались.

Как споймаю, зануздаю
Шелковой уздой...

Рядом с этими добрыми, умными «старичками» я чувствую себя как бы очищенным.

* * *

Вечер. Мы снова тянем котелки за нашим «ужином». И вдруг одна из девушек говорит:

— А тетерев твой был очень даже вкусным.

Я вздрогнул. Да это же Шура! В белом халате, в белой шапочке. Она взяла у меня котелок:

— Сегодня мое дежурство по кухне.

Сказала и вошла в столовую. Вышла оттуда с полным котелком дымящейся картошки, политой жиром, кажется, растопленным маргарином.

— Шура, а что ты вообще здесь делаешь?

— Майор назначен сюда начальником санчасти. Привязал он меня к себе...

— И ты крепко держишься за эту веревочку? — с деланным равнодушием спросил я.

Она неопределенно пожала плечами:

— Трудно сказать, кто за что держится. Ты очень наивный. Все не так, как тебе кажется...

Я решил было поделиться добычей с Багратом, но не заметил, как по дороге все съел. Может, и к лучшему. Баграт стал бы расспрашивать, где взял да кто дал. Очень уж он щепетильный человек.

* * *

На следующий вечер Шура снова накормила меня «начальническим» обедом.

— Специально из-за тебя сегодня пришла на кухню. Подкормить малость... Моя землянка третья слева. В одиннадцать придешь ко мне.

— А как же твой майор?

Она нахмурилась, сунула мне в карман два куска сахару.

— При чем тут майор? Я сама себе хозяйка. Только сама. С ним меня связывает служба. Больше ничего.

* * *

Девять часов. До одиннадцати мы с Багратом и двумя другими ребятами играли в домино. Ровно в одиннадцать я пожелал им спокойной ночи и вышел.

Зимняя звездная ночь. Мороз. Я дошел до Шуриной землянки и... прошел мимо.

До утра спал спокойно в своей землянке.

Утро. Шура учинила на кухне санитарный контроль — всех переполошила. Моего котелка на этот раз она не взяла.

— Твою долю съел другой!.. Дурак ты!..

На обратном пути мои «старички» опять пели. И почему я, собственно, называю их «старичками»? Ведь старшему из них всего сорок пять. Может, это я стар? Они поют, а мне кажется, что кричат хором: «Ду-рак! Ду-рак!»

Но я ни о чем не жалею.

* * *

В этот вечер у меня были гости: Баграт и его лысый друг. Мы курили и разговаривали. Здесь же все мои «старички».

Вдруг в землянку вошел генерал-лейтенант, командующий армией. Я сорвался с места, вытянулся и заорал:

— Смир-но!..

Доложил, как положено, генералу. С ним еще четверо. Генерал поздоровался с нами и присел на нары.

— Ну, товарищи, как вы тут живете, что вас заботит?

Вперед вышел полковник, который за торфом ходил. Он, конечно, попросил поскорее направить его на передовую. Генерал кивнул:

— Добро, подумаем.

Майор-адъютант записал фамилию полковника. Еще десять человек обратились с той же просьбой. Четверо других заговорили об орденах, которых не получили, хотя указ о награждении имеется. Генерал все кивал головой и повторял:

— Добро, добро...

Потом вдруг обернулся ко мне.

— А вы, юноша, тоже спешите на фронт?

— Так точно, товарищ генерал! — ответил я. — Очень мне надо к своим!..

— А если направим в военную академию?..

— Зачем?.. Я и без того умею воевать. Я же с фронта...

— А... — улыбнулся генерал. — Армянин? По акценту чувствуется. — Он повернулся к Баграту: — У вас какая просьба, товарищ капитан?

— Мне тоже хотелось бы поскорее попасть на фронт.

Генерал направился к выходу.

Через три дня нас отправили на фронт. Мы с Багратом договорились переписываться.

Неужели наступил Новый год? Как же я не заметил? Встретится ли мне снова моя Шура? Если встретится, я больше ни за что с ней не расстанусь.

Сегодня седьмое января. Уже десять дней, как мне исполнилось девятнадцать. В записях моих новогодние надежды.

Год желтый — 1943-й

А ДО СМЕРТИ ЧЕТЫРЕ ШАГА

Фронт близок. Волхов я перешел около Селищевской крепости по понтонному мосту. Все тут мне знакомо. Вон развалины Мясного Бора, а дальше поле, где я был ранен в первый раз. Весной здесь еще местами дымились печные трубы. Сейчас и их уже нет.

Поле это картофельное, то самое, на котором мы таскали из грязи гнилые клубни. Ими чуть Колю Максимова не отправили в расход.

Снег. Снег под ногами. Скрипучий, стонущий, плачущий, как дитя, снег...

На узком прибрежном плацдарме вместе с другими сражается вторая стрелковая дивизия, куда меня прикомандировали для продолжения службы.

В штабе спросили:

— Давно младшим лейтенантом?

— Месяцев шесть.

— Значит, самое время присвоить вам звание лейтенанта.

Я, понятно, не возражал. Дивизия, где я служил раньше, снята с места и направлена на север. Теперь я нахожусь в составе 59-й армии Волховского фронта, в 261-м стрелковом полку 2-й стрелковой дивизии. И опять назначен командиром минометного взвода. Адрес у меня новый: полевая почта 165, в/ч 211.

* * *

В штабе полка мне вручили мою первую награду — орден Красной Звезды.

— Это вам за Званку. Фотокарточка у вас есть?

— Нету.

На месте фотокарточки в моей орденской книжке написали: «Действительно без фотокарточки».

Только как же это «за Званку»? Мы же не отбили ее у врага? За что же награда? Но, видно, зря я ломаю над этим голову. Начальство знает, что делает.

Наш 261-й стрелковый полк занимает позиции в левом крыле Волховского плацдарма.

Все офицеры в штабе полка мне незнакомы. И оттого мне стало тоскливо. Начальник штаба даже не взглянул на меня.

— Совсем здоровы?

— Совсем.

— Гм-м...

— Что вызывает у вас сомнение?

Тут он поднял голову и с недовольством посмотрел мне в лицо.

— Бывает, возвращаясь из госпиталя, говорят, что недолечились. Плацдарм здесь узкий, бои беспрерывные, смерть на каждом шагу...

— Это мне знакомо.

— Ну что ж, романтик, значит, будем воевать.

Отправился по назначению в свою новую роту.

* * *

Наши оборонительные линии метров на триста вынесены от берега по направлению противника. Дальше сто метров нейтральной полосы, а за ней — гитлеровцы. Они время от времени обстреливают нас из орудий и пулеметов. Весь этот грохот никак не вяжется с девственной белизной снега. Многие снаряды разрываются на ледяном покрове реки и вздымают к небу фонтаны.

Где-то каркает ворона, тяжело, сыто. Я затрудняюсь определить, откуда доносится ее карканье: слышу все еще плоховато.

Из ближней землянки вышла девушка с тазиком, плеснула мыльной водой на снежный пригорок и убежала. На двери алел красный крест. Меня вдруг осенило: это, наверно, Шура. И сюда успела приехать! Интересно, все со своим врачом-стариканом или сбежала от него? Ну, да бог с ней. Хорошо, что она меня не заметила. А может, и заметила, да виду не подала. Кто знает? Однако здорово, что Шура здесь!..

* * *

Наша рота расположена прямо на берегу реки.

Офицеров нас четверо: командир роты Петр Путкарадзе, его заместитель по политчасти Кравцов, комвзвода Иван Овечкин и я.

Совсем неожиданно я вдруг встретил здесь Сахнова:

— Как так вышло, что ты здесь, батько?

— Судьба, видать, — сказал он. — Дивизию нашу с передовой сняли, на север отправили, на пополнение. А нас в эту часть передали, вот я и здесь.

Сахнов теперь ординарцем у Путкарадзе. Он крепко пожал мне руку:

— Слава богу, что мы пока живы. Ведь сколько раз были в лапах у смерти...

Позиции минометной роты метрах в пятидесяти от нашей землянки. От командного пункта к роте ведут глубокие траншеи. В нашей роте всего два взвода.

Все время ведем довольно активные позиционные бои.

* * *

Кравцов выглядит каким-то неопрятным. И матерщинник ужасный. По вечерам собирает нас в землянке на политзанятия. Говорит о том, что нам и без него давно известно. Заученными, штампованными фразами. Овечкин дремлет. Сахнов делает вид, что слушает. Я и правда слушаю, но только потому, что стараюсь запомнить правильное произношение русских слов.

Сахнов вдруг подымается.

— Время ужинать, пойду-ка снесу ребятам на позиции поесть.

Кравцов словно этого и ждал. Закрывает свой блокнот с конспектом, сует в карман и поворачивается ко мне:

— Давай в шахматы сыграем, пока Сахнов вернется...

* * *

После ужина я отправляюсь на позицию.

Все время стреляем из пистолетов крыс. Зажрали нас, проклятые! Ночью обгрызли гимнастерку Кравцова, съели у Овечкина подкладку на фуражке.

По утрам деревянными ведерками (Сахнов их смастерил) выносим из землянки натаявшую за ночь воду. Тоже беда.

На позициях мои ребята только и знают, что очищают траншеи от снега.

* * *

Сахнов согрел воды и сейчас правит бритву на моем кожаном ремне. Его ремень из брезента.

— Комроты будет бриться, завшивел, бедняга, — говорит озабоченно Сахнов. — Наголо придется обрить.

— Зачем же? — удивляюсь я. — Разве у нас в полку нет дезкамеры?

— Все есть. Только старшему лейтенанту это не поможет. На нем и вошь особенная поселилась — сплошь женского роду.

Я не понимаю его. Вошь есть вошь, какая еще там особенная? Но Сахнов для меня авторитет: говорит, — значит, знает. Он человек удивительный, все знает, хотя и был беспризорником, вором. В последний раз из тюрьмы вышел всего за месяц до войны. Искал работу, но тут его вызвали в военкомат и отправили в стройбат.

Мне вспомнилось, как я перевязывал ему рану в Мясном Бору.

— Рана зажила? — спрашиваю.

Он усмехается:

— Да вроде бы.

— Не мог после госпиталя в тылу остаться? Рана-то ведь серьезная...

— Мог, но куда бы я делся? Ни родителей у меня, ни жены... Толком не знаю, где и родился. — Он вздыхает, хмуро смотрит на меня. — Все, сынок, завязал я!..

— Что завязал? — не понимаю я.

— С прежним своим. Будет куролесить. Если выживу, после войны уеду на юг и стану виноград выращивать. Или парикмахером сделаюсь. Только виноград — оно лучше. Послаще...

* * *

Сахнов нашел общий язык с поваром и иногда приносит нам «добавки». Но больше, чем о других, он заботится о Путкарадзе. Избавил его от вшей, тех, что женского роду. Путкарадзе тоже очень хороший человек, мягкий добрый, заботливый.

Иван Овечкин сетует на свое обмундирование:

— Тыловики с иголочки одеваются, а нас в опорки да обноски обряжают.

У Овечкина золотые руки. Из ничего конфетку может сделать. Сшил нам фуражки, набил всем подковки на сапоги. По его проекту мы построили оборонительные сооружения, соединили их подземными ходами.

— Хватит, сколько отступали, — заявил он. — Сейчас надо зарыться поглубже в землю, чтобы потом успешно наступать.

Одно удручало Овечкина: в топографических картах бедняга ничего не смыслил.

— Видеть их не хочу. Что за чертовщина?! — жаловался он. — Кто только их придумал? Никак в них не разберусь.

Сегодня семнадцатое января. Уже двадцать дней, как мне исполнилось девятнадцать. Записи свои делаю химическим карандашом.

КОНИНА

Рядом с нами располагается батарея гаубиц капитана Гопина. Нас с ним сдружили шахматы. Весь он немного необычный. Нос большой и с горбинкой, галифе на нем натянуты, как трико. И голос какой-то узкий, тоненький. И вообще очень он напоминает мне гусара, такого, каких я в кино видел. Стоит ему выиграть партию, тут же вскрикивает своим тоненьким голоском:

— Хи-хи, не опрокинуть ли нам по маленькой?

Одному только дьяволу ведомо, откуда он достает водку.

* * *

Я как-то сказал Гопину, что ему и его батарее очень спокойно живется. Он обозлился.

— То есть в каком это смысле?

— Не часто что-то мы слышим голос твоих гаубиц. Уж не боишься ли, что немцы засекут?

Гопин вскочил с места и, кусая губы, скомандовал своим людям:

— Пятьдесят снарядов по врагу! Огонь!

Берег загрохотал. Девять гаубиц выпустили по пятьдесят снарядов за две минуты. Гопин, стоя во весь рост, истошно орал:

— Огонь! Так иху мать, этих вшивых фрицев!

Заткнув уши, я отбежал от него подальше.

У немцев, понятно, есть свой Гопин. И он тоже начал обстреливать наши позиции. Ужасный день. Все вокруг ходуном ходит. Даже Сахнов как-то весь сжался. Того и гляди, в нашу землянку тоже снаряд угодит.

Гопин буйствовал часа четыре.

— От батареи Гопина теперь уж и косточек не соберешь, — сказал Кравцов.

Меня бросило в дрожь. Ведь это же я толкнул его на поединок. Я выскочил из землянки и кинулся бегом к батарее Гопина.

Бегом-то, положим, это сильно сказано. Вся земля взрыта воронками. Попробуй побеги. Кое-как добрался до места и ахнул, увидев, что Гопин как ни в чем не бывало гоголем стоит у гаубицы.

— Что тут у вас?! — заорал я. — Потери большие?

— Ерунда, — махнул он рукой. — Лошаденку только одну убило. И пушку царапнуло. Ничего, поедим конинки!..

Я спросил, что же он теперь будет делать. Противник ведь засек. Он усмехнулся:

— Дня три помолчу. Немец подумает, что уничтожил меня. Потом опять жахну изо всех сил, мать его так, этого Гитлера!..

И он предложил мне сыграть партию в шахматы. Я отказался.

— Дай, — говорю, — лучше кусок конины. Или сам хочешь все съесть?

— Вон оно что?! — нахохлился Гопин. — Выходит, ты всю эту кашу затем и заварил, чтобы разжиться кониной на армянский шашлычок?..

Мы оба рассмеялись и сели за шахматы.

Гопин выиграл. За это он подарил мне килограммов десять конины.

Вот и прекрасно. Поделюсь с ребятами.

Проходя по берегу реки, я увидел на взрезанном немецкими снарядами льду несметное множество выброшенной из воды рыбы. Кликнул своих:

— Идите, ребята, соберем рыбку!..

И собрали пудов этак двадцать.

Мой взвод долго будет сыт. И не только один мой взвод.

* * *

Утро. К нам на позиции пришел подполковник, наш комполка. Я доложил о положении дел на нашем участке. Он поздоровался за руку не только со мной, но и со всеми солдатами моего взвода. Высокого роста, чернявый, с хорошей выправкой кадровика, в прекрасно подогнанной и опрятной форме, он производит впечатление воина, не ведающего горечи и страха поражения.

— Вчера нам из тыла прислали приемник, — сказал он. — Прекрасная вещь. И пластинки можно проигрывать.

— В подарок получили? — поинтересовался я.

— В подарок, — ответил он. — Вот хочу передать какому-нибудь взводу. На фронте это особо редкая штука. Что скажете по этому поводу?

— Очень будет здорово, товарищ подполковник.

Он внимательно и долго осматривал наши позиции, минометы, беседовал с солдатами и вдруг, повернувшись ко мне, сказал:

— Давненько мы не брали «языка». Наш полк не брал. Вот я и подумал, кто первым добудет «языка», тому взводу я и передам радиолу.

Сахнов, который, вытянувшись в струнку, слушал подполковника, незаметно подмигнул мне: «Понимаете, мол, это нам комполка поручает раздобыть «языка»? Соглашайтесь». Я кивнул Сахнову и повернулся к командиру:

— Разрешите, товарищ подполковник, мне с моим взводом отправиться за «языком»?

Командир полка засмеялся:

— Конечно. Потому я и зашел к вам.

Тут же мы решили, что за «языком» отправятся трое: я, Сахнов и ефрейтор Сорокин. Командир полка повел нас к себе в штаб. Это недалеко, за холмом.

* * *

Три дня мы готовились, как брать «языка». А «язык» этот, вон он, в двухстах метрах от нас за линией укреплений. Туда нам и следует пробраться, взять в плен одного из немцев, который станет «языком», расскажет о расположении позиций противника, о вооружении, обо всем, что требуется.

— Что, если мы приведем его, а он, сукин сын, ничего не скажет? — засомневался Сахнов. — Бывают же, наверное, такие...

— Это нас не касается, — сказал я. — Наша задача взять его. А заговорить пусть заставят другие.

— Да, — вздохнул Сахнов, — было дело, приходилось красть, а вот людей уворовывать не доводилось, практики нету...

— Никак, жалеешь, что взялся за это?

— Головы не пожалею.

К операции мы подготовились как следует. Иван Сорокин сильный, как буйвол. Он скрутит «языка». Сахнов человек что надо: ловок и ночью видит, как днем. Ну, а я... У меня такое чувство, будто развлекаться иду.

* * *

С тридцатого на тридцать первое января, в двенадцать ночи, мы ступили на нейтральную полосу. Холод, непроглядная тьма. С трудом различаю белые маскхалаты Сорокина и Сахнова, хотя

оба они совсем рядом со мной. Впереди идет Сахнов, потом Иван, я — замыкающий. Сахнов крадется с кошачьей осторожностью. Я удивляюсь: почему этот человек добровольно пошел на такое опасное дело? Что у него за душа и к чему она стремится? Что за сила толкает его на самопожертвование?

Вот и первая линия вражеских оборонительных укреплений. Земляной вал, колючая проволока и бревенчатые заграждения. Сахнов провел нас сквозь них. Дальше мы поползли. Немцы изредка дают пулеметные очереди, пускают осветительные ракеты, которые, повиснув в воздухе, обсыпают снег сверкающими искрами. Сахнов показал мне едва приметный холмик и зашептал в ухо:

— Это огневая точка. Там немцы. Идем на нее.

Жарко. Я задыхаюсь в своей овчинной шубе. Не скинуть ли мне ее ко всем чертям? Пот, стекая со лба, заливает глаза. Горячий пот. И почему все вокруг так горячо? Ползу по снегу, и снег тоже обжигает мне руки, нос, все тело. В бреду я, что ли?

Да, холмик и впрямь немецкая огневая точка. Она уже под носом у нас, метрах в двадцати пяти. Оттуда вылетела ракета. Мы неподвижно распластались на снегу. Под светом ракеты я увидел одного высокого немца. Одет тепло. Он потянулся, зевнул, глядя вверх на сверкающую ракету.

Ракета погасла, и снова воцарилась тьма. Скоро глаз опять привык к темноте, и я увидел немца, который отсюда, снизу, казался огромным. Сахнов шепнул:

— Держите под прицелом дверь блиндажа. Видите ее?

Не вижу. Сахнов весь исстрадался, пока я наконец разглядел дверь. Она вся в земле. Только верхняя часть чуть виднеется.

— Следите, — шепнул он, — как только дверь откроется, дайте автоматную очередь.

Потом Сахнов приник к уху Ивана Сорокина, после чего тот пополз чуть вперед, взяв правее.

Мертвая тишина. Вдалеке грохочет артиллерийская канонада. Чую теплый дух блиндажа. Наверное, огонь развели. Вот и дымком запахло... И, о ужас, захотелось спать. Кусаю язык, чтоб очухаться. До сна ли сейчас!..

Сахнов и Сорокин с двух сторон навалились на немецкого часового. Не раздалось ни звука, и я ничуть не испугался, только спать расхотелось сразу. Они пронесли немца мимо меня. Я вскочил и побежал за ними. Пленника связали, несут его на руках: Сахнов положил себе на плечо голову, Сорокин держит за ноги. Я почувствовал себя совсем лишним, и меня почему-то разобрал смех. Зажал рот, чтоб и впрямь не расхохотаться. Забежал вперед, высматривая наши следы, чтоб хоть этим быть полезным.

Очнулся я от голоса Сахнова:

— Выньте у него из пасти мою рукавицу. Уже добрались.

Я извлек большую стеганую рукавицу Сахнова, которую тот запихал в рот немцу. Сорокин развязал пленному руки и подтолкнул его вперед.

Это уже наши траншеи. Ходами сообщений к нам подбежали Кравцов и Путкарадзе.

— Что, ни с чем?

Сахнов закатился смехом, вздрагивая всем телом. Путкарадзе перелобызал нас и тотчас позвонил из ближайшего окопа командиру полка:

— Двадцать пятый, куда прикажете доставить «языка»?

Кравцов дал немцу водки.

— Пей, голубчик, чтоб в штаны не наложить... Язык у тебя, случаем, не отнялся?

Немец что-то пробурчал. Мы ничего не поняли. Он выпил водку и попросил хлеба.

* * *

Прибыл командир полка. Его адъютант нес следом радиолу...

— С ним еще и полсотни пластинок, — сказал подполковник. — Для точности ровно пятьдесят две штуки. Обещанный подарок вашему взводу.

Когда все разошлись, Сахнов попросил:

— Включите-ка этот подарочек, гляньте, работает ли? Пусть красавчик споет нам что-нибудь. Давно я не слыхал хорошей песни.

Я включил радиолу. Полный порядок, штучка что надо.

Вот играет скрипка. А вот под закоптелой бревенчатой крышей землянки вдруг раздался низкий женский голос:

Не брани меня, родная,
Что я так его люблю...

Сахнов вскочил.

— Не надо, — сказал он, выключая приемник. Потом закурил и повернулся ко мне: — Интересно, у этого «языка» есть дети?

— Можно спросить.

— А в расход его не пустят, как думаете?

— Ну что ты, Сахнов! Будет жить, зачем же в расход...

Сегодня тридцать первое января. Уже месяц и три дня, как мне девятнадцать. Записи мои заснежены.

«АППЕНДИКС»

Три дня и три ночи ведем непрерывные бои. Вечер. Меня, Кравцова и еще одного лейтенанта-пехотинца вызвали в штаб полка.

— Поступаете в распоряжение первого батальона. На три дня.

— С какой целью? — спросил Кравцов.

— Узнаете на месте.

Землянка комбата совсем в снегу. Из-под снега вьется струйка дыма и копотью оседает на его белизне. Пригнувшись, вошли внутрь. Свет коптилки отбрасывает красные блики на лицо комбата. Он встретил нас невесело.

— Ну, прибыли, артиллеристы? А что это у вас такой вид, точно побитые?

— Как сказать, товарищ майор... — помялся Кравцов.

— А ничего и не говорите, — махнул рукой комбат. — Я скажу. Вот что, орлы: один из моих взводов врезался в расположение противника. Дела там у них — хуже некуда. Командир взвода убит. Затем я вас и вызвал. Кто готов заменить его?

Лейтенант-пехотинец закашлялся:

— Я бы... с удовольствием, да у меня температура...

Майор вопросительно глянул на Кравцова.

— Коли прикажете... Только я близорукий, ночами совсем как слепой.

Майор зло глянул на меня:

— А ты, может, и глухой, и немой, и хромой? Все разом?

— Да нет, товарищ майор, не жалуюсь. Готов к выполнению задания.

Кравцов и лейтенант удалились.

Майор наскоро растолковал мне задачу и показал, как пробраться к «аппендиксу».

* * *

Темно и морозно. Сквозь снежные сугробы я проник в траншею и пошел на запад.

Вокруг белеет снег. Мне чудится, будто я иду по своей могиле и конца ей нет. Только пулеметные очереди то с нашей, то с вражьей стороны свидетельствуют о том, что мир еще существует.

Метрах в ста пятидесяти стрекочет немецкий пулемет. Иду пригнувшись. Трассирующие пули так соблазнительно сверкают, что хочется приподняться и схватить одну из них на лету.

* * *

В первом блиндаже «аппендикса» шестеро солдат. У них один пулемет и миномет малого калибра. Пару минут поговорил с ребятами и ползком двинул к следующим огневым точкам.

Центральный блиндаж выглядит жалко. Солдаты, их здесь всего пятеро, как сельди в бочке. Небритые, усталые, все в копоти. Напялили на себя телогрейки, шинели, все, что было. Головы замотаны. Еле могут двинуться.

Встать во весь рост в этом блиндаже невозможно: крыша очень низко поставлена. И при этом совсем непрочная. Достаточно одной ничтожной мины, чтобы разнести ее ко всем чертям. Удивляюсь, как этот сержант и эти четверо солдат еще держатся. В таких условиях, под огнем противника, они превратились в ходячих призраков.

Тело убитого лейтенанта лежит на снежном валу. Уже закаменело от мороза.

— Почему не похоронили?

Сержант тяжело вздохнул:

— У нас их одиннадцать, убитых-то. Уложили вон.

Я подполз к этому «заграждению» из смерзшихся трупов, и мне стало не по себе. От всего, что я тут увидел.

Часовой притащил свой пулемет к телам убитых и лежит рядом. Так ведь недолго уснуть и замерзнуть. Я приказал ему подняться. Он недовольно пробурчал:

— Мигом пулю схлопочу. Я же высокий...

Но все же встал. Вид у него измученный. Муторно небось от соседства с мертвыми.

Я велел солдатам сложить из мерзлого снега стенку. Они удивились.

— Стенку из снега?

— Из мерзлого снега! — ответил я. — Шириной в метр. Такую никакая пуля не берет, знайте это. И возьмите себя в руки.

* * *

Возвели вокруг блиндажа стену: два метра на два — в высоту и в ширину. От работы согрелись, ожили. Ребята даже шинели поснимали.

Утром я приказал углубить блиндаж. И это мое распоряжение поначалу удивило солдат. Но приказ есть приказ.

Землю мы отрыли часа за два, она была довольно податливая, прогрелась от человеческого тепла. Я наконец-то встал во весь рост.

— Ну теперь и вы разогните спины. Ни на что это не похоже — жить согнувшись.

— Да, — сказал один солдат, — теперь могилка удобная...

— Могила тоже должна быть удобной.

В углу валялась помятая жестяная печь. Я слегка подправил ее, установил посреди блиндажа. Сержант заволновался:

— Немец увидит дым, в порошок нас сотрет.

Я сунул трубу в снежную стенку. Поначалу дым пошел обратно, но потом, видно пробив себе ход, растворился в снегу. В блиндаже стало тепло. Солдаты разделись, разулись, распрямились... Я нагрел в котелках воды, дал свою бритву и мыльницу, велел побриться.

Потом еще растопили снегу и по очереди помылись.

И, слава богу, наконец-то мои ребятушки обрели человечье обличье.

Потом захоронили тела всех одиннадцати убитых.

* * *

Привели в порядок и два других блиндажа.

Связь неустойчива. Зажатый с трех сторон в огненном кольце противника, «аппендикс» лишь узкой полоской связан с нашими укреплениями, которые тоже находятся под непрерывным обстрелом противника. Пищу нам доставляют только ночами. Связные часто не доходят до нас — настигает смерть.

Сегодня четвертое февраля. Месяц и семь дней, как мне исполнилось девятнадцать. Записи мои на обрывках «Правды».

УЖАС

Короткий день как-то сразу поглотила тьма.

Противник обрушил яростный артиллерийский огонь на ту самую полоску, которая связывала нас с тылом. Звякнул телефон. На проводе командир полка:

— Что это там у вас происходит?

— Противник огнем отрезает, товарищ подполковник! — доложил я обстановку. — Вот-вот атакует.

— А вы что?

— Будем защищаться. Прошу прислать в мое распоряжение отделение автоматчиков.

На этом связь оборвалась.

Над снегами воет ночь. А над нами воют немецкие снаряды. Я стою у снежного барьера и наблюдаю за действиями противника. Он бьет не в нас. И это куда опаснее.

Ясно, что враг хочет отрезать нас от наших основных сил и живыми взять в плен. К тому же, если не стреляют сюда, значит, их атакующие солдаты расположились слишком близко к нам.

* * *

Я расставил своих у снежного барьера.

В моем распоряжении три ручных пулемета, автоматы, винтовки, ящик гранат и миномет малого калибра. Всего этого было бы достаточно, если позиции наши были бы укреплены, как, скажем, мой наблюдательный пункт под Званкой. Но, увы, здесь только плохонький блиндаж. А снежный барьер — ненадежная преграда для артиллерии.

Я готовился к бою, не надеясь на подкрепление. Ходы сообщения находятся под сильным артогнем, пробраться сюда невозможно.

* * *

Ад кромешный. Над нами не небо, а раскаленный свинец. Но никто не уходит в блиндаж даже погреться. Никто не вешает носа, не жалуется, хотя за весь день каждый из нас в лучшем случае съел только сухарик да выпил стакан кипятку.

* * *

Обстрел продолжается. Весь этот кошмар мог бы понять лишь тот, кто хоть раз был в положении, подобном нашему. Я тем не менее спокоен. Может, от ощущения близости конца? Не знаю. Но я действительно чувствую себя совсем спокойным.

* * *

Одиннадцать ночи.

Ребята приметили на снегу движущиеся в нашу сторону белые точки. Скоро такие же точки появились справа и слева от нас. Так и есть: они хотят взять нас живыми. Я распорядился подпустить их ближе.

Нас семнадцать человек, с оружием и боеприпасами. А сколько фашистов нас окружает, этого я пока определить не могу. Прижавшись подбородком к холодной гашетке пулемета, я всматриваюсь в снег, отдающий синевой. По нему движутся белые точки, как холмики катятся. Гитлеровцы в маскировочных халатах. Вспомнилась мама. Потом мне почудилось, будто подо мной шевелятся трупы захороненных нами одиннадцати солдат...

* * *

Вдруг прямо у себя под носом, метрах в тридцати, я увидел надвигающийся на меня сугроб. Потянулся за противотанковой гранатой, сорвал предохранитель и кинул ее. А следом тотчас нажал на гашетку и дал очередь. Начали стрелять и мои солдаты. Заработал миномет.

Завязался настоящий бой.

Преимущество пока на нашей стороне. Держим круговую оборону. Бьем, не жалея боеприпасов. Я понимаю, что артиллерия нас не очень-то решается обстреливать из страха

зацепить своих. Нам только остается не дать фашистам поднять головы.

* * *

Бой длился пять-шесть часов. А может, и больше, точно не определишь, когда перед тобой смерть. Она времени не считает. И мы не считаем. Человек, пока жив, защищается.

Не чувствую ни холода, ни голода, даже курить не хочется. Только язык, как щетка, сухой. Я набираю в рот снегу.

Над вражескими позициями взвились в небо красная и две зеленые ракеты. Голову ломать не приходится, все ясно: это сигнал к отступлению. Я приказываю усилить огонь.

Окружавший нас противник мгновенно отошел. Замолчала и артиллерия. Я приказал своим уйти в блиндаж. Теперь враг сконцентрирует огонь на нас.

Наш минометчик не успел убрать свой «самовар». Парня убило первым же снарядом. Я взвалил его на спину и метнулся в блиндаж. Совсем рядом ударился осколок.

Началось...

* * *

Прижавшись друг к другу, сидим у печки.

Убитого минометчика я положил у двери. Мы все словно окаменели. На нас сыплется огневой шквал.

Земля дрожит. Если снаряд угодит в блиндаж, мы даже не успеем сообразить, что произошло.

Помкомвзвода, сержант, вдруг запел:

Напрасно старушка ждет сына домой,
Ей скажут, она зарыдает...

Песня за душу хватает. И мы все тоже начинаем подпевать сержанту, мерно покачиваясь, плечом к плечу. Это не песня, а стон замерзшей земли, вопль неба. Это выше человеческого разумения.

А волны бушуют вдали...

В ушах грохот разрывов. Жизнь наша сейчас целиком во власти случая. В минуту до пятидесяти снарядов обрушивается на наш пятачок. И если хоть один угодит в блиндаж...

Солдат один, самый молоденький, вдруг снял пилотку и начал неумело креститься:

— Господи, боже мой!

Нам, горемычным, нет и такого утешения — молитв мы не знаем никаких. Делать нечего, продолжаем петь. Заглушаем голос смерти, нависшей над нами.

* * *

Артиллерийский обстрел прекратился только на рассвете. К счастью, мы потеряли лишь одного убитым. День тоже прошел относительно спокойно, хотя у самого снежного заграждения убило солдата, доставившего нам пищу. Сержант втащил его в блиндаж. Пуля попала солдату в висок. Восемь буханок хлеба в его вещмешке залиты кровью.

* * *

За снежным барьером сержант насчитал двадцать три убитых.

— Неплохо мы поработали...

Он втащил один труп. На груди у немца значок гитлерюгенда и железный крест. Мундир новенький, лицо гладко выбрито. Я велел сержанту отпихнуть его подальше от могилы наших ребят...

Ночью с пятью автоматчиками ко мне на позицию пришел замкомполка по политчасти майор Ерин. Он был спокоен, не сгибаясь прошел по участку, обстреливаемому немцами. Ему лет под сорок, но выглядит молодым.

— Ну, — сказал он, — надо отдать вам должное, молодцы. Богатырских дел понаделали. У вас тут получился маленький Сталинград.

Он протянул мне кипу газет. Сколько времени уже газет не видали, читать разучились...

Окруженные под Сталинградом немецкие войска частью уничтожены, частью взяты в плен... Я залпом проглатываю все новости. Турки в Карсе только и ждали падения Сталинграда, чтобы ворваться в Армению. Гитлеровцы отброшены от Северного Кавказа... В междуречье Волги и Дона осталось лежать полтораста тысяч убитых солдат противника... Командующий шестой немецкой армией фельдмаршал фон Паулюс сдался в плен... Побросали оружие и все оставшиеся в живых немцы... Вот так-то, господа фашисты! Ворвались к нам, как дикие звери, а убегаете, как побитые собаки. Всего за несколько дней до того, как Паулюс сдался в плен, Гитлер присвоил ему звание фельдмаршала. И вот в плену у нас есть теперь и фельдмаршал, а сколько генералов и какая огромная армия солдат — сто тысяч пленных!

Второго февраля воцарилось спокойствие на Донском фронте... Придет оно и к нам, это спокойствие, придет на холодную смерзшуюся землю.

Никогда еще я не получал от газет такого удовольствия, как в этот день, в тесной землянке, всего в каких-нибудь ста метрах от врага.

Мне вдруг пришло в голову, что было бы неплохо, если бы переводчик полка пришел сюда и в рупор (здесь близко, услышат) сообщил бы немцам о разгроме под Сталинградом. Командование-то их ведь наверняка скрывает это от своих солдат.

Я высказал свою «идею» майору Ерину. Он ничего не ответил.

Сегодня пятое февраля. Месяц и восемь дней, как мне исполнилось девятнадцать. В записях моих дыхание смерти.

ГОРЕСТИ, ГОРЕСТИ

Пришло письмо от Баграта Хачунца. Поискал на карте, нашел, где он есть. Почти рядом. Чего доброго, можем и встретиться, хоть разок бы еще послушать его песни.

* * *

Повод нашелся.

Враг вроде бы попритих, зарылся в землю и выжидает. А мы бьем его и днем, и ночью.

Меня вызвали в штаб дивизии, сказали:

— Явитесь, вам будет вручен орден.

— Есть явиться!.. Но почему именно сейчас? На кого мне оставить взвод?..

— Передайте командование Овечкину.

* * *

Орден вручал командир дивизии.

— А теперь, — сказал он, — можете недельку и отдохнуть. Город Боровичи вам знаком?

— Так точно, товарищ генерал, знаком!

— Будете сопровождать туда одного человека...

Человек этот — старший лейтенант. Его разжаловали и сейчас отправляют в штрафной батальон. Надо сказать, перспектива сопровождать его меня не очень радовала. Я попробовал было упросить начальника штаба: не надо, мол, мне такого «отдыха». Он сначала засмеялся, а потом насупился, но ничего не сказал. Я сообразил, что вроде как пытаюсь не выполнить приказ комдива, и замолчал. Солдат есть солдат, и приказ есть приказ.

У меня с собой пистолет и две гранаты. Начальник штаба приказал мне на случай, если арестованный попытается бежать, пустить его в расход. И это почему-то вселило в меня страх.

* * *

Штрафнику лет под тридцать, невысокий, круглолицый, фамилия его Борисов. Погоны у него с шинели сорваны, но на преступника вообще-то не похож...

Вскоре мы пересекли Волхов. В Селищевской крепости нам выдали хлеба на двоих и сухой паек. Я тут же развел костер и сварил похлебку. Сели есть, спрашиваю старшего лейтенанта:

— За что разжаловали?..

— Думаешь, за измену? Нет. Я с тридцать четвертого служу. На фронте с первого дня войны...

Мне вдруг показалось, что он вот-вот заплачет.

Что мне было говорить? Я молчал.

— Командиром батареи я был. Три дня мои солдаты оставались без хлеба. И тут как раз к нам на батарею пришел начальник политотдела дивизии. Я возьми да и спроси, почему нам хлеб не доставляют. Он только руками развел. Меня взорвало: «Если, говорю, не можете организовать снабжение солдат самым необходимым, подайте в отставку». Он в отставку не подал, а я вот разжалован, да еще и под арестом...

Темно и холодно. Но здесь есть теплые землянки, кипяток. Мы с Борисовым устроились на нарах. Он с удовольствием вытянул ноги.

— Хоть высплюсь.

Мне тоже очень хочется спать. Но тут в землянку вдруг ввалились четверо военных и две девушки в штатском. Один из военных, майор по званию, предупредил нас:

— Прошу никаких разговоров не вести. С нами немец.

Немец, как мы поняли, перебежчик. Высокий, белобрысый парень. И странно, но он удивительно весел. Наши девушки тоже непонятно любезны, говорят с ним по-немецки. Его тоже препровождают в Боровичи, видать, ценная добыча.

Ужинали они шумно. Немца напоили водкой, дали ему и шоколаду.

Я постарался уснуть. Но Борисов не шел из головы. Жалко человека.

* * *

Утро. Меня разбудил Борисов:

— Уйдем, пока господин немец не изволили проснуться. Не хочу, чтобы он меня, советского офицера, видел арестованным.

Вышли из землянки. До станции Малая Вишера день пути.

Я вытянул ремень из брюк, отдал его Борисову, велел подпоясаться. И погоны были, тоже велел надеть. А звездочек у меня сколько хочешь, можно и до капитана набавить.

— Что вы, зачем? — удивился Борисов. — А если я убегу?

— Бегите.

Дальше мы шли как равные. Солдаты отдавали честь и Борисову и мне. Долго шли молча.

Вечер. Добрались до Малой Вишеры. Мороз страшенный.

Сегодня шестое февраля. Уже месяц и девять дней, как мне исполнилось девятнадцать. Записи мои мятежны.

ТАИСА АЛЕКСАНДРОВНА

Все тут в руинах: станция, дома, улицы... Ужасающую картину представляет этот прифронтовой городок. Прохожих на улицах почти не видно.

Мы с трудом разыскали кухню, получили трехдневный паек — дали нам хлеба, сала, консервов, сахару. Еще бы найти ночлег. Снег под ногами отчаянно скрипит, идем куда глаза глядят.

Вдруг женщина какая-то остановила нас и спрашивает:

— Видать, ищете, где бы переночевать?

— Да...

— Идемте со мной.

* * *

Женщина в ватных штанах и телогрейке. И все на ней черное. И валенки, и шаль тоже.

Мы пришли с ней к небольшой деревянной, чудом уцелевшей избенке. Внутри холод, запустение. Женщина сказала:

— Вы раздевайтесь, а я сейчас дров принесу.

Она вышла в сени и вернулась спустя минут десять с вязанкой дров. Я с трудом ее узнал. Она уже была в легком домашнем платье. И хотя было ей, наверное, лет сорок, но, скинув свое мрачное одеяние, она сейчас выглядела очень молодо.

Женщина бросила дрова на пол и начала разжигать «буржуйку».

— Продрогли небось?..

Голос у нее приятный, приветливый.

— Ну, милые мои, сейчас станет тепло. Согрею вам воды, помоете ноги. Зовут меня Таисой. Когда немцы заняли наш городок, я подалась в Боровичи. Месяц, как вернулась обратно.

Она пошла за водой. Борисов растянулся на тахте.

— Все рассказала, — бросил он, — и про ноги тоже. Послушайте, дружок, а бабенка ведь ничего себе. На ваш великий пост такая — сущий клад. Не теряйтесь...

Я зло глянул на него.

— Не болтайте глупостей!

— Глуп тот жаждущий, который у воды стоит, а жажды своей не утолит.

— Замолчите! Человек нас приютил, а вы?

— Приютила, вот и надо отблагодарить ее за доброту...

Таиса вошла с двумя ведрами в руках. Спросила, весело улыбаясь:

— Вы что тут, никак ссоритесь?

— Похоже на то, — признался Борисов.

Таиса стояла перед нами открытая, добрая. Я готов был провалиться сквозь землю от стыда. Борисов преступил все границы дозволенного.

— Я, — с какой-то злостью сказал он, — советовал этому парню попользоваться вашей любезностью до конца...

Таиса криво усмехнулась, пристально посмотрела на меня. В ее глазах я приметил печаль. Она повернулась к Борисову:

— А он что? Отказывается?

— Вроде бы так, — сказал Борисов. — На словах...

— И правильно делает. — Она изменилась в лице. — Вот ты бы, пожалуй, не задумался?..

И Таиса сделалась вдруг очень печальной. Даже Борисов примолк, может, опешил от ее слов.

Весь припас, что был у меня с собой, я выложил на стол и сказал:

— Тетя Таиса, приготовьте, если можно, из всего этого хороший обед.

И мы принялись с ней за дело. Открыв банку аппетитной тушенки, она всплеснула руками:

— Ой, дух-то какой необыкновенный!

Я смотрю на нее и удивляюсь: войну ведь прошла, а осталась такой мягкой, доброй. Вся прямо лучится светом. Это чистота ее души лучится.

* * *

Обед готов. Таиса расстелила на столе газету, мелко порезала хлеб, поставила три тарелки и пригласила нас к столу.

— Вы уж простите, выпить у меня нечего. Такие времена. Остается радоваться друг другу. А нам ведь есть чему радоваться. Мы с вами воюем против зла и насилия. И воюем теперь уже успешно...

Мы засиделись за столом, поели, вдосталь наговорились. Все, что осталось от продуктов, Таиса бережно завернула в газету и положила мне в вещмешок. Затем она вышла и скоро вернулась переодетой опять во все черное, в телогрейку и прочее.

— Ну, ребята, оставляю на вас дом, а мне на службу пора. Я по вольному найму тут у нас переводчицей работаю, в части.

Борисов смущенно подошел к ней.

— Простите меня, глупого, Таиса...

— Александровна, — строго добавила она.

— Таиса Александровна, — упавшим голосом досказал Борисов. — Простите за все, что я тут наговорил.

— Ничего. Я и сама люблю пошутить, — печально улыбнулась Таиса. — Забудем. Главное, что у вас есть на эту ночь теплый приют. Утром уходить будете, на щеколду закроете. Доведется еще когда забрести в эти места, милости прошу, заходите...

Она ушла. Мы с Борисовым долго молчали. Наконец он заговорил.

— Послушайте, — сказал он, — сорвите-ка с меня эти погоны да звездочки, теперь я и впрямь преступник перед такой женщиной... За это и наказание по заслугам.

— Война во всем виновата, — сказал я. — Дичаем мы. Теперь понадобятся годы, чтобы нам очиститься от всего, что осело в наших душах...

Как ни странно, а я уже сейчас чувствую себя словно бы очистившимся, обогащенным. Сколько же прекрасных людей, не роняющих себя и в этом ужасе, в этом кромешном аду, перед лицом самой смерти!

Сегодня седьмое февраля. Уже месяц и десять дней, как мне девятнадцать. Записи мои полнятся гордостью.

ОДИН ГЛАЗ САХНОВА

Утро. Из Малой Вишеры мы вышли с рассветом и к вечеру того же дня, уже поездом, добрались до Боровичей.

Я доставил Борисова к командиру штрафного батальона и взял расписку. Борисов обнял меня:

— Браток...

Мы расцеловались. Комбат недовольно пробурчал:

— Целуетесь с арестованным...

— Он — человек!

* * *

Возвращался я той же дорогой, но у деревни Орехино свернул в сторону, где должен стоять автобат Хачунца. Это близко, в лесу. Нашел я быстро, и землянку Баграта отыскал без труда. Он очень мне обрадовался, стал угощать.

— Ну что там у вас, все еще тяжело? — спросил он. — Знаю, знаю. Но вынести такое — дело чести.

В землянке у него сухо и чисто.

— Если вдруг струсишь, на глаза мне не показывайся. Это не по-нашему, не по-горски.

Я вспомнил «аппендикс». Уж чего страшнее, а я и там вроде бы держался как надо, никакого страха не испытывал.

Как я и надеялся, Баграт порадовал меня, спел «Крунк»[7]. Голос у него небольшой, низкий, но поет — душу надрывает. Он поет, а я погружаюсь в забытье.

Журавль, с родины нашей
Нет ли вестей?..

Нет, вестей нет... Сколько уж месяцев я не получал вестей с родины. Опаленная солнцем Армения, как ты? Остался ли там кто из твоих сыновей? Кто вспахивает твои поля? Есть ли у тебя хлеб?

Сердце огнем горит. Густой голос Баграта эхом отдается в моих ушах:

— Не тревожься, сынок, Армения будет жить. Будет...

Пора. Я собираюсь в путь. Баграт делится со мной табаком и курительной бумагой. Прощается сумрачный и строгий.

— Береги себя...

* * *

Вернулся в часть. Наши получили подкрепление: и людьми, и оружием. Пополнился и мой взвод. Теперь у меня сорок шесть бойцов и четыреста тридцать шесть метров земли под защитой. «Журавль, с родины нашей нет ли вестей?..» Вот он, кусочек моей родины. Четыреста тридцать шесть метров земли под защитой. Здесь я защищаю мою Армению. Мы снова уповаем на землю. Снова бой. Впереди еще много боев.

* * *

Ко мне зашел командир батальона. В тесном полутемном блиндаже он стал разъяснять мне задачу завтрашнего боя.

— Чего нам здесь тесниться, товарищ майор, не лучше ли подняться на НП? Там будет удобнее, — предложил я.

Наблюдательный пункт мой расположен на высоком дереве. Оттуда хорошо просматриваются позиции врага.

Мы поднялись по лесенке на сосну. Здесь у меня и рация.

Майор просмотрел мои наброски плана расположения немецких огневых точек.

— Какое вы училище окончили? — спросил вдруг он.

— В Мясном Бору.

— Вон что, значит, тоже там воевали?

— Принял первое боевое крещение...

— Ну, и как оно было?

— Плохо, — ответил я. — Много крови пролили.

Он хотел закурить. Я удержал его.

— Немец может заметить, товарищ майор. Потерпите, пожалуйста, вот спустимся с дерева...

Боевая задача мне ясна: поддержать огнем штурмовые группы и затем выйти на шоссейную дорогу, ту, что в шести километрах от нас.

— Полк наш во что бы то ни стало должен выйти на шоссе, — сказал майор. — Это даст нам возможность отрезать противника от его основных сил.

Я спросил, как у нас с танками.

— Мало, конечно, — сказал майор. — Будем брать шоссе собственными силами. Как считаете, удастся?

— Что ж, воевать мы уже научились, — сказал я. — Надо надеяться, что удастся.

Мы спустились с дерева.

* * *

Вечер. Ко мне зашел капитан Волков, начальник особого отдела. Он знаком мне еще по Мясному Бору. Мы с ним изредка поигрываем в шахматы.

— Вы хорошо знаете рядового Сахнова?

— Очень хорошо.

— Полк наш давно не имел «языка», — сказал капитан. — А без «языка», без свежих данных о противнике, наступать будет трудновато. Сахнов просит командование полка позволить ему отправиться нынешней ночью за «языком»...

— Однажды он уже взял «языка». Со мной и с Сорокиным. Он ловок и отважен, — сказал я. — Раз берется, дело сделает.

Волков вынул пачку «Беломора», закурил папиросу и меня угостил.

— Но как вы думаете, почему Сахнов сам напрашивается на эту опасную вылазку? Уж не собирается ли он драпануть к немцам?

Меня всего передернуло. Как можно такое подумать?! Как я могу усомниться в боевом товарище!

— А почему вы спрашиваете меня об этом? — наконец проговорил я.

Волков выпустил дым через нос.

— Вы член бюро ВЛКСМ нашего полка, дважды орденоносец, мы верим вам. Кроме того, Сахнов с вами близок.

— Благодарю, — сказал я. — Но какое у вас основание ему не доверять?

— Основание серьезное, — сухо ответил он. — Не забывайте, что за Сахновым большие грехи. У него в прошлом много судимостей. У такого человека всякое может быть на уме.

Я взял себя в руки и довольно спокойно проговорил:

— Если вы считаете, что он собирается перебежать к немцам, тогда есть основания расстрелять его?

— Не понимаю вас?! — пожал плечами капитан.

— А что тут непонятного? Вы думаете, так трудно перебежать? Давайте выйдем из блиндажа, и я три раза кряду, у вас на глазах, схожу туда и обратно. Неужели вы не понимаете, что если бы Сахнов хотел бежать, он сделал бы это давно. Грех подозревать его.

Капитан поднялся и вышел.

* * *

Примерно через полчаса после ухода Волкова ко мне явился Сахнов. Он сиял от радости. Командир полка разрешил ему с тремя другими добровольцами отправиться за «языком». Я ничего не сказал о Волкове, о моем с ним разговоре.

Ночь. Сахнов с маленькой группой вышел на задание. Я остался на НП.

Всю ночь на немецких позициях была тишина. Неужто Сахнова засекли вместе с его товарищами? Мне вспомнилась молитва времен нашего пребывания в «аппендиксе».

* * *

В предрассветной мгле я приметил на нейтральной полосе ползущих в нашу сторону людей. Это они! Я поспешил им навстречу. Здорово-то как! Сахнов и его ребята волокут фрица. Лицо у Сахнова в крови, над левым глазом синячище. Это чуть испугало меня. Но Сахнов радостно закричал:

— Порядок, сынок! Пока глотку этому сукину сыну заткнули, он успел садануть меня рукояткой пистолета.

Рядом со мной вдруг возник капитан Волков. Он был невозмутим. Откуда ни возьмись прибежала Шура. Боже ты мой, она-то как сюда попала, в полк? И когда? Или сбежала от своего старикана врача? Но если и сбежала, то зачем именно сюда явилась, в наш полк? Чего она все преследует меня?..

Шура наложила повязку Сахнову. Немец здорово его разукрасил. Но Сахнов ни звука не издал, когда Шура обрабатывала рану. Она повела его в полевой госпиталь. Когда вернулась, я спрашиваю:

— Что, твой старикан тоже перевелся к нам в полк?

— Хотел было, но я не дала ему сделать этого. И вообще бросила его.

— Другого, что ли, нашла?..

Шура схватила меня за плечи, посмотрела прямо в лицо и взмолилась:

— Не убивай меня!

Всхлипнула и побежала вон.

Хотелось закурить — и не смог: руки почему-то дрожали.

* * *

«Язык» Сахнова оказался очень важной и ценной добычей.

* * *

Рассвело. Полк наш двинул в наступление. Для противника это было неожиданным. И мы с первого же удара ворвались в их расположение.

* * *

Полдень. Мы вышли к шоссе. Идти дальше нет сил. Окопались. Я неотступно думаю о Шуре. Боюсь, что на этот раз обидел ее сильнее прежнего. Но как мне быть?..

Сегодня десятое февраля. Уже месяц и тринадцать дней, как мне исполнилось девятнадцать. Записи мои заморожены.

РАЗОРВАННЫЕ ОКОВЫ

На новых позициях денно и нощно мы строим оборонительные укрепления. Я как-то отважился спросить командира полка, почему мы приостановили наступательные бои. Он чуть помедлил с ответом и сказал:

— Это вопрос не однозначный. К сожалению, наш полк на сегодняшний день не располагает достаточными силами для наступления...

Комполка долго молча осматривал наши новые блиндажи, траншеи, а потом, вернувшись к моей роте, сказал, как бы продолжая свою мысль:

— Ведь это наше наступление имеет сугубо местное значение. Мы, так сказать, делаем «шум на фронте». Это тоже, конечно, дело нужное, если учесть, что перед нами блокированный Ленинград...

По его тону я понял, что готовится серьезное, большое наступление с целью прорыва блокады Ленинграда. Наш Волховский фронт стоит лицом к Ленинграду и Ленинградскому

фронту. Правое его крыло упирается во льды Ладожского озера, а левое по берегу Волхова простирается до самого Новгорода. Мы находимся в южной части фронта, на Волховском плацдарме.

Разведчики наши донесли, что немцы перебросили с севера на наш участок две дивизии. И это все против одного нашего полка. Оно конечно, страшновато, но мы тем не менее полны гордости, что и говорить: ведь это из-за нас с Ленинградского фронта сняты две дивизии. Худо ли, бедно ли, а мы связали их по рукам и ногам: ни вперед не могут продвинуться, ни назад отойти — ударить против Ленинграда.

* * *

А знаете ли вы, что такое блокадный Ленинград? Не знаете? Так вот. Я пишу письмо домой. Вот оно.

«Скоро уже полтора года, как Ленинград блокирован, то есть окружен. Милая мама, знаешь ли ты, что значит окружен? Не знаешь. И не дай тебе бог знать. Огромный город на берегу моря окружен вражескими войсками. Их много — двадцать пять немецких и шесть финских дивизий. Это почти полмиллиона солдат, тысячи орудий и эти шестиствольные минометы, которые мы называем «ишаками», потому что ревут они истинно как ишаки. Каждый день на Ленинград обрушиваются тысячи бомб, снарядов и мин. Они взрываются в домах, где живут люди, падают на трамвайные вагоны, в которых едут люди... Фашисты бросают бомбы на госпитали, где лежат раненые, на школы, на дома. Взрывают все. Безжалостно сеют смерть. И это длится вот уже полтора года. Никто даже представить не может, какие страдания выпали на долю ленинградцев. Ну, что мне сказать вам о них? Ведь ленинградцы — это не просто люди: это герои-ленинградцы. Не знаю, кто бы еще смог вынести такое, столько мук и смертей, столько адских страданий! Хлеба нет, люди гибнут от голода, от холода, от всего... И при всем этом, милая мама, ленинградцы держатся, у них и в мыслях нет, чтобы сдать город...»

* * *

Рассвет. Я получил приказ открыть минометный огонь по развалинам едва виднеющейся впереди бывшей деревеньки. Осенью сорок первого фашисты дотла сожгли ее. Сейчас это груда обожженных кирпичей с одной-единственной, чудом уцелевшей печной трубой.

Приказ мне ясен: на рассвете Ленинградский и наш Волховский фронты начинают одновременное наступление. Передовые линии наших фронтов отстоят друг от друга всего на пятнадцать километров в самом широком месте. По этому перешейку немцы вышли к Ладоге и полностью отрезали Ленинград от Большой земли.

Необходимо во что бы то ни стало прорвать вражескую оборону на этом перешейке, чтобы город имел путь сообщения с Большой землей.

До наступления остается всего полчаса. Здесь же в окопах состоялось собрание коммунистов и комсомольцев нашей роты. Собрания мы устраиваем нечасто, и длятся они, как правило, десять — пятнадцать минут, а на повестке дня больше один и тот же вопрос: все силы на уничтожение ненавистного врага. Что еще мы можем решать, кроме того, что враг должен быть разбит и изгнан с нашей земли?

На этом собрании секретарем был я и с удовольствием записал в протоколе:

«Не пожалеем жизни во имя свободы Родины. Откроем путь Ленинграду, дадим вздохнуть».

Мне припомнились слова Петра Первого о том, что Петербург — это окно в Европу, и я дописал:

«Ленинграду необходимы и путь и окно к сердцу Родины».

* * *

Девять часов утра. Через полчаса мы начнем артобстрел. Для снабжения Ленинграда электричеством по дну Ладоги проложен электрокабель. Жидкое топливо городу тоже доставляется по трубопроводу. И он проходит под водой. И только зимой, когда лед сковывает Ладожское озеро, по нему открывается путь автомашинам, доставляющим в осажденный город продовольствие. Путь этот называют «дорогой жизни». Именно она, эта «дорога жизни», при всех жертвах, питает надеждой ленинградцев, придает им силы.

В десять минут десятого меня позвали к телефону. На проводе был командующий армией. Понятно, звал он не лично меня, просто хотел, наверно, поговорить с минометчиками нашего участка, выяснить обстановку, — вот в штабе и решили соединить его со мной.

— Слушаю вас, товарищ генерал!..

— Как у вас с боеприпасами? — спокойно спросил генерал.

— Обеспечены всем сполна, товарищ генерал.

— Добро... Противника видите?

— Прямо вот он, перед носом.

Генерал засмеялся. Я понял, что сморозил чушь, и тотчас поправился:

— Противник напротив, мне с моего наблюдательного пункта виден каждый метр его укреплений, товарищ генерал.

— Что ж, все как надо, — сказал генерал. — Но первый ваш ответ мне больше нравится. Перед носом — это значит щелк, и нет его. Однако у этой мухи лапка из стали и хобот тоже.

— Оторвем лапки, товарищ генерал.

— Сколько вам лет?

— Недавно стукнуло девятнадцать.

— Ого! — хмыкнул генерал. — И уже успели пороху понюхать? А ведь вам сейчас самое бы времечко влюбиться. Ну что ж? Желаю успехов.

— Спасибо, товарищ генерал! — прокричал я в трубку. — Боевое задание будет выполнено!

Нам противостоит немецкая восемнадцатая армия. Командует ею генерал-полковник Лендеман. Говорят, он пользуется особым расположением Гитлера. Что ж, господин генерал, мы стоим лицом к лицу — померяемся силой. Между прочим, герр генерал, ты разбойник. Явился на чужую землю и хочешь ее отторгнуть. У нас в горах с вором разговор короткий — измолотим хорошенько, и делу конец.

И вообще была бы у меня прямая связь с тобой, герр генерал, позвонил бы я и сказал: «Забирай, пока не поздно, свою полумиллионную армию, и уносите ноги восвояси. Зачем им здесь подыхать, землю нашу поганить?..»

Подумал такое и сам посмеялся своим мыслям.

Гитлер заявил, что сотрет Ленинград с лица земли. Даже план у него выработан для этого — перекрыть Неву, чтоб разлилась морем и затопила город. Многого он захотел. У нас в горах говорят: «Глянь, собака захотела арбуза».

* * *

Девять часов двадцать минут. Не чувствую холода. В руках у меня послание ленинградцев нам — солдатам.

«В эти решающие дни с любовью и надеждой, с непреклонной уверенностью уповает на вас Ленинград и ленинградцы. Да

настигнет врага справедливое возмездие! К возмездию взывают могилы ленинградских детей...»

От последних слов к горлу подкатывает комок. О господи, могилы детей!..

* * *

Девять часов тридцать минут.

Загрохотало все вокруг. Кажется, будто небо обрушилось. Но нет, это наша артиллерия: одновременный удар в несколько тысяч стволов. Без передыху палят и мои минометы.

— За Ленинград десятью минами беглый о-гонь!

Дрожит земля. Тяжелое зимнее небо нависло так низко, как на плечи легло. Все вокруг грохочет, все охвачено огнем. Бойцы не слышат моего голоса, только по руке догадываются о моей команде и стреляют. Недавно такое спокойное небо сейчас буйствует...

Артобстрел длился час сорок пять минут. Это был град из раскаленного металла, и лупил он по головам вражеских солдат, зажатых в узком перешейке.

И так потом день, два дня... Семь дней... Семерка — число магическое. Так оно и произошло. Блокада Ленинграда была прорвана, город получил выход к Большой земле.

Сегодня восемнадцатое февраля. Уже месяц и двадцать один день, как мне исполнилось девятнадцать. Записи мои сбросили оковы.

БЕСПОКОЙНЫЕ ДНИ

Ко мне на позиции завернул один из моих старых бойцов, теперь уже сержант. Он был в белом маскхалате. Мы оба обрадовались друг другу. Сержант сказал мне, что он уже три месяца, как снайпер.

— Вот как! — удивился я. — И сколько же на счету?..

Он вытащил из-за пазухи нашу армейскую газету и показал мне свою фотографию. Под ней было написано, что этот снайпер из энской части — настоящий ад для фашистов. Только за один месяц он уничтожил сорок девять гитлеровцев. Я занес это себе в блокнот, конечно переведя на армянский.

По просьбе сержанта я показал ему отлично замаскированные траншеи, ведущие от наших позиций к нейтральной полосе. В руках у него была снайперская винтовка с оптическим прицелом. Он спустился в траншею.

— Если замерзнешь, приходи греться в блиндаж, — сказал я.

— Спасибо. У меня экипировочка отменная. Никакой мороз не проберет.

Зимний безоблачный день...

* * *

В блиндаж он пришел только к вечеру. Я предложил ему кипяток, понятно, без сахару. Где ж его взять? Он достал из кармана два больших куска сахару, один протянул мне, другой опустил себе в кружку.

— Мы, снайперы, на усиленном пайке, — улыбнулся он. — С едой у нас полный порядок.

— Вижу, — сказал я. — Гладкий.

Он протянул мне листочек и попросил:

— Отметь, что сегодня я действовал на твоем участке и отправил к праотцам несколько фрицев.

— А именно сколько?

— Пиши: восемь...

Я написал. Он улыбнулся, сложил листок и сунул в карман.

— Завтра опять приду...

— Да нет уж, не приходи, — сказал я. — Если ты и завтра уложишь восьмерых, что же мне тогда делать, против кого воевать?..

Понял, видно, мою подковырку, ничего не сказал, только почесал затылок и ушел.

* * *

Письма из дому приходят редко. Я очень беспокоюсь. Журавль не приносит мне вестей с родины. А без писем солдату невмоготу. Солдату нужно немногое: боеприпасы, письма из дому да сытый желудок. Имей он все это — и свершит невозможное...

Но журавль все же принес мне весть. Пришло письмо от мамы. И она уверяет, что живут они очень-очень хорошо. Должен сказать, это «очень-очень» мне не совсем понравилось. Понимаю, что утешает меня. А на самом деле им, наверно, и хлеба не хватает, и дров тоже...

Письмо я обычно храню, пока не получу нового. Только после того пускаю его на курево. А что делать? Бумаги-то нет.

* * *

Ранило нашего Путкарадзе. Его сменил старший лейтенант Иван Овечкин. Ординарца Путкарадзе, друга моего Сахнова, я выпросил себе во взвод...

Овечкин все ворчит:

— Погоны, погоны... Дожили... Коммунисты — и в погонах.

— Ну, не так уж это страшно, товарищ старший лейтенант.

— Да, но погоны носили царские офицеры, а наши отцы в годы революции с этими офицерами боролись и погоны с них срывали...

С погонами все выглядят собраннее и внушительней — и офицеры и солдаты. Напрасно Овечкин расстраивался.

* * *

Сегодня из каждой роты нашего полка выделили по десять человек и собрали всех на лесной поляне. Изменника Родины будут расстреливать.

На приговоренном нет ни ремня, ни погон. За спиной у него яма. Он оглядывается на нее и мелко крестится. Не каждому дано увидеть свою могилу.

Перед осужденным стоят шесть человек солдат с винтовками. Председатель военного трибунала зачитывает смертный приговор. По его знаку солдаты вскидывают винтовки.

— По изменнику Родины — огонь!

Раздался залп. Приговоренный качнулся, но не упал, даже крикнул:

— Братцы, каюсь! Пощадите!

Снова залп. Жив я или мертв...

Приговоренный опять качнулся и упал. Его столкнули в могилу и засыпали землей.

«Братцы!..»

Ночь. Мне не спится. Перед глазами могила. И чудится, будто из нее пытается вылезти человек. В ушах стоит крик: «Братцы!»

Будь ты неладен. Не надо было тебе бежать во вражий стан, не надо было... А теперь что же могут поделать братцы? Война ведь. Убили бы в бою, была бы тебе слава, а уж коли в дерьме себя вывозил, так и получай по заслугам...

* * *

Всюду и везде смерть ходит рядом со мной: и за спиной, и впереди, и везде вокруг...

Мы впятером идем траншеей ко мне на позиции. Вдруг совсем рядом разорвалась мина. У лейтенанта, что шел впереди, как кинжалом ее срубили, слетела с плеч голова. Его кровь брызнула мне в лицо...

Добрались. Расчистили в снегу площадку для костра.

Я отправился за дровами. Вернулся, вижу, еще одного из наших убило — пулей живот распороло.

Не успели мы похоронить убитого, как над деревьями ударила шрапнель. Двое из моих товарищей были убиты на месте. Меня даже не царапнуло.

И так повторялось и днем и ночью. Повторялось ежедневно. Оставалось только удивляться, как это мы еще держимся, сохраняем силу духа и боеспособность...

Сегодня двенадцатое марта. Уже два месяца и пятнадцать дней, как мне исполнилось девятнадцать. В записках моих отдается эхом: «Братцы!»

* * *

Год, как я кандидат. Уже пора вступать в члены партии. Едва я заговорил об этом с майором Ериным, он с радостью предложил мне:

— Вот и прекрасно, прямо сейчас, не сходя с места, пишите заявление. Не многие из наших кандидатов становятся членами партии...

— Почему? — удивился и испугался я.

Он с грустью посмотрел на меня.

— Погибают...

В тот же день вечером меня приняли в члены Коммунистической партии.

Собрание состоялось у меня в окопе, под огнем врага. Протокол писали на горячем от стрельбы стволе миномета. Вечерело. Закатные лучи были кроваво-красными.

Меня поздравили.

Я наскоро поужинал и отправился в наряд. У меня две гранаты, пистолет и автомат с двумя дисками. Его я взял у своего помкомвзвода.

* * *

Я незамеченным прошел к секретной огневой точке. Меня никто не встретил. Подошел поближе. Часовой спит, прислонив винтовку к заледенелой стене. Я взял винтовку в руки, разбудил солдата. Бедняга от страха бухнулся мне в ноги.

— Не убивайте меня! Ой, мамочка...

За сон на посту — расстрел на месте. Я схватил его за ворот.

— Встань, дурень! Понимаешь ли ты, что ставишь под угрозу не только себя, но и всех своих товарищей?

Парень молодой, молоко еще на губах не обсохло. Чуть было не заревел, но я закрыл ему ладонью рот и сказал:

— Возьми себя в руки, постыдись!..

Отвел его в блиндаж. Там уже спали четверо его товарищей. Велел и ему поспать, а сам встал на пост.

* * *

Со стороны немцев доносятся звуки музыки. Играет патефон. Небо прошивает очередь трассирующих пуль. Наши отвечают тем же. В морозном, ясном ночном небе эта огневая феерия по-своему причудлива.

Справа грохнуло тяжелое орудие и умолкло. В ответ затарахтел пулемет.

Страшная вещь — одиночество. Вокруг леденящий ужас, и я наедине со своими тяжелыми думами. А враг всего в ста метрах от меня.

Но вот наступила тишина, и меня клонит ко сну. Кусаю пальцы, чтобы не уснуть.

* * *

Наконец-то рассвело. Из блиндажа вылез солдат, которого я застукал спящим. Подошел, поздоровался.

— Устали? — робко спросил он.

— Есть малость. Ну, а вы как, хорошо поспали?

— Вначале не очень. — Он скрутил цигарку. — Хочу быть откровенным с вами, товарищ лейтенант. Я считал, что вы накажете меня по всей строгости военного времени...

— Что может быть лучше полной откровенности.

Бедняга, видно, всю ночь мучился. И, я чувствую, ему непросто открыться.

— Я вам очень благодарен, — говорит он. — Рос в так называемой приличной семье. На фронт попал с третьего курса политехнического института... Вам я благодарен. Ведь если бы вы только захотели, меня бы уж...

— Ну ладно, кончайте об этом, — сказал я.

— Вы не знаете, а ведь у меня было страшное на уме...

Я только плечами пожал.

— Ну что ж, родителей опозорили бы на всю жизнь.

— Что верно, то верно, — кивнул он. — Я люблю свою Родину, свою землю... Но мы же люди, можно ведь и сломаться?..

Я не нашелся, что ему сказать в ответ. Мы и правда люди. Только люди. А вокруг нас столько смертей.

Луч солнца упал на снег и словно примерз к нему. Принесли поесть. Я засобирался к себе в роту. Злополучный часовой сказал:

— Можете больше не приходить к нам и других не присылайте. Будьте уверены, что отныне эта огневая точка в надежных руках...

Сегодня двадцать девятое марта. Уже три месяца и один день, как мне девятнадцать. В записях моих удивление.

ТАЯНЬЕ ЛЬДОВ

Река то и дело выбрасывает трупы.

Она только-только освободилась от своего ледяного панциря.

Говорят, весна. Но где она? Снова сыплет снег, по ночам землю все так же сковывает морозом. А Сахнов знай твердит, что пришла весна.

— Ну разве не видите?

Не вижу.

Сахнов недавно вернулся из госпиталя. По его словам, он там отдыхал, ублаженный врачихами. Раненный в глаз, Сахнов теперь плохо видит. И чуть косит.

— «Язык» стоит глаза, — шутит он. — Верно ведь?..

В госпитале Сахнова подчистую освободили от военной службы, но он наотрез отказался уезжать в тыл.

— Зачем мне туда ехать? — сказал он. — Я одинокий зимний волк, и логова у меня нет. Да и война еще не кончилась, как же можно уехать в тыл?..

* * *

Чуть южнее наши войска ведут упорные наступательные бои. И кажется, будто скалы рушатся или Ильмень-озеро взбушевалось, и воды его разрывают земную твердь.

Идут бои за Новгород. Кипят-бушуют воды Волхова от беспрерывного шквала снарядов и бомб, ливнем обрушивающихся в реку.

* * *

Нам поручено вылавливать из реки тела убитых и хоронить их.

Мы натянули металлическую сетку вдоль всей длины нашего единственного понтонного моста, роздали солдатам длинные шесты с крюками на концах, и началось: солдаты с моста, а то и прямо с берега стали вытаскивать одеревенелые трупы и складывать в отрытые на берегу могилы штабелями, как складывают дрова в поленницу. Я внимательно вглядываюсь в лица: нет ли знакомых или, не дай бог, родичей?..

Не успеваем закапывать — вода несет и несет убитых. И вот — о ужас! — я узнал среди них Серожа!.. Худощавого, чуть рыжеватого паренька вытащили из воды и уложили на берегу. На груди у него что-то блеснуло, я склонился, вижу — орден Красной Звезды. Глянул на лицо — нос Серожа, прямой, крупный, и копна волос тоже его...

Подумал, а что, если сделать ему искусственное дыхание: кто знает, вдруг... Но лоб бедняги пробит осколком снаряда.

Я поднял Серожа на руки, отнес к братской могиле и уложил на трупы. Не чувствую ни сердцебиения, ни дыхания. И слез нет в глазах, только дрожь меня бьет.

Вспомнился эшелон, с которым мы с Серожем покинули наши родные горы, вспомнилось, как он угощал меня домашней гатой, и то, что Серож никак не хотел домой написать...

«О чем писать?..»

Я завернул тело друга в свою плащ-палатку вместе с орденом, оторвал уголок от маминого письма, полученного мною вчера, и сунул ему в сжатые губы.

Земля укрыла и Серожа.

* * *

Неделю спустя прекратилось наше неудавшееся наступление. Новгород по-прежнему пока еще оставался в руках гитлеровцев.

Я боюсь спать. Стоит только сомкнуть веки, сразу обступают трупы, и с ними Серож.

«О чем писать?..»

Сегодня шестое апреля. Уже три месяца и девять дней, как мне девятнадцать. Записи мои мрачны, как могила Серожа.

ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛЕТ

Насыпка над моим блиндажом зазеленела. В амбразуре дота свила гнездышко — и когда только успела? — какая-то птичка. Как стрелять-то теперь, напугаешь ее?.. Пришлось перенести дот.

К нам на позиции прибыл новый пехотный батальон. Люди в основном пожилые, но с хорошей военной выправкой. Я пригласил кое-кого к себе в землянку — пусть погреются.

— Скоро ох как погреемся, — говорят они, отказываясь от моего приглашения, — лучше не придумать.

— Собираетесь дать концерт?

«Концерт» на нашем фронтовом языке — это значит атака.

Батальон пехотинцев штрафной. Нет ли тут моего приятеля Борисова?.. И поди же, нашел! Подложив вещмешок под голову, он спал. На лице его не было прежней ясности. Я подождал, пока он проснулся.

— О, лейтенант, и вы с нами?

— Не совсем, Борисов. Здесь полк наш, моя рота...

— Рад, что вы живы.

— А вы-то как?

— Вот пришли, будем отвоевывать у врага Безымянную высоту, ту, что напротив ваших позиций. Победим — значит, нас восстановят в прежних правах. Кое-кого, конечно, посмертно. Таису Александровну вы не встречали?

— Нет.

— Если жив останусь, обязательно разыщу ее.

Я вернулся к себе в блиндаж. Не могу не думать о Борисове, хотя мы и пробыли-то вместе всего несколько дней, и при таких печальных обстоятельствах.

* * *

Утро. Половина одиннадцатого. Я на своем наблюдательном пункте, на дереве. Отсюда хорошо видно зеленеющую травой и кустарником Безымянную высоту. Видны и укрепления, протянувшиеся от моей батареи и до холма. Мне очень хочется, чтобы штрафники завладели высотой и Борисов остался бы жив...

Полчаса мы поливали огнем нашей артиллерии позиции гитлеровцев. Не меньше пяти снарядов на квадратный метр уложили. Мин я не жалею. Ведь там, среди атакующих, Борисов. Я расчищаю ему путь.

Мы перевели огонь артиллерии в глубь вражеских позиций. В то же мгновение вырвались из окопов штрафники и пошли в атаку...

Бросок был неистовый и отважный.

Наши быстро прошли узкую полосу поля и подступили к Безымянной высоте. Мне вспомнились строки Чаренца:

> ...Здесь, в этом поле, без границ, закатным залиты огнем,
> Неистовые толпы бой, смертельный бой вели с врагом...[81]

* * *

Гитлеровцы взяли под усиленный пулеметный обстрел эту узкую полосу. Упало наших пятеро, потом десять человек... И еще... Живые не дрогнули. Они неслись, как в полете. Так прекрасны летящие на огонь бабочки.

Завязался короткий штыковой бой. Гитлеровцы отступили. Я рад за Борисова, за всех тех, кто совершил этот победный бросок.

Мы перевели огонь нашей артиллерии еще дальше на запад. Надо в зародыше задушить возможную контратаку противника. Взяли высоту под круговой обстрел.

С противоположного берега Волхова ударили наши гвардейские минометы — «катюши». Они бьют по глубинным скоплениям вражеских войск.

Позиции гитлеровцев пылают, как подожженные стога сена. Огонь «катюш» уничтожающий. Я кричу в телефон:

— Еще! Еще! Бейте их!..

И так восторженно кричат все телефоны, все передатчики, кричит земля. Особенно земля.

«Катюши» перепахали все вражеские укрепления. Там все горит. Я в запале ударил кулаком по дереву и залился счастливым смехом: у меня на глазах свершился величественный акт человеческого мужества.

Безымянная высота пала. Я бросился, к победителям. Где Борисов?..

Нашел его убитым, лежащим на спине. Он будто спал, бессильно раскинув руки.

Борисов мечтал встретить Таису Александровну: «Если жив останусь, обязательно разыщу ее...»

Сегодня одиннадцатое апреля. Уже три месяца и четырнадцать дней, как мне девятнадцать лет. Записи мои в полете к огню.

БЕЛАЯ ЗЕМЛЯНКА

Сегодня мы получили небольшое пополнение: восемь солдат и один лейтенант.

Лейтенант Иван Филиппов назначен командиром взвода. Он нам с Сахновым сразу понравился. Но на меня напал бес, и я решил подшутить над новичком:

— Что же ты, — говорю, — Иван, одних солдат с собой привел, где же ППЖ?

Он не растерялся:

— Надеюсь, у тебя найдется.

Такого не подкрутишь, на смех не поднимешь, хотя он и младше меня, правда, всего на год. Он, я и Сахнов живем в одном блиндаже. Мы с Иваном быстро сдружились.

Вечер. Старшина роты принес нам, офицерам, нашу долю водки и курево.

Иван все отдает мне. Он не курит, не пьет. Сахнов качает головой:

— Не курите, не пьете, товарищ лейтенант... Если к тому же бабеночкой пренебрегаете, так вы же есть истинный монах?..

Иван не сердится на него.

— Это, брат, все не по мне. Что же до монаха, так в войну эдакое монашество не позор.

Монах наш среднего роста, с живыми глазами, на девственно-чистом лице нежный румянец. Приметив мою шахматную доску, он как-то предложил:

— Сыграем!

У меня появился сильный противник.

* * *

К нам на позиции приехала кинопередвижка. В лесу между деревьями натянули огромный белый холст.

В «кино» мы пошли вместе с Иваном.

И там, на лесной поляне, откуда ни возьмись, вдруг возникла Шура.

— Хорошо-то как, что и ты пришел! — искренне обрадовалась она. — Здравствуй...

Я познакомил ее с Иваном.

— Вот, брат, в боях под Мясным Бором я чуть не загубил эту девушку.

Иван молча слушал меня.

— И хотя до сих пор я об этом не говорил, но случай не забылся...

— Понятно, — насупилась она. — Однако, кому бы из них я успела помочь?.. Мертвым?

Ивану, видно, наскучило слушать нас, и он стал пробираться к экрану. Мы с Шурой остались одни. Я решил переменить разговор и спросил:

— Как твое здоровье?..

— Можно подумать, что это тебя и впрямь беспокоит...

— Надо ведь о чем-то говорить!..

И Шура залилась смехом.

Хорошо смеется Шура, звонко, переливчато и очень тепло. А с лица при этом не сходит грусть. И она делается такой привлекательной, такой милой... Давно я не присматривался к ней. А сейчас, оглядывая стройную фигурку Шуры, я вдруг увидел

у нее на груди медаль. Мне стало совестно за мои упреки... А волосы? Как венок из пшеничных колосьев на голове, такие они золотые.

Все проходящие в «кино» офицеры оглядывались на нас и заговорщически подмигивали мне. Это меня ужасно злило. Шура показала на ближайшую землянку.

— Видишь? Там я и живу.

В «кино» она не осталась. Я разыскал Ивана и устроился рядом с ним. Ждал, что вот-вот спросит о Шуре: кто, мол, такая, но этого не случилось.

Смотрю на экран и не вижу, что там делается. Все мои мысли в той, недалекой землянке.

* * *

Фильм кончился.

Пройдя кустарником, подошел к Шуриной землянке и постучал в дверь.

Шура живет одна. Она уже успела снять форму, и сейчас на ней белая блузка и юбка, как на Балхаше. Она бывала в этом, когда мы встречались в пустыне на берегу озера.

Шура вся как из сказки. Сказочна и ее маленькая землянка, и затянутые марлей стены. На вколоченных в землю нарах тщательно убранная постель. На маленьком столике, тоже покрытом марлей, керосиновая лампа, отбрасывающая желто-красные блики. От всего чуть веет больничным духом.

— Ну как фильм?

— Я смотрел и не видел его...

Шура ласково улыбнулась. Видно, ответ мой понравился ей. Она поставила на жестяную печь ведро с водой и по-хозяйски распорядилась:

— Снимай гимнастерку и сапоги, я тебе сейчас помою голову и ноги...

...Уже полночь, а я все у Шуры. И кажется мне, что я тоже из сказки, в раю. Никаких тебе забот, ни войны, и меня вроде вовсе нет. Только душа моя, согретая теплом благоухающего рядом тела...

Сегодня второе мая. Уже четыре месяца и пять дней, как мне девятнадцать. Записи мои пронизаны светом.

ЭТО Я...

Река синяя-синяя.

На берегу моя рота. Минометы замаскированы ветками. Они бьют из-под зеленого укрытия.

Я лежу на берегу реки и подаю своим людям команду:

— Пятью минами по врагу огонь!

Ревут минометы. Из широких жерл вырываются клубы дыма и рассеиваются в зеленой листве.

Стемнело. Река завлекает, как в омут. Раздеваюсь и вхожу в воду. Наконец-то блаженство... Днем тут не выкупаешься, весь отрезок простреливается гитлеровцами... Несколько дней назад союзники высадили на севере Африки десант и, как пишут, одержали значительную победу, уничтожили большое число расположенного там войска гитлеровцев. Это хороший знак. Надо полагать, они и в Европе скоро откроют второй фронт. Небо начинает проясняться...

— Десятью минами, огонь!..

Вспоминаю Шуру и мигом выскакиваю из воды.

* * *

Ночь.

Я у Шуры, в ее белой землянке. Она встретила меня взволнованным шепотом:

— Иди, я здесь.

Помолчала, а потом еще тише сказала:

— Сумасшедший ты, боишься света... Но я все равно никогда тебя не потеряю.

* * *

Снова ночь.

И снова я у Шуры, в ее белой землянке. Она по-прежнему встречает меня взволнованным шепотом:

— Мы будем неразлучны. Навсегда неразлучны. Я чувствую это. Я верю!..

Дверь вдруг открылась, и на пороге появился майор, начальник штаба полка. Он у нас человек новый. Ему лет за сорок.

— Что вы здесь делаете?

Я вытянулся перед ним.

— Пришел повидаться со своей подругой.

— Вот оно что?.. — произнес он. — Не ищите подруг там, куда вход воспрещен.

Я подчинился приказу и, круто повернувшись на каблуках, вышел вон. За спиной услыхал крик Шуры:

— Майор, ну неужели я не имею права хоть чуточку пожить для себя?..

Сказке конец.

Сегодня двадцать шестое июля. Уже шесть месяцев и двадцать девять дней, как мне исполнилось девятнадцать. В записях моих мрак.

БУМАЖНЫЙ ДОЖДЬ

Удивительная у этих гитлеровцев страсть. Они то и дело обрушивают на нас бумажные дожди со своих самолетов. Дожди в основном белые, но бывают листовки на желтой и зеленой, на синей и даже розовой бумаге. И несут они в них бред собачий. Все больше об одном долдонят: мол, скоро Страна Советов будет уничтожена и гитлеровские солдаты маршем пройдут по улицам Москвы и Куйбышева, а потому, дескать, сдавайтесь, пока не поздно. Будет вам и хлеб, и масло, и всякая всячина.

Уже более двух лет они пишут одно и то же, пугают нас как могут, а сами терпят поражение за поражением.

Сейчас лето, и дела у фашистов все хуже и хуже. Наши уже освободили Орел и Белгород. И пятого августа Москва впервые салютовала в честь освобождения этих городов.

Сегодня шестое августа. Через пять месяцев и двадцать два дня мне исполнится двадцать. В записях моих ликование.

ДЕМЬЯН ЕРШОВ

Дневную пайку хлеба — шестьсот граммов на человека — мы делим на три равных части: на завтрак, обед и ужин. Распоряжается этим Сахнов. У нас забота одна — воевать.

Раздавая еду, Сахнов умудряется подложить рядовому Демьяну Ершову чуть побольше других. Не намного. Делает это Сахнов незаметно. Окончив раздачу, он и остальным предлагает:

— Кому добавки, братцы? Признавайтесь. Тут в термосе еще осталось...

И хотя Демьян Ершов помалкивает, Сахнов опять добавляет ему в котелок. Ершов протестует:

— Зачем? Я уже сыт.

— Ешь, ешь, — покровительственно говорит Сахнов. — Ты у нас во взводе единственный новичок и... Одним словом, дают — бери.

Демьян Ершов всего несколько дней у нас наводчиком миномета. Из госпиталя выписался.

— В какой части был до ранения? — спросил как-то я.

— Чуть правее от вас стояли, — уклончиво ответил он.

— Воевал?

— Ну а как же?

Небольшого роста, лицо чуть удлиненное, а пальцы на руках тонкие. Ребята подшучивают.

— Ершов, ты, часом, дома не вышивальщицей был?

Ершов только ласково улыбается.

— Может, и стиркой занимался? — не унимаются остряки.

Ершов молчит.

Я заметил, что, когда противник обрушивает на наши позиции сильный огонь, Ершов не теряется. И с минометом управляется, как человек бывалый.

А так, застенчивый и весь какой-то незаметный.

* * *

Вечер. В траншее забренчал телефон. Звонок из штаба дивизии:

— Послушайте, товарищ... У вас есть такой рядовой Демьян Ершов?

— Так точно, есть, — отвечаю я. — Рядовой Демьян Ершов сейчас на позиции.

— Немедленно направьте его в штаб.

Я чуть не ляпнул: «А зачем?» Благо вовремя спохватился и сказал:

— Есть: немедленно послать в штаб рядового Демьяна Ершова...

Я отправился в роту и приказал Ершову идти в штаб. Он почему-то вроде погрустнел, погладил горячий ствол миномета. Я спросил:

— Зачем тебя вызывают, Ершов?

Он только плечами пожал в ответ и ушел. Я поставил на его место связиста, а сам остался у рации.

Ершов вернулся на рассвете. Доложил о прибытии и уже хотел было идти, но я остановил его и спросил:

— Зачем же тебя все-таки вызывали, Ершов?

— Да так, — смущенно сказал он, — орден вручили. Меня же ранило на этом фронте...

— Ну что же ты? А ну, расстегни шинель, похвались.

На гимнастерке у него сиял орден Красного Знамени.

— Поздравляю, Ершов.

— Служу Советскому Союзу.

Это был первый орден Красного Знамени в моем взводе.

И бойцы мои теперь частенько похваляются:

— А наш-то взвод краснознаменный!

Сегодня восьмое августа. Через четыре месяца и двадцать дней мне исполнится двадцать лет. Записи мои об орденоносце.

МОЙ НОВЫЙ «ЯЗЫК»

Желтый дождь сеет над рекой.

Осень. Листопад... Река вздулась.

Я жду рассвета. Напротив моего наблюдательного пункта желтая лощина с поваленными деревьями.

Почему молчат гитлеровцы? Тишина только на нашем участке, а справа и слева гул битвы не смолкает.

Меня пугает тишина. Чудится, будто в этой желтой лощине нас подстерегает опасность.

Я приказал своим ребятам открыть огонь по желтой тишине. Ударили минометы. Взорвалась, вспыхнула желтая, с человеческий рост, трава, черные проплешины появились в желтом. Раздался звонок из штаба:

— Что произошло?

— Так, проверочка предположения.

Более часа обстреливаем лощину. Бинокля от глаз не отрываю. Что там есть, в этой лощине? Неужели просто затихли? Но у них все неспроста, даже тишина.

Что-то скатилось по склону лощины. Похоже, человек?

— Огонь!

Над нами закружился немецкий самолет. Наши зенитки открыли огонь. Да, в лощине затаилась опасность.

— Огонь!

«Заговорил» капитан Гопин, потом и другие батареи. Сахнов с двумя бойцами прошел на нейтральную полосу. Это я увидел в бинокль. Куда они ползут? Я спустился с наблюдательного пункта и побежал, чтобы вернуть их обратно. Убьет ведь!..

К нейтральной полосе ведут зигзагообразные траншеи. Мы вырыли их очень глубокими, выше меня (Шура утверждает, что я высокий). Стены укрепили досками, ветками.

Сахнов волоком тащит за собой какого-то фрица.

— Поймали прямо у наших заграждений.

Немец ранен в ногу. В его желтых глазах нет страха, только злая ненависть и досада, будто говорит: «Неужели я в плену?»

Пленного увели в блиндаж. Пришла Шура:

— Помочь ему?

— Это твоя обязанность, — бросил я.

Пленный отказался от перевязки, все только кричал на ломаном русском:

— Убивай меня!.. Смерть!.. Убивай!..

— Шпион? — спросил я его. — Разведчик?

— Ja, ja!.. — закивал он головой.

Я прикрикнул на него и велел перевязать. Он больше не сопротивлялся, но продолжал твердить:

— Убивай меня!.. Убивай...

Сахнов рассвирепел:

— Вы поглядите на него! Тут «языка» добыли, а он разорался: убей да убей...

Дело удачи. Немец с шестью солдатами ночью выбрался на нейтральную полосу в надежде у нас добыть себе «языка», да сам же и попался в ловушку.

— Прошу смерти! — не унимаясь, молил он.

Под конвоем мы повели его к реке. Я шагаю с ним рядом. Он зло поглядывает на меня и что-то все бормочет под нос. Опомниться не успели, вдруг вытащил пистолет — как? откуда? Я едва успел выбить у него из рук оружие. Он взвыл:

— Убивай!.. Смерть!..

Я снова со всей тщательностью обыскал его.

Велел связать. Он заскрежетал зубами. Но делать-то ему нечего. Только знай орет:

— Смерть!.. Смерть!..

— Не спеши! — прикрикнул я. — Ты свое отвоевал, может, еще и поживешь. А вот «новому порядку» вашему, уж точно, скоро каюк, смерть!

Тут наконец подоспела переводчица нашего полка, и я уже мог объясниться с пленным. Спросил, знает ли он, что их войска терпят жестокое поражение под Курском. Он отрицательно покачал головой.

— Сказки мне рассказываете! — сказал он. — Мы на это времени не теряем. Немцы — люди дела.

— Вижу, — сказал я. — Люди дела... Так увлеклись своим «делом», что не ощущаете собственной слепоты, вот уж истинно увязли в сказочках Гитлера. Двадцать пятого июля свергнут ваш союзник Муссолини. Это вам тоже неизвестно?

— Ну и что ж? — вскинулся немец, видимо в это поверив. — У нас со дня на день будет новое оружие. За неделю поставим вас на колени, и конец войне.

— Воробью и во сне просо снится!..

Не знаю, как перевела эту армянскую поговорку круглолицая девушка, только, вижу, гитлеровец перекосился от ненависти.

Сахнов — герой дня, взявший «языка», — не без гордости посматривал на свою «добычу». Он весь как-то собрался, подтянулся.

И это меня радует. Сахнов начинает забывать свое горькое прошлое. Он через переводчицу спросил у пленного:

— Вы были под Смоленском, господин немец?

— О да, был. Полстраны вашей истоптал!

— А теперь сам ко мне под каблук попал! — разъярился Сахнов, и всегда доброе лицо его запылало гневом. — Небось это ты и сжег мое село, сукин сын! И зачем только я тебя в живых оставил!..

Он весь посинел от негодования, зло, со свистом сплюнул и ушел. Наверное, на себя не надеялся, боялся, что не удержится и прикончит пленного.

* * *

Из штаба армии нам сообщили, что «язык» наш — бывалый разведчик. Сахнова и двух моих бойцов наградили именными ручными часами. Сахнов совсем голову потерял, все бормотал про себя:

— Да ведь эти часы? Это мой первый честный заработок, добытый своим по́том. О господи!

Пистолет, отобранный у пленного, я отдал Шуре. Маленький браунинг, со спичечный коробок.

Сегодня шестнадцатое августа. Через четыре месяца и двенадцать дней мне исполнится двадцать. Записи мои о праведном.

НИЖЕ ЧЕРТЫ НЕ ПИШИТЕ

Окопы укрыты кустами малины. Она буйно разрослась. И сейчас над окопами желтый потолок из осенних листьев. Я шагаю под этим желтым потолком.

Малины на кустах видимо-невидимо. Ведрами ее собираем. Шура сварила варенье и прислала мне целый котелок. Чудо-варенье, так оно ароматно. Сахнов где-то в развалинах раздобыл три бочонка, закрепил на них обручи.

— На что они тебе, Сахнов?

— Грибов насолю. Вон их сколько в лесу у берега. Вы только соли достаньте. Всю зиму будем есть грибной суп.

— Чудак, — говорю я, — неужели, думаешь, что мы будем здесь до зимы стоять?

— Кто знает...

— Я знаю. Мы еще до зимы обязательно сломим противника, погоним его назад.

— Дай-то бог, — вздохнул Сахнов. — Одно плохо: говорят, бог войны на дню семь жен меняет.

* * *

Сахнов засолил три бочонка грибов. Да еще каждый день и варит и жарит свежие грибы. И все нас просвещает.

— В грибах, — говорит, — много спирту, он пьянит. Ешьте, ешьте...

И все-то он знает!

* * *

Немцы раза два в неделю атакуют наши позиции. И перед этим всегда бывает необыкновенная тишина. По ней-то мы и догадываемся, что пора готовиться «к встрече» с противником: укрепляем позиции и выжидаем в обороне...

Вот новая атака!

На нас движется немецкий танк. Миной его броню не пробьешь, это мне ясно. А нашу противотанковую пушку разбомбило прямым попаданием во время ночного налета.

Танк продвигается вперед, за ним атакующая цепь противника. Я бью по танку из миномета, пехоту косят наши пулеметы, прижимают ее к земле.

Танк уже совсем близко. Это громадный, тяжелый «тигр». Никакая сила его не берет, ничем не можем одолеть. Движется в глубь наших позиций и ведет беспрерывный огонь из башенного орудия и пулеметов.

Мы готовим противотанковые гранаты. Бросим под гусеницы, может, хоть этим одолеем его упорство.

Танк почти рядом. Чувствую запах горящего бензина и стали, и мне уже кажется, что нам конец, что вот сейчас он раздавит нас. И от этого прошибает озноб: ведь однажды я уже был под гусеницами почти такого же чудища...

И вдруг танк ткнулся своим хоботом в землю, взревел моторами и исчез.

Что за чертовщина! Над кустами малины торчат только гусеницы танка. Ясное дело: наши пехотинцы поймали его в ловушку — вырыли противотанковый ров и укрыли кустами малины... Вот танк и угодил в него.

* * *

Нас замучил запах мертвечины. Вдоль всей нашей линии заграждения грудятся разлагающиеся трупы гитлеровцев. Здесь война не на жизнь, а на смерть.

* * *

Шура дала мне почтовой бумаги. Квадратный листочек в мелкую линейку. Один край намазан клеем. Лизни и заклеивай. С другой стороны написано: «Выше черты не пишите», внизу — «Ниже черты не пишите», а в уголке — «Под карандаш». Последнее мне очень нравится — писать карандашом. У меня только и есть карандаш.

Человек я дисциплинированный, пишу, где позволено. Пишу о малине, о грибах и о пойманном в ловушку «тигре».

Моих записей все больше и больше. Я храню их в специальном кармане на внутренней стороне гимнастерки. Сам его пришил. Это мой тайник. Тут у меня хранятся и несколько засушенных лепестков розы, еще из дому. Аромат в них давно иссяк, но, когда я смотрю на лепестки, мне кажется, что я дышу воздухом наших гор. Записи мои пестрые, написаны на разноцветных клочках бумаги: желтых и синих, белых и зеленых... Ко мне на позиции заглянул майор Ерин.

— Новость слыхали? — спросил он своим спокойным, бесстрастным голосом. — Английские войска высадились на юге Италии. Гитлеровцы капитулировали.

— Слыхал, товарищ майор. У нас приемник, мы даже Москву ловим...

— Ах да, черт побери. Опять я опоздал.

— Не вы опоздали, товарищ майор, — сказал я. — Опоздали союзники с открытием второго фронта.

— Во всяком случае, это как-то повлияет на исход войны.

— Я уверен, что повлияет, и очень даже. В основном психологически. И не столько на нас, сколько на противника. Он ведь до отчаяния еще не дошел. А когда военные действия развернутся у него в тылу, живо поубавится спесь.

Майор внимательно глянул на меня, улыбнулся и говорит:

— А вы, оказывается, стратег? Не послать ли вас в военную академию?

У меня голова кругом пошла: хорошо бы, конечно, но как же Шура? Хоть я редко ее вспоминаю и еще реже встречаю, однако знаю, что она близко. А если в академию, то...

— Нет, товарищ майор, — сказал я. — Военная карьера не для меня. Как только кончится война, я вернусь домой. Пока война, сколько бы она ни длилась, я буду до последней капли крови защищать Родину и свою воинскую честь. Но как только мы победим — тотчас попрошусь домой. Это моя мечта.

Удивленно покачивая головой, Ерин вышел.

* * *

Не знаю, как где, а у нас на позициях царит воодушевление. Боевой дух гитлеровцев пошатнулся. Ось дала трещину. Италия вышла из тройственного союза. Там сейчас англичане. Итальянские коммунисты очищают свою землю от фашистской нечисти. Все это нам на руку, хотя на нас по-прежнему лежит задача сдерживать военную мощь гитлеровцев, и кровь наших солдат льется ежедневно и ежечасно...

* * *

Удивительный человек майор Ерин. Хоть бы раз на меня рассердился... Никогда, заботлив почти по-отечески. И это часто смущает и удивляет. Сейчас ведь в мире столько жестокости...

Сегодня двадцать третье сентября. Через три месяца и пять дней мне исполнится двадцать. Записи мои ведутся «под карандаш».

ВМЕСТЕ С ШИРАЗОМ

На берегах Волхова осень. Многоцветная осень, теплая и обильная. Но солдаты ничего не замечают: ни обильности, ни красок. Все краски для нас слились в одной черной. И позиции противника, и земля у нас под ногами, взрытая, истерзанная, — все черное. Всюду воронки, рвы и траншеи... Каждая пядь земли забита свинцом и залита кровью. Мирная осень... Какие у нее краски? Какая она, осень?..

Меня позвали к телефону. Это Ерин:

— Зайдите-ка, посмотрите почту. Тут, кажется, и на вашем языке что-то есть.

Я поспешил в штаб. На армянском языке там был только «Блокнот воина». Я взял его в руки, и далекими, как мерцающие звезды, показались мне родные буквы. Как они попали сюда, на фронт?..

Сижу у себя на батарее и листаю блокнот. На одной из страничек вдруг вижу строки Ованеса Шираза.

— Деда, какая она, наша родина?
— Небо над нею высокое,
Солнце на диво алое
В сине-лазурной его вышине...

Эти строки вдруг всколыхнули во мне воспоминания. Дальние дали Армении заполонили меня. Белые венцы высоких гор,

голубые пояса рек... Всего-то горсть земли, а душа — безмерная, необъятная. Не широтой славная, а глубиной своей, материнской лаской и ликом. И все это пришло ко мне из строк Шираза. А лицом к лицу со мной фашизм, война, смерть. Когтистая свастика, с вожделением протягивающая свои щупальца к сердцу моей земли. «Деда, какая она, наша родина?» Вот она — израненная, изрытая траншеями земля, опаленная, обугленная осень. Вот она, наша родина. Устами поэта говорит земля. Надо обрубить зловещие щупальца, чтобы не погасло высокое солнце нашей земли.

Я чуть было не написал письмо Ширазу, но меня позвал Сахнов: немцы готовятся к наступлению.

Я бросился к минометам. Надо во всеоружии противостоять врагу. «Деда, какая она, наша родина?»

— Вот она, вот она! И мы защитим ее!..

Я искурил весь «Блокнот воина». Только страничка со стихотворением Шираза хранится у меня в нагрудном кармане.

Сегодня двадцать четвертое сентября. Через три месяца и четыре дня мне исполнится двадцать лет. Записи мои согреты солнцем.

...И ВЫ, ХРАБРЕЦЫ АРМЯНЕ

В нашей фронтовой газете напечатана фотография явно армянина. Интересно, кто это? Вот чудеса! Это же кафанец Ишхан Давтян! Когда мы из Челябинска прибыли на фронт, Ишхан был всего-навсего сержантом. А сейчас уже старший лейтенант! Оказывается, служит в одном из полков нашей дивизии. Отличился в бою, об этом и рассказ в газете. Ай да молодец, Ишхан!..

Пришла почта. Мне вручили толстый пакет. Никогда еще я не получал такого большого и тяжелого письма. Адрес написан четким почерком, и пакет... из Еревана. Вскрываю его. Это от

Наири Зарьяна. Целых две книжки: «Голос родины» и «Аршак и Шапух». Сердце у меня от волнения, того и гляди, из груди вырвется. Где ты сейчас, Ишхан Давтян? Я прочел бы тебе строки нашего поэта, чтобы и у тебя в душе всколыхнулась буря...

...И вы, армянские храбрецы,
Под разрывом снарядов, перед лицом смерти,
Помните о светозарном пути мать-Армении...

И мне вдруг чудится, что здесь со мной, на позициях, врагу противостоят вместе со своими воинствами великие храбрецы минувших столетий Тигран Великий, Вардан Мамиконян, Давид-Бек. Вот они — спустились с армянских гор и встали рядом.

Поэзия народа — его волшебная сила и самое верное оружие.

Сегодня двадцать шестое сентября. Через три месяца и два дня мне исполнится двадцать. В записях моих дух поэзии.

ПОЛЕВАЯ ПОЧТА 77/141

Я все на том же месте.

Малина давно кончилась. Позиции уже укрыты снегом. Вражеские рубежи тоже под белым покрывалом.

Зато в блиндаже черно. Закоптились стены, потолок, толстая дверь... Дверь изранена. Хоть она и под землей, но и ей достается: сюда залетают осколки снарядов, шальные пули...

Снаружи мороз, а в блиндаже спертый воздух. Стоит затопить нашу времянку — баня, пекло; а не топишь — в сосульку превращаешься.

Нам выдали зимнюю форму. Мой полушубок подбит овчиной. Пахнет он отарой, горами, горными травами... Я жадно вдыхаю этот дух: может, учую запахи наших гор?..

* * *

Хорошо у нас в траншеях в пору затишья. Лежу себе на мягком снегу и дышу чистым морозным воздухом.

У нас тут, кроме минометов, есть еще и один станковый пулемет: Сахнов его приволок «раненого». Он же и починил, почистил его, установил на минометный лафет. Пальцы мои так привыкли к гашетке, что я играючи веду огонь, даже пою при этом:

На закате ходит парень
Возле дома моего...

Звонит Шура.

— Опять на тебя дурь напала?

— Что поделать! — ору я в трубку. — Для тебя стараюсь.

— Только и знаешь, одну мелодию тянешь.

— Другой, увы, не знаю.

Шура смеется в трубке. Вдруг врывается чей-то грубый голос:

— Эй, вы что там, любовь крутите или воюете?

* * *

Из глины и щепок я соорудил макет оборонительной линии противника. Вот это их деревянные заграждения, целых тысячу двести двадцать метров в длину, полтора метра в ширину, два метра в высоту. За валом у них восемь минометов прямого действия. На всем участке четырнадцать бетонированных дотов. Из них три — обманных и четыре — резервных.

На моем макете пролегают две узкие лощины, на их обочинах землянки и кухня противника. Все это я пока не обстреливаю. Пусть думают, что мы не знаем их расположения. А как только начнется массированный удар, я неожиданно для врага разнесу весь этот участок.

Я провел со своими солдатами занятие, ознакомил их по макету с расположением укреплений противника. Каждый метр земли у меня на прицеле.

* * *

Рота наша все в том же полку той же дивизии, только вот очень часто меняется номер нашей полевой почты. Весной было — 804, летом — 1651, а сейчас — 77/141-Ф. Что это еще за «Ф», понять не могу.

Письма домой пишу часто. «Чувствую себя очень хорошо, все идет как надо, устроен хорошо, настроение отличное. Ты, мамочка, обо мне не беспокойся...» Видно, получив это письмо, мама совсем растерялась.

«Не понимаю, сынок, — написала она, — ты на войне или нет?» — «Нет, — ответил я, — я в очень спокойном месте».

Интересно, поверила?

* * *

Снова зима, морозы.

Из Ленинграда к нам на Волховский фронт приехали женщины. Бледные, изможденные, угасшие, как старухи. И голоса у них угасшие...

— Ленинграду очень трудно, сыночки...

Они не могли говорить, всё плакали:

— Спасите Ленинград...

Ночью я обрушил более трехсот мин на тылы противника, где, по моим предположениям, должны были находиться их штабы.

* * *

Неподалеку от наших позиций, на берегу реки, образовалось уже целое кладбище. Рядами торчат в снегу жерди с набитыми дощечками, на которых начертаны имена погибших. Их все больше и больше. Я уже приглядел местечко и для себя: старый, расщепленный снарядом дуб, под ним большой валун.

— Сахнов, — говорю, — похоронишь меня под этим камнем.

— Почему обязательно под камнем?

— У нас, у армян, такой обычай: если на могиле нет камня, значит, покойник недостоин милости божьей и не видать ему рая в загробной жизни.

Сахнов смеется:

— Ничего лучше не придумали, кроме как камнем придавить? А вы, я гляжу, в рай захотели? Мне так все одно. Хоть и вовсе не хороните. После смерти какая уж там память...

Похоронная команда частенько бывает и у нас в роте. Обычно там служат старики, а если и попадается кто из молодых, тоже стариком выглядит. Мрачные, сутулые; едва заявятся, кричат:

— Сегодня убитые есть?

Я при этом всегда вздрагиваю.

Сейчас тридцатое октября. Через месяц и двадцать восемь дней мне исполнится двадцать. Записи мои распяты.

Год жестокий — 1944-й

ГОВОРИТ МОСКВА

— С Новым годом!..

Это Арто Хачикян в телефон мне кричит. И только после его слов я вспомнил, что и правда ведь Новый год! Тысяча девятьсот сорок четвертый год. Три часа уже идет первый день нового года.

— Спасибо, Арто! А чего ты не спишь? — спрашиваю я.

— Этот же вопрос я должен задать тебе. Ты ведь моложе, а значит, и спать должен больше меня. Может, там с тобой Шура, потому и не спишь?

Он смеется, я — нет.

Выходит, есть еще Новый год и Шура. А мне-то казалось, что во всем мире ничего уже нет, кроме моей тесной, закопченной землянки на переднем крае, где иной раз пропадаешь от жары, а чаще зуб на зуб не попадает от холода. И к тому же еще храп Сахнова. Хотя это, может, и хорошо, что он так мощно храпит: хоть на какое-то время приглушает грохот минометной, винтовочной, автоматной, ракетной и черт знает какой еще пальбы.

И откуда только люди берут такое количество стали?.. Чудак Арто, чего придумал: из-за Шуры я, видите ли, не сплю. Просто я теперь командир роты, и на мне обязанность охранять тысячу сто

квадратных метров земли. И не только охранять, а подготовить плацдарм для взлета, то есть для наступления на противника. А как же! Если я не буду наступать, ты не будешь, он не будет — кто же тогда выдворит гитлеровцев восвояси? Им ведь тоже небось надо домой. Сами не убираются, значит, надо турнуть их. Ясно, что не все доберутся домой: кто-то ткнется вот в этот новогодний снег, да так в нем и останется. А кто-то получит пулю в живот, кто-то вовсе без головы останется... Но иные, может, один из двух, доберутся до места.

Гнать, гнать, их надо, чтобы и нам потом разойтись по своим домам. Должен же я наконец проверить тетради моих учеников, должен что-нибудь сказать Маро?! У человека тысяча дорог. Но как бы и где бы они ни петляли, а ведут всегда только к своему дому, к своей Маро...

Так, значит... Что так? Не то получается. А почему, собственно, не то? И кто может с уверенностью сказать, что в жизни то, а что — не то?.. Э, муть какая-то все лезет в голову... Так, значит, Новый год! Скоро два месяца, как наши освободили Киев. И еще добрая весть: мама пишет, что корова наша отелилась двойней. Одну телку они решили вырастить, а другую будут продавать — надо сестрам одежду купить.

Сахнов поднял голову:

— Не пора еще?..

— Спи, пока спи, — сказал я и вдруг спросил: — Слушай, батько, у вас есть корова?

— У кого это «у вас»? Кто это — мы?

— Ну... у тебя?..

Он засмеялся:

— Видал в степи ветер?

— Нет, я в горах жил.

— Ветру все одно — что степь, что горы, знай носится бездомный. Вот и я, как ветер, тоже бездомный. Какая уж тут корова.

— Прости, батько, знаю ведь все, да так уж, размечтался. Поди-ка в роту, взбодри ребят, чтоб не уснули.

— Да пусть себе поспят. У фрица задница солью начинена. Еще чуток нажать, разорвет, и нет его.

Сахнов засмеялся и ушел.

* * *

Утро началось наступлением широким фронтом. Полоса действия моей роты тысяча его метров. Мало? Что делать. Я всего только командир минометной роты 261-го полка. Будь я командующим армией, может, было бы тысяча сто километров. Но эдакие масштабы не для меня.

2 января

Атака наша прошла неудачно. Убило двух моих солдат. Нам выдали водки — по сто граммов на брата. Я обменял свой хлеб на водку и выпил все разом. Сахнов протянул мне на закуску вареной картошки, я не взял. И картошка и даже шоколад только бы сбили хмель.

3 января

Мы все на том же месте, в снегу, под открытым небом. Ужасные холода. У меня четверо раненых. Подбит один миномет. Пала лошадь. Сегодня нам выдали белого хлеба и листовки с призывами: «Воины Родины, пришло время окончательно

освободить Ленинград». Записи свои делаю на оборотной стороне листовки…

6 января

Мы продвинулись вперед на восемьсот метров. В снегу лежит убитый немец. Голову ему снесло напрочь. Ужасно это — видеть человека без головы… Велел Сахнову закопать его.

11 января

Продвинулись вперед на восемь километров! Одному из бойцов оторвало стопу. Он крепко прижимает ее к ноге, а кровь хлещет отчаянно.

— Не прирастет? — спрашивает он потерянно у Сахнова.

— Брось ее, дай перевяжу рану, дурак! — сердится Сахнов. — Это тебе не дождевой червь.

Раненый потерял сознание. Пришла Шура и уволокла его в тыл.

13 января

— Несчастливое сегодня число! — бросает Сахнов, сплевывая. — Если сегодня меня не убьет, значит, уж никогда не убьет.

В роте трое убитых, восемь раненых. Приказываю похоронить убитых, как положено.

Ведем бои за Новгород — он слева от нас.

— Сегодня нам Новгорода не видать, — говорит Сахнов.

— Почему?

— Иудино число...

Сегодня мы Новгорода не отбили.

14 января

Холодно, вьюжно... От моей землянки до позиции противника не более двухсот метров. Все деревья повалены, вырваны с корнями. Снег, снег...

Телефонный звонок. На проводе командир полка.

— Двадцать пятый вас слушает!..

— Ну как там, готовы?

— Все в порядке!

— Молодцы! — Голос у комполка повеселел. — Водки вам выдали?..

— Нет.

— Э, ладно, братцы, все сполна получите, как только продвинетесь на новые рубежи.

— За каждые сто метров по сто граммов...

— Ну и ну!.. — весело засмеялся комполка. — Пусть так. Идет. И еще орден, если... Ну ладно, будь готов и жди команды.

Что ж, я готов...

Снаружи завывает метель. В землянку вваливается лейтенант Саша Карпов, высокий, чуть раскосый парень.

— Видел Шуру, привет тебе шлет! — с трудом переводя дыхание, говорит он.

«Шура, Шура…» И чего все только и знают, колют мне в глаза ее именем? Но странно, почему в моей землянке стало так тепло? Неужели от этого имени?

15 января

Я на своем НП, на сосне. Прикрываюсь щитом, все как-то надежнее. Слежу за противником. Ничего не видно, хотя враг — рукой подать. Плотная завеса тумана. Внизу, в снегу, — наша артиллерия, два танка и три самоходных орудия. И пехота. Справа от нас Ленинград, как клещами, зажат войсками противника. В прошлом году удалось чуть разжать эти клещи, дать Ленинграду выход к хлебу!

Я устроился поудобнее, снял перчатки. Пальцы, правда, коченеют, но мне надо записать. Ведь чуть спустя, кто знает…

«Сегодня наши войска начинают наступление с целью полного освобождения Ленинграда из тисков вражеского окружения…»

Неужели мои записи сохранятся?..

Дзенькнул телефон.

— Все готово?..

— Готово!

Связист взглядывает на часы. Осталось десять минут… восемь… пять… одна минута и… Раздался страшный грохот.

Загремело громом все — и небо и земля.

Началось… Два фронта, лоб в лоб, двинули в атаку — Ленинградский и наш, Волховский. У меня в роте шестнадцать

минометов, с обеспечением в триста пятьдесят мин на каждый, только на один сегодняшний день.

— Огонь! — командую я в рупор.

Целых пять тысяч шестьсот штук мин предстоит мне обрушить на головы гитлеровцев только за один сегодняшний день. А потом? Потом все будет хорошо.

Грохочут земля и небо.

— Огонь!..

* * *

Мы в захваченном у немцев блиндаже. Чуть погрелись, и опять в бой. Перед нами насыпь железной дороги, ведущей в Ленинград. За насыпью деревня.

Враг оттеснил нас немного, но мы снова рвемся вперед, как бушующее море: волна откатывается от берега, чтобы затем с новой силой рвануться к нему. Наш полк продвинулся вперед уже на тысячу метров. Скажете, мало? Спросите, сколько здесь полегло и наших, и немцев? Мне чудится, что мерзлая земля, освобожденная нами, улыбается сквозь кровь и отчаяние. Родная, израненная земля...

Мы заняли деревню, а деревни нет. Один только дом стоит, да и тот полуразваленный. У порога лежит, распластавшись, гитлеровец.

На всю деревню одна кошка, и больше ни живой души. Одичала? Шипит на нас, вцепившись в ствол поваленного дерева.

* * *

Оставляя деревни и поселки, фашисты, почти повсеместно, сжигают их дотла. Вокруг Мясного Бора все до единой деревни уничтожили.

Вот здесь была деревушка — следа не осталось. Только печные трубы торчат из-под снега да кое-где дыбятся обугленные бревна. Мы лишь по грудам развалин догадываемся, где были населенные пункты. И снег-то весь от гари почернел. Вот валяется смятая в гармошку жестяная вывеска. Едва разобрал одно слово: «Школа». Но школы нет. Ничего нет. Даже названия деревни не у кого узнать.

* * *

На обугленных деревьях тут и там повешенные. Ужасная картина! Все больше седобородые старики, почти голые. Тела так застыли и отяжелели, что даже не покачиваются.

Сахнов вдруг взялся за голову:

— А ну гляньте-ка вправо!

Лес там. Деревья, как скелеты, — без веток. Я онемел. На каждом из них висят люди — женщины, дети. Веревки белые, навощенные — гитлеровцы их специально из Германии привезли. Ноги у повешенных детей желтые, головы упали на грудь, языки вывалились.

В ярости я падаю на колени, тру лицо снегом, чтоб не лишиться чувств. Я тоже мертв, тоже закаменел, как эти обгоревшие деревья.

Сахнов пересчитал повешенных:

— Шестьдесят две женщины, девяносто детей. Мама родная!..

Из глаз моих текут не слезы — кровь течет...

Мы сняли всех с деревьев, уложили во дворе разрушенной школы, у обгоревшего баскетбольного щита. Один из моих солдат — Александр Прутов — плачет. Он совсем молоденький. Ему бы еще в школу ходить. Но уцелела ли школа в его деревне?..

* * *

Нам выдали нашу почту сразу за целых пятнадцать дней. Почтальоном у нас в полку молоденькая девчушка — наш добрый ангел. Кожа у нее на лице гладкая, нежная. Сама она очень серьезная, никогда не улыбается.

— Вам тоже есть письма, — сказала она. — Вот, целых три...

— Откуда вы знаете, что это мне? — удивился я, беря письма.

— Я всех старичков знаю, — сказала она. — Мало вас осталось.

Она раздала всем моим солдатам бумаги на курево и собралась уходить, но уже в двери землянки вдруг повернулась и прошептала со слезами в голосе:

— Ну пожалуйста, не надо погибать! Не погибайте!..

Мне почему-то подумалось, что она о ком-то из моих солдат особо тревожится. Стало грустно и страшно за нее. Бедная девочка, неужели и ее коснется боль утраты? Нет, нет, пусть ее парень выживет! Но кто он?

Адресатов восемнадцати писем нет в живых. Вот письмо Давыдову. А его уже давным-давно убило. У миномета. Прямо в лоб пуля угодила. Я помнил, какой обжигающей была у него кровь. И треугольник письма, написанного его отцом или матерью, а может, сестрой, сейчас жжет мне руку. Что тебе пишут твои родные, мой дорогой брат? Они не знают, что ты уже не прочтешь их письма и не увидишь, как мы прогоним врага. Тебя нет, а треугольник жжет мне руку.

Что мне делать с этим письмом, что делать с остальными семнадцатью письмами?.. Не знаю.

Я отдал все письма связисту.

— Что с ними делать? — спросил он.

— Побереги у себя...

Вечером связиста убило. Его похоронили вместе с письмами погибших.

* * *

Хлеб хорошо пропечен. На день дают шестьсот граммов, сахару — двадцать, сала — столько же, а крупы — семьдесят пять граммов на душу. Паек что надо.

А вот морозы — это серьезно. Большую часть дня проводим под открытым небом, на снегу. Усы мои, которые уже успели здесь отрасти, первыми реагируют на мороз — начинают топорщиться, и губы под ними от этого зудят. В иные дни бывает ниже тридцати градусов. И тогда дыхание, мгновенно замерзая, оседает на усах кристалликами льда. Я растапливаю их, обсасывая. А сорвать невозможно — усы оборвешь. Мы уже приметили: если птицы начинают кружить над дверью нашей землянки, откуда валит дым и пар, значит, мороз под сорок градусов. Однако, надо признаться, морозы здесь сухие, здоровые, и даже мне, южанину, они не доставляют особых хлопот. Одежда у нас у всех теплая. Великие мудрецы придумали валенки. Ноги в них, как в печке.

* * *

Одну за другой мы отбили несколько контратак противника.

Мороз настраивает меня на философский лад. Я уже давно понял, что эта война с фашизмом — суровое испытание для всех нас. Так в огне закаливают сталь. Уже два с половиной года в смертельной опасности то, что нам дороже всего на свете, — наша земля. Два с половиной года фашисты пытаются завладеть ею, а нас уничтожить. Без земли-то ведь нет народа.

Я стараюсь, чтобы все мои солдаты ясно понимали всю опасность, еще угрожающую нам. Только понимая, они будут воевать самоотверженно и победоносно. Не знаю, вернусь ли я домой. Но одно знаю точно: если и не я сам, то победа непременно войдет в мой дом.

20 января

Новгород освобожден. Вижу высокие купола и колокольни его церквей. Стенам Кремля здорово досталось. И сахновской медали «За отвагу» тоже: осколок ее царапнул, осталась вмятина. Сахнов все бурчит:

— Никогда у меня в жизни ничего не было, где уж тут медаль сберечь...

— А ты на судьбу не очень-то жалуйся, — говорю я ему. — Не будь этой медали, осколок врезался бы тебе в грудь.

Он гладит рукой «раненую» медаль и смеется:

— Выходит, это она меня сберегла...

* * *

Наше самое ценное имущество — радиоприемник — мы везем на одной из обозных повозок. Сахнов обил его стальными щитками от пулемета, чтобы, не дай бог, не повредить. В передышках

между боями солдаты включают приемник и слушают, что на белом свете делается.

* * *

Ночь уже к рассвету подступает. Укутавшись в овчинный тулуп, я лежу на снегу. Мягко, ногам в валенках тепло. Ушанку я натянул низко, до самого носа. И слушаю, что бы вы думали? «Крунк». Сплю, а слышу. Но, может, это во сне? Вроде нет. Только поет не Баграт Хачунц, хотя и этот голос мне знаком. Я открываю глаза. Молодцы ребята, знали, когда включить приемник: это передача из Москвы, поет Павел Лисициан. И снег словно согревается, тает... Но вот песня кончилась.

— Внимание! Говорит Москва...

* * *

Москва говорит голосом Левитана:

— Вчера наши войска полностью завершили прорыв блокады Ленинграда. Блокада, в которой он пребывал с осени сорок первого года, снята.

Внимание!..

Ну какое еще тут внимание!.. Сахнов палит в небо, выпускает всю обойму своего автомата. А потом и сам начинает орать:

— Внимание! Внимание! Блокада Ленинграда полностью снята! Внимание, братцы! Внимание и вы, эй, там, фашисты! Внимание..

* * *

Я обнял Шуру.

— Замерзла?

— Нет. А ты?

— Я мерзну...

— Почему?

— Тебя давно не видал.

Щеки у Шуры запылали огнем. Это, конечно, от мороза. Отчего же еще?

— Неужели руки у меня такие горячие, что могут согреть весеннюю алую розу?

— Почему вдруг розу? — засмеялась Шура.

— А что же еще?

Она с упоением кидается снежками. На ней короткий полушубок, стеганые ватные брюки, как у всех у нас, а поверх них еще и юбка. И валенки такие же, как у нас, только размером чуть меньше. И как только в эдакой стуже выживает и пышно цветет эта нежная, теплая весна?!

Ясная ночь. В небе много-много звезд. Я вижу их не в вышине. Белой весной они светят мне, отражаясь от Шуриной нежной, теплой груди.

— Тебе холодно? — шепчет она.

— Нет. А тебе?..

Сегодня двадцать восьмое января. Ровно месяц, как мне исполнилось двадцать. В записях моих весна.

КОГДА ЗАНОЧУЕМ?

Январь. Морозы.

Три недели назад мы распрощались с сорок третьим годом на берегах Волхова. Ужасный был год, кровью обильный и могилами тоже… Сейчас те могилы засыпаны тяжелым снегом. Многие из них останутся безымянными. Не всегда мы успевали ставить на них дощечки с именами… Что ж, очень возможно, что и моя или вон того солдата могила тоже останутся безымянными. Или нас вообще не захоронят…

Скоро снова бой. Линия наступления четко обозначена. Она почти напротив, у виднеющейся вдали разрушенной деревеньки. Я обозреваю окрестности с нового НП, опять с дерева, и сверяю все по карте…

Деревья трещат от мороза. А нам не холодно. И одеты тепло, и к тому же «на заправку» хватили по сто граммов… Иван Филиппов отдал нам с Сашей Карповым свою водку и махорку. На худом Сашином лице постоянно блуждает какая-то робкая, застенчивая улыбка. Но сам он храбрый, как дьявол.

— Помолимся боженьке, чтоб Филиппова не убило. Пусть вечно живет! — шутливо бросает Саша.

Знать бы, кого убьет, а кого нет… Но людям подарено незнание и надежда взамен. Великая это вещь — надежда. Не будь ее, с ума можно бы сойти. А благодаря надежде почти каждому солдату кажется, что пуля обязательно просвистит мимо него…

Появилась Шура.

— Индивидуальные пакеты у всех есть? — спросила она.

— У меня нет! — глядя на нее в упор, сказал Саша. — Да он и ни к чему, рана моя неизлечимая…

— Что же это за рана такая? — удивилась Шура.

— Поцелуй — заживет...

Шура засмеялась:

— Ты у нас, Сашуня, парень ладный. Да вот беда: у меня уже есть свой объект.

Она убежала. Я смотрел ей вслед. Только бы с ней ничего не случилось!

Неподалеку от нас замаскирован тяжелый танк. На броне у него три красных звезды, значит, три подбитых танка на счету.

— В боях у Синявина я их подбил, — объясняет танкист. — А чего это Шура ваша так скоро убежала?

— Уж не зацепила ли и тебя, часом? — ревниво спрашивает Саша...

* * *

Началась наша артподготовка. Бьем по позициям противника. Там все взрывается, горит, взлетает в воздух... Удар артиллерии достаточно мощный.

А мы пока покуриваем.

Артподготовка завершилась спустя полчаса. Она нас вконец оглушила.

Но вот и сигнал к наступлению. Сорвался с места, круша лед, наш краснозвездный танк. За ним пошла пехота. И мы, минометчики, тоже двинули следом, занимать новые позиции.

Немцы открыли сильный заградительный огонь из пулеметов, орудий и минометов. Заревели и шестиствольные «ишаки»: и-а, и-а. Знакомый голос смерти... Но мы продвигаемся.

Вот и первая линия вражеских укреплений. Уже завязался штыковой бой. Пулеметы противника косят ряды наших нападающих. Я открываю беглый огонь из моих минометов: надо оглушить врага и открыть дорогу нашей пехоте.

Вокруг уже много убитых. Раненые уползают в тыл, окрашивая кровью снег. Где-то рядом, напротив меня, раздается страшный грохот. Это с ходу налетели в лоб друг другу два танка. Они пытаются перевернуть один другого. Я этого не вижу, просто догадываюсь о происходящем по скрежету металла.

Вместе с пехотой я продвигаю вперед и свои минометы. Вдруг увидел наш звездный танк. Он горит. Чуть поодаль лежит в снегу танкист. Убит и уже наполовину обгорел. Я вспомнил его невысказанную симпатию к Шуре. Где она, Шура?

* * *

Весь день стоим на одном месте. Мне приказали перевести огонь минометов на западную окраину разрушенной деревушки.

— Мы уже завладели ею, — сказали по телефону из штаба. — Надо предупредить контратаку немцев.

Я выполняю приказ. Но вот следует новый:

— Бей по деревне. Там враг!..

* * *

Деревню мы заняли только на следующее утро. Самой деревни, как я уже сказал, нет. Только на топографической карте остались жить школа, триста девяносто дворов и прочее хозяйство. За одни сутки деревня шесть раз переходила из рук в руки. Целых шесть раз...

У меня в глазах обгорелый труп танкиста...

* * *

Вечер. Устраиваемся в занятых нами немецких землянках и блиндажах. В них сухо, тепло и удобно. У бывших хозяев были даже постели: вон частью остались и свешиваются с деревянных нар. А мы о такой роскоши давно позабыли. По всему видно, что даже в полевых условиях фашисты не были лишены известных удобств. Но это и понятно: почти вся Европа ведь у них в лапах...

* * *

В полночь мы снова на марше. Нельзя упустить хвост отступающего противника и дать ему укрепиться на новых рубежах.

Надо сказать, сопротивляется противник отчаянно. Временами та или иная небольшая его часть навязывает нам довольно длительные и нелегкие бои.

* * *

Гитлеровцы крупными соединениями предприняли контрнаступление на освобожденный нами участок. Мы были вынуждены занять оборонительные позиции.

Начались тяжелые кровопролитные бои.

Вскоре выяснилось, что штаб нашего полка попал в окружение. Поползли слухи, что, мол, полковое знамя захвачено противником и все мы этим опозорены.

К нам прибыл командир полка. Чувствовалось, что он очень взволнован, но не растерян. С виду был таким бравым, что даже показался моложе своих лет. В руках у него автомат, за поясом — гранаты.

— Ну, как вы тут, братцы?

Я знаю его очень хорошо. Человек он отважный и воин бывалый. Всегда собран и уверен. И сейчас тоже держит себя в руках. А вот его замполиту, Ерину, не позавидуешь. У него настроение — хуже некуда. И как иначе: воинская часть, потерявшая знамя, незамедлительно расформировывается и, словно бы ее и не было, всеми напрочь вычеркивается из памяти. А ведь у нашего полка славный боевой путь...

Я построил пятьдесят восемь моих солдат и, повернувшись к командиру полка, доложил:

— Мы готовы, товарищ полковник. Только прикажите!..

К ним присоединились еще сто человек пехотинцев, и через пять минут полковник вел нас туда, где, как предполагалось, могло быть знамя нашего полка — наша честь.

* * *

Зима, снег, туман...

Расчищая себе путь автоматами и гранатами, мы пробираемся глубоким снегом. Нам приданы танк и бронемашина. Они «ведут» нас.

Вот показалась ветряная мельница. Командир полка сказал, что штаб наш вместе со знаменем именно на этой мельнице и окружен немцами. Мы подошли довольно близко, когда враг открыл наконец огонь, Делать нечего, чуть подались назад. Рывки повторялись не раз. И вот мы вслед за танком уже у мельницы. Вокруг трупы немцев. На сыром полу мельницы,

раскинув руки, лежит убитый заместитель начальника штаба полка. Полегли почти все. В живых осталось только шестеро. Командир полка схватил за плечи нашего знаменосца:

— Где знамя?

— Знамя? — ошалело глядя на него, потрясенный неожиданной подмогой, переспросил знаменосец. — С нами оно, вот...

Он распахнул полушубок и вытащил знамя, которое прятал на груди. Командир полка лицом зарылся в красные складки шелка. Мне показалось, что он плачет. Но нет, по лицу его течет кровь. Он ранен в голову. Его срочно эвакуировали в тыл.

* * *

Братья Буткевичи — Витя и Федя — близнецы. Они питомцы наши, сыны полка. Им по одиннадцати лет. Совсем еще малы. Но солдатики — честь по чести. Я никак не научусь различать их, очень уж они схожи. Вот и сейчас вижу со своего НП, как один из них барахтается в снегу. На спине у него телефонная катушка. Она вертится, и черный провод утопает в снегу. В снегу утопает и сам мальчонка, грудью пробивающий себе дорогу.

— Ты кто? — спрашиваю его.

— А вы кто? — отвечает он вопросом на вопрос.

Я закуриваю.

Мальчики эти, кажется, из Малой Вишеры. А может, и из Тихвина, где наш полк вел тяжелые бои еще весной сорок второго года. Они именно тогда и появились у нас.

— Как это случилось? — поинтересовался я однажды.

— Обыкновенно, — пожал плечами Витя, это был он. — Мы потеряли отца и мать. Их, наверно, убило. Вот и стали с братом солдатами...

Он уходит, за ним тянется телефонный кабель. Снег местами взрыт снарядами, местами окрашен кровью. Каждую секунду тут что-нибудь разрывается — мины, фугаски. Меня захлестывает злость, я оборачиваюсь и ору:

— Эй вы, фрицы! Не стреляйте, здесь ребенок...

Я еще целую ночь думаю о близнецах.

* * *

Лежу в санях. Они медленно трогаются. Я смотрю в небо. Вдруг слышу над собой голос:

— Не холодно, южанин?

Вот так номер — это же новый командир полка, подполковник Сафонов Павел Антонович. Я мигом спрыгнул с саней, вытянулся, готовый к докладу, но он остановил меня.

— Не надо, — сказал он и снова спросил: — Не холодно?

— Нет, не холодно, товарищ подполковник.

— Во всяком случае в санях спать не следует. Замерзнете.

Он улыбнулся. Три дня, как принял командование нашим полком этот грузноватый, лет пятидесяти человек. Шагает довольно тяжело.

Я иду рядом с ним, чуть отставая, как положено.

— Скоро выйдем к Нарве, — раздумчиво говорит комполка. — Надо беречь людей. На Нарве нам предстоят очень тяжелые бои.

* * *

Я снова на НП. Отсюда мне довольно хорошо видно расположение противника. Сами немцы появляются в поле зрения редко, но отчетливо просматриваются их позиции, валы укреплений, возводимые ими с большой поспешностью. Разглядеть все это мне помогает мощный полевой бинокль и стереотруба. Последнюю, хоть она и очень громоздкая, я всюду таскаю за собой...

— Здравствуйте, товарищ лейтенант, — слышу я снизу и вздрагиваю от неожиданности. Глянул — под деревом мальчонка.

— Вы что, не помните меня? — сердится малыш.

Помню! Конечно же помню! Только опять никак не различу, кто это из близнецов. И одеваются они, как назло, одинаково. Это уж постарались наши полковые сапожники и портные, перешили им из солдатского обмундирования. И как ладно все пригнано, любо-дорого смотреть. И эти красные звезды на ушанках, как язычки пламени...

Я спускаюсь с дерева. Тут, оказывается, не один, а оба брата.

— Здравствуйте, товарищи ефрейторы!..

Оба они — ефрейторы и очень сердятся, когда к ним обращаются не по уставу, а запросто: парень, паренек...

— Что вы здесь делаете?..

— Проверяем, в порядке ли телефонный кабель.

— В порядке, — говорю я. — Шли бы вы лучше домой.

Оба удивленно, в один голос, спрашивают:

— Домой?

Сгорел их дом. Этот заснеженный лес, эти окопы под холодным, бесприютным небом — вот сейчас их дом...

— Мы скоро будем сержантами! — говорит один из мальчиков. — А когда-нибудь и лейтенантами будем...

— Ну, вам и до генералов не мудрено дожить.

— А что ж! Вот только война не продлится так долго, чтоб до генералов нам дорасти.

— Верно, не продлится, — соглашаюсь я.

И хорошо, что не продлится! Милые мальчики, пусть эта проклятая война кончится сию секунду! И пусть вы навсегда останетесь ефрейторами, только бы живы были.

* * *

Готовимся к новому наступлению. Прямо в окопах заседает штаб. Мы, офицеры, получаем боевое задание.

Командир полка вызывает братьев Буткевичей и приказывает им отправиться в санчасть и там дождаться его дальнейших распоряжений, пока не призовет их. Мальчики несказанно обижены.

— Не хотим мы...

— Приказ есть приказ! — разводит руками командир полка. — Вы люди военные, ефрейторы — звание имеете, значит, должны подчиняться приказу. И вам уже должно быть известно, что приказ обсуждению не подлежит.

— Но разве можно, — не унимаются мальчики, — приказать солдату, чтобы он не выполнял свой долг?..

В их голосах нет слез, только обида.

— Мы хотим быть с вами!

— Не выйдет, — возражает командир полка. — Выполняйте приказ вашего командира!..

В глазах ребят столько досады, что кажется, вот-вот зальются горючими слезами. Выходит, их еще считают детьми, хоть и присвоили звание ефрейторов. И даже медалями «За отвагу» наградили... Никак они не могли с этим смириться...

Но нас ждут тяжелые бои. И командир полка прав. Разве может он взять с собой под пули, под смерть, этих мальчонок? Нет уж, пусть лучше пересидят с врачами. И там не безопасно, но все же...

Мальчики ушли.

Сегодня тридцать первое января. Уже месяц и три дня, как мне исполнилось двадцать. В записях моих свет детства.

ЛЕДОВЫЙ ПОХОД

Уже недели две будет, как мы ушли с левого берега Волхова. Там осталось бесчисленное множество могил: братские и одиночные. На каждом квадратном метре. Люди, если вы когда-нибудь набредете на братскую могилу, знайте: мы вели здесь тяжелейшие бои, потеряли много убитыми, и не всегда у нас было время похоронить их по-людски. А встретите одиночную могилу, это значит, что нам, солдатам, выдавались и относительно «легкие» дни.

Волхов — река большая. Начало она берет у озера Ильмень и, вобрав в себя воды мелких рек и речушек, впадает в Ладогу. И жизнью и кладбищем была для нас эта река. Сколько людей

унесла синеводная!.. И сколько рыбы дала нам на прокорм... И еще... И больше ничего. Только это.

Прощай, Волхов. Помяни нас добром. Мы сделали все, чтобы воды твои стали чистыми и прозрачными. И в том, что к волнам твоим часто примешивалась людская кровь, а говор твой заглушала канонада, была не наша вина.

* * *

Неподалеку от деревни Подберезино сгорел в своем танке Макар Герасимович Семенов. Он родом из этих мест, кажется, из города Луги. Всего неделю мы были вместе. Но на фронте даже один час дружеского общения равен вечности. Семенов был младшим лейтенантом. Он шел в атаку сквозь снега с незадраенным люком. Танк его загорелся от прямого попадания снаряда, сгорел и он сам, и весь экипаж. Но до последнего дыхания вели бой...

* * *

Мы движемся к Луге. К реке и городу одного и того же названия. Ленинград уже свободен. Девятьсот дней он был блокирован врагом. Начальник штаба полка сказал, что по уточненным данным в Ленинграде от голода и холода погибло шестьсот сорок тысяч человек. Это чудовищно. История подобного не знает. Люди гибли с верой, что город их будет жить.

Честь и слава погибшим!

* * *

Саша Болотин — молодой человек. Волосы русые, лицо чуть веснушчатое. Одет он в добротный овчинный полушубок.

— Сам шил, — хвалится Саша. — А шапку не-е. Шапка немецкая...

Он весело смеется.

Автомат у него тоже немецкий, гранаты — наши, нож — финский. Одним словом, партизанская экипировка. Саша Болотин и есть партизан. Он только что перешел линию фронта.

— Вы, братцы, по-быстрому проводите меня к вашему командованию.

— Да ты поел бы сначала...

Ест он с аппетитом. И весь пахнет лесом, и болотом, и еще чем-то незнакомым, партизанским духом пахнет. Их соединение действует под Лугой.

— Мы на прошлой неделе четыре моста взорвали, немцам дорогу к отступлению отрезали, — говорит Саша, торопливо глотая кашу из котелка. — А вы здорово этих гадов гоните!..

В Ленинградской области, в тылу у врага, действует много партизанских отрядов. Они объединяют тридцать пять тысяч человек.

— И столько же примерно погибло в боях, — уточняет Болотин. — До самой Нарвы нет ни одной деревни — все сожжены. Фашисты все сметают на своем пути.

— Знаем, — говорит Сахнов. — Мы тоже их сметем.

Саша Болотин закурил, поблагодарил за угощение и ушел.

* * *

Напротив нас стоят две немецкие армии: восемнадцатая — в правом крыле и шестнадцатая — в левом. С их солдатами мы

«знакомы» еще с начала сорок второго года. Они с тех пор конечно же не раз пополнялись новыми войсками из Европы.

К нам перебежали шестеро.

— Французы!.. — кричали они.

Это и правда были французы. Немцы мобилизовали их и бросили против нас.

— Штык в земля! — говорят они на ломаном русском языке.

Это значит, что они не воюют. Один из французов все повторяет:

— Я родственник генерала де Голля.

Имя генерала де Голля нам уже известно. Мы знаем, что он воюет против фашистов, ну и, выходит, союзник наш.

Мы отправляем французов в тыл без сопровождающих: сами найдут дорогу...

* * *

Самолеты наши очень нас радуют. Как их стало много! Беспрерывно, и днем и ночью, снуют они над нами. На запад летят, полные груза, а возвращаются налегке.

Наше крупное наступление на берегах Волхова началось четырнадцатого января. Наступает и наш, 261-й стрелковый полк, входящий в состав 59-й армии Волховского фронта. Дивизия у нас старая — вторая стрелковая, в ней еще два полка: 200-й и 13-й стрелковые. Сахнов говорит:

— Хорошо, хоть наша рота не в тринадцатом полку.

— А чем тринадцатый хуже? — удивляюсь я.

— Да больно число нехорошее...

Мы уже начинаем мечтать о славе. Это доброе знамение. Страхи, выходит, прошли.

Командует нашей Пятьдесят девятой армией генерал Иван Коровников. Мы все знаем и любим его. Одному из поваров нашего полка он даже часы подарил: прибыл как-то на позиции, осмотрел укрепления и затем отведал солдатской еды. Она ему очень понравилась, и генерал, сняв свои золотые часы, надел на руку повару Шитикову.

Шитиков северянин, из-под Мурманска. Говорит, что ни разу в жизни не видел винограда. Он слегка прихрамывает. Был ранен в сорок первом, но не захотел демобилизоваться. Подарок генерала он отправил домой, жене.

— Кто знает, останусь ли жив... Пусть тогда будет памятью детям и внукам, как свидетельство воинской доблести нашей шитиковской фамилии...

* * *

Стоим в густом лесу. Мои солдаты валят деревья — укреплять землянки изнутри. Зубья пил тупятся, ломаются.

— Шуточное ли дело, каждое дерево нашпиговано железом, — говорит Сахнов. — Из чего только в будущем люди станут строить?..

Роем траншеи и укрепления. Места болотистые, через полметра выступает желтая вода. Выручают опять деревья: ветками хвои устилаем и землянки и траншеи. Ими кроем шалаши. Все деревья вокруг нас похожи на колонны полуразрушенного города — такие они оголенные...

Гитлеровцы бегут.

* * *

Подступаем к Луге и Уторгошу. Командир полка выслал нас на рекогносцировку. Впереди шел рядовой Герасимов. Вражеский пулемет в упор расстрелял его. Мы едва успели распластаться на земле.

Весь фронт охвачен огнем.

Противник стянул сюда огромные силы и перешел в контрнаступление. Нам пришлось зарыться в землю, точнее — в лед.

Снова ведем оборонительные бои. Целых шесть дней это тянется. Беспрерывно. И днем и ночью. Солдаты в буквальном смысле валятся с ног прямо у своих минометов. Командир полка приказал дать людям возможность поспать, по два часа каждому, по очереди.

В моей роте четырнадцать человек убитых, восемь раненых.

Ерин вдруг доверительно шепнул мне:

— Дело худо, брат, мы попали в окружение. Только солдатам об этом ни слова.

Он ушел. Я почему-то уверен, что осведомленность придает куда больше сил, чем неведение.

* * *

Командир роты пехотинцев, Коля Сахаров, мой старый знакомый. Мы почти одногодки. Наши подразделения занимают позиции по эту сторону железнодорожной насыпи. А на другой стороне противник. Окружившие нас гитлеровцы пытаются ожесточенной атакой уничтожить нас и захватить железнодорожную станцию.

Идет непрерывный бой.

Сахаров и я лежим, зарывшись в снег. Рядом наши связисты с наушниками на голове. Они подремывают и открывают глаза только тогда, когда в ушах вдруг зазвенит голос.

Сахаров передал своей роте приказ быть готовыми к лобовой атаке на врага.

Я попытался удержать его.

— Ты понимаешь, что делаешь, Коля?..

— Что?

— Ударить в лоб не удастся. Только взберетесь на насыпь, немцы из пулеметов скосят всех. Остановись, это неразумно...

— Нет, — не согласился со мной Коля. — Надо ударить в лоб.

— Лучше обогни насыпь. Я помогу тебе своими минометами. Обогни насыпь и атакуй справа...

Он не послушался меня. Минут через десять выпустил зеленую и красную ракеты, поднялся во весь рост и первым побежал вверх по насыпи. Я открыл по противнику сильный огонь, специально приподняв стволы минометов, чтоб мины ложились близко. Но это было опасно и для наших. Ведь враг метрах в семидесяти от нас, не больше. Однако все шло как надо! Но вдруг вниз по насыпи скатился убитый Сахаров. Лейтенант — его заместитель — прекратил бессмысленную атаку.

Обойдя противника справа, пехота хорошенько его потрепала и вынудила отступить.

* * *

Мы продвинулись вперед на три километра. Пехотинцы захватили двух пленных. Оба русские: одному лет под сорок, другой еще совсем зеленый. На младшем добротный полушубок, глядит с вызовом.

— Власовцы? — спросили их.

Старший пустил слезу, парень презрительно сплюнул:

— Чего раскис, трус, подлюга!

Старший разговорился, сказал, что родом он из Калининской области, там у него остались жена и дети. Молодой вызывающе заявил, что он донской казак и воюет-де за освобождение России от большевизма.

— Я воюю за родину, и тот, кто назовет меня предателем, последняя сволочь! — зло бросил он.

— Странно у вас выходит, — сказал я. — Вы видите свободу своей родины в том, что отдаете ее на растерзание Гитлеру.

— Гитлер помогает России!

— Видали мы эту помощь! От берегов Волхова и досюда в живых не оставил ни единого человека, а в Ленинграде умерли от голода сотни тысяч человек. И это ты, гад, называешь помощью России? Подлец!..

Больше парень ничего не сказал. Пехотинцы сняли с него полушубок.

— Я же замерзну! — вопил предатель.

— Не успеешь, — утешили его.

Он повалился на землю: куда девалась спесь, стал просить-уговаривать:

— Братцы!

— Ждал, что Гитлер князьком тебя посадит в Твери? Губернатором наречет!

Его расстреляли тут же, на коленях, барахтающегося в снегу. Другого власовца отправили в штаб. Из того еще можно было выудить полезные сведения о противнике.

Все это произошло неподалеку от станции Передольская в холодный февральский день.

Мы продолжаем бои с окружившим нас противником.

* * *

Через три дня пришедшие к нам на помощь войска прорвали линию окружения и соединились с нами. Немцы с трудом выискивали лазейки, чтоб унести ноги.

До чего же много тут полегло гитлеровцев... Нам приказали собрать фашистские трупы на всем протяжении пути до Луги и складывать по обе стороны дороги.

Скоро вдоль зимней дороги громоздились десятки тысяч смерзшихся, одеревенелых трупов солдат противника. С востока едут и едут новые свежие силы нам на помощь. Пусть видят убитых фашистов, чем больше — тем лучше.

* * *

Мои солдаты набрели на длинный холм, укрытый слоем гари. Что это? Сахнов схватился за голову.

— Что случилось?

— Хлеб сожгли, хлеб!..

Это, видно, было деревянное строение, зернохранилище на несколько тысяч тонн. Отступая, немцы подожгли его. Мы копнули штыками и поняли, что сгоревшие доски и балки только сверху тронули зерно, эдак на полметра, а чуть глубже оно хорошее. Видно, холод пригасил пожар. Я тут же позвонил в штаб полка и доложил, что нами обнаружены большие запасы зерна.

— Сейчас вышлем к вам обозников, — ответили мне. — Проверьте, не заминировано ли?

Нет, поджигатели не успели заминировать зернохранилище. Да если и успели бы, наши саперы тут же обезвредили бы мины.

Я наполнил карманы жареным зерном. Пожую по дороге. Давно не ел, забыл даже вкус его.

* * *

Мы освободили Лугу. Это был довольно большой город. Но почему «был»? А потому, что сейчас его нет. Есть только груды дымящихся развалин да остовы зданий без крыш. По улицам проходят партизанские отряды. Они сделали свое дело, теперь присоединяются к нам. Среди партизан женщины и дети.

Нас никто не встречает, тут нет гражданского населения. Кого фашисты уничтожили, а кто скрылся в лесах. Скоро небось вернутся. Говорят, что многих лужан враг угнал к Нарве.

* * *

Показалась река Нарва, затянутая льдом.

Уже полтора месяца мы в непрерывных боях. Приткнуться бы где-нибудь да выспаться хорошенько!.. То морозно, то оттепель — сырая, противная. И туманы давят душу.

Сегодня двенадцатое февраля. Уже месяц и пятнадцать дней, как мне исполнилось двадцать. Бессонны мои записи.

МОЙ КОНЬ — МОЙ БРАТ

Восседая на своем коне, еду выбирать новый рубеж для роты. Навстречу мне белый всадник с маленькими усиками, орлиным носом. Поравнялись, оба спешились.

— Привет, брат армянин!..

Это начальник инженерной службы дивизии майор Арто Хачикян. Он ереванский. Высокий, плечистый, внушительный мужчина.

У меня к седлу прилажен хурджин с припасом. Я вынул из него водку. Но Хачикян пить отказался.

— Давно ты из Армении? — спросил он.

— С лета сорок первого.

— Я тоже!.. — Он показал рукой в сторону Нарвы. — Необходимо форсировать реку, пока лед держит. Мы вчера с разведчиками побывали на том берегу.

Арто вдруг предложил мне поменяться конями.

— Он у меня бешеный какой-то, — сказал Арто, — не могу с ним сладить. Ну и к тому же привычки, видно, нет.

Я с радостью помог бы ему, но расстаться с конем, к которому я успел уже привязаться... Арто почувствовал, что я колеблюсь, и не стал настаивать.

Мы разъехались, договорившись встретиться.

Арто Хачикян заронил мне в душу тоску по Армении, частицу тепла в этой вечной стуже. Ведь даже Баграта Хачунца я уже давно не видал.

Интересно, поет ли Арто «Крунк»? Стало грустно, вот-вот всплакну. Сердце захолонуло. И кто его согреет? Шуры рядом нет, дыхание родины испарилось... И когда только кончится эта война? Тут я поймал себя на том, что совсем позабыл о Маро. Я поцеловал торчащие уши коня. Как хорошо, что я не обменял его.

* * *

Сегодня опять навалило снегу. Странно, но сегодня праздник. Праздник на фронте: немцы бежали за Нарву, засели на левом берегу.

Мы с Сахновым еле пробираемся по глубокому снегу. Конь мой бредет медленно, с трудом.

Направляемся знакомиться с новыми позициями.

Подошли к берегу Нарвы. Чуть левее — Чудское озеро, а справа, на том берегу, — город Нарва.

Опять встретил Арто Хачикяна на давешнем его белом коне. С ним еще седок, неподвижно вдавленный в седло.

— Что, Арто, конь все еще мучает тебя?

— Нет! — весело крикнул он. — Привык я уже.

— Что нового?

— Ищем удобное место для переправы через реку.

— Ну и как, нашли?

— Найдем. А это мой товарищ. Он — эстонец, военный инженер из восьмого эстонского корпуса. Помогает мне. Знакомьтесь... Мы измерили толщину льда. Хорош. И танки пройдут.

Эстонец — капитан, сапер, худощавый, блондинистый. Знакомимся. Он показывает на правый берег Нарвы:

— Там моя родина.

Угощает меня трофейными немецкими сигаретами. Арто сует мне в карман бутылку водки: это его недельный паек. Я отпиваю прямо из горлышка и передаю бутылку эстонцу. Он делает всего несколько глотков.

— Больше не могу...

Я допиваю все до дна и бросаю пустую бутылку в снег.

— Ваша земля мне очень дорога, — говорю я эстонцу.

— Понимаю вас, — кивает он головой.

— Нет, не совсем понимаете. Я не из вежливости говорю это. Нас сроднил с вашим народом великий армянский просветитель писатель Хачатур Абовян. Он учился в Тарту, в университете.

— А! — радостно улыбается эстонец. — Я как раз родом из-под Тарту.

* * *

Осмотреть наши расположения приехал и сам командир дивизии. Сначала мы шли, проваливаясь в снег, потом ползли, пока наконец не показалась ледовая гладь замерзшей реки, укутанная туманом. С того берега фрицы то и дело постреливают из пушек.

Мы залегли. Голова моя на снегу. Внимательно прислушиваюсь к голосу генерала. Он расстелил карту и объясняет командирам полков боевую задачу.

Хочется спать. В полушубке мне тепло, а снег такой мягкий...

Арто тряхнул меня за плечо:

— Не спи, замерзнешь.

Я протер глаза.

— Скоро ли весна, Арто?

— У нас в Араратской долине миндаль уже зацвел... Во мне не пробуждается тоска. Забылись уже и краски весны, и аромат цветущего миндаля.

Также ползком вернулись мы к нашим лошадям и саням. Командир дивизии подозвал меня и еще трех офицеров.

— Вы — старший лейтенант. Поздравляю.

Сонливости моей как не бывало. Я вытянулся, как положено. Генерал прикрепил к моим погонам еще по одной звездочке, по сверкающей белой снежинке.

— Глядишь, и до генерала дослужишься, сынок. Молодец!

Я подбежал к своему коню, вскочил в седло.

— Эй, браток, — шепчу ему в ухо, — а у меня на родине сейчас миндаль цветет. И я уже старший лейтенант. Что скажешь?

Конь пустился в галоп. Как это здорово — мчаться по белому снегу. Вспомнилось, что цветы миндаля тоже белые как снег и мягкие-мягкие. Только они теплые...

Сегодня восемнадцатое февраля. Месяц и двадцать один день, как мне исполнилось двадцать. В записях моих дух братства.

НАПОЛЗАЮТ ТУМАНЫ

Сегодня мы будем форсировать реку.

На наше счастье, туман заволок всю землю. В атакующую группу я беру с собой одного связиста. Двух других оставляю на этом берегу. К чему и их подвергать риску, вполне обойдусь одним.

Шура идет со штабистами, на боку у нее, как всегда, санитарная сумка. Я посоветовал было ей остаться с двумя моими связистами на этом берегу. На что она сказала:

— Только с одним условием: тогда и ты останешься со мной.

— Я или кто-то другой, разве это так важно!

— Зачем ты меня мучаешь! — с раздражением прошептала она.

Мне стало жаль ее. Ведь она мне родная, она дорога мне.

Я оставил ее плачущей и побежал к командиру полка.

«А до смерти четыре шага...»

* * *

Мы у берега реки.

Зимний день, морозный и туманный. С нашего берега несколько сотен орудий, минометов и «катюш» ведут артобстрел, прощупывают огневые точки противника, заодно и спеси ему поубавят.

Командир полка устроился с телефоном и рацией в воронке от снаряда. Он спросил меня, готова ли моя батарея форсировать реку.

— Так точно, готова! — доложил я. — Как только выступит пехота, мои минометы последуют за нею.

Мы из воронки ведем наблюдение за противником. Над рекой стелется туман, и потому почти ничего не видно. Я осмеливаюсь сказать командиру полка, что неплохо бы под прикрытием тумана вывести полк к тому берегу.

— Я тоже об этом думаю, — ответил он мне и тут же вызвал командиров батальонов и приказал им немедленно начинать переправу.

— Бесшумно по льду подведите роты к берегу. Как только мы перенесем огонь артиллерии в глубь немецких позиций — начинайте атаковать.

Сказал и как-то вдруг сник. Сам себе, что ли, удивился, испугался? В огонь ведь людей посылает...

«А до смерти четыре шага».

Командиры батальонов ушли.

Туман, как бы обнюхивая снег, ползет прямо по земле. Командир полка молча курит.

* * *

В санях лежат мой и Сахнова вещмешки и ватник. В нем Сахнов прячет картошку. Не знаю, где он ее берет. И не знаю, где и как умудряется сварить и мне еще принести несколько дымящихся паром картофелин.

— Это последние, ешьте.

Он всякий раз так говорит, а картошка у него, однако, не переводится…

Мой конь стоит возле саней. Голова у него большая, круп тяжелый. Я сижу на санях, курю и смотрю на своего друга. Сколько уж мы с ним не расстаемся? И конь мне, как брат. Я жалею его, берегу. Сахнов каждый вечер расседлывает, а раз в неделю моет его. Вообще-то коняга ничего, не худосочный. Сахнов и ему достает пропитание. Овес есть почти всегда. А когда овса нет, сеном подкармливает — оно всегда у нас в санях про запас имеется.

Стоит мой конь понурый. Глаза у него влажные и не по-лошадиному осмысленные. В них светится что-то человечье. Морда у него черная в крапинку, ноздри нервно вздрагивают, когда дышит.

— Здравствуй, брат.

Конь, будто понял, кивнул в ответ. Я оторопел: выходит, и впрямь понял?!

— Как звать тебя, брат?

«Известное дело, конем меня называют. Не знаешь разве?»

— Знаю, конечно. Просто хочу анкету на тебя заполнить. Откуда ты родом, друг мой?

«А это так важно?»

— Конечно, важно. Надо же где-то родиться, чтобы быть всегда связанным с этим местом.

Я почти уверен, что мой конь сын степей.

— Не так ли? — спрашиваю.

«Так, — отвечает он и вздыхает. — Родился я в степях Калмыкии. Там такая бескрайняя ширь. И войны нет».

— Тоскуешь?

«Не знаю. Просто не идут из ума наши края. Хочу позабыть их — не получается. Хочу все позабыть».

— Ну зачем же?

«А что пользы от воспоминаний?..»

Я глажу ему морду. В кармане у меня кусочек сахара. Протягиваю коню. Он отворачивается.

«Не хочу, — говорит, — съешь сам. Я обойдусь овсом да сеном».

— Сколько лет тебе, конь?

«Шесть».

— И подружки у тебя нет, бедняга.

«Нет. Да и не надо... Кто сейчас о подругах думает...»

Я снова поглаживаю ему морду, снова пытаюсь полакомить его сахаром. Он не берет. И начинает вдруг рассказывать:

«А вообще-то подруга у меня была. Кобылой ее звали. На соседней батарее служила. Три дня назад ее ранило в ногу. Солдаты прирезали и съели...»

Я вздрагиваю. Конь вздыхает:

«Вот вы какие, люди. Что поделать... Небось и меня ждет такая участь...»

— Нет! — вскрикиваю я. — Такому не бывать!..

Он смеется:

«А меня это вовсе не пугает. Понятное дело, мясо надо есть. Что же тут такого?»

Я плачу. И он тоже плачет. Слезы у него крупные. Катятся из уголков глаз. Медленно стекают к губам, оставляя темные борозды на мягкой шерсти.

— Ты напрасно такое думаешь, мой конь, — говорю я, целуя его влажную морду. — Все будет хорошо, ты будешь жить...

Но он уже опять меня не понимает и больше не разговаривает. Иллюзия кончилась. Бог отнял у него то человеческое, что недавно ниспослал ему. И конь теперь опять всего лишь обыкновенное животное с понуро свешенной головой.

* * *

Пехота легкой рысцой спустилась к берегу и бегом по льду. Вскоре скрылась в тумане. С пехотинцами двинулись четыре танка и шесть бронемашин. Я зажмурил глаза, чудится, что лед не выдержит их тяжести и вот-вот треснет, начнет ломаться... Если лед не выдержит, Арто Хачикяна привлекут к ответу. Но лед держит. Ай да Арто, молодец, не ошибся.

Я снял свои минометы с позиций и направил вперед.

Волнующий момент. Никак не могу усидеть на месте. Мои минометчики продвигаются вперед, не оглядываясь. На какой-то миг они выныривают из тумана: идут по льду смело, не согнувшись. Во весь рост. Потом вдруг увеличиваются в размерах, входят в полосу тумана и исчезают. Так орлы врезаются в тучу.

С этого берега наша тяжелая артиллерия бьет по позициям противника. В тумане весь этот грохот наводит ужас. Гитлеровцы тоже открыли ответный огонь. Они, видно, разгадали наши действия и теперь отчаянно разбивают снарядами лед, прошивают пулеметными очередями все пространство над рекой.

Лед трещит. Кое-где уже появились полыньи с ледяной крошкой на поверхности. Чего еще ждать? Надо бежать туда, к туману... Я доложил командиру полка, что хочу перенести свой НП на другой берег. Он не возразил. Я велел моему связисту отсюда держать со мной связь. Сахнов закинул вещмешок за спину.

— Ты останешься здесь! — сказал я ему.

Он удивленно посмотрел на меня.

— Как закрепимся на том берегу, вот тогда и придешь. А пока поищи Шуру и удержи ее здесь.

Сахнов попытался уговорить меня взять его с собой, но я вскочил в сани и погнал коня в туман. Вот так-то, с ходу, легче перейти реку. И перейду непременно. Нет, со мной ничего не случится.

* * *

Сани съехали к самому берегу и остановились. Это, оказывается, командир полка схватил за узду моего коня.

— Я тоже с тобой.

Вместе с ним в сани ввалились два его связиста и адъютант.

— И что там сейчас делается? — задумчиво проговорил командир полка.

— Да вроде бы наши уже бьются в их окопах.

Я хлестнул коня, и он понес нас вихрем.

Фрицы лупят по льду. Взлетают в воздух льдины и льдинки, фонтаны воды холодным душем обливают нас.

Впереди я приметил большую полынью. Не дай господь в нее угодить — вмиг концы отдадим, вода-то ведь ледяная. Конь чудом пронесся мимо.

Я крылатый мальчик из сказки. Оседлал волшебного коня и мчусь синей бездной сквозь белые облака...

На льду тут и там лежат трупы.

Мой конь чуть не сбил медсестру с сумкой через плечо. Я схватил девушку за плечи и втащил ее в сани. Из запорошенных инеем ресниц на меня смотрят счастливые глаза. Шура! Командир полка проворчал:

— Черт, дорогу перешла!

Шура уцепилась за бортики саней, чтоб не вылететь на ходу.

Эх, было б время, зацеловал бы ее. Молодчина ты, Шурочка! Груз мой повысился в цене. А ну, мой конь, мой брат, несись вперед! Вперед!..

* * *

Вот и желанный берег. Гладкий и не высокий, почти на уровне льда, он вдруг круто возносится вверх. А там, в кустах, деревьях, наши.

Конь вынес сани на берег, промчал по суше еще метров пятьдесят и упал, сраженный, пулей. Мы посыпались из саней. Я залег за спиной своего все еще вздрагивающего коня и застрочил из автомата.

Залег и командир полка. А куда девалась Шура? Убита? Где она? Не вижу ее! Туман. Да и оглядеться-то толком некогда. Конь греет меня. Бедняга в агонии, его бьет дрожь. Он поднимает голову, косит на меня глазом, словно прощается, и голова бессильно опускается на снег. Я ловлю его последнее дыхание, вырвавшееся из окровавленных ноздрей...

Впереди, слышу, стрекочет наш пулемет. Это недалеко, шагах в сорока. Ползу к пулемету. Не смотрю на убитых. Не дай бог, увижу среди них Шуру!..

Наши уже завладели двумя передними линиями укреплений противника. Теперь пытаемся продвинуться еще дальше.

С большим трудом я все же разыскал своих минометчиков. Они заняли удобные позиции и ведут огонь на ближнем расстоянии — противник совсем у нас под носом.

Чуть впереди стоит наша подбитая самоходка. Своим корпусом она служит нам прикрытием. Из распахнутого люка самоходки свешивается тело убитого водителя, под головой на снегу большое красное пятно...

Вокруг меня густой лес. Со скрипом рушатся деревья от нашего и вражеского артиллерийского огня. И от этого обнажается небо, и света становится все больше и больше.

Особенно беспокоит нас огонь шестиствольных минометов противника. Рев у проклятых, как у ишаков: и-а, и-а... Даже обозные лошади теряются. Вжавшись в снег, я прислушиваюсь к вою мин, пытаюсь определить местоположение минометов. Гроза «ишаков» — наши бомбардировщики. Но сегодня они не появляются. Погода нелетная.

* * *

Я подвел свою роту вплотную к немецким позициям, открыл огонь прямой наводкой. И это выход: «ишаки» больше не бьют в нас, боятся задеть своих.

Сегодня девятнадцатое февраля. Уже месяц и двадцать два дня, как мне исполнилось двадцать. Записи мои окутаны туманом.

* * *

Ночь. И когда только успело стемнеть? Да и был ли день, был ли свет?..

Мы гранатами и штыковой атакой выбили наконец противника и из третьей линии его укреплений.

Плацдарм на этом берегу Нарвы мы уже расширили кое-где и до трех километров вглубь. Это победа, и немалая.

Поступил приказ окопаться как можно глубже.

И мы зарылись в щели мерзлой земли. Земля — спасительница, защитница. К тому же в ней и теплее.

Не верьте, если кто-то скажет, что есть для солдата нечто более значимое, чем победа над врагом.

Счастливый и гордый собой, я разлегся в отбитой у противника траншее и с удовольствием грызу сухари. Классную мы одержали победу!

С того берега пришли два связиста и мой заботливый друг Сахнов.

— Где наш коняга? — спросил он.

Я показал в сторону. Сахнов вздохнул. И мне показалось, что я слышу тот последний вздох коня...

* * *

Я лежу в немецкой траншее. Стены ее, чтоб земля не осыпалась, укреплены прутьями и досками. Рядом блиндаж с бетонным покрытием, с тяжелой дубовой дверью. Его занял кто-то из офицеров. В нем горит свет. Белый, ясный, бездымный.

Где Шура? Пришла бы — я посмотрел бы ей в глаза при этом ярком свете.

Где Шура?

* * *

В блиндаж ко мне зашли близнецы наши — Буткевичи.

— Здравствуйте, — сказал Витя, — Разрешите проверить ваши телефоны. Посмотрим, в порядке ли они.

— Заходите, — поднимаясь им навстречу, предложил я. — Проверьте, как положено.

Витя снял ушанку. Голова у него перебинтована.

— Что случилось, товарищ ефрейтор? Вы ранены?

— Да! — не без гордости в голосе ответил он. — Третьего дня меня ранило при исполнении боевого задания.

Я приметил, что Федя поглядывает на брата с завистью. Каково ему, брат ранен, а он нет.

— А как это произошло? И почему вы не в госпитале, товарищ ефрейтор?

— Э, пустячная рана. Пуля только слегка царапнула кожу, — сказал мальчик. — Кость не затронута. Крови, правда, потерял много, потому и хожу пока забинтованный.

— Сейчас беспокоит?

— Да как сказать, вроде бы и нет.

Я попытался было угостить ребят сахаром и маслом, другого у меня ничего не было, но они наотрез отказались и даже не притронулись к еде.

— Здесь каждый получает свою долю, — сказал Федя. — Значит, ни у кого нет ничего лишнего. А потому не надо нас угощать. Вы сами должны есть.

Они повозились с моим телефоном, прочистили, продули его.

— Как слышите меня, «Дон»? Я — «Волга»...

Витя опустил трубку на рычаг и сказал по-взрослому:

— Телефон ваш в полном порядке. Разрешите идти?

— Ну что ж... Только, может, вы бы немного погрелись...

— У нас мало времени. Надо еще у пулеметчиков проверить телефоны. До свидания.

В голосе мальчика было столько гордости. А почему бы и нет? Он ведь уже и кровь свою пролил за Родину. У него есть право на гордость.

* * *

Туман рассеялся. Наши самолеты бомбят укрепления противника. И фрицы тоже не молчат: они в свою очередь с

воздуха и с земли крушат лед на Нарве. Он уже весь разбит, перейти сейчас реку невозможно. Несколько грузовиков и фургонов с продуктами ушли ночью под лед.

Итак, мы отрезаны от мира. Остались теперь только на нашем узком плацдарме. Верховное командование приказало выдать нам удвоенные пайки хлеба, водки и табака. Только как все это нам доставить?

* * *

Тридцать три градуса мороза. Это вычисляет Сахнов. Высунет язык, ощутит кончиком холод и вычисляет.

— Тридцать три градуса. Давайте градусник. Коли ошибаюсь — рубите мне голову.

* * *

Арто Хачикян вместе с эстонцем, капитаном инженерных войск, зашли ко мне в землянку погреться.

— Табак у вас есть? — спросил я.

— Нету.

Эстонец размял в ладони оттаявший в тепле рыжеватый комок земли, понюхал его.

— Прекрасно как пахнет!..

Узок наш плацдарм — кусочек Эстонии. Эстонец вынул из кармана горсть мелких красных ягод. Диво-то какое: в эдакой холодине — ягоды...

— Они не портятся от мороза, ешьте.

С берега вернулся Сахнов. Сбросил с плеч мешок, промасленный, закопченный, дымящийся паром, выложил на стол куски дышащего жаром мяса.

— Конина... Попробуйте.

— С удовольствием, — сказали мои гости. — Где раздобыл-то?

Сахнов опустил голову. Я вспомнил своего убитого коня.

Гости плотно поели и ушли, довольные. Мой конь, и убитый, послужил мне...

* * *

Сахнов привел в порядок доставшийся нам от фрицев полуразрушенный блиндаж, починил, почистил его, и мы перебрались на новое местожительство. Это рядом с батареей гаубиц, там, где дыбится подбитая наша самоходка. Наблюдательный пункт свой я устроил в дупле расщепленного дерева. Отсюда очень хорошо просматриваются позиции противника.

Немцы вновь и вновь атакуют, хотят сбросить в реку. Но у нас нет пути назад, и мы не собираемся сдавать своих позиций, нам остается только отбивать их яростные атаки, что мы и делаем.

* * *

Враг атаковал нас еще трое суток и наконец выдохся. Потянулись изнурительные дни позиционной войны. Настроение отвратное.

Сахнов разыскал целый ящик свечей из сухого спирта. Я обрадовался: теперь хоть света у нас будет вдоволь. Но не тут-то было. Сахнов растопил эти белые как воск свечи на огне, процедил через марлю, вскипятил, опять процедил. Я с удивлением наблюдал за его химическими опытами. Наконец, хитро подмигнув мне, он сказал:

— Выпивка готова.

Выгнал целую бутылку из спиртовых свечей. Выпил сначала сам, выждал с полчаса.

— Хорошо. Желудок мой с удовольствием принял спирт.

И он протянул стаканчик мне. Я тоже выпил. Какое-то пойло.

Пахнет жженым деревом. Меня затошнило, голова стала раскалываться от боли. Но я выпил еще, и постепенно по телу разлилась приятная теплота. Вспомнились пухлые Шурины губы.

— Сахнов, дай еще немного...

— Не дам, — спрятал он бутылку. — Нельзя так много-то, чего доброго, отравитесь.

Шура не идет из ума, и я отваживаюсь, спрашиваю у Сахнова, не видал ли он ее. Вдруг убита?..

— Не тот фруктик, ее не убьешь! — хмыкнул Сахнов.

— Фруктик? Какой еще фруктик? Что мне делать, Сахнов?

Он недовольно пожал плечами:

— И зачем только этих девок на фронт пускают? Тьфу!..

Я засмеялся. До чего же ты хороший человек, Сахнов!

Сегодня двадцать первое февраля. Месяц и двадцать четыре дня, как мне исполнилось двадцать. В записях моих есть и смех.

МОИ ДАЛЕКИЙ БРАТ

Майор Ерин у меня на позициях. Блиндаж мой ему очень нравится. И не удивительно. Сахнов содержит его в отличном состоянии — здесь тепло и сухо. И со стен земля не осыплется — он забрал их досками. Пол тоже деревянный, а в углу топится печь.

— Люблю расторопных людей, — говорит Ерин. — Видать, у Сахнова твоего не мякина в голове.

Я забеспокоился: чего доброго, Ерин еще вздумает забрать у меня Сахнова!.. Но нет, он уже о другом.

— Ты был в Париже? — спрашивает вдруг.

— Никак нет!.. Не доводилось.

— Я тоже не был, — говорит Ерин. — Там, я слыхал, много армян живет?..

— Армяне там, верно, есть.

Я недоумеваю, к чему бы эти расспросы. Да, я тоже слыхал, что во Франции много армян. Мне даже как-то попалась в школьные годы армянская газета, издающаяся в Париже. Она запомнилась рекламой ресторана: «Как ты можешь жить в Париже и хоть раз не зайти в чудесный ресторан «Кавказ»?..»

Ерин протянул мне вдруг номер «Красной звезды».

— Прочти-ка на последней странице очерк о коммунисте Мисаке Манушяне. Знаешь такого?

— Нет, впервые слышу это имя.

— А он может составить гордость вашего народа! — сказал Ерин.

И я читаю короткое сообщение ТАСС. Оно о том, что гестаповцы двадцать первого февраля в Париже расстреляли группу мужественных борцов Сопротивления. Это были коммунисты разных национальностей, объединенные одной общей целью: уничтожить величайшее зло человечества — фашизм. Руководителем группы был французский коммунист, славный сын армянского народа Мисак Манушян. Он и его товарищи расстреляны гестаповцами только за то, что, беззаветно любя жизнь и ненавидя фашизм, они с оружием в руках боролись против гитлеровского «нового порядка»...

Я несколько раз перечитал сообщение ТАСС, и печаль во мне невольно смешалась с гордостью.

— Армяне извечно боролись за правое дело, против тирании и захватничества. Они страдали и погибали, но не сдавались.

— Я знаю, — сказал Ерин. — Оставь эту газету у себя. Прочитаешь бойцам.

Манушян не идет у меня из головы. Кто он, какими судьбами его забросило в Париж? Интересно, молод ли был? Мои вопросы остаются без ответа? Но одно я вижу ясно в своем воображении: вот он, этот человек, гордо стоит под дулами винтовок палачей, готовый отважно принять смерть, как Степан Шаумян стоял когда-то в Закаспийских песках с раскрытой и окровавленной грудью перед дулами винтовок других палачей. Где только не проливалась за свободу кровь армян!.. И сейчас вот во Франции, в Париже... И определенно Мисак Манушян не единственный из армян попал в застенки гестапо...

Я все думаю, думаю. В моем мозгу постепенно выкристаллизовывается легенда этих дней. Образ Манушяна почему-то ассоциируется с образом начальника инженерной службы нашей дивизии Арто Хачикяном.

И кажется мне, что Манушян тоже, наверно, был такой же высокий, плечистый, с большим и добрым лицом.

Я поспешил к Хачикяну.

— Арто, ты слыхал о Мисаке Манушяне?

Он на минуту задумывается, потом качает головой: нет, мол, не слышал. А прочитав газету, снимает шапку.

— Видишь, — говорит он, — такие-то люди и поднимают славу народа.

В этот день Арто выпил водки. Мы стоя пили с ним во славу памяти нашего соотечественника, погибшего в борьбе с фашизмом.

Братья мы, братья мы,
Бурею разлученные...

Сегодня двадцать четвертое февраля. Уже месяц и двадцать семь дней, как мне исполнилось двадцать. В записях моих буря и вихрь.

ТЫ МОЯ ЕДИНСТВЕННАЯ

Постепенно мы привыкли к оборонительным боям. Даже в гости друг к другу ходим в блиндажи и землянки. Ко мне часто забегает Шура. И все подарки носит: то носовые платки принесет, то белые подворотнички, которые сама и пришьет к гимнастерке.

— Дай белье твое постираю, — просит она меня каждую субботу.

— Не дам! — сержусь я. — И вообще твоя заботливость меня бесит.

Она плачет. Я сожалею о сказанном и, чтобы примириться, отдаю ей белье.

Сейчас мы все сыты. Хлеба получаем по кило двести граммов на брата. Даже не все съедаем. Поначалу Сахнов сушил сухари. Но потом ему это надоело. Да и как таскать с собой столько сухарей?.. А однажды он вдруг сказал:

— Ведь из этих остатков можно такое пиво сварить, лучше любого заводского получится.

Я усмехнулся, а сам подумал: неужели Сахнов и это умеет?

— Ты серьезно? — спросил я у него.

— Вроде я вам никогда не врал, — обиделся Сахнов.

— Ну что ж, тогда давай вари.

— Для пива дрожжи нужны. Понимаете? Без дрожжей никак нельзя.

На следующий день он попросился в тыл, за дрожжами.

— Это недолго, — уверенно сказал он. — Съезжу и привезу. Будет у нас пиво собственной марки.

— И мы обменяем его на махорку, — добавил я. — А?

— Можете даже на «языка» с немцами обменяться. Это дело ваше.

* * *

И я послал Сахнова в тыл, за дрожжами. Хотел денег ему дать — он не взял.

— Кому сейчас деньги нужны...

Положил в мешок пару своих валенок, шинель, пять пар трофейных сапог, несколько брюк и гимнастерок, закинул его за спину и ушел.

Вернулся Сахнов через три дня. С дрожжами вернулся.

— Перешел реку, сел в кузов попутного грузовика и вечером был в Ленинграде, — рассказывал он. — Город уже восстанавливается. Трамваи ходят, хлеб есть — по карточкам выдают. Люди малость оправились. Только вот с топливом плохо.

Сахнов собрал остатки хлеба, долго варил-колдовал, потом слил жидкость в большой стеклянный баллон, добавил дрожжей, закупорил и зарыл в землю.

— Через неделю поспеет.

Долго он объяснял мне секрет приготовления пива, но я так ничего и не понял. А ему почему-то очень хотелось, чтобы я освоил это дело...

— Любое ремесло — это тебе всегда кусок хлеба, — сказал он, огорченный моей неспособностью. — Вы же разумный человек, сынок. Не понятно, почему такое простое дело не уразумеете.

* * *

Приготовленное Сахновым пиво получилось необыкновенным. Я литров пять, наверно, выпил. И еще командиру полка послал. Сахнов предупредил меня:

— Только смотрите не говорите ему, что я варил...

— Почему? Это же не преступление.

— Узнает, к себе может забрать. Или, чего доброго, отошлет к командиру дивизии.

— Но это же неплохо! — сказал я. — У командира дивизии тебе будет лучше. В большей безопасности. И есть послаще будешь. Так что скажешь, Сахнов?..

— Если вы не шутите, сынок, значит, обижаете меня. Я с вами не расстанусь. Так и знайте. Может, я вам надоел?..

Я пригласил Шуру:

— Приходи, выпьешь со мной пива...

— Издеваешься? — закричала в телефонной трубке Шура.

— Да провалиться мне на этом месте, если я неправду говорю, Шура! Единственная. И бог знает, что еще ты для меня. Без тебя мне жизни нет, свет мой в окошке, радость моя! Приди.

Это пиво говорило во мне с такой смелостью.

Шура пришла. Сегодня шестнадцатое марта. Два месяца и девятнадцать дней, как мне исполнилось двадцать. В записях моих непривычная смелость.

ВЕСНА ПОД СНЕГОМ

Сахнов говорит, что уже весна. Я смеюсь:

— Слушай, ну какая же это весна? Весна — когда ручьи журчат, ласточки домой возвращаются, трава зеленеет и расцветают фиалки между камнями... А здесь еще снега по колено.

— Ну как же не весна, — твердит свое Сахнов. — Взгляните: грачи уже прилетели с юга, и в воздухе пахнет весной...

Что ж, пусть будет так.

* * *

Мы получили известие о том, что вчера, девятнадцатого марта, по личному приказу Гитлера его войска оккупировали Венгрию. Это очень удивило моих солдат.

— Ведь, того и гляди, портки потеряет, от нас удирая, а туда же, опять чужую страну захватил.

Что поделаешь — это так. Хочет хоть там проводить свой «новый порядок». Но недолго он задержится на берегах озера Балатон.

* * *

Мои солдаты придумали по-новому вести огонь из минометов. Иной день все двадцать четыре часа обстреливают какой-нибудь один квадратный километр вражеских укреплений. И это не только противника изматывает, даже на нас действует подавляюще своей монотонностью. После такого затяжного обстрела одного участка солдаты переносят огонь на соседний километр — правее или левее. И все повторяется сначала.

— Мы во что бы то ни стало вытрясем из них душу...

* * *

Приятная весть. Вчера, двадцать шестого марта, наши войска на юге подошли к реке Прут, на границу Советского Союза и Румынии. Это вселило в нас несказанную радость. Вот и настал час — пересекаем границу.

— И за границей будет продолжаться война? — спрашивают меня солдаты.

— Обязательно будет! — отвечаю я. — Надо окончательно уничтожить фашизм, чтоб он больше никогда не поднял головы.

Война завершится в Берлине, только в Берлине!

Наши войска подошли к реке Прут. Сахнов смеется:

— Какое хорошее название — Прут! Это значит хворостина, палка, которой бьют скотину или собак гоняют... Вот мы, выходит, и лупим их...

* * *

А ведь и правда уже запахло весной в этих торфяных, болотистых и лесистых местах Эстонии. Сахнов не ошибся. Он раньше всех почуял весну. Долго мечтал о ней.

Сахнов отрастил усы. Они у него рыжеватые, очень густые и длинные. Концы их он закручивает к самым ушам. В его волосах я уже примечаю седину. Да, мучается человек. Внешне он этого не показывает. Но я-то вижу... Стоит Шуре прийти ко мне, он сразу грустнеет. Эх, бедный мой брат, батько, бедный Сахнов... Никогда-то, наверно, и знать не знал женской ласки, тепла. Раньше Сахнов, бывало, брился не чаще, чем раз в неделю, да и то подчиняясь порядку. А сейчас почти каждый день бреется и регулярно меняет подворотнички, которые, надо сказать, очень идут к его пышным усам и крепкой шее. Сапоги он чистит ружейным маслом. А едва на позиции придет, начинает с мольбой просить солдат:

— Ну что вы прохлаждаетесь, ребятушки? Давайте-ка поскорее турнем этих колбасников, пока сорок мне не исполнилось, кончим проклятую войну.

— А почему именно сорок? — спрашивают его.

— Чтоб успеть жениться, семью завести. А после сорока ржание мерина кобылицы не прельстит...

Вот какая у нас жизнь на Нарвском плацдарме.

— Ну и чем же она плоха? — говорит Сахнов Шуре. — Вот ты такая молодая, все тобой увлекаются. И...

Сегодня двадцать девятое марта. Уже три месяца и один день, как мне исполнилось двадцать. Записи мои полнятся дыханием весны.

ДЛЯ ИСТОРИИ

Уже три дня подряд противник непрерывно атакует. Спешит, хочет задушить нас на этом узком плацдарме, сбросить в реку, пока еще не стаял снег. Он-то хочет, а мы, понятно, нет. Но у нас сейчас нет никакой возможности развивать действия, чтобы как-то расширить плацдармы или продвинуться вглубь. Наша задача — удержать в своих руках этот кусочек эстонской земли на левом берегу Нарвы. Удержать и дождаться благоприятного момента для нового наступления на врага.

Потери у нас большие. Слишком тесно мы здесь зажаты. И огонь густой — наш и вражеский. На метр земли падает до двадцати снарядов и мин. Но укрепления наши очень прочны, и, едва противник поднимается в атаку, мы косим его, и он даже не доходит до наших блиндажей. Напротив нас на уже осевшем, ноздреватом снегу грудятся трупы.

* * *

У нас в полку в химслужбе есть свой ученый химик, капитан Фридман. Высокого роста, рыжеволосый, с необыкновенно ясными синими глазами.

— Привет, брат! — нагибаясь, чтоб не стукнуться о бревенчатую притолоку, сказал Фридман, входя ко мне в блиндаж.

— Здравствуйте, капитан, — ответил я. — Пива не хотите ли? Еще есть.

— Откуда оно у вас? — удивился он.

— Ребята мои перехватили у немцев...

— Ну и молодцы! — ничуть не сомневаясь в истинности моих слов, восторгается он. — Давайте...

Он поднял жестяную кружку с пивом и торжественно сказал:

— Выпьем за мой город, за Одессу. Наконец-то, родимая, освобождена!

— Когда? — радостно воскликнул я.

— Вчера. Десятого апреля.

— Да, за это действительно стоит выпить! А пиво, брат, вовсе никакое не немецкое, Сахнов его приготовил.

Фридман не поверил мне и потому пропустил мимо ушей мое признание. Он начал рассказывать о своей семье, оставшейся в Одессе. Вестей о них у него нет. Живы ли? Фашисты ведь в первую очередь уничтожают евреев...

— Сколько поубивали, проклятые палачи!.. — В глазах у него слезы.

— А может, ваши успели эвакуироваться?

— Не знаю. Ничего я о них не знаю...

— Ну, теперь, может, разыщете?..

— Счастье, что Одесса уже свободна. Она такая красивая!.. Вы не играете в шахматы? Может, сразимся? Я сам не свой. И радость, и горе. Все смешалось. Но нет! Я, знаете ли, верю, что родные мои живы и что скоро я их найду...

* * *

Гитлеровцы снова засыпают нас листовками. Вот одна из них. С рисунком. Она сообщает о смерти командующего Первым Украинским фронтом генерала Ватутина. Мы слышали и читали об этом в газетах. Ватутин был ранен на фронте и умер в госпитале. Вся страна и мы вместе с ней скорбели по этому поводу. «Скорбят» и гитлеровцы. Они изобразили раненого Ватутина на операционном столе. В тело его всажено несколько ножей, а вокруг в белых халатах стоят якобы наши врачи. И подпись: один из врачей говорит другому: «Ну, теперь начальник будет доволен, врачи-евреи сделали свое дело».

Ах, сволочи! Чего только не состряпает кухня Геббельса! Они, видите ли, твердят на все лады, что русского полководца Ватутина убили наши.

И ничего ведь не поделать с ними. Сыплют и сыплют свои листовки.

Вот еще одна: «Русские, все вы погибнете в своем бессмысленном сопротивлении». Это подпись, а на рисунке некто в очках, с косой в руках, косит ряды наших войск, уходящих на фронт. У ног его грудятся черепа...

Мы все на том же своем плацдарме. Атаки немцев захлебнулись. А среди нас, непонятно откуда, объявился фотограф. Мы взяли и сфотографировались группой офицеров. И я отправил снимок домой. «Зачем? — спросил я сам себя. — Для истории».

Наивно. Долга ли она — моя история? Как знать? Я молод, и история моя началась с этой грозной, великой войны.

Сегодня двадцать пятое апреля. Три месяца и двадцать восемь дней, как мне исполнилось двадцать лет. Записи мои для истории.

ЗЕЛЕНАЯ КРОВЬ

Берега реки зазеленели. На раненых деревьях набухли почки. Но под развалинами еще держится снег. Сегодня ко мне прибыло шесть солдат.

— Воевать довелось?..

Только один был на фронте. Под Псковом его ранило. И вот после госпиталя снова вернулся на передовую. Зеленоглазый паренек. Он из Ивановской области. Весь какой-то жалкий. Уж лучше бы его демобилизовали...

Бедолага, только два часа у нас пробыл: убило наповал. Его гибель я перенес очень тяжело. Словно это я был виновен в его смерти. Многие ведь погибают, и на глазах у меня уже сотни полегло. Почему я испытывал такую острую жалость? Чудовищно как-то: минуту назад говорил с человеком, и вот перед тобой уже лежит его труп, и горячая кровь еще бьет из раны, а ты и пережить не успеешь этой потери, только руками разведешь, если времени хватит.

— Эхма!..

Тут так свыкаешься со смертью, что иной раз даже и на товарища погибшего едва бросишь взгляд и бежишь дальше. Редко когда выдастся время самому похоронить человека.

Вот так-то... А из-за этого паренька у меня сердце щемит. Вспомнился погибший на фронте брат. Может, и он, как этот солдатик, пал на таком же клочке земли.

Всего два часа видел я этого паренька, и вот передо мной уже его труп. Его зеленые глаза залиты кровью. Впервые я вижу зеленую кровь. Выходит, бывает и такое.

* * *

Вчера, девятого мая, наши войска освободили Севастополь.

Наконец-то!..

Удивительный город — эта твердыня на Крымском берегу. В сорок первом имя его не сходило с наших уст. И сейчас тоже. Воистину Город-герой. Город? Там небось ни одного целого здания не осталось. Да и все наши города, через которые прошел фронт боев, превратились в груды развалин. А что еще можно было ожидать от фашистов, от гитлеровского «нового порядка». В свое время сельджук Арп-Аслан тоже вводил в Армении «новый порядок». В одиннадцатом веке это было. Со времен Арп-Аслана прошло восемь веков. Вот и явился новый завоеватель — Адольф Гитлер. Тоже все рушит. И все тот же Иисус Христос благосклонно взирает на убийц. Идол — он идол и есть, не было никакого Христа. А интересно, будь он, пролил бы хоть слезинку над могилой моего зеленоглазого солдата? Как бы не так.

* * *

Из дому мне прислали газеты. Они старые, но не для меня.

Сахнов нашел в одном из немецких блиндажей хлеб в брезентовом мешке. Маленькие буханки черного хлеба завернуты в пергаментную бумагу, а на ней дата — 1933 год. Одиннадцать лет этому хлебу! С тридцать третьего года гитлеровцы готовились к войне с нами, готовились убивать зеленоглазого ивановского паренька. Вот она — цивилизация!..

К хлебу этому я не притронулся. Зато глотаю сообщения армянских газет. Бумага грубая, толстая. И темная, чуть не черная. Что это? Танковая колонна «Давид Сасунский». Ах, милые вы мои братья и сестры! Какое же вы хорошее дело сделали! Армяне, живущие за рубежом, собрали деньги из своих сбережений и вот подарили двадцать пять танков — целую колонну — нашей армии. Сыны-скитальцы помнят о матери-родине, желают ей победы. И как прекрасно они назвали танковую колонну — «Давид Сасунский». Легендарный герой снова вместе с нами встал на защиту священной земли.

* * *

У нашего командира полка заместителем по строевой части полковник Рудко. Человек уже немолодой, очень добрый. Ноги у него колесом.

— Целых тридцать лет кавалеристом был, — говорит он. — Тридцать лет в седле. Еще в первой мировой войне, в армии Брусилова — на австро-германском фронте, потом служил в коннице Буденного, а потом...

Я угощаю его водкой и на закуску варенной в мундире картошкой. Он мрачен. Почему? В тыл отправляют, говорят, возраст вышел, пора на покой.

— Поеду куда глаза глядят. Прощай, значит, служба. Я головы не жалел, честно служил Родине, бог мне свидетель.

— Вы верите в бога?

— К слову пришлось.

Прощаясь, он отстегнул свою саблю, протянул ее мне, держа на обеих руках, и сказал:

— С четырнадцатого года при мне. А в этой войне не пригодилась. Хотя, скорее, я ей не пригодился — стар уже. Так вот, сынок, дарю

тебе эту саблю. Я сейчас перейду реку — и айда. Но не хочу, чтоб и моя сабля ушла на покой. Бери ее. Она друг верный. В этой войне вряд ли сгодится. Но ты береги ее как зеницу ока. И пусть она сбережет тебе жизнь.

Я взял саблю и что-то пробормотал под нос. Мне кажется, я никогда еще в жизни не был так взволнован. Полковник приложился губами к клинку своей сабли, потом к ножнам, к рукояти. И уж после того расцеловался со мной.

— Ничего. Таков закон жизни: одни уходят, другие приходят на их место. Будь здоров.

И полковник удалился покачивающейся походкой бывалого кавалериста. А может, это он от старости так переваливается?..

Сабля длинная. Кожа на ножнах местами потерлась, рукоять отполирована ладонью и словно бы еще хранит тепло руки хозяина со времен брусиловских боев. Я с испугом подумал: не потерять бы мне этой сабли! Нет, нет, она всегда будет со мной. И не кладите ее со мной в могилу, люди, если суждено мне быть зарытым в могиле!

Не откладывая в долгий ящик, я написал письмо домой и пересказал всю эту историю. Если суждено сгинуть и мне и этой сабле, пусть хоть память о ней останется.

Сегодня восемнадцатое мая. Уже четыре месяца и двадцать один день, как мне исполнилось двадцать. В записях моих реликвия.

МОЙ САХНОВ

Прошла зима, пришла весна,
Тают снега, журчат ручьи...

Добрая старая песенка. Когда прошла зима и когда пришла весна?

Весна принесла нам новые заботы.

Под растаявшим снегом у нас в траншеях оказалось девятнадцать трупов.

Я приказал собрать трупы и закопать.

Прорыли из траншей канавы к реке, спустили вонючую, гнилую воду — свет увидели.

* * *

Дает о себе знать нехватка еды. Зимой по замерзшей реке нам регулярно доставляли продукты. А теперь ледяной наст растаял, река угрожающе вспучилась. Немцы, которые держат ее под обстрелом по всей шири, даже по ночам не спускают с нее глаз. Многие наши лодки и плоты с провиантом не доходят до нас, гибнут под огнем вражеской артиллерии.

Сахнов больше не варит пиво. Нашим никак не удается навести переправу через реку. Ночью строим, а днем противник все разрушает.

* * *

Сахнов протянул мне что-то горячее из своего котелка. Попробовал. С трудом заглотнул и ору Сахнову:

— Что за мерзостью ты меня кормишь!

— Древесная кора. Я ее в Сибири привык есть. Что, не вкусно?

— Как же, свиные отбивные!

Сахнов вздохнул:

— Что делать, сынок, придется потерпеть. Как-никак, а жить надо.

Вновь нарождающаяся зелень благоухает. Раненые деревья усыпаны почками, воронки от снарядов тоже зазеленели травой. Надо жить.

* * *

Сахнов часто пропадает часа на два. Возвращается промокший, зуб на зуб не попадает. Я наконец взорвался:

— Где тебя черти носят?

— С чертовой бабушкой шашни закрутил!.. Три дня уже, как с ординарцами комполка воду в речке пьем. Помните, зимой затонули грузовики и фургоны с провиантом? Вот и ныряем, ищем, где там консервы запропали.

Я категорически запретил ему лезть в реку.

— Старик ведь уже, заболеешь...

Он не без грусти глянул на меня.

* * *

Вечер. Сахнов разбудил:

— Вставайте-ка, сынок, я водочки раздобыл, погрейтесь.

Он выложил банку американской тушенки и бутылку «Московской». Я страшно удивился. Неужели мост наконец наведен?..

— Не зря потрудились, — довольно хмыкнул Сахнов. — Выудили-таки добро из речки. Будет ребятам провиант на несколько дней.

Не могу не восхищаться Сахновым. Поразительный человек! Никогда не думает о себе, все только о людях. Надо представить его к награде. Он этого вполне достоин.

Сахнов вскрыл штыком банку консервов и, улыбаясь, сказал:

— Давайте выпьем, благо, причина есть.

— Причина и верно есть, — согласился я. — Какое сегодня число?

— Кто тут считает дни? Кажется, седьмое июня. А может, и семнадцатое. Бог его знает.

— Точно — седьмое июня. И только вчера Англия и Америка наконец-то высадились во Франции.

— Понятно, — кивнул Сахнов. — Открыли все же союзнички второй фронт...

— Выходит, да. Наше радио сообщило...

Не знаю, до конца ли уверовал Сахнов в эту весть, во всяком случае ночь он спал спокойно и долго.

А мне очень радостно и, видно, потому не спится. Я пошел к своим солдатам, рассказывать им об открытии второго фронта. Они тоже как-то с трудом верят в это. Слишком долго ждали...

* * *

С Чудского озера дует теплый ветер. Лето. Зацвели акации. Ветер вспенил воды Нарвы, и они веселыми волнами бьются о берег. Мощная река, и непонятно, в какую сторону она течет. Так полноводна, и так глубоко ее русло...

Мы уже привыкли к позиционной войне. Но обе стороны убеждены в своем: мы твердо верим, что победим, а они уже видят перед собой гибель. Бог войны отвернулся от них. Ну, а мы его вовсе и не признавали. Наш бог — это гаубицы Гопина. Артиллерия. Странное дело: артиллерия — и вдруг бог. А пехоту у нас называют царицей полей. Но это, видно, придумали сами пехотинцы — для успокоения. Какая уж там царица, больше всех родов войск истекает кровью в этой войне. А может, потому и царица, что, гордо преодолевая боль утрат, она вновь и вновь впереди?..

Сегодня шестнадцатое июня. Уже пять месяцев и девятнадцать дней, как мне исполнилось двадцать лет. Записи мои в неволе.

Я СМЕЮСЬ ТЕБЕ В ЛИЦО

Томительные дни. Зарывшись в землю, противник обстреливает нас, мы — его. Невероятно нудная штука эта позиционная война. Меня так и подбивает схватить автомат, вместе с Сахновым рвануть в окопы гитлеровцев и заорать: «Убирайтесь, сукины сыны! Вы уже поперек горла стоите!»

* * *

Я надумал сходить на позицию друга своего Ивана Филиппова. Он теперь тоже командиром минометной роты. Наблюдательный пункт его в окопах у пехотинцев. Оттуда он и руководит боем. Признаюсь, не без корысти я шел к нему. Он из тех, кто не пьет, не курит и потому всегда сберегает для меня свою долю махорки и водки.

У него все в полной исправности: бетонированный блиндаж неприступен, в нем сухо, чисто. Все строго подчинено воинской дисциплине.

* * *

— Сидим вот, тухнем, — жалуется Иван. — В наступление бы...

Я мучаюсь тем же. Но Верховному командованию виднее... Я не успел обратиться к Ивану со своей просьбой, как он сам протянул «подарочек», десятидневный паек. Я даже смутился, пробормотал что-то по поводу того, что граблю его.

— Напротив, — сказал он, улыбаясь, — ты спасаешь меня от этих пагубных вещей.

У нас на плацдарме образовалось нечто вроде «черного» рынка. Многие бойцы не курят и не пьют, а потому обменивают свою долю спирта и махорки на хлеб, на сахар. Я тоже меняюсь, в основном на курево. Половину хлебного пайка обмениваю. Сахнов не возражает.

Я тут же, при Иване, прямо из горлышка хлебнул спирту. Иван закричал:

— Да это же самоубийство!

Конечно, Иван прав. Зачем я себя отравляю? Ведь мне всего двадцать, а у Шуры есть мечта...

Я попрощался с Иваном и вышел.

* * *

Темно. Может, от тумана в голове? Шагаю восвояси. Но что это, почему я так долго иду? Даже хмель у меня прошел от этой мысли. Я остановился под деревом и прислушался. Совсем рядом говорили по-немецки. Я вплотную прижался спиной к дереву и стал всматриваться туда, откуда слышался разговор. В ближайшей воронке возились с телефонными коробками два немецких связиста. Едва я увидел их, как винные пары

улетучились. Хорошо, что я слился с деревом и гитлеровцы меня не видят. Но плохо другое: у меня только пистолет и две «лимонки» за поясом. А вокруг — поваленные деревья. Кровь во мне застыла. Эх, мама, мама, а сынок-то твой во хмелю угодил к немцам!

Никак не соображу, в каком направлении идти к своим. Компаса у меня с собой нет, да и темень.

«Из всякого положения есть выход», — утверждал мой отец. Либо пан, либо пропал.

На счастье, вдруг заговорили гаубицы капитана Гопина. Я узнал их и сразу сообразил, куда мне надо идти.

Вынул из-за пояса «лимонки». Тихо подполз к воронке и метнул их туда. В яме ухнуло. И вскоре из нее ползком выкарабкался один из немцев. Выходит, жив остался?.. Я уж чуть было не выстрелил в него из пистолета, но тут вдруг осенило.

— Хенде хох! — крикнул я.

И он поднял руку, только одну, вторая, видно, ранена. Я сунул ему в рот рукавицу и погнал вперед.

— Шагай... Может, еще поживешь.

Едва ли он понял, о чем я. К тому же я и не заметил, как заговорил с ним по-армянски. Впрочем, он сейчас в таком состоянии, что поймет и птичью речь.

Я заспешил на звук гаубиц Гопина. Впереди перебирал ногами ошалелый, растерянный немец.

В нос мне вдруг ударил запах дыма, я узнал позиции Филиппова.

— Помогите, эй!..

Едва показался Иван, спирт снова ожег мне нутро, и меня начало рвать.

* * *

...Спал я мертвецким сном. Не помню, когда проснулся, только вдруг увидел испуганное лицо Ивана.

— Долго я спал?

— Целых два дня, — сердито бросил Иван.

— «Язык» мой жив?

— Он-то жив... А ты вот больше никогда не получишь у меня спирту! В помойку вылью, а тебе не дам!..

Оправдываться не приходится. Досадно до слез. Хоть бы Шуру повидать. Ведь я чуть с позором не сгинул...

Сегодня двадцать восьмое июня. Ровно полгода, как мне двадцать. В записях моих хмель.

ЖАРЕНОЕ МЯСО

Голова моя сама собой клонится книзу. Немецкий разведчик летит почти на бреющем, того и гляди, коснется верхушек деревьев. Он появился неожиданно, и пока я пришел в себя, пока дал по нему пулеметную очередь, его и след простыл.

Откуда ни возьмись, на горизонте вдруг показался дирижабль.

По всему видно, что гитлеровцы готовятся к наступлению. А у нас все еще нет надежной переправы через реку.

Только по ночам на лодках нам доставляют боеприпасы и немного продуктов. Одна из лодок к тому же недавно затонула. Спасает лишь то, что немцы не могут пустить на нас танки. Между нами болото. А в весеннюю распутицу здесь еще кое-где и образовались небольшие озера.

* * *

Из штаба дивизии приехал какой-то полковник. Высокий, пожилой человек с буденновскими усами. Как у старого кавалериста, у него на боку сабля и на сапогах шпоры. Приехал он со своим личным поваром, у которого смешная фамилия — Голопуз. Полковник, видать, из породы людей жизнелюбивых, весельчак.

— Ну, ребятки, как думаете, дадим фрицу в морду или в зад?

— И в то, и в другое можно.

— А Голопуз мой предпочитает один способ: под зад коленом...

Противник повел наступление. Что ж, теперь мы в своей стихии. Все огневые точки противника известны мне до мельчайших подробностей.

* * *

Три дня подряд противник предпринимает атаки, и мы успешно отбиваемся.

Три дня мы не получаем продуктов. Полковник сердится на Голопуза:

— С голоду помираю, раздобудь что-нибудь пожрать!

Голопуз выполз из блиндажа. До вечера его не было.

Ну, думаем, убит. Ан нет. К вечеру вернулся. На диво всем извлек из мешка свежей конины. Мы так и ахнули.

— Откуда?!

— С нейтральной полосы. Там лошадь фрицевская как скаженная носилась. Ее на глазах у меня убило. Еще народ собрался. Разделили по совести. Вот все, что мне досталось...

Он развел костер тут же в блиндаже и зажарил свою добычу. Полковник радовался, точно дитя:

— Я своего Голопуза не обменял бы даже на фельдмаршала Гудериана!

Жареное мясо мы поделили между всеми поровну и досыта наелись. Полковник все нахваливал:

— То-то же, мой Голопуз — чудо! Ублажил свою паству!..

А через полчаса у бедного полковника началось такое урчание в животе, что он не знал, куда ему деться, — снаружи эдакое творится, только высуни нос — убьет.

— Будь ты неладен, Голопуз!..

Снаряды падают на блиндаж, земля сыплется нам на головы, глохнем от грохота.

* * *

Стрельба поутихла. Я бросился к Ивану Филиппову. Может, хоть там узнаю что-нибудь о Шуре?

Добежал... и остолбенел. Мина упала прямо в воронку, откуда он управлял боем. У меня на миг глаза сами собой закрылись. Друг мой!.. Да что же это такое?!

Вместе с двумя солдатами мы кое-как собрали его останки в мою шинель и похоронили.

Снова я хороню. А меня похоронят?..

* * *

Мы отбили атаки противника.

Вот и передохнем. Восемь дней вели ожесточенные бои, но ни пяди земли не уступили врагу. Однако людей полегло много. Каждый третий воин полка убит.

* * *

И это не удивительно в такой схватке. Из головы у меня не идет Иван Филиппов. Едва закрою глаза, а он уж передо мной во весь свой рост.

Я-то пока живу.

Решил написать письмо родителям Ивана. Они уже, конечно, получили извещение о смерти сына на специальном бланке, где все заранее напечатано и остается только вписать имя, фамилию павшего да еще кое-какие подробности. Интересно, где такие бланки печатают? Кто набирает эти слова? Наверно, девушки. И, конечно, плачут, когда набирают, хоть имен в них и нет...

И я написал письмо:

«Дорогие отец и мать, родители Ивана Филиппова, здравствуйте. Я молю вас, не плачьте, когда будете читать это письмо. Во-первых, потому, что это уже ничему не поможет, а во-вторых, мне не хотелось бы добавлять боли вам, родителям моего хорошего друга. Вы, верно, уже получили печальное известие о гибели вашего сына и наплакались — больше некуда. Не надо плакать, дорогие отец и мать. Обо мне отец не заплачет, коли придет черная весть. Не сможет заплакать, потому что его уже нет в живых. Несколько лет, как нет.

Вот так-то, дорогие. У вас был прекрасный сын. Такие обогащают души тех, кто узнает их. Иван был очень отважным человеком, хотя, может, это не совсем то слово. На фронте ведь каждый пусть только раз, но проявит отвагу. Иван был отважен повседневно и в бою, и в дружбе. Он не думал о смерти — верил в победу, в жизнь. И меня оберегал от безрассудства. Я очень любил вашего сына Ивана. Честное слово, редко встречал я таких людей, таких патриотов Родины! А повидал я уже многое. Теплом своей души Иван согревал людей, и все любили его. Он много рассказывал о вашем чудесном старинном русском городе Старая Русса. Он очень любил свой город. И мне, когда я слушал его, представлялись картины вашего города и ваши чудесные лица. Отец, может, вы похожи на моего отца? Мне почему-то так кажется. Я сказал, что у меня нет отца, но это не значит, что мне хотелось бы, чтобы кто-то его заменил. Нет. Просто знайте: Иван так любил вас и мать, что мы прониклись этой его любовью к вам обоим. О вас он рассказывал очень скупо, но под этим крылась не просто сыновняя любовь, а нечто большее, присущее, видно, всему нашему поколению.

Позвольте пожелать вам здоровья, и, пожалуйста, не плачьте. Иван не любил, когда кто-нибудь плакал, будь то при ранении или из-за плохих вестей из дому.

Если я скажу, что образ Ивана никогда не померкнет в наших сердцах, — это будет не совсем то. Просто я никогда не забуду вашего сына Ивана. Никогда! И пишу я вам все это, чтобы вы знали: он был достоин любви и уважения товарищей, он был достойным сыном Родины и своих родителей. Случаются на фронте чудеса. Вдруг возвращается тот, кого считали

погибшим. С Иваном этого, к сожалению, не случится. Он погиб на Нарвском плацдарме, и я собственными руками похоронил его. И не могу не написать вам об этом. Совесть замучила бы меня. Я не обещаю вам и того, что после войны приеду в ваш город, в ваш дом, чтобы утешить вас. Во-первых, не знаю, останусь ли я жив, а во-вторых, понимаю, что никто и ничто никогда вас не утешит. Он был очень хорошим, очень...

Прощайте, дорогие отец и мать. Наши дела, как вы знаете, идут хорошо. Недалек тот день, когда вы услышите об окончательной нашей победе. И в этом будет доля заслуги и вашего Ивана. Он жил, чтоб одолеть врага. Он погиб за свободу нашей Родины, за нашу победу. Я постараюсь выжить, приехать к нам и проводить вас на могилу Ивана».

Это письмо я отправлю при случае.

* * *

Утешает одно: саперы наконец-то навели понтонный мост через реку. Теперь у нас есть и хлеб, и махорка. И Шура улыбается мне.

— Все молила, чтоб жив остался!..

Я вглядываюсь в тяжелые воды реки. Ближе к берегу они совсем багровые...

* * *

Мы сыты, и водки нам выдали двойную порцию. Сахнов налил мне и нашему гостю — инженер-капитану эстонцу. Мы чокнулись.

— За этот освобожденный кусочек Эстонии! — сказал я.

— И за вашу Армению! — добавил капитан. — Далеко она?

— Да вот же! — сказал я и похлопал ладонью по земле.

Мы по-братски обнялись и расцеловались.

* * *

Утомительное это дело — долго оставаться на одном и том же месте, пусть то будут хоть райские кущи. А мы к тому же и не в раю: зажаты на маленьком клочке земли, на растерзанном плацдарме. Лес, как ощипанная курица, смердит мертвечиной и кровью. В каждой пяди земли по пригоршне свинца и стали.

У амбразуры моего блиндажа из-под камня пробился зеленый росток, на верхушке стебелька засохшая кровь.

Чуть правее от нас город Нарва, разрушенный, разваленный, как Ани, как Малая Вишера, как Великие Луки... Наш Хачатур Абовян именно через Нарву ехал учиться из Петербурга в Дерпт, ныне Тарту. И Додохян[9] тоже. Может, здесь впервые и зародилась-затрепетала «Ласточка»?

Карта у меня в планшете вся истрепалась. Но я ее не выбрасываю. Черные кружки на ней постепенно исчезают, я обвожу их красным — это значит, город освобожден. Много уже на карте красных кружочков, много. Третьего июля освобожден Минск. А вот и Вильнюс — через десять дней после Минска. Две столицы.

Сегодня девятнадцатое июля. Через пять месяцев и девять дней мне исполнится двадцать один год. Записи мои о возмужании.

ЖАРА УСИЛИВАЕТСЯ

Здесь словно в Араратской долине. Какая жара! Просто невыносимая. Влез в реку, с полчаса плавал, а вокруг, тут и там

падают снаряды, взвиваются вверх фонтаны воды. Засекли, что ли, меня? Наверное.

Я выскочил из реки и босиком рванул к себе на позиции, где меня ждал Сахнов. Оделся — и к минометам.

— Приготовиться к бою!

Минометы радостно грохочут.

— Десятью минами из каждого ствола, о-гонь!

Мои солдаты ведут огонь очень умело. Это радует меня.

Минометы стоят в углублениях. Небольших, квадратных, но глубоких настолько, что не виднеются головы даже самых высоких ребят. Ямы эти соединены между собой узкими траншеями, такими узкими, что один человек еле протиснется через них. Траншеи и ямы укреплены досками. Все вокруг зелено. Блиндажи, землянки, траншеи и ходы сообщений кустятся зеленою порослью. Сверху ничего не заметишь. Сплошь одна зелень.

Каждый миномет должен обслуживаться шестью бойцами, но у меня их только по трое. И ничего, хватает. Один — наводчиком, второй — подносчиком мин, а третий ведет огонь. Заложит мину в ствол и, отведя руку, кричит:

— О-гонь!..

Мина, сотрясая миномет, вылетает из него и, оставляя за собой струйку дыма, уносится вперед и ложится в цель.

Из шести минометов мы яростно бьем по позициям противника. Шестьдесят мин в минуту прошивают расстояние от семидесяти метров до трех километров.

И вдруг из миномета, что совсем рядом со мной, не вылетела, а медленно, как змея из норы, выползла мина, шипя, упала на бруствер траншеи и задымила, дрожа и вздрагивая. Мы на миг

оцепенели — а для испуга у нас просто не было времени. Я схватил дымящуюся мину и перебросил ее через бруствер.

— Ложись! — крикнул я и распластался на дне окопа.

Грохотом ударило в уши. Слава тебе, господи, пронесло! Кто-то сверху весело крикнул:

— Что это вы там в прятки играете?..

Ерин это. Он уже подполковник. Смеются не только его узкие глаза, но и губы, и даже выдающийся вперед животик. Я доложил обстановку и рассказал о происшествии.

— Мина полностью не воспламенилась и чуть было не унесла нас четверых на тот свет.

— Бывает. А новость слыхали?..

— Какую новость?

— Вчера, двадцатого июля, совершено покушение на Гитлера.

— Подох?!

— К сожалению, нет, — Ерин вытащил из кармана табак. — Жаритесь тут?

— Река близко, иногда и купаемся.

— А вот это я запрещаю! — нахмурившись, сказал Ерин. — Немцы спускают в реку плавающие мины. Можно подорваться. А Гитлеру везет, сучьему отродью. В портфель ему мину подложили. Так она разорвалась раньше, чем он его взял в руки.

— Видно, бог специально для нас его бережет, чтоб мы кокнули Адольфа Гитлера.

— Наверно, но было бы лучше, если бы он уже сейчас подох. Многое бы изменилось в мире. И война бы раньше кончилась.

Новость хорошая. Значит, остаются все же в Германии люди, желающие Гитлеру смерти. Жаль только, что не удалось его уничтожить. Ведь если война продлится еще год, значит, погибнут еще миллионы, и в их числе, может, я, Сахнов или этот добродушный Ерин.

Ерин ушел к пулеметчикам. Я долго смотрел ему вслед. Он казался мне богатырем.

Покушение на Гитлера не удалось. Наверное, все заговорщики уже повешены. А вот моему соотечественнику Согомону Тейлеряну в свое время в том же Берлине удалось покушение. Прямо на улице, идя следом за Талиат-пашой, он окликнул:

«Эй, Талиат, обернись, я армянин!..» И всадил пулю в похожую на дыню голову паши. Того самого паши, который вместе с германским кайзером Вильгельмом задумал уничтожение армянского народа. И свершилось это преступление века в пятнадцатом году. Резня и геноцид армян были деянием тех, кому наследовал Адольф Гитлер, — Талиат-Вильгельм середины века. Не люди это, а порождение дьявола.

* * *

Жара невыносимая. Сахнов не успевает носить мне кипяченой воды, я тут же выпиваю ее. Вина бы сухого выпить, но где его взять? В бытность мою учителем мне частенько приносили из соседнего винодельческого села Маганджух вино. Маро журила меня:

— Пей меньше, не то...

— Не то уйдешь от меня? Так уходи, хоть сейчас!..

Маро плакала. Я смеялся над ней. А чего я вдруг вспомнил Маро? Ведь забыл же ее! Совсем забыл, как забыл вкус воды из студеного родника, что бил возле нашего дома. Здешняя вода отдает болотом.

Сегодня двадцать второе июля. Через пять месяцев и шесть дней мне исполнится двадцать один год. В записях моих изнурительная жара.

ЭТО ПРОИЗОЙДЕТ НА РАССВЕТЕ

На позициях все тот же грохот. Всего неделю назад замаскированные землянки сейчас уже кустятся зеленью. На одной из веток даже два желтых бутона проклюнулось. А вот выпустил листья-стрелы щавель. Ужасно хочется пожевать свеженького конского щавеля, но я не срываю его. Пусть растет, ведь только-только свет увидел. Ночью ребята нарубили веток в лесу, метров за триста от нас, и вот сейчас маскируют траншеи и окопы на наших новых позициях, чтобы враг нас не обнаружил. Здорово помогают нам деревья...

У меня вдруг зарождается мыслишка, от которой я начинаю смеяться. «А впрочем, зря смеешься, человек, — говорю я сам себе. — Это, может, и разумно, что ты задумал написать письмо своему будущему потомку».

И вот пишу:

«Дорогой мой сын, здравствуй. Вот тебе уже и два года, и ты кое-что разумеешь в этой жизни. Так знай же, что твой отец сейчас на войне, бьется с фашистами. Я тут, конечно, не один. Если кто-нибудь спросит, где твой отец, отвечай смело: воюет за Родину, против ненавистных фашистов...

«Ну и что ж, что воюет?» — спросят тебя.

«Воюет и победит! — отвечай ты. — Потому что он не один и, как все наши воины, любит Родину. И пусть, сынок, это письмо

лежит у тебя в колыбели до моего возвращения. Если я вернусь жив и здоров...»

«Если вернешься? А почему ты можешь не вернуться?» — спросишь ты, сын мой.

«Как сказать? Вернусь, конечно. Но все может быть, здесь ведь война, фронт... И люди здесь погибают».

Я воюю против врагов нашей Родины. Я очень люблю свою землю, сынок, вот эту землю и это небо. Я гражданин страны, имя которой превыше всего для меня. Я гражданин Союза Советских Социалистических Республик.

И ты, сынок, люби нашу Родину, с первых шагов своих люби. Без этого, сынок, жизнь не имеет смысла, а человек — души. А я хочу, чтобы у тебя была большая душа, как у моих товарищей-солдат, сражающихся в этих укрытых ветками окопах. И еще, сынок, я хочу, чтоб ты стал военным, слышишь? Эта война кончится нашей победой, потому что дело наше правое. Но на этом не все войны кончатся. Когда-нибудь может снова случиться война. И пусть ты будешь готов защищать свою Родину. Когда-нибудь...»

Что это Сахнов волоком тащит по траншее? А, ящик с минами. Значит, привезли наконец. Я помогаю ему донести, и он тут же поворачивается, чтоб уйти за следующим ящиком, но я его останавливаю:

— Давай покурим. И отдохни немного... Знаешь, что я пишу?

— Вижу, что письмо.

— Да, но кому?

Сахнов пожимает плечами. Он запыхался от усталости и курит неохотно, равнодушно.

— Сыну я пишу!..

— Какому еще сыну? — изумляется Сахнов. — Вы ведь даже не женаты.

— Да, но я пишу своему будущему сыну.

Сахнов внимательно всматривается в меня: уж не тронулся ли умом?

— От кого же у вас будет потомство, сын?..

— От Маро. Она меня ждет.

— А Шура?..

Я невольно вздрагиваю и прячу глаза.

— Конечно, может, и от Шуры. Но так или иначе, у меня должен быть сын. А почему бы ему не быть, батько? Почему?..

— Э-эх, сынок! — вздыхает Сахнов. — Да разве я против! Только ничего-то я не понимаю. Как это получается: человек еще и не женился вовсе, а уже пишет письмо сыну. И ведь не известно еще, выживет ли. Оно конечно, не нам гадать, может, и выживете. Но при чем тут сын, и как это вообще...

Он смолкает, а потом снова продолжает тоном человека, смирившегося с бедой:

— Ну что ж, читайте, послушаю, если вам хочется.

Я читаю ему письмо и чувствую у себя в голосе какую-то предательскую дрожь. Кончаю читать, поднимаю взгляд на Сахнова, а у него глаза полны слез. Я обнимаю его.

— Чего плачешь-то?

— Не смеяться же, — вздыхает он. — Вы такой еще молодой, а какую заботу на плечи взвалили, уж и сына задумали заиметь, вон судьбу его даже решаете...

— Ты считаешь это сумасшествием, Сахнов?

— Нет, почему же? Радуюсь за вас, молодых. Хорошее поколение. И нам с вами будет легче...

Он тяжело поднялся с места.

— Пойду-ка я за своим грузом.

Я еще продолжил письмо. Писал, писал. А потом взял да и разорвал его. У всякого письма должен быть адресат. Мое письмо не имеет адресата. Нет у меня сына, и Маро так далеко от меня.

— До свиданья, сын мой!..

* * *

Старшина роты принес хлеба. Раздал его по взводам, а там еще и по расчетам поделили, на каждого солдата. Дают не на вес, а на глаз. И так наловчились, что точно подгадывают — хоть взвесь для проверки. Хлеба теперь хватает, солдаты мои даже сушат, на черный день. Много их было, но боятся люди, что и впереди еще немало будет черных этих дней.

Маленькая ручонка тянется к старшине. Просит хлеба:

«Дай и мне...»

Я закрываю глаза. Да ведь это же мой сын, мой будущий сын. Маленький еще, а пришел. Помочь отцу своему, воевать пришел. А Сахнов не верил, что у меня будет сын. И зачем только я разорвал письмо? Вот бы отдал сыну, он прочитал бы...

* * *

Решил сходить на могилу Филиппова. Это недалеко от моих позиций, шагов сто к реке спуститься, на злополучном плацдарме. Я ведь своими руками зарыл Ивана. Попробовал было еще и камень найти, большой, плоский, чтобы по нашему, армянскому, обычаю положить на могилу, но камней здесь нет. Пришлось только надмогильным столбиком ограничиться с именем Ивана на нем.

Могильный холм порос диким клевером. Клевер еще не расцвел. И Иван тоже не успел расцвести, так и сгинул, бедный...

— Прощай, Иван!.. Мы уходим с этого плацдарма. Уходим на переформирование. Потом снова вернемся на фронт. Но, конечно, уже не сюда. Ты, друг, почаще подавай голос из-под земли, чтоб могила твоя не забылась.

И вдруг мне послышался голос Ивана:

«Какие новости?»

Меня не испугал этот замогильный голос, обрадовал. Да и кто это выдумал, что все похороненные мертвы?..

— Новости хорошие, Иван, — сказал я чуть громче, чем хотелось бы. — Наши успешно наступают. Уже вступили на землю Польши. И, знаешь, Львов уже тоже освобожден, и Брест. Помнишь, Иван, сорок первый, когда Брест в полном окружении месяцы защищался горсткой людей?

«Помню. Так защищаются только боги».

— Ты видишь их?

«Кого?»

— Богов.

«Нет. Не настала, видать, пора. Но некоторых храбрецов из Бреста вижу... А ты все пьешь?»

— Нет, Иван. Сейчас ведь тепло, тогда я пил, чтоб согреться.

«Смотри Шуру не обижай. Она очень хорошая девушка. И сделай все, чтоб она не попала сюда… ко мне. Сам тоже остерегайся. Слышишь! Здесь царство мертвых. Не приходи!..»

— Не приду, Иван!..

Зеленые чашечки клевера незаметно раскрылись, распушив над собою лиловые головки цветов. «Это мои цветы…»

— Да, Иван. Скажи свой адрес…

«Адрес? Ты же знаешь…»

— Знаю, но… Мы уходим в тыл, на пополнение… Я написал твоим родителям; обещаю, если выживу, привезти их к тебе на могилу. Собирался отправить письмо…

«Да разве я в могиле, друг мой? — сказал Иван. — Ты ошибаешься. Здесь синяя синь и нет войны. А родителям ничего не пиши. Не надо. Пусть они ждут меня, пусть надеются».

Все смолкло. Из моих глаз текут слезы, падают на клевер, и он склоняет свои головки. Что же это такое: могилы слышат, они разговаривают?..

«Ну иди!» — это опять голос Ивана.

— Как мне уйти? А ты?

«Иди, друг, и обо мне никому не рассказывай. Я знаю, ты все что-то записываешь Пусть тебе долго живется, но обо мне никому не рассказывай, особенно в твоих бумагах. Я не мертв. Не надо воспевать меня в песнях. Я жив и когда-нибудь, лет через пять, а может, и через тридцать, через пятьдесят лет, еще явлюсь тебе. Обязательно явлюсь…»

Поблескивает река своими синими волнами. Иван больше не говорит. Цветы клевера снова укрылись в чашечках, и запахло землей.

— Прощай, Иван...

Я побежал к реке.

* * *

В бумагах одного из убитых немцев мое внимание привлек квадратный кусочек картона с эмблемой третьего рейха: скрещенные кости, череп и свастика. И что-то по-немецки напечатано.

Немецкого я не знаю. Но картонка эта показалась мне таинственно-грозной, и я спрятал ее, а остальные бумаги выкинул.

Вечером, встретив нашего полкового переводчика, попросил перевести содержание написанного. Капитан был близорук и носил очки. Он сначала протер их платком, снова водрузил на нос и прочитал текст про себя.

— Это заповедь Гитлера солдатам третьего рейха.

Я примерно записал переведенный капитаном текст. Вот он. Точнее, часть его.

«Ты, — наказывает Гитлер солдату, — не имеешь ни сердца, ни нервов. На войне они не нужны. Убей в себе милосердие и жалость — уничтожай все русское, советское. Ни перед чем не останавливайся. Будь перед тобою старик или женщина, маленькая девочка или мальчик — убей их!..»

Мне даже писать страшно слова этого дьявольского наказа. В голове не укладывается такое человеконенавистничество. Тем

более что исходит оно не от какого-нибудь восточного тирана древности, а от европейца.

Капитан попросил разрешения оставить у себя гитлеровскую заповедь.

— Берите, — сказал я, — эту мерзость... Скажите, капитан, как назвать человека, призывающего к убийству детей?

Капитан пожал плечами:

— На ваш вопрос ответит история.

— Да, но у истории короткая память, — сказал я, не умея заглушить боль сердца и боль горьких воспоминаний.

— Зато у нас она долгая...

* * *

Вечер. Блиндаж разрушен. К счастью, в нем никого не было, когда его с неба разворотило прямым попаданием бомбы. Теперь мы остались «бездомными». Хотя, конечно, какая уж тут бездомность. Мы уже привычны — что под крышей, что без крыши... Однако я все же велел восстановить блиндаж.

— Может, новый построить? — предложили солдаты.

— Нет. Восстанавливайте старый. Не испытывайте судьбу, говорят, дважды в одно и то же место бомбы не падают.

Солдаты попробовали разгрести землю и бревна вытащить, но от бревен остались только щепки. Все надо делать сызнова.

Заместитель начальника штаба привел к нам на позиции шестнадцать человек солдат.

— Принимайте пополнение, — сказал он. — С сегодняшнего дня они на довольствии.

— Мне это мало. Надо минимум двадцать восемь человек, чтобы полностью укомплектовать расчеты.

— Принимайте, сколько есть.

Он ушел. Я оглядел новобранцев, прочитал их фамилии по списку, который мне передал заместитель начальника штаба.

Спросил у двоих:

— Вы, как мне кажется, были на фронте, да?

— Так точно.

Я обрадовался тому, что угадал в них фронтовиков. Они были на войне, потом их ранило, лежали в госпитале и вот после излечения попали к нам в полк. Все остальные — новички. Пороха еще не нюхали. Все голубоглазые и какие-то непоседливые, нетерпеливые. Удивило меня и то, что новичков этих совсем не пугает огонь немецкой артиллерии. А мины и снаряды ведь то и дело рвутся вокруг них.

— Вы разумеете, куда прибыли, ребята?

— Разумеем, — в один голос ответили они. — На фронт.

— А что вы еще разумеете?

— А то, что нам воевать с врагом.

— И умирать, — холодно добавил я.

— Все отдадим за Родину!.. — сказали новобранцы. — Мы пришли защищать ее.

— И только?

— Нет. Еще и врага разгромить окончательно.

— Не так легко его разгромить, — сказал я. — Это требует лишений и жертв. Но я вижу, что вы готовы к этому. Курите?

Все курят. Я угостил их махоркой из моих запасов и сказал, что первым делом неплохо бы что-нибудь спеть. Они не удивились. И никто не спросил: а что, если немец услышит? Услышит — и пусть себе слышит. Что ж нам теперь, и не петь из-за него? Мы и так уж давно не пели.

Новички затянули песню, с завистью поглядывая на нас — фронтовиков. Эти ребята завидуют нам! А чему завидуют? Тому, что мы уже бывалые воины, а они только первый день здесь? Или тому, что смерть всегда ходит рядом с нами, что мы гибнем и остаемся лежать без могил?..

Я распределил ребят по расчетам. Хорошо, теперь, по крайней мере, каждый миномет обслуживают три человека.

Один из двух наших новичков, бывших уже раньше на фронте, защищал Брест.

— Как удалось оттуда выбраться? — спросил я его.

— Бывают на свете чудеса, — улыбнулся он.

Брест первым принял на себя всю тяжесть удара гитлеровской Германии и героически противостоял врагу, показал Европе, что можно одолеть «несокрушимые» немецкие армии...

Раз в три дня мы выпускаем наш «Боевой листок» — рукописный (какой уж получается). В очередном номере я начертал крупными буквами: «Товарищи солдаты и офицеры, с нами вместе воюет герой Бреста — Василий Алексеев. Честь ему и слава!» Прочитав листок, Василий зашел ко мне.

— Зачем вы назвали меня героем? — огорченно спросил он. — Какое уж там геройство, если Брест все же пал и в конце концов оказался в руках врага?

— Да, — согласился я, — но там сражались герои...

Спустя несколько дней я доложил о Василии Алексееве командиру полка и попросил представить его к награждению орденом как защитника Бреста.

Командир полка одобрил мое предложение.

* * *

Блиндаж мой восстановлен.

Ребята прозвали Василия — Василием Брестским. И это, я вижу, нравится ему. Он ведь первым из нас на собственной шкуре познал зверство гитлеровских войск.

— Это было на рассвете двадцать второго июня, — рассказывает по моей просьбе солдатам подразделения Василий Брестский. — В первый же день войны Германия бросила против нас сто восемьдесят одну дивизию и восемнадцать бригад. Это в общей сложности пять с половиной миллионов солдат, четыре тысячи танков, пять тысяч боевых самолетов, пятьдесят тысяч орудий. Страсть какая силища!

Я смотрю на Василия и думаю: самый страшный наш день в этой войне — двадцать второе июня сорок первого года. С тех пор прошло три года, и противник уже познал силу наших ударов, но двадцать второе июня останется в нашей памяти как самый черный день. Василий в тот день был в Бресте и грудью встретил врага. А я был дома и узнал о войне спустя четыре часа после ее начала.

Не будь того дня, и не пришлось бы пропадать в этих болотах, и не думал бы я каждый день, кого из нас будут хоронить завтра. Не будь того дня, я, может, уже был бы женат на Маро, и сейчас не проливали бы слез в тревоге за меня ни она, ни моя мать.

Не будь того дня... Но день тот должен был быть — летний, солнечный. Как звено в цепи времени. День этот должен был быть, но не днем начала столь страшной войны.

Василий рассказывает о том первом кровавом рассвете, о том черном дне.

— В случайности я не верю, — сказал он в заключение. — Но в одно верю определенно: врага мы с нашей земли прогоним и я снова вступлю в Брест. И знаете что? Я верю, что это произойдет на рассвете! Непременно.

И я верю, Василий.

Сегодня двадцать пятое июля. Через пять месяцев и три дня мне исполнится двадцать один год. В записях моих ожидание рассвета.

НАРВА НАША

Мы пропитались кровью. Все в земле, в земле.

Наступаем на город Нарву.

Ночь. Никто не спит. Да и какая же это ночь — белая ночь! Ищу себе место для нового наблюдательного пункта, для нового наступления.

Солнце взошло, зейтунцы...[10]

Чудеса, да и только. В сердце звенит песнь моих дедов-храбрецов. Кровь в жилах обновляется. Песню наигрывает на аккордеоне мой знакомый инженер-капитан, тот самый эстонец из восьмого эстонского корпуса. Увидев меня, он спрашивает:

— Что, нравится?

— Так это же родная, наша, армянская! — говорю я. — Откуда вы ее знаете?

— Давно уже. И не помню откуда...

Солнце взошло, зейтунцы...

Идем в наступление. Невинное слово «наступление». В нашей обстановке точнее было бы сказать: «Идем на смерть!»

Солнце взошло, зейтунцы...

Подумайте только, откуда и куда добрался зов крови армянской!

Нарва в огне и дыму. Что ж, наступление. Атакуем час, два, три часа, целую вечность!..

Только под вечер нам удалось ворваться в Нарву.

Всюду блеск битого стекла и подков на трупах лошадей. Посреди улицы брошена помятая детская коляска, раздавленная черная кошка... Из коляски слышу детский крик. Нет, не из коляски... Это из разрушенного дома выскочила на улицу золотокосая девушка. Солнце взошло...

От девушки веет теплом... Я плачу о разрушенном Зейтуне, о моем погибшем друге Иване.

Кто-то касается моего плеча. Шура! Я кричу по-армянски:

— Солнце взошло, зейтунцы!..

Река постепенно светлеет, унося кроваво-красные воды.

Лето, июль.

* * *

Мы совсем обескровлены.

По новому мосту прибыл нам на смену новый полк. С того берега вернулся Сахнов. Откуда-то добыл и привел двух коней.

Наш полк в полном составе снялся с позиций. В полном составе? Остались-то всего крохи.

* * *

Вечер цвета абрикоса. Мы на конях перешли реку. Уходим в тыл на пополнение.

Ночь. Мирно горят наши костры. Небо над нами такое близкое и родное... Давно не видал я неба.

Проснулся к утру. На мне зеленая шинель. Кто это позаботился? Сахнов, видя мое изумление, говорит:

— Шура это принесла. Когда заснули, она пришла и укрыла вас.

Чуть в сторонке, у костра, обхватив колени, сидит Шура. С отблеском пламени на коленях, на лице она необыкновенно хороша в этот миг.

Вокруг удивительный покой. Мы уже далеко от фронта. Зеленый лес, зеленое спокойствие.

* * *

Мы с Шурой купаемся в реке возке Кингисеппа. Далеко забрели, в волшебный уголок. Я оставил Шуру на берегу и углубился в лес, набрать ей малины.

Сегодня двадцать восьмое июля. Через пять месяцев мне исполнится двадцать один год. В записях моих горечь.

У МЕНЯ СНОВА ЕСТЬ ЛОШАДИ

Кингисепп расположен у берега Луги. Река эта очень большая. Была бы такая у нас в горах — все земли бы напоила. В Луге водится какая-то необыкновенная рыбешка; когда сваришь ее — отдает мятой.

Я уже получил пополнение. Есть среди новеньких «старик» по фамилии Болотный. Ему сорок шесть лет. Интересно, когда мне стукнет сорок шесть (если доживу), я тоже буду считать себя стариком?

У нас все, даже Сахнов, называют Болотного Стариком.

Как-то Старик зашел ко мне, почтительно представился:

— Я родом из Гатчины...

— Знаю, — сказал я. — Знаю из личного дела.

— Но вы не знаете, что у меня там родные и там мой колхоз.

— Да, этого я не знаю.

— Позвольте мне съездить в свою деревню. Фашисты там все сожгли и разрушили. Взгляну, что с избой... Может, жена и трое детишек живы?..

Я молчу. Ну как отпустить его? Нет у меня на это права. А он смотрит на меня с такой надеждой, что отказать ему равносильно тому, что убить. Что мне делать?..

— Прошу вас, разрешите?..

Нет, не могу я ему отказать. Гляжу на карту. До Гатчины верхом чуть больше двух дней пути. И столько же обратно. Поезда, жаль, еще не ходят. Тогда бы Старик добрался туда за десять часов. Ничего не случится, мы не пять, а все десять дней еще тут пробудем, успеет возвратиться.

— Хорошо, разрешаю!..

Давно я не видел счастливого лица. Старик так радовался, что я даже удивился. В наши дни — и так радоваться? К тому же на фронте? Хоть бы он нашел своих живыми!

Мой дом отсюда далеко. Пусть хоть этот человек побывает дома, встретится с родными...

Я дал ему лошадь. Обо всем доложил потом начальству. На следующий день после его отъезда вечером к нам в расположение прибыл командир дивизии. В штабе срочно собрали всех офицеров.

— Завтра отправляемся на запад, — сказал командир дивизии. — Дойдем до Луги, а там погрузимся в эшелоны и через Псков будем продвигаться к фронту...

Это нас не удивило. Наше дело шагать вперед, возводить рубежи, рыть окопы.

Я даже не представляю, что буду делать, когда кончится война. Иной раз не верится, что всего этого когда-нибудь совсем не будет. Не будет вот этого автомата, прожженной шинели Сахнова и моих дымящихся минометов?! Нереально.

Совещание в штабе подходило к концу, когда командир дивизии вдруг обратился ко мне:

— ...и чем вы теперь замените потерянную вами лошадь?..

— Какую лошадь? — удивился я.

— А ту, что пожаловали своему солдату, уехавшему в Гатчину.

— А-а! — вспомнил я. — Простите, товарищ генерал, не мог я ему отказать...

— Знаете ли вы, голубчик, что такое одна боевая лошадь? Завтра выступаем, а солдата нет и лошади тоже! Может, на себе боеприпасы повезете? Так и знайте, дадим выговор да еще стоимость коня в двенадцатикратном размере взыщем!

— Слушаюсь, товарищ генерал, только уж позвольте, я приведу двенадцать коней, чтоб позор такой не носить.

— Что ж, — кивнул генерал, — надеюсь, это не шутки и двенадцать коней будут здесь к утру.

Я обо всем рассказал Сахнову. Кому же еще?..

— Что делать, сынок?.. Вы невольно толкаете меня на преступление. Раздобыть двенадцать лошадей. Хорошо хоть, не тринадцать. Ненавижу я эту чертову дюжину. Когда прикажете отправляться?

— Куда?

— Добывать коней.

Лошадь не рыба, в Луге ее не поймаешь: где он собирается искать лошадей?

— Куда ты пойдешь?

— Сказал же — за конями.

— Прямо сейчас?

— А когда? Утром ведь выступаем.

Сахнов взял с собой еще одного солдата, украинца. Оседлали они двух наших уже отдохнувших коней и исчезли в ночи.

Сахнов со своим напарником нагнали нас на марше к вечеру следующего дня. Они и впрямь привели двенадцать коней.

* * *

Наш пополненный полк погрузился в эшелоны. Тронули к Пскову.

От Пскова свернули на запад и через Эстонию въехали в Латвию.

Снова едем на передовую.

На одной из станций я обменял свой трехдневный паек хлеба на флакон «Красной Москвы». Для Шуры.

— От тебя пахнет землей, блиндажом. Перебей духами.

Сегодня шестое августа. Через четыре месяца и двадцать два дня мне исполнится двадцать один год. Записи мои в поре созревания.

ПОГИБШИМ НУЖНЫ МОГИЛЫ

Августовское солнце прокалило вагоны.

Я часто заглядываю к капитану Гопину — сыграть партию в шахматы. Как-то на одной из станций он предложил мне:

— Тут есть в автолавке Военторга одеколон. Сходим купим?

Купили целых пять флаконов. На все какие были деньги. Гопин разбавил одеколон водой, и жидкость стала молочно-белой.

Я хватанул полный стакан. Отвратительная бурда! Когда пьешь, еще ничего, но потом башка раскалывается. Словно молотом бьет

мне в мозг одеколон; в желудке буря, как заворот кишок, и тошнит...

— Ничего, пройдет, — сказал Гопин.

Целую неделю бушевал во мне одеколон.

* * *

На одной из станций Гопин обратился к командиру полка:

— Мой дом отсюда в трехстах километрах. Разрешите съездить? Может, из родных кого разыщу. Я потом нагоню эшелон. Поверьте?..

Командир полка развел руками:

— Да разве это в моей власти, капитан?

Гопин мрачно глянул в направлении своего дома.

— Убьют меня, и очень скоро. Я это чувствую...

Его сжигала тоска и печаль. Долго-долго вглядывался в даль.

* * *

Наш эшелон пересек Западную Двину, Даугаву, как называют ее латыши.

Красивая земля Латвия, много воды, равнинная и зеленая. Какая-то в ней девственная нежность.

Близ Елгавы идут тяжелые бои. Все тотчас забыто: и тихий шелест трав, и зловещее пророчество Гопина, и отвратительный вкус одеколона.

Мы снова на фронте. Расположились в редком лесу. Штабной связной привел ко мне какого-то журналиста.

— Я хочу написать очерк о вашей роте, — сказал он. — Можно?

— Почему бы и нет! Рота славно воевала, особенно на Нарвском плацдарме.

— Отлично, — обрадовался журналист. — Тогда с Нарвы и начнем. Как ваши имя, фамилия?

— Пишите от имени Ивана Филиппова.

Он удивленно посмотрел на меня.

— Но вы не похожи на русского...

— Да, — ответил я. — Это не я Иван Филиппов. Он был старше меня всего на три года. Ни разу в жизни даже не влюблялся. Из Старой Руссы родом. И напишите еще о старшем лейтенанте Борисове. Пишите о погибших. Погибшим нужны могилы, нужна память о них...

* * *

Идем осматривать место нашего завтрашнего боя. Рядом со мной шагает капитан Гопин. Мрачный. Я спрашиваю его:

— Твои живы?

— Кто знает... Пишу письма, а ответов не получаю. В нашем городе были немцы...

До рассвета еще далеко. Под покровом темноты мы добрались до холмов. Здесь ведет бои уже выдохшийся, обескровленный полк. Нашему полку предстоит через их позиции выйти в наступление. Перед нами Елгава, за ней Рига. Гитлеровцы зубами держатся за Елгаву — ключ к Балтийскому морю. Мы же рвемся завладеть ею.

В окопах дожидаемся рассвета.

Ко мне подполз Гопин. От него, как мне кажется, все еще несет одеколоном.

— Сегодня меня убьют.

— Не говори глупостей, — пытался я успокоить его.

— Убьют! — почти закричал он. — Ты уж похлопочи тогда перед командованием: пусть представят меня к ордену Отечественной войны I степени. И пошли его жене, пусть будет ей память обо мне, если жива...

* * *

Немецкие пулеметы буквально стригут землю.

Мы изучили местность, определили направление нашего удара. И пошли обратно. Туда идти было легко — шли ночью, а сейчас уже светло. Только мы вылезли из траншеи, противник с новой силой застрочил из пулеметов. Впереди бежал Гопин. Гимнастерка у него на спине потемнела от пота. Еще немного — и добежим до низины, там нас огонь не достанет. Вот-вот добежим... Гопин упал. Успел заметить, что глаза у него закатились. Не помню, как я оказался в наших окопах.

— Гопин убит! — с досадой крикнул командир полка. — Надо хоть тело подобрать!..

Кто-то протянул мне длинную палку с крюком на конце, я подполз к Гопину, зацепил его за пояс и с трудом подтянул к себе.

Гопин убит!.. Я вынул из кармана его документы. В партбилете лежала фотография: женщина и трое малышей. На фотографии свежая кровь. Еще там было пятьсот рублей и адрес. Я снял с его руки часы, и мы похоронили Гопина.

Вернулись в окопы. Поговорили между собой, деньги надо отправить по адресу. Может, семья все же выжила. Часы не пошлешь. Решили продать их с «аукциона».

— Восемьсот рублей! Кто больше? — крикнул я.

— Тысяча!.. Тысяча восемьсот!.. Две тысячи пятьсот!..

Остановились на трех тысячах. Все три тысячи пятьсот рублей мы отправили жене Гопина. Найдут ли они адресата? Кто знает...

* * *

Мы заняли рубежи и начали наступление. Мною овладела какая-то спокойная уверенность: я знаю, что через два-три дня мы будем в Елгаве.

Гопина посмертно представили к награде.

Сегодня двенадцатое августа. Через четыре месяца и шестнадцать дней мне исполнится двадцать один год. В записях моих уверенность.

КУСОЧЕК РОДИНЫ

Наблюдательный пункт свой я установил на холме, где убили Гопина. Сахнов почесал затылок.

— Отсюда фрицы даже дымок моей цигарки заметят.

— Ну, так ты не кури. Лошади устроены?

— Порядок, — ответил он.

Я вспомнил моего коня, которого мы съели на Нарвском плацдарме. Защемило сердце. Новый мой конь великолепен: серый в яблоках, с длинной шеей, с тонкими, быстрыми ногами. Однажды, испуганный грохотом артиллерийских залпов, он вдруг сорвался с коновязи и понесся в сторону вражеских окопов. Сахнов погнался за ним и страшно меня этим испугал. Дьявольская сцена: конь мчится по полю, голова поднята, грива развевается по ветру. На мгновение он остановился, заржал, тряся головой, и снова помчался. Кричу Сахнову, чтоб вернулся, черт с ним, с конем. Но Сахнов не слышит меня.

Можно только представить, как Сахнову удалось поймать лошадь и привести обратно. В окоп он ввалился запаренный.

— И вовсе он не испугался, ваш разбойник, — сказал, смеясь, Сахнов. — Просто кобылку учуял на той стороне. Бесстыжий...

Моя рота крушит укрепления врага. Меня радует, что позиции противника хорошо просматриваются, и я бью как хочу.

Сахнов протягивает мне две дольки чеснока:

— Натрите ноздри, не то трупный смрад одолеет.

* * *

Мы сломили сопротивление противника и ворвались на его позиции.

Идем вперед. Сахнов захватил повозку с немецким обмундированием. Немецкая повозка зеленого цвета, на четырех крепких колесах. Груз — новенькие шинели, сапоги, белье. Сахнов в раздумье рассматривает свои трофеи.

— Эх, вот бы отправить все это к нам в деревню...

Да, было бы неплохо. В его деревне ведь побывали фашисты.

* * *

Вечер. Остановились на хуторе. Добротный дом, ухоженный сад. Хозяин — латыш-крестьянин — зарезал для нас телку. Жена его вскипятила молока в большой кастрюле, налила всем моим солдатам.

Заночевать там не удалось. Лишились отдыха и гостеприимства добрых хозяев. Поступил приказ — продвигаться вперед. Хозяева дали нам в дорогу мяса.

— Счастливого пути!..

* * *

Прикорнул чуток прямо на коне, в пути.

Был у нас короткий, но тяжелый бой. Гитлеровцы отступили в сторону Балтийского моря.

Мои солдаты бодры духом и очень горды своими победами. Они теперь часто и не окапываются. Победители ведь!..

* * *

Рассвело. Мы гоним гитлеровцев. Устроили короткий привал в расположении артиллеристов, перекусили. Вдруг ловлю на себе взгляд — это молодой солдатик в упор смотрит на меня.

— Здравствуйте, товарищ старший лейтенант! — произнес он по-армянски, ошеломив меня.

— Мовсес! Дорогой!..

Он был моим учеником в селе Хнацах. На меня дохнуло родимым уголком. Я попросил капитана отдать мне Мовсеса, пусть взамен берет хоть двух солдат. Капитан отказал.

— Мовсес Погосян мне самому очень дорог. Не могу его отдать.

Я обнял Мовсеса, расцеловал. Его кудрявые волосы, казалось, еще благоухали родиной. А во мне осталось хоть что-нибудь?

Сердце мое сжалось до боли. Я расставался с ним, как с родным.

* * *

Полдень. Новое столкновение с противником.

Хорошо, что капитан не отдал мне Мовсеса. Вдруг бы его убило? Ужасно быть свидетелем смерти дорогого человека. Мовсес тогда, прощаясь со мной, спел мне песню:

На окраине Керчи рос зеленый лес.
Пули в нем свистели,
Кровь рекой лилась...

Я даже вздрогнул. Это очень старая песня, только чуть изменена. Отец ее часто пел с моим дядей, Арменаком, красным партизаном. Только они пели не о Керчи.

На окраине Сарыкамыша рос зеленый лес.
Пули в нем свистели,
Кровь рекой лилась...

Отец мой участвовал в боях под Сарыкамышем, когда ему было столько же, сколько мне сейчас. Вот и снова война. Тридцать лет молчала забытая песня. Что возродило ее? Новая война и новые потоки крови. Вот и снова звучит голос некогда пролитой крови...

Англо-американские войска высадились на юге Франции и там сейчас ведут сражения против фашистских армий. Французы сформировали полки освобождения и гонят гитлеровцев со своей земли.

— Есть и горестные вести, — говорю я Сахнову.

— Опять горестные?

— Да. По личному повелению Гитлера расстреляли Тельмана.

Сахнов обнажил голову. Эрнста Тельмана все любили и уважали. Только у нас в Армении в тридцатых годах несколько тысяч новорожденных мальчишек нарекли его именем: Эрнстами и даже Тельманами...

Жара стоит невыносимая и какая-то мертвая, даже по ночам ни ветерка не шелохнется, и мы в землянках и окопах задыхаемся. Я сплю все больше на открытом воздухе, где-нибудь под деревом.

Поспела вишня. Что это, братцы? Значит, зреют еще в мире плоды, а мы уж и забыли об этом! И малина тоже созрела в этом зелено-теплом мире.

Что еще созрело?

Мой плач.

Сегодня двадцать первое августа. Через четыре месяца и семь дней мне исполнится двадцать один год. Записи мои на желтой бумаге.

НЕБО ЛИШИЛОСЬ ПЕСНИ

По шоссе идет танковая часть. Грохот, пыль... Я сворачиваю коня на обочину, в траву. И вдруг вижу на одном из танков знакомого. Это Цатурян, шофер из моего родного городка. Придерживаю коня.

— Ваго!

Он спрыгивает с танка. Растерялся от радости.

— Жив!!!

Ваго — командир танка.

— Вот, Ваго, идем теперь вперед.

— Да, — сказал он весело, — по той дороге, что отступали. Ничего, скоро уже... Жаль только, наших много погибло...

* * *

Я нагнал Ерина. Он и Шура были последние дни на других позициях. Ерин мрачен. В глазах у Шуры слезы. Ерин вздохнул:

— Твою Шуру забирают у нас в санбат.

— Почему?

— Приказ.

— Чей приказ?

— Не нам его обсуждать, — сказал Ерин. — Уходит, и все тут.

У ног Шуры лежит ее вещмешок. У меня дыхание перехватило, словно кто душит. Шура уйдет, и мы, может, никогда больше не встретимся.

— Там тебе будет спокойнее, Шура, — по-отцовски сказал Ерин. — И от нас это недалеко...

Я стиснул зубы, чтобы не закричать. Шура вся сжалась.

Мне стало ее ужасно жаль. Я вдруг будто впервые до конца ощутил, какая она мне родная, часть моей жизни!.. Снял с руки часы.

— Если не встретимся... на крышке, внутри, мой адрес...

Шура, не попрощавшись ни со мной, ни с Ериным, пошла к грузовику у дороги, забралась в кузов. Машина тронула.

Я с коня следил за удаляющейся машиной, пока она не превратилась в черную точку, а потом и вовсе исчезла с глаз.

В небе прокричали улетающие в теплые южные края ласточки. Небо лишилось песен. Увижу ли снова Шуру?..

* * *

Сахнов нагрузил свою трофейную повозку новыми вещами. Поверх немецкого обмундирования грудились лопаты, кирки, косы и даже плуги да лемеха.

— Я служил вам не по долгу, а по совести, — сказал он мне. — Разрешите отвезти эту повозку в нашу деревню?

А есть разве у него деревня? Даже из госпиталя он не поехал в тыл, хотя его подчистую освобождали от службы. Видно почувствовав мою озадаченность, он заговорил:

— Да, жизнь моя шалая, но деревню, где родился, и дорогу к ней помню... Дней пятнадцать мне надо туда и обратно на повозке. Если меня в деревне и помнят, то только по худому делу. Пусть хоть лихом не поминают.

Очень мне было понятно состояние Сахнова. Вспомнился Гопин. И то, как потом комполка мучился угрызениями совести. Я решил взять на себя: отпустить Сахнова, не согласовывая этого с начальством. Будь что будет, не могу ему отказать. Я верю ему, как себе...

Я снабдил его необходимыми документами и пожелал доброго пути. Он обнял меня.

— Обязательно вернусь, сынок! Обязательно...

Он сел на повозку и пустил коней вскачь. Уехал!.. Я не надеюсь встретиться с ним. Он-то непременно вернется, но буду ли я жив?..

Сегодня двадцать пятое августа. Через четыре месяца и три дня мне исполнится двадцать один год. Записи мои на красной бумаге.

МОРЕ ДАЛЕКО

Мы в бесконечных боях.

Рвемся к морю. Путь наш залит кровью. Иной раз врагу удается вышибить нас с завоеванных позиций. Он у порога своего дома и защищается не на жизнь, а на смерть. Каждая пядь земли дается нам кровью, ценою многих жизней...

Только этим утром мои солдаты соорудили целых пятнадцать блиндажей, вырыли около километра ходов сообщений. А к вечеру мы уже бросили их, пошли вперед.

Сегодня наши минометы выпустили три тысячи шестьсот штук четырех с половиной килограммовых мин. То есть шестнадцать с лишним тонн стали. Прибавить к этому бесчисленные патроны, гранаты, ракеты — итог получится внушительный.

* * *

Сегодня вечером мы освободили город Шауляй.

Освободить-то освободили, а вот удерживаем с трудом. Из тыла на смену нам прибыли резервные войска. Мы вконец обескровлены, уходим на передышку и пополнение. Шауляй необходимо удержать во что бы то ни стало.

Спустя два дня после отдыха с передовой мы маршем добрались до места.

Неожиданно оказались в зеленом молчании. Благодать-то какая!.. Оглядел своих ребят и онемел: мало их осталось в живых. В пехоте и того хуже. В каждой роте не больше десятка выжили. Передо мной стоят как живые все те из моих ребят, кто убит. И комок подступает к горлу.

* * *

Обосновались в небольшом латышском хуторе. Они тут раскиданы далеко друг от друга. Между ними поля, луга, перелески.

Солдаты помылись в бане, побрились, почистили оружие.

Командир полка предложил мне представить к награде особо отличившихся в боях за Шауляй.

Я построил всех. Осталось только двадцать два человека. Сел против строя и начал диктовать одному из взводных: представить к награждению орденом Ленина наводчика Геннадия Смирнова. Сержанта Комарова — к ордену Красного Знамени. Сахнова... тоже к ордену Красного Знамени... Он еще не вернулся, но я жду его со дня на день. А что с теми, кого нет среди нас? Я спрашиваю:

— Что с Борисом Александровым?

— Погиб. Осколок попал.

— А Тулаев?

— Его видели распростертым на земле.

— Погиб или ранен?

— Не могу точно сказать. Санитар там крутился...

А мне надо знать точно. Ведь родители ждут вестей от своих сынов. Если хоть чуть сомневаюсь в чьей-либо гибели, похоронной не посылаю. Погибших не воскресить. Надо думать о живых. Пусть надеются...

Вокруг теплынь. Сентябрь... Вокруг хоть и раненая, но живая жизнь.

Я всех своих солдат представил к высоким правительственным наградам...

* * *

Сахнов вернулся.

Был вечер. Я вел занятия по боевой подготовке. Вдруг вижу — Сахнов! Идет по дороге, за спиной вещмешок, в руках палка. Улыбается. Мы все кинулись ему навстречу. Он расчувствовался.

— Ну что вы?.. Не из плена же и не из тюрьмы... И не тискайте меня так, в вещмешке яйца, раздавите...

Он доложил, как положено, о своем прибытии. Круглое лицо его помолодело. Усы подкоротил, подправил. На гимнастерке чистый подворотничок. Весь какой-то ухоженный. От него так и веет теплом, домом.

Ночью вдруг разбудил меня:

— Поговорить надо, сынок. — Он выудил из вещмешка бутылку самогона. — Жена моя в подарок вам прислала. Пользуйтесь ее добротой.

Никогда он ни о какой жене не говорил...

— Едва я добрался до наших мест, словно камнем меня садануло: деревню всю спалили, люди живут в землянках. На весь колхоз две лошади. Мои кони оказались просто кладом для них — ну прямо два Христа-спасителя. Отыскались две мои тетки... В общем, меня там помнили. Ох, как они там трудно живут!.. А привезенные мною плуги и всякое там шматье, сапоги да брюки для них как божий дар.

Я слушаю его глуховатый говорок.

— На второй же день после приезда женился. — Сахнов вздохнул. — Что было делать?.. На всю деревню пара худых стариков да пацанята. А Галя хорошая, ей-богу! Да и наследника захотелось. Вот взял и женился.

Сахнов выложил шматок сала и головку лука.

— И это Галя вам посылает. Ешьте на здоровье. Бог даст, будет и у меня наследник. Так сказать, фундамент жизни заложен...

Чудно-то как! Заживают раны...

Утром Сахнов сказал, что очень хотел бы вступить в партию. Примут ли? Я успокоил его: кого же и принимать, если не таких воинов, как он.

И я, не откладывая в долгий ящик, написал ему рекомендацию.

Возвращение Сахнова как бы наполовину восполнило потери моей роты.

* * *

Сахнов приготовил мне угощение, как в гражданке: и молоко, и овощи, и даже яйца.

— Выменял все это за пару сапог, — сказал он в ответ на мое изумление.

— Не побоялся?

— Чего бояться-то?

— А помнишь случай, как ты мое стройбатовское обмундирование продал?..

— Помню, — кивнул Сахнов. — Как не помнить! Да только, слава богу, другие времена. — Он положил передо мной очищенное яйцо. — Ешьте, свежее.

— Петухи, выходит, не перевелись?

Сахнов захохотал.

— Надо думать, куры не вдовы, коль яйца несут. Сколько бы немец ни зверствовал, а семечко прорастает... Погодите, вот только ступим в его логово.

Глаза его загорелись гневом. Что ж, у него есть на это право. Слыханное ли дело, сколько горя принесли нем фашисты!..

Сегодня четырнадцатое сентября. Через три месяца и четырнадцать дней мне исполнится двадцать один год. В записях моих твердость.

ПРЕРВАННЫЙ ПИР

Получили подкрепление. В основном все после лечения в госпиталях и частично новобранцы. С утра и до ночи занимаюсь с ними боевой подготовкой.

Пришло письмо от Маро. Она пишет:

«Дай знать о себе. Где ты? Если сейчас в боях, черкни заметку для нашей газеты. Многие так делают».

Я про себя засмеялся. Вина, конечно, моя. Ни разу ведь не сообщал, что денно и нощно в боях. Не хотелось тревожить домашних. И все же я написал Маро:

«В боях я участвую. Повидал многое, и горестей, и радости. Теперь мы каждый день продвигаемся вперед, уже завершаем освобождение Латвии. Передо мной Рига. Ведем бои за нее. Со здоровьем все прекрасно. Здоровье мое отличное. Я крепок как дуб».

Вот какое письмо я написал Маро.

А на следующий день написал еще одно.

«Не жди меня, Маро. Во мне все сгорело. Только одно чувство живо еще в душе, то, что в бой толкает. Осталась одна цель — воевать. Если бы я вдруг перестал быть солдатом Родины, я перестал бы быть человеком. А я, как бы то ни было, хочу оставаться человеком. Забудь меня и больше не пиши, не хочу я получать письма. Хочу быть один. Я солдат. И мне сейчас не

нужно ничего из того, что связано с тоской, песней и прочими подобными вещами. Я стараюсь забыть обо всем».

И еще я написал матери:

«Я еще жив. Одна моя забота — это вы. Хотя в ваших письмах вы ничего не пишете о том, как вам живется, я понимаю, как вам трудно и с деньгами, и с одеждой, и с обувью. И ничем-то я не могу вам помочь. Деньги по моему аттестату не очень многое вам дают, но что делать? Одно скажу: долго вы терпели, осталось меньше. Кончится война, скоро мы победим врага. Близится наш последний сокрушающий удар, и все тогда станет на место. У сестер, наверное, нет обуви, не в чем в школу ходить. Ничего. Пока сухо, пусть бегают босиком, а на зиму постарайтесь раздобыть трехи[11]. Положение здешних жителей в тысячу раз труднее вашего. У них не то что хлеба — и жилья-то нет. Фашисты все разрушили. Всей стране сейчас тяжело. Здесь люди уже начали восстанавливать свои дома, села, города. Вчера я видел, как латыш-крестьянин сеял пшеницу. Зерно на семена и на хлеб они получают из глубинных районов страны. Держитесь, мои родные, скоро конец гитлеровской Германии».

И еще написал:

«...много километров прошли мы с боями, много освободили сел и городов. И как-то, в дни жарких боев, судьба свела меня с моим бывшим учеником из Хнацаха, с Мовсесом Погосяном. Очень радостной была для меня эта встреча. Парень стал отличным воином. Недавно я выслал вам шестьсот рублей. И еще фотокарточку, где я сфотографирован с группой товарищей-фронтовиков...»

Эти два письма были, наверно, самыми подробными и длинными из всех, что я писал с фронта. Обычно черкнешь две-три строчки: жив, мол, и здоров, и адрес. Милая моя мама, милая Маро думают, что я еще и войны не видал, и ранен не был. И может, даже стыдились за меня перед соседями, друзьями. Но ничего, зато на душе у них было чуть спокойнее.

* * *

Меня вызвали к командиру дивизии. Я велел Сахнову оседлать коня. У меня предчувствие, что вызывают для нового назначения. Что делать? Распрощаться с солдатами, ставшими мне такими дорогими?..

Конь мчится сквозь осенний лес. Я не ощущаю ни полета его, ни запахов осени.

Командир дивизии принял меня у себя на квартире.

— Вас представили к ордену Красного Знамени, — сказал он. — Знаете об этом? За бои под Шауляем.

— Нет, не знаю, товарищ генерал-майор.

Это действительно было для меня новостью неожиданной. Генерал сказал, что этой ночью ему сообщили из штаба армии: указ подписан.

— Поздравляю с новой наградой! — добавил он, пожимая мне руку. — Вы достойны ее.

— Служу Советскому Союзу!..

Генерал закурил и посмотрел на меня строгими глазами:

— Я узнал, вы отказались от учебы в военной академии. Почему?

А я думал о своем, о том, что днями мои домашние узнают о новой моей награде — я напишу им — и очень обрадуются, скажут: герой. А геройства-то, в общем, не было, что я такого совершил под Шауляем? Просто долг свой выполнял. Генерал предложил мне папиросу:

— Курите? И отвечайте. Вы что, больны?

— Нет! — придя в себя, пробормотал я. Как бы генерал не решил, что я онемел от радости. — Нет, товарищ генерал. Я здоров. Просто не хочу расставаться со своими людьми. Не настаивайте на учебе, пожалуйста...

Генерал прервал меня:

— А если прикажу?

— Мне останется подчиниться вашему приказу. Я солдат. Только...

— Хорошо, хорошо, — улыбнулся генерал. — Пусть будет по-вашему. Эх вы, кавказцы! Уж больно горячи, но я все-таки очень вас люблю. Значит, остаетесь? Ну, всего хорошего. Можете идти.

* * *

Ночь. Мне снится сон: на коне гарцует диво-дивное с копной золотых волос. Неужто Шура? Я выскочил из кустов:

«Шура!..»

Она обернулась в седле. Лицо ее словно из бронзы.

«Поздравляю с новым орденом!..»

«А еще?..»

Она хлестнула коня и умчалась, исчезла...

Сон как рукой сняло. Вокруг никого. Где-то близко пела птица:

«Ис-чезла, ис-чезла!..»

Сегодня двадцать второе сентября. Через три месяца и шесть дней мне исполнится двадцать один год. В записях моих призрачность.

КРЕСТ АНИ

Среди новичков у меня в роте трое армян. Не хотелось бы увидеть кого-нибудь из них убитым. На войне ведь люди гибнут... Порасспросил, из каких они мест. По тому, как они говорили по-армянски, по диалектам, я и сам догадался, кто откуда: Мушег из Карабаха, Лусеген из Новой Нахичевани, что под Ростовом, Андраник из Амшена. Когда Андраник рассказывал, откуда он, Мушег посмеялся: этот как и не из наших, не армянин вовсе!..

Очень уж они разнились по говорам. Даже не совсем понимали друг друга. Все трое смуглые, обросшие и носатые, как положено армянам.

Сержант Лусеген здорово играет в шахматы. На груди у него маленький крест на серебряной цепочке.

— Это предки мои, — смущенно оправдывается он, — еще из Ани[12] вывезли. Мать верит, что он сбережет меня, не даст погибнуть. Вот и заставила надеть.

Его предки в свое время бежали от резни в Крым, а затем переехали в донские степи. На груди у Лусегена один орден и четыре боевых медали. Эти знаки его мужества соседствуют с армянским крестом, с крестом Ани.

У меня в подразделении люди многих национальностей. Есть даже один цыган. Все бредит лошадьми. Подобрал где-то раненную в ногу кобылку и водит за собой в надежде вылечить ее.

— Я в армию пошел добровольцем, — говорит он. — Если выхожу эту лошадь и приведу ее с собой в табор, сильно поднимусь в глазах родичей, и тогда мне отдадут в жены самую красивую девушку.

Очень я хочу, чтоб лошадь его выжила...

* * *

Движемся к западу. Куда именно, выяснится в конце пути.

Мы на марше. Генерал вручил мне мою новую награду.

Лусеген потрогал орден.

— А мы, армяне, не плошаем... Есть чем погордиться...

Мы с ним частенько, как выдастся случай, сражаемся в шахматы. А цыган все лечит свою лошадь.

Сегодня третье октября. Через два месяца и двадцать пять дней мне исполнится двадцать один год. В записях моих свет награды.

ПОЛЬША

Вступили в новую землю — в Польшу.

Все покрыто снегом, и перед нами все новые и новые следы разрушений.

На границе гитлеровцы отчаянно сопротивлялись нам. Погиб солдат из Амшена, Андраник. У меня захолонуло сердце. Взялся за лопату, но так и не смог всадить ее в мерзлую землю. Вместе с Лусегеном и Сахновым мы топорами вырубили могилу. Похоронили Андраника. Насыпали холмик над моим соотечественником.

Уже рассвело. Я все думаю о погибшем солдате. Мы похоронили его на нашей государственной границе. Пусть его могила станет

памятью о том, что, освобождая последнюю пядь нашей земли, здесь воевал и погиб вместе с другими и воин-армянин.

* * *

По колено утопаем в снегу. Обоз наш отстал, увяз где-нибудь в сугробах. Мы голодны. Поляки разводят руками, сожалеют, что не могут помочь нам.

— Нет ни хлеба, ни картошки. Все немцы забрали.

Я предупредил солдат: если кто-нибудь возьмет что-либо насильно у жителей — будет строго наказан. Они все понимают, но, бедные, голодны. Я связался по рации с Ериным:

— Когда будет хлеб?

— Не знаю. Мы тоже в таком же положении.

* * *

Проходим близ одного из польских сел. Солдаты едва передвигают ноги. Голод нетерпелив, он не разумеет, что везущий нам продукты обоз застрял где-то, может, километрах в трехстах от нас.

За селом одиноко стоит на отшибе дом. Я постучал в ворота. Открыли не сразу. Передо мной стоял поляк: в сюртуке, с непокрытой головой, на лице испуганная улыбка, в руках соль и ломоть хлеба.

— Добже, пан офицер.

Я устроил своих солдат в его владении. Хозяйство, видать, немалое. У пана довольно много батраков. Я сказал ему, что солдат надо накормить. Он безропотно кивнул:

— Добже.

Дал нам корову. Солдаты прирезали ее, разделали и сварили. Хозяин и хлеба дал, и несколько головок луку.

Мы сыты, обогреты.

Ночью спали, как никогда. Утром поляк попросил дать ему бумагу о том, что по доброй воле кормил моих людей. Я охотно согласился. Сахнов улыбнулся:

— После войны этот пан поляк с нашей бумажкой в герои выйдет.

Что ж. Нас-то он и впрямь ведь накормил.

* * *

Встретил Ерина. Он испытующе спросил:

— Шуру не видал?

— Нет, — забеспокоился я. — Что-нибудь с ней случилось?

— Из штаба армии прислали ее орден. А она-то в санбате служит. Пошли к ней кого-нибудь, пусть придет за орденом.

Меня почему-то вдруг охватила тревога. В последнее время я только раз встретил Шуру, да и то на марше. Где она сейчас? И каково ей? Не случилось ли чего? Но тревогой своей я не делюсь с Ериным. Сам поищу и найду Шуру.

* * *

Три дня уже мы ведем ожесточенный бой за мост через небольшую речку.

Немцы не выдержали нашего натиска и отступили на север.

Наконец прибыл обоз с провиантом. Но там, оказалось, только хлеб да макароны. Сала нет. Сахнов засыпал макароны в ведро с кипящей водой и сварил. Мы приправили их солью и съели за милую душу...

— Что-то от жены писем нет, — вздохнул Сахнов. — А ведь ребенок должен быть...

— Да как же это так? — засмеялся я. — Ты был там три месяца назад. Насколько мне ведомо, за три месяца никто еще в мире ребеночка не вынашивал.

— Да хоть бы узнать, когда он должен родиться! — снова вздохнул Сахнов.

Мой цыган не вы´ходил свою лошадь. Подохла бедняга.

* * *

Сахнов принес немецкого хлеба. Я не притронулся к нему. Не могу. И табак их тоже не могу курить. Три с половиной года мы воюем с фашистами, клянем их, ненавидим. Как мне есть их хлеб! Не ем.

Сегодня восемнадцатое октября. Через два месяца и десять дней мне исполнится двадцать один год. Записи мои на гладкой европейской бумаге.

КОРОВА ПОЛЯКА

Снова мы упустили фрицевский хвост.

Снег. Продвигаемся трудно, медленно.

Слева на холме показалась деревушка. Я приказал Сахнову и цыгану отправиться туда и купить корову. У меня была значительная сумма денег, я все их отдал им.

— Но только непременно купите. Поняли?

Сахнов и цыган сели на коней и ускакали. Вернулись они спустя всего час, гоня перед собой крупную корову.

Поздний вечер. Остановились на постой в одной из деревень, зарезали корову, мясо сварили и наелись все досыта.

Но еда эта, увы, обернулась нам позором. Ночью меня разбудил Сахнов. Вижу, стоят крестьянин и женщина со скорбными лицами.

— Пан, вы увели нашу единственную корову и зарезали! — сказал крестьянин. — В ней была вся надежда моих детей!..

Я и сам чуть было не заплакал, глядя на них, но буйный гнев тотчас придушил слезы.

— Сахнов! Я расстреляю тебя за невыполнение приказа! Ты корову купил или отнял?

Сахнов виновато глянул на поляков:

— Я давал им деньги, они не брали. Оставил у них на сундуке, взял корову и привел. Честно, благородно...

— Не нужны мне деньги! — говорил поляк. — Корова нас кормила.

Он вытащил из кармана деньги, положил их на стол.

— В Польше у нас злотые.

Как крестьянский сын я знаю, что для бедняка значит корова. Что мне было делать? И вдруг меня осенило. Я приказал Сахнову отдать крестьянам двух трофейных лошадей. Поляки обрадовались несказанно: у них лошадь стоит много дороже коровы.

Когда они ушли, Сахнов сказал:

— Сейчас война. В такую пору не следует быть слишком мягкосердечным.

— Благодари, что все так кончилось.

* * *

Сахнов получил письмо от своей Гали.

«Дорогой мой, любимый муж. Если б ты знал... Если б ты знал, что наш ребеночек уже бьется у меня под грудью, уже шевелится...»

Весь мир принадлежал Сахнову.

— Вы чуете, что пишет моя женка! Наш ребенок уже дает о себе знать!..

Я разделяю радость друга.

— Только смотри историю с коровой не забывай. Второй раз не простится.

* * *

Снова польская деревня. Снова дом поляка.

В сенях пахнет коровой, в комнате — вареной картошкой, капустой. Домишко совсем маленький. Соломенная крыша прогнулась под тяжестью осевших бревен и снега. Снег везде. С крыши свисают сосульки. Холодно. По словам Сахнова, тридцать градусов. В доме тепло. Тоже, наверно, около тридцати. И воздух от этого тяжелый. В нос бьет потом от портянок, что сушатся на печке. В доме поляка две комнаты. Сени забиты бочками и дровами. Потолки очень низкие.

— Это чтобы зимой тепло было, — говорит хозяин.

Его жена и дети потеснились в одну комнату, а мне, Сахнову и четырем другим моим офицерам — командирам взводов — отдали вторую. Солдаты разместились в соседних домах.

— Мы пробудем у вас только до рассвета, пан, — сказал я хозяину. — Особенно не стесним...

— Да хоть три дня живите и больше, — поспешил успокоить меня хозяин. — Я рад вам, клянусь Христом-богом. Только тесновато у нас. Вы уж простите...

Я никак не могу уснуть. Проснулся среди ночи, вижу, коптилка светится. И от нее еще пахнет. Я подсел к столу. Хозяин дома тоже не спал.

— Как вам живется, пан?

— Да какая уж тут жизнь, — вздохнул поляк, — хуже собачьей. Сколько лет у нас хозяйничали немцы. Разорили вконец. Мы очень рады вам, советским воинам. Спасибо, прогнали наконец фашистов. Дай бог вам долгой жизни.

Мы выпили с ним по стопочке. Он спросил:

— Говорят, что с вашим приходом в Польше будут колхозы. Правда это?

— Не знаю, пан. А что вы думаете о колхозах?

— Я ничего не думаю. Не знаю, — развел руками поляк. — Я человек бедный. Но говорят, что... Э, бог знает, что говорят. Ничего-то я не понимаю. У меня ни лошади нет, ни земли...

— Я думаю, вам обязательно дадут землю, пан, — сказал я. — У кого ее нет, должны дать.

— Что ж, хорошо бы, — кивнул поляк. — Но говорят, что...

Я вдруг обозлился:

— Не всему, что говорят, следует верить, пан! Имейте свою голову на плечах. Вам же на пользу все.

Поляк словно бы успокоился:

— Правда?

Мне стало жалко его, и я мысленно упрекнул себя, что говорю с ним так, будто он может сразу все понять. Человек-то он неискушенный, с открытой душой. И я решил что-то ему объяснить как сумею.

— Дорогой пан, знайте, что мы воюем против своего и против вашего врага. Надо поставить его на колени. Мы держим путь в Германию с тем, чтобы окончательно покончить с фашизмом. А вы уж тут сами решите, как вам жить дальше. Мы никому ничего не навязываем.

Поляк, похоже, был вполне удовлетворен. И вроде бы вполне верил мне.

Мы разговаривали с ним, мешая русские слова с польскими. Я понимал его. Русский и польский — это ведь ветви одного

славянского древа. Мне они кажутся схожими настолько, как речь армян — жителей, скажем, Араратской долины и Карабаха.

Я не стал рассказывать ему о преимуществах колхозного строя. Бог с ними, пусть и правда сами решают, как жить будут..

* * *

Наше продвижение замедляется из-за нерегулярного подвоза провианта и боеприпасов. Раненых своих мы отправляем в тыл в повозках и фургонах еще дедовских времен. И в наскоро сколоченных санях.

Жжем костры в траншеях, не таясь от врага. Мы уже полны уверенности. Да и смерть давно стала для нас привычной.

Одного из моих солдат убило в момент, когда он писал письмо.

Убитого мы похоронили с семейной фотографией, которую он берег у себя на груди («Папа, приезжай скорее домой...»). В ногах вбили кол с дощечкой: «Здесь похоронен герой...»

Сегодня двадцать седьмое октября. Через два месяца и один день мне исполнится двадцать один год. Записи мои на белоснежной бумаге.

НЕПРИЯТНЫЕ ДНИ

Морозы вынуждают нас идти вперед не останавливаясь.

Сахнов подрался с цыганом. И здо́рово избил его. Я схватил его за ворот:

— По какому праву ты бил его? Отвечай!

Сахнов спокойно смотрит на меня и молчит.

— Приказываю отвечать!

Молчит. Я задыхаюсь от ярости.

— Напрасно вы на него сердитесь, товарищ старший лейтенант, — вмешивается Мушег. — Поделом поколотил: Цыган лошадь украл.

Я растерянно смотрю на нашего цыгана. Сахнов спокойно поправляет воротник.

Цыган действительно выкрал в соседней деревне лошадь.

— Но война ведь скоро кончится, и я должен вернуться в табор... А как мне без лошади?..

Я перевожу растерянный взгляд с цыгана на Сахнова. Что делать? И вдруг заговорил Сахнов:

— Но как ты мог воровать? Это же последнее дело.

Цыган почесал за ухом.

Сахнов выжидающе глянул на меня.

— Прикажите ему вернуть коня хозяину. Кто-кто, а я сполна хлебнул этой грязи. Ты, цыган, человек, а человеку негоже воровать. Мне-то уж можешь поверить.

Я приказал Сахнову вместе с цыганом отвести коня хозяевам. Цыган сначала упирался, но пошел.

Вернулись они скоро. И Сахнов принялся за свои обязанности. Я все же сказал ему, что бил он цыгана зря. Сахнов промолчал. А потом вдруг как-то очень горестно проговорил:

— Эх, если б кто-нибудь так же, а то и более жестоко избил меня, когда я в четырнадцать лет в первый раз взял чужое — тоже лошадь украл! Вряд ли тогда я познал бы тюрьму и потерял бы столько золотых годков своей жизни.

* * *

Мы взяли пленных.

Ночью окружили маленькое сельцо, утром атаковали засевших там гитлеровцев. В полдень тридцать два фашиста сдались нам в плен. И это только нам, нашему подразделению.

Обмотанные черт знает в какие лохмотья, отчаявшиеся немцы побросали оружие и подняли руки вверх. Мои ребята с молчаливым презрением и удивлением смотрят на них. Двое из них ранены. Сахнов перевязал им раны, дал глотнуть водки.

Неожиданно появился Ерин, на санях, со своим возницей. Я пошел ему навстречу доложить о бое и о пленных. Он махнул рукой, чтоб я не шел. Сам направился к нам.

— Расстрелять бы всех этих сукиных сынов! — Он люто глянул на фашистов. Но велел накормить немцев.

Они смотрели на нас спокойно и равнодушно. Им принесли еду. Ерин сел в сани и умчался.

Чуть спустя я отправил пленных в тыл.

* * *

Ночь светится заревом нашего артогня. Мы ведем бой за небольшой поселок. Противник бьет оттуда из орудий.

Похоронили пятерых наших. Сахнов стругает колья и ладит к ним пятиконечные звезды и дощечки с именами и фамилиями.

Он вдруг сунул мне бумажонку:

— Это Галин адрес. Вон как много нас гибнет. Коли что, напишите ей. Тут обозначено и как назвать...

Я заорал на него:

— Что ты несешь, Сахнов!

Он показал на свежие могилы:

— У них спросите.

В тот день я тайком от Сахнова написал письмо его жене:

«Уважаемая Галя, мой друг Сахнов отважный воин и хороший товарищ. Он жив-здоров. Пожалуйста, родите ему сына, порадуйте человека...»

Сегодня второе ноября, через месяц и двадцать шесть дней мне будет двадцать один год. Записи мои под сенью огня и звезд...

Год победы — 1945-й

МОРОЗЫ УСИЛИВАЮТСЯ

Какая она, оказывается, большая страна, эта Польша! Идем, идем, и нет ей конца, все никак не доберемся до немецкой границы. Хотя, конечно, и делаем-то мы всего в день по десять — двенадцать километров, да и то с боями...

В моем подразделении убито четырнадцать человек и ранено семнадцать. В каждом расчете осталось по три-четыре солдата.

Морозы. У войны еще долгий путь.

Наш обоз уничтожен: нет у меня больше ни коней, ни телег. Каждый солдат несет на себе по восемь штук мин. Офицеры, Сахнов и я тоже шагаем с грузом.

* * *

Прошли деревню. У хутора на околице Сахнов учуял конский запах. Я приказал вывести коня и запрячь в телегу. Из дома вышел поляк с дочкой. Девушка — это как чудо. В такой глуши, в снегах — и она, как цветущий миндаль. Девушка подала нам пиво. Сказала, что сама его варила. Улыбнулась глазами-фиалками.

— Как это случилось, что немцы вас не угнали, панночка? — спросил я.

— Отец меня укрыл, пан, — ответила она. — И лошадь, и телегу тоже укрывал, не то ведь обязательно увели бы...

— Я очень сожалею, но мне придется взять у вас и лошадь, и телегу. Мне бы не хотелось обидеть вас. И вы, и ваше пиво прекрасны. Но война есть война. Солдаты очень устали...

Девушка улыбнулась:

— Конечно, мы должны вам помогать, пан. Но мой отец пойдет с вами, пока вы доедете до места, а потом вернется, он заберет у вас обратно и лошадь, и телегу. Вам ведь они больше тогда не будут нужны?

Она помогла отцу запрячь коня. Солдаты, скинув тяжесть, облегченно вздохнули и с радостью поблагодарили девушку за угощение и доброту.

Двинулись в путь. Она окликнула отца:

— Будешь возвращаться, дров из лесу привези, татуш!

Старый поляк — человек рассудительный и спокойный.

— Ну как же вам не помочь? — говорит он. — Вы в беде. Но знайте, что с первой же стоянки я должен вернуться домой с лошадью и телегой.

Километров через двадцать мы столкнулись с арьергардом отступающих войск противника. Быстро заняли позиции.

И этот поляк тоже попросил дать ему бумагу, что он помог нам своей телегой и конем перевезти боеприпасы. Я дал ему такую бумагу. Он поблагодарил и уехал. Сахнов покачал головой:

— Мудрые они люди. Думают о будущем. Чего доброго, старостой на селе станет.

Да пусть хоть воеводством правит! Он того достоин. И нам помог, и девушку с глазами-фиалками сберег.

* * *

Откуда ни возьмись вдруг возникла Шура. В полушубке, в валенках. Как всегда, бодрая и чуточку грустная.

— Хороши были глаза у полячки, а?

— Хороши, — сказал я. — Но твои теплее и глубже.

Шура слегка улыбнулась:

— Не забыл, выходит, и мои глаза?

— Можно ли их забыть? — виновато ответил я. — Как ты, Шура?

— Прекрасно. А ты?

— Я все время думаю о тебе...

— Удивительно, — горько усмехнулась она. — Наш санбат ведь так далеко от тебя — всего пять километров.

Она круто повернулась и ушла. Я ничего не вижу перед собой. Сахнов то и дело окликает:

— В яму угодите! Осторожнее!..

Как их много в этом мире, ям...

* * *

Сегодня наш полк занял двенадцать деревень. Командир полка завернул к нам в роту.

— Слушай-ка, герой, поворачивай вправо. Там деревня большая. Обоснуйся в ней и жди подкрепления. Думаю, дней восемь будем отдыхать.

Не восемь, хоть бы полдня отдохнуть. Я с удовольствием свернул вправо.

Деревня действительно большая, с хорошими домами, далеко отстоящими друг от друга. Проваливаясь в снег, я подошел к одному из них.

— Э-эй, пан, выйдите встретить гостей!

Появился мужчина в жилете, седоволосый, в руках хлеб-соль.

— О, мы рады вас видеть!

Быстро смастерили деревянные топчаны и разместили у поляка всех моих солдат. Сам я обосновался в соседнем доме, как выяснилось, у батрака. Этот принял меня еще радушнее.

— Все в моем доме принадлежит вам, брат.

* * *

Получили подкрепление. Я поручил командирам взводов провести учения с новичками, а сам вместе с Сахновым отправился на обход вверенной мне деревни. Из окон на нас смотрели улыбающиеся девушки.

— Обольстят ведьмы, как тогда перед Галей ответ держать?..

* * *

У меня испортились часы. Хозяин мой, Юзеф, указал на дом, где, как он считал, жил «большой мастер».

Мастер — радушный лысый старикан. Я протянул ему часы; вдруг из соседней комнаты вышла женщина в домашнем халате, очень красивая и статная. Но на лице и в глазах у нее была тоска. Часовщик оживился:

— Это пани Марта, пан офицер. Актриса, одна из звезд Варшавы. Вот уже пять лет, как она скрывается здесь от фашистов.

Актриса улыбнулась и предложила:

— Будьте моим гостем, пан офицер, заходите.

Я последовал за ней. Маленькая, убогая комнатушка; вся прелесть ее в том, что пахнет она женщиной, от чего мне сразу стало не по себе.

Пани Марта принесла чаю без сахара — мне и себе. Я пил, а руки так дрожали, что половину пролил.

— Тяжело вам, солдатам, — с грустью сказала пани Марта.

— Я уже привык.

— Но вы ведь совсем еще юноша...

Вернувшись к себе, я отдал Сахнову мой трехдневный паек сахара и попросил снести пани Марте. Он нахмурился, но понес. Зато, когда вернулся, на лице у него был разлит телячий восторг.

— Даже на иконах такой не видал, вот те крест! Она передала вам подарок. У нее в комнате в цветочном горшке цветок расцвел. Вот сорвала и велела вам отдать.

Очень красив был синий цветок, только без аромата. Одно слово — пленник зимы.

Сегодня двадцать шестое ноября. Через месяц и два дня мне исполнится двадцать один год. В записях моих нет аромата.

ПОСЛЕ СВАДЬБЫ

Я попросил Юзефа раздобыть мне водки. Он только руками развел: легче, говорит, птичье молоко достать, чем водку. Но при этом сказал, что, дай я ему муки, он сам может приготовить отменную водочку.

Где же тут добудешь лишней муки? Пришлось обойтись без водки. Грех на нее хлеб изводить в эдакое время.

Сахнов был очень доволен, он теперь, как женился, стал трезвенником, бережет себя для потомка...

Но на другой день Юзеф все же где-то добыл мне штоф водки.

— Выпейте за победу, пан офицер!..

Я позвал на пиршество своих комвзводов. Едва мы сделали глоток-другой за скорую победу, меня вызвали в штаб полка. Сахнов заложил сани.

— Небось вызывают сообщить, что в звании вас повысили.

Возможно, он прав...

* * *

Однако вызывали меня совсем по другому вопросу. Из штаба армии прибыли два офицера по важному делу. По этому случаю командир дивизии созвал совещание. Окончилось оно только в полночь.

Все уже собирались разъезжаться по частям — я сел в сани. Вдруг слышу, генерал говорит командиру полка:

— Холодно. Не мешало бы по стопочке пропустить...

— Да где же ее взять? — развел руками командир полка.

Генерал хитро подмигнул мне:

— А ну, герой-кавказец! Может, чем попотчуете?

— Если только чаем, товарищ генерал, — хмыкнул я. — Чем же еще?

— Едем к нашему герою. У него обязательно что-нибудь найдется.

В гостях у меня собрались, кроме генерала, командир полка, начальник штаба и Ерин. Расселись вокруг стола, замерзшие, усталые.

Я выставил уже ополовиненный штоф. Первым стопочку выпил генерал.

— Прекрасно! — сказал он, утирая губы. — Пить, оно конечно, негоже, но без ста граммов иной раз делается муторно на душе.

Потом мы пили чай, говорили о близкой победе.

Это была хорошая ночь...

* * *

Солдаты живут в тепле, каждый день проводим учения. К их хозяину приехал сын: молодой, высокий парень. Походка, манера разговаривать выдают в нем военного. Он очень радушно поздоровался со мной и проговорил:

— Мы давно ждали вашего прихода. Вы спасители Польши. Мы, поляки, обязаны вам за избавление от фашистского ига.

В глубине души я чувствовал какую-то неискренность. Он мне не понравился. Я предупредил своих солдат, чтоб остерегались его. А он всякий раз при встрече со мной улыбался и не уставал повторять:

— О, вы — наши спасители.

* * *

Ко мне заявились местный ксендз и староста.

— У нас свадьба. Не откажите быть гостем.

Что ж, придется пойти, нельзя ведь обидеть. Я побрился, надраил сапоги, и мы с Сахновым пошли. В подарок молодоженам

понесли сахару и чаю, другого у нас, увы, ничего не было. Первой нам встретилась пани Марта. Я ей обрадовался. Она по-матерински чмокнула меня в щеку.

— О, милый юноша, очень приятно, что вы пришли.

Новобрачные в свадебных одеяниях. Стоят под елкой, украшенной разноцветными свечами. Меня, как почетного гостя, усадили рядом с ксендзом. Сахнов, который взял с собой автомат (на всякий случай), встал позади меня и посоветовал пить мало.

Среди молодежи был и сын нашего хозяина, тот самый тип, которого я невзлюбил.

Свадьба. Танцуют, поют. Пьют мало.

Пани Марта, ткнув пальчиком на звезду у меня на шапке, громко сказала:

— Эти люди спасли поляков и Польшу от фашистского ига. Надо выпить за них.

Я не пил ни капельки. Пани Марта не дала мне скучать.

— Я вернусь скоро в Варшаву. Надо создавать новую Польшу. О, я сегодня так счастлива!..

Мы танцевали с пани Мартой.

Расходились под утро. Староста вызвался проводить меня. Он слегка под хмельком, что-то без умолку говорит. А у дома своего стал зазывать нас в гости:

— Хоть на минуточку, пан офицер, прошу вас. Выпьем по стаканчику и разойдемся.

Он так просил меня, так умолял, что даже Сахнов поддержал его: надо, мол, зайти, уважить старосту.

Мы и впрямь выпили по стопочке, закусили мясом, поблагодарили и вышли.

* * *

Дошли с Сахновым до дому. Уже было совсем светло.

И тут меня вдруг скрутило. Такое началось: в желудке рези, голова раскалывается. Места себе не найду, того и гляди, богу душу отдам.

— Сахнов, позови Мушега.

Юзеф, его жена и мой связной суетятся. Я то прихожу в себя, то теряю сознание. Как в тумане, вижу испуганное лицо Мушега.

— Мацун поищи, Мушег, мацун[13]...

Все мои ребята собрались в комнате. Слышу вдруг крик Сахнова:

— Староста его отравил! Поймать негодяя!

Мушег трясет меня за плечи:

— Открой рот, пей мацун! Пей, пей!

Я начал пить. Вспомнил-таки испытанное средство. У нас в горах при отравлении только тем и спасаются.

Я пью, меня рвет. Уложили на санях. Перед глазами пламя.

Передо мной только белая дорога да ноги моей лошади.

Открываю глаза в медсанбате и вижу — наш генерал. Ходит взад и вперед по веранде. Вдруг слышу его голос:

— Умер?

Туман. Меня мутит. И все куда-то исчезает...

Только через три дня я встал на ноги. Шура кладет мне на лоб примочки.

— Кислое молоко тебя спасло. По свадьбам да по гостям ходишь, забыл, что вокруг враги...

Она говорит, а я с нежностью смотрю ей в глаза. Испуг и тревога сделали ее незащищенной, словно она маленькая. До чего же я, оказывается, люблю ее!.. Глупец!.. Я глажу ее дрожащую руку, а она спрашивает:

— Что это там за артистка объявилась?

Я продолжаю гладить ей руку. Рука дрожит все сильней и сильней...

* * *

Я выздоровел и вернулся в роту.

«Гостеприимный» пан вместе с улыбчивым его сынком сбежали. Самое ужасное, что нашли зарезанной в постели пани Марту.

* * *

Я получил приказ выступать.

Юзеф и его жена со слезами провожали нас. Юзеф сказал на прощание:

— Пан офицер, не обижайтесь на поляков и Польшу. Вас отравили враги поляков. Вспоминайте Польшу добром!..

Сегодня четвертое декабря. Через двадцать четыре дня мне исполнится двадцать один год. Записи мои отравлены.

ВОТ И ЛОГОВО ВРАГА

Мы уже в сорок первом году заявляли: «Уничтожим Гитлера в его же логове». В глубине души верили в это твердо.

И вот настало время.

Мы держим путь на северо-запад, в Восточную Пруссию, на Кенигсберг. И холода тоже подгоняют нас. Вокруг разрушенные поселения.

Неожиданно с холмов ударили немцы. Пока мы опомнились, некоторых из наших уже убило. Я ввел в действие свои минометы и остановил огонь противника. Тем временем полевые пушки пришли нам на помощь. Приказал Сахнову соорудить мне удобный наблюдательный пункт.

— Зачем? — нехотя отмахнулся он. — Мы же сейчас двинем дальше?

— Едва ли это будет так скоро, — возразил я. — Ведь за этими холмами Германия. Тут бои могут затянуться.

Сахнов сорвал с головы ушанку и подбросил ее в небо:

— Уже? Уже Германия?!

Наверно, именно так, увидев очертания берегов Америки, радовались моряки Колумба.

Сахнов выдал автоматную очередь по Германии. Я засмеялся:

— Думаешь, твой огонь достиг цели? Надень шапку, Сахнов, простудишься. А голова твоя еще нужна Родине.

* * *

Что это за радость так полнит наши сердца?! Мы и впрямь на пороге обиталища противника! Неужто это так — и перед нами Германия, логово врага?

Да, да! Оно самое! Гнездовье врага. Его логово!

Мы не единственные и не первые вошли в Восточную Пруссию. Еще восемнадцатого октября наши советские войска вступили на эту землю.

Вот оно — гнездо фашизма.

Передо мной небольшая речка, ее крутой берег, и дальше равнинная Германия. Вон на снегу поваленное, рассеченное надвое дерево. Чуть поодаль — кирпичная ограда, за ней карликовые вишни. Дальше виднеется дом с черепичной крышей. С телеграфного столба свисают нити черных проводов.

Вот оно — гнездо фашизма, люди!

Обычная земля, где-то чернозем, где-то желто-золотистая. Местами болота, местами леса. И снег... Много-много снега... Обычная земля. И у меня нет к ней ненависти, к этой земле. Вся моя суть протестует против адова порождения этой земли, против фашизма.

Люди, вот оно — гнездовье фашизма!

Я слышу свой голос? Наверное. Другие его не слышат. Пусть хоть я себя слышу.

Солдаты развели костер и сушат портянки...

Под ногами у меня еще польская земля, и вот она, прямо напротив, — немецкая. Километрах в ста от нас немецкий город Иоганнесбург, за ним Мазурские озера. Это направление нашего удара.

Из-за рассеченного дерева застрочил вражеский пулемет. Пули проносятся над нашими головами и падают где-то за нами в снегах. Солдаты продолжают мирно сидеть у костра. Кипятят чай из растопленного снега. Холодно, и кипяток нас согревает.

* * *

Это уже бои другого характера. Стоя на позиции, я командую:

— По логову Гитлера десятью минами — огонь!

Небо полнится грохотом. Сахнов совсем обезумел.

— За холмами немецкие села? — спрашивает он.

— Да, — отвечаю. — А что?

— Надо сжечь их, уничтожить, как они сожгли нашу деревню!..

Я понимаю его. Их деревню действительно сожгли, а его ранили в глаз. Сахнова невозможно сдержать. Он ведь своими глазами видел то, что осталось от его деревни, видел пепел на месте домов. Как же я могу удержать его? И надо ли удерживать?

Я снова командую:

— По логову Гитлера десятью минами — огонь!

Грохочет морозное небо.

Я не жалею мин. Наболевшие за эти годы на сердце печаль и страдания, клубок ужасов — все разрывается. Я, не помня себя, кричу и кричу:

— Огонь!.. Огонь!..

Моя рота бьет без передышки, противник захлебывается, задыхается в предсмертной судороге. А вы, сучьи выродки, не думали, не гадали, что наступит день, когда беда придет к вашему порогу?! Пришли к нам, непрошеные, с танками, убивали нас, терзали! Что теперь скажете, господа фашисты?.. Теперь получайте по заслугам.

* * *

Три дня не утихает бой. Трижды мы захватывали холмы, и три раза немец отбрасывал нас.

Атаковали в четвертый раз. И наконец-то враг сдался. Холмы умолкли.

Утро. Мы поднялись на покоренные холмы. Сахнов впечатал каблук в землю врага и зло сплюнул!

— Умри! Сгинь!..

Из глаз у него текли слезы.

* * *

Мы с оглядкой ступили в первый вражеский населенный пункт, неподалеку от реки. Сначала обошли вокруг, потом приблизились к домам. Солнечный зимний день. Ни одного разрушенного дома. От берегов Волхова до самых этих мест я почти не встречал ни одной полностью уцелевшей деревни, и потому здешняя

первозданная нетронутость казалась почти дикой. Даже стекла на окнах целы.

Солдаты с болью и ненавистью глядят на эти дома. Вокруг ни души. Все как вымерло. По улицам бродят коровы. Где-то в подворотне тявкнул пес. На белом снегу бьются два красноголовых петуха. Неподалеку заржала лошадь.

Людей нет.

На снегу много свежих колесных следов. Ясно, что хозяева совсем недавно покинули свои дома.

Вхожу в первый попавшийся дом. Все тут на месте, даже стенные часы еще тикают. Четверть первого.

В самой большой комнате на стене висит портрет фюрера. Весь дух убранства в доме отдает серой шинелью. Стенная печь еще теплая. А вот и статуя богоматери с младенцем на руках. Дева Мария невинно взирает на меня.

— И как тебе тут жилось, святая матерь?

Нет ответа.

— Не помнишь, мой предок тоже тебя писал, ровно тысячу лет назад. Творение его хранилось под сенью Татевского храма[14]... Хочешь знать, что с ним сталось? Поносящий тебя и веру твою ворвался в храм и разрушил его, а тебя сжег. Удивляюсь, но ты, оказывается, выжила? И вот где нашла приют? Под крылом у Гитлера? Дело, конечно, хозяйское, но где же оно, твое могущество? Почему ты не иссушила руки того, кто тебя сжигал, почему не обезглавила Гитлера, уничтожившего миллионы веровавших в тебя?

Богоматерь не отвечает. Младенец у нее на руках улыбается. Как невинны улыбки детей...

* * *

Солдаты натаскали мне много разных консервов. Заботливо заготовленные банки с резиновыми крышками; за кончик потянешь — сама открывается.

Сахнов укладывает в мои сани какие-то тяжелые мешки.

— Что это, батько?

— Сахарный песок, сынок. Тут его столько, можно подумать — не дом, а сахарный завод.

— Оставь, пусть лежит на месте, — велю я.

— Ну почему же? — удивляется Сахнов.

— Сгружай, сгружай. У нас теперь на пути этого добра будет вдоволь.

* * *

Ребята прирезали корову. Есть у меня двое полтавчан. Эти взялись за кабана. Уже разделывают. Будет нам сало.

Я жарю на костре шашлык из коровьих почек и сердца. Сколько уж лет не готовил шашлыка своими руками...

Мы в Германии. На душе у меня пусто, холодно. Почему бы это? Видно, усталость берет свое... К черту ипохондрию. Мы же в логове врага. Прищучили его!.. Я раздал всем бумаги.

— Напишите домой, расскажите, что мы уже в Германии, что наступили на глотку фашизму. Вот-вот задохнется!..

Сегодня двадцатое декабря. Через восемь дней мне исполнится двадцать один. Записи мои победны.

«ВОСПЛАЧЬТЕ ГОРЕ МОЕ...»

Настроение у меня паршивое. Что-то гнетет, давит на душу, жмет сердце. С чего бы это? Три с половиной года я ждал часа, когда враг будет выдворен с нашей земли. Мы уже в Германии. Почему же мне так муторно?

Что это там Сахнов закаменел у какой-то разбитой телеги? Я подошел. В снегу, приткнувшись к повозке, коленопреклоненный, заживо сгоревший человек! Почти скелет!.. Странно, но не сгорели, не до конца сгорели сапоги. Они маленькие... Явно женские... Боже мой! Кто это?!

Ноги мои сами собой подкосились, и я упал рядом с обуглившимся трупом.

Сахнов вытащил из-под снега Шурину гимнастерку, на ней блеснули медаль «За отвагу» и комсомольский значок. Я закричал не своим голосом:

— Будьте вы прокляты во веки веков!

Сахнов плакал навзрыд:

— Говорил ведь, говорил, что фашисты-колбасники нелюди! Заживо сжечь девушку?!

Я мертв, небо обрушилось на меня. Подо мной не снег, а пламя. И я горю на костре!..

— Шура!..

Крик мой остался без ответа, отдавшись в холодных глубинах небес.

* * *

Как зажатый кулак немилосердному небу, дыбится труба полуобрушенной печи, под которой мы с Сахновым вырыли могилу. Целая вечность прошла сквозь мою душу. И я постарел на целую вечность.

Мы завернули останки Шуры в белый маскхалат.

— Прости! Прости...

На кирпичной стене Сахнов начертал: «Помните, люди, фашисты заживо сожгли сестру милосердия, Шуру. Помните!..» Что я наделал! Своими руками Шуру похоронил! Сколько же можно хоронить?! Сколько можно терпеть?

Нет, я не жив, люди! Нет меня! Нет... Что мне осталось в этом мире?!..

Ничего! Ничего не осталось!..

* * *

На самой немецкой границе прямо в снегу лежат рядком и спят восемь моих солдат. Я велел Сахнову разбудить их, не то замерзнут. Сахнов вздохнул:

— Это убитые...

И эти?.. Они в цепи шли в атаку, и пулеметная очередь из дровяного сарая неподалеку скосила их.

Мы снесли минами крышу сарая. Пятеро гитлеровцев лежат у пулемета. Это ими убиты наши. Я стою над ними.

Мне уже не холодно. А замерзну — подожгу дровяной сарай, чтоб согреться. И Сахнову я больше не стану препятствовать.

Не могу я простить врагу Шуру, светлую душу Ивана Филиппова, храброго Серожа Зареляна. Как простить?..

Я иду и топчу снег на немецкой земле. Во мне начинает звучать песнь моих дедов: «Проснись, Зейтун...» Вдруг вижу сполох огня. Это Сахнов поджег дровяной сарай. Вот он нагнал меня:

— Что скажете?..

Я молчу. Мои губы пламенем жжет память о Шуре. Эти строки я пишу на полях «Песен и ран».

«Восплачьте горе мое...»

Сегодня двадцать четвертое декабря. Через четыре дня мне исполнится двадцать один. Записи мои, восплачьте горе!

КРОВАВЫЙ ОГОНЬ

В санях стоит командир полка.

— Ну, братцы, как вы?

Я подошел к нему с докладом. Он удержал меня:

— Не надо. Перед нами немецкий город Инстенбург, потом Прейсиш-Эйлау... Вот так-то!..

Но я хотел сказать ему совсем не то. Я хотел сказать: «Наша Шура!..»

* * *

Немцы отходят к Мазурским озерам, укрепляются там. Мне приказали занять населенный пункт чуть правее нашего основного направления.

Короткий зимний день угас. Моя рота открыла минометный огонь по населенному пункту. Нам ответили пулеметы противника. Мы пустили в ход автоматы и три ручных пулемета. Сахнов одну за другой кидает гранаты...

Вскоре враг был вышиблен из деревни.

Дома и здесь отстоят друг от друга довольно далеко. Они тоже добротные. Трехскатные крыши. Массивные ворота.

Я, Сахнов и связисты вошли в первый дом. Ни живой души. С пистолетом в руках иду впереди, Сахнов светит мне фонариком.

В доме пусто. Изразцовая печь еще теплая, молоко в чашке, на столе, тоже. Спускающаяся с потолка керосиновая лампа светит желтоватым пламенем. Лицо Сахнова желтое, и голос тоже словно бы желтый:

— Что скажете?..

Я понимаю: это он спрашивает, не поджечь ли дом.

Дом Сахнов не поджег.

* * *

Мои люди откуда-то извлекли груду мясных консервов. В этом доме тоже была богоматерь и тоже висел на стене портрет фюрера.

— А, вот ты где! — Сахнов сорвал его со стены, бросил под ноги. — Мать твою!..

* * *

Я назначил часовых на ночь. Все остальные собрались в том самом доме, куда мы вошли с Сахновым и связистами. Сюда ребята снесли снедь из нескольких домов, и мы закатили ужин. Нашлись и свечи. Я велел зажечь их побольше. После Шуры очень страшусь темноты.

Стол ломился. Чего тут только нет!.. Шампанское — французское, водка — голландская. Лусеген и Мушег приготовили шашлык из телятины. Я поднял бокал:

— Помянем погибших!

Солдат-литовец Элкснитес сыграл на рояле марш из Третьей симфонии Бетховена. При этом он все что-то говорил, хотел показать мне свое знание немецкого, но кто его поймет; немцев тут — только редкие убитые гитлеровцы на улицах.

Я опять наполнил бокал:

— Памяти Шуры!..

Элкснитес сыграл еще.

Сегодня двадцать восьмое декабря. Мне двадцать один год, люди. В записях моих смерть.

МЫ БОЛЬШЕ НЕ МЕРЗНЕМ

Морозы усилились. Но мы больше не мерзнем.

Ночь. Сон валит с ног. Сахнов завел меня в какой-то кирпичный домишко — хоть чуть поспать. Сам он пошел раздобыть спирту или масла для коптилки. Я приткнулся в первом же темном углу и тут же уснул.

Разбудил меня Сахнов:

— Вставайте, тут мертвецкая.

Он держит свечу. Под ее желтым светом я разглядел, что спал на закоченевших трупах. Их тут много. К ногам привязаны дощечки с именами и фамилиями.

Я заорал диким голосом:

— Куда ты меня затащил?!

Сахнов только руками развел.

— Темно было, не разглядел. Везде темно...

Он нагрел мне воды, я прямо в снегу выкупался, только бы избавиться от запаха мертвечины.

* * *

На рассвете начался бой, и я забыл о страшной ночи с мертвецами.

Мы взяли пленных. Шестьдесят четыре гитлеровца. Измученные, злые. Дрожат от холода. На нас смотрят волком.

— Вот вам и капут, — говорю я.

— O, ja, — вздохнул один из них, — капут!

— Свиньи! — взъярился Сахнов. — Даже своих мертвецов не хороните. Все везде испоганили.

— O, ja...

Один из пленных вдруг завалился набок. Ранен. Сахнов перевязал его. Дал попить...

— Бог с тобой, живи. Теперь-то уж нечего помирать...

Сахнов уложил его в нашу санитарную повозку и отправил в тыл.

* * *

Мы с Элкснитесом обходим вновь занятую деревню. Зашли в кирху. Тут много женщин и детей, и только кое-где в толпе видим несколько стариков. Все молятся. Увидев нас, отворачиваются к стенам.

Я через Элкснитеса здороваюсь с ними. Никто не отвечает.

У входа рядом со взрослыми сидит мальчуган лет четырех. Он смотрит на меня и улыбается. Я снова поздоровался.

Молчание.

— Что вы здесь собрались? Расходитесь по домам.

Молчание.

— Не хотите отвечать?

Молчание. Только вздохи слышны.

Кто-то проговорил наконец:

— Не мучайте нас. Сожгите скорее, и да вознесемся мы к Иисусу Христу, спасителю нашему.

— Вон что! — озлился я. — Вы, как вижу, очень умны, господин. Хотите, чтоб и мы уподобились зверям, надеетесь, легче будет ответ держать перед вашим спасителем? Это вы сжигали, вешали,

душили, убивали младенцев, терзали женщин и стариков. У нас иная цель. Подымайтесь-ка да расходитесь по домам. Не то конфискуем все ваше имущество в качестве военных трофеев.

Светловолосый малыш потянулся ручонкой к звезде на моей пряжке.

— Не трогай. Он съест тебя! — крикнула ему мать.

Элкснитес перевел:

— Фрау, мы не собираемся учиться у вас зверствам. У меня есть право на месть. Ведь ваш Христос проповедует: око за око, зуб за зуб. По этой заповеди я мог бы за то, что ваши сделали с моей Шурой, сжечь вас всех в этом храме. Но, как видите, мы не следуем вашим заповедям! — И, повернувшись к толпе, я громко добавил: — Приказываю всем разойтись по домам!..

Через полчаса кирха была пуста.

* * *

Сегодня Новый год. Первое января тысяча девятьсот сорок пятого года. Мы на земле врага — в Германии. Идем от деревни к деревне. И почти все они пусты, безлюдны. Гитлеровцы сопротивляются упорно. Но иногда, дав два-три выстрела, спешат уйти. А мы в таких случаях даже и не обращаем внимания на эти их выстрелы, проходим походным маршем.

Иногда вдруг Сахнов запевает песню. Солдаты охотно подхватывают ее.

Сегодня день особый, нам выдали водки, белого хлеба и масла вдоволь.

— С Новым годом!..

Год начался ночью, но в тот час мы вели бой. И вот день. По-зимнему бескрасочный. Мы устроились в небольшом овражке. Солдаты вытащили из вещмешков кто что — стаканы, алюминиевые и эмалированные кружки — и протянули Сахнову. У него для этого дела есть специальная колба с делениями на пятьдесят и сто граммов.

Сахнов разлил всем по сто граммов водки, мы сдвинули наши «кубки», поздравили друг друга с Новым годом, пожелали победы, удачи.

Скоро рота, построившись, снова двинулась в путь — настигать отступающего врага.

* * *

Идем к Мазурским озерам. Наша вторая стрелковая дивизия сейчас входит в состав Третьего Белорусского фронта, и мы очень этим гордимся: у нас прославленный командующий — генерал Черняховский.

* * *

Встретили наших разведчиков. Усталые, вымученные бессонными ночами.

— Нет ли табачку, ребята?

К счастью, он у нас был. Разведчики жадно затянулись. Молодой сержант — их командир — сказал нам, что в двух километрах отсюда у гитлеровцев сильно укрепленные оборонительные сооружения.

— И они надеются долго там продержаться? — усмехнулся я. — Что ж, посмотрим...

— Во всяком случае, выкурить их оттуда будет трудно.

Разведчики ушли — они искали командира полка. Наши самолеты непрерывно кружат над указанной разведчиками деревушкой. Но вот появился один «мессер». Наши сбили его. Мы подошли к противнику почти вплотную, на расстояние выстрела, и окопались.

* * *

Завязался жаркий бой. Гитлеровцы еще заранее, ожидая наши войска, построили тут на большом протяжении оборонительные сооружения с намерением преградить нам путь к Мазурским озерам.

Сержант-разведчик был прав: враг стянул сюда свежие силы и выбить его из деревни будет нелегко.

Я приказал своим минометчикам до начала атаки вырыть надежные укрытия для минометов и связать их ходами сообщения.

— Скоро войне конец, надо очень беречь людей, — говорю я своим командирам. — Чем меньше мы понесем потерь, тем радостнее будет победа!..

К полуночи мы полностью укрепили наши позиции. Прибывший к нам начальник штаба удивился:

— Вы что, дней пять уже здесь?

Похвалив солдат, он мне один на один сказал:

— Готовьтесь к длительному ведению оборонительных боев — не меньше недели. Пока полк не получит подкрепления живой силой и боеприпасами.

* * *

Рассвет. Мороз к утру усилился, и бой тоже. От позиций противника отделились три танка и, поднимая снежную пыль, прикрыли от нас свою пехоту и двинули в атаку. На минуту воцарилось молчание. Танки были видны очень отчетливо. Но мои ребята смотрели на них уже не так, как раньше, на Волховском фронте.

— Один из них «тигр», — сказал Сахнов.

Танки приближались быстро. Словно не по земле шли, а летели в облаках снежной пыли.

Впереди, метрах в семидесяти от нас, замаскирована в снегу батарея наших противотанковых пушек. Это орудия прямой наводки. Мы не сразу заметили, когда они вступили в бой. Следом и я открыл огонь из своих минометов. Если наши мины накроют танки даже навесным огнем, они ничего с ними не сделают. Но вот для пехоты, что идет за танками, эти мины смерти подобны.

Рота моя действует спокойно и уверенно.

* * *

Танки до нас не дошли. Два из них подбили наши артиллеристы, а третий повернул назад и умчался с той же скоростью, с какой лез на нас.

Когда за ним улеглась снежная пыль, мы увидели на снегу множество убитых солдат противника.

Вскоре над нами нависли три вражеских бомбардировщика. Они нас не испугали: траншеи мы вырыли достаточно глубокие.

Завязался воздушный бой. Наши истребители насели на тяжелых бомбардировщиков и открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов и авиапушек. На помощь своим подоспели три немецких истребителя. Звено наших истребителей повернуло против них.

Я с земли наблюдаю за этим воздушным боем. Страшен он, но какое мужество и величие! Рядом со мной спит Сахнов. А как ему не спать? Трое суток ведь глаз не смыкал.

* * *

На нашем участке попали в плен восемь солдат противника. Замерзшие, голодные, небритые. Они попросили поесть. Мы накормили их. Через Элкснитеса спрашиваю, на что они надеются, почему не сдаются всей армией.

— Мы сдались случайно, так уж вышло, — сказал один из пленных, унтер-офицер. — Что касается надежды, она еще сильна в нашей армии. Всего через несколько дней у наших солдат будет такое оружие, что все сразу изменится, и судьба опять повернется к нам лицом.

Его слова не произвели никакого впечатления на моих солдат.

Пленных отправили в тыл. Для них война окончилась.

Сегодня седьмое января. Уже десять дней, как мне исполнился двадцать один год. В записях моих новогодние надежды.

ЗАМЕРЗШИЕ ОЗЕРА

Чем дальше мы продвигаемся, тем холоднее делается. Зима в Европе. И мы держим путь к северу.

Все ближе и ближе подходим с боями к Мазурским озерам. На пути нам встречаются покинутые жителями деревни и одиночные хутора. Я строго-настрого велел своим солдатам ничего в домах не трогать. Здесь все цело, словно нет и не было войны. Разрушены, и то только отчасти, те деревни, где немцы оказывали нам сопротивление, и мы вынужденно обрушивали на них свой огонь. Местами они и сами, отступая, поджигают дома, и тогда нам приходится тушить пожары, чтоб пламя не распространилось дальше.

Из сожженных домов выскакивают кошки, собаки, петухи, куры. В закрытых хлевах мычат, коровы, в конюшнях ржут обезумевшие кони. Сколько нам удается — спасаем несчастных животных.

Населения почти не встречаем.

* * *

Густые леса. Здесь относительно спокойно. Дорог нет. Только ровные просеки прорублены — волоком лес поваленный вывозить.

Леса эти, судя по топографической карте, занимают значительное пространство. Называются они Аугустовы леса. Карта у меня немецкая, на хорошей плотной бумаге.

Здесь мы почти совсем не встречаем сопротивления. Можно малость «дух перевести», как говорит Сахнов.

Командир полка показал мне на карте проселочную дорогу.

— Поведешь свою роту этим путем. Через пять километров вам встретится деревня. Возьмите ее и будете там нас ждать.

Наш полк развернутым строем продвигается к городку Аугустов.

Пять километров прошли проселочной дорогой без всяких происшествий и вообще не встретили на души. Вымерла, что ли, эта страна? В зимнем лесу так спокойно, так хочется лечь и уснуть на этом мягком снежном ложе!

Вышли на опушку леса, к неглубокому оврагу. Он тоже отмечен на карте. Вот и тропинка, что ведет в деревню. Только где же деревня-то? За небольшой поляной в низине высятся огромные деревья, большей частью лиственные.

Я вдруг испугался. Может, дорогу перепутал? Но нет, на карте указаны ориентиры, которые есть здесь. Шел я точно по маршрутам, намеченным командиром нашего полка Сафоновым Павлом Антоновичем. Но где же тогда деревня?

Я послал троих в лес, что напротив, на разведку.

— Идите осторожно.

Они отправились. Вернулись минут через двадцать. Старший группы дозорных доложил:

— Там город в лесу!..

Мне не поверилось. Я вооружился биноклем. Долго вглядывался и вот наконец рассмотрел за высокими деревьями заводские трубы. Снова сверился с картой. Явная ошибка. А дело, видно, в том, что напечатана-то она, как оказалось, еще в тысяча девятьсот двадцать пятом году.

— Что вы увидали? — спросил я дозорных.

— Там все словно вымерло. Ни души вокруг.

Двинули вперед, держась друг от друга на расстоянии десяти метров. Автоматы и винтовки у всех наготове, минометы следуют за нами на повозках.

На улицах под снегом асфальт. На свежевыпавшем снежном покрове ни следа. Снег недавний, еще не слежавшийся. Дня два, видно, как эвакуировалось население.

Шли от улицы к улице. Дома двухэтажные, укрытые широкими кронами высоченных деревьев. Небось если сверху смотреть, серых крыш и не увидишь. Я вошел в первое попавшееся здание. Внутри оно похоже на общежитие. Мебели почти никакой, только железные кровати и грязное, замызганное подобие постельного белья на них. Женщин и детей тут явно не было.

Это конечно же засекреченный заводской поселок, потому-то его и на карте не оказалось. Десятки труб, для маскировки выкрашенных в зеленый цвет, высятся параллельно стволам деревьев. В центре поселка маленькая площадь. Отсюда лучами расходятся подземные ходы. Все цеха и заводы, надо полагать, расположены под землей. Электричество и телефоны отключены. Два входа в подземелье взорваны.

Поселок оказался не такой уж большой, и мы скоро полностью его обследовали. Я тут же написал докладную и с двумя вестовыми послал ее командиру полка.

Мы расселись на обочине широкого шоссе и стали ждать дальнейших приказаний.

Каменное безмолвие. Меня пугают дыбящиеся между деревьями кирпичные трубы, но еще страшнее кладбищенская тишина.

Сахнов вдруг сказал:

— Пить хочется, пивка бы по кружке. Слыхал я, будто у немцев оно особенное...

Никто ему не ответил. Безмолвие. Как это, оказывается, страшно — безмолвие! Только далеко-далеко гулко грохочет канонада.

Безмолвие. Не молчи, лес! Я отвык от тишины.

На дороге показалась машина. Она шла медленно, потом вдруг остановилась. Наверное, нас заметили. Я приказал солдатам залечь. Кто знает, что за машина. Глянул в бинокль, вижу, это одна из наших дивизионных машин. Мы поднялись.

Машина тихо тронулась с места, видно, узнали нас и помчали навстречу.

Из машины вышел майор, начальник разведгруппы:

— Что вы тут обнаружили?

Я доложил обстановку. Он осмотрел поселок, заглянул во входы, ведущие в подземелье, и, подняв руку, сказал:

— Сюда не заходить. Тут все заминировано.

Мы заготовили предупредительные таблички: «Внимание! Заминировано!» — и развесили их там, где следовало.

— А вы знаете, товарищи? — сказал майор. — Вами обнаружен важный военный объект...

Сегодня десятое января. Уже тринадцать дней, как мне двадцать один год. В записях моих удивление.

ОЛЕНИНА

Идем лесами. И как-то радостно на душе. Видно, все леса внушают людям радость, веру в неизбывную жизнь.

Отряды немецкого арьергарда оснащены мотоциклами и небольшими машинами. Часто неожиданно завязывают с нами бои, но после двух-трех стычек откатываются.

Нам вдруг преградили дорогу проволочные заграждения. Колючая стена метра в три высотой тянется бог весть как далеко.

Мы долго искали, но все же нашли проход в этой стене. Только подобрались к нему, как мимо, на удивление нам, пронеслось большое стадо вспугнутых оленей. Один из солдат успел выстрелить, и я увидел, как олень упал в снег, попытался подняться, но не смог и остался лежать, вытянув на снегу свою длинную шею.

В этот вечер мои ребята отведали по куску жаренной на вертеле оленины.

* * *

Ранним утром из лесу вышло стадо диких кабанов. Ошалев от артиллерийской канонады, оно бросилось через дорогу. Мы ехали в санях. Стадо ураганом пронеслось мимо.

Восемь дней уже непрерывно ведем наступательные бои. Оторваны от всего. Где-то застряла наша полевая почта. Писем не получаю и сам не пишу — некогда. Солдаты мои сыты. Даже водки иногда перепадет. Сахнов, прежде чем раздать ее, сам дегустирует — не отравлена ли? Выдает только по сто граммов на человека.

Где-то мои ребята раздобыли спирт. Сахнов сказал, что пить его нельзя, древесный он, для промышленных нужд.

Был у меня когда-то случай в роте. Прибыл в пополнение запасник лет сорока. Знал я его еще плохо. Кто-то поднес ему древесного спирта. Он выпил и потерял сознание. Уложили мы его на повозку, вызвали врача из медсанбата. Только ничем уже нельзя было помочь.

— Не выживет, — сказал врач. — Сжег себе все нутро.

Солдат тот умер. Я тогда предложил парторгу роты написать об этом случае в «Боевой листок». Может, кому и послужило в назидание. Вот ведь и Сахнов, может, тоже с тех пор осторожен с

древесным спиртом. И этот, что ребята добыли, забрал на хозяйственные нужды.

* * *

Все еще холодно, но Сахнов уже жалуется, что в полушубке ему невмоготу.

Он теперь у нас чин по чину: почти каждый день бреется. И письма жене пишет длинные...

Мы вышли к железной дороге и прямо наткнулись на длиннющий товарный состав, брошенный немцами. Паровоза у состава нет, видно, на нем и драпанули противнички.

Открыли вагоны: чего там только нет! Тюки материи, готовая одежда, обувь.

— Возьми кое-что, пошли жене, — предложил я Сахнову.

Он обиделся:

— Зачем вы мне такое говорите? Проверяете, правда ли, что завязал?..

— Но это же трофеи! Мы берем их на поле боя, какое же тут воровство?

— Нет уж, не свое — не тронь.

Милый Сахнов, как же я рад за него!

* * *

Немецкие укрепления у Мазурских озер рушатся одно за другим.

В каком-то поместье близ Инстенбурга Сахнов раздобыл роскошную карету (кто ее только сберег?). Он впряг в нее двух скакунов и по очереди предлагал всем покататься.

— Ну, теперь вы настоящий фельдмаршал Кутузов, сынок, — сказал он, смеясь, когда в карету сел я.

Каретой Сахнов не ограничился. Опять собирает плуги, сеялки, лемеха и телеги.

— Хоть бы одну-разъединую телегу послать нашим... — вздыхает он.

Но как ее отсюда отправишь?

Сегодня двадцатое января. Уже двадцать три дня, как мне двадцать один год. В записях моих усталость.

ПРИБЛИЖАЕТСЯ КОНЕЦ

Мы уже километров сто прошли вперед, в обход Мазурских озер.

Из штаба полка у меня затребовали предложения на моих солдат для представления их к награде. Я усадил Сахнова писать. Первой продиктовал его фамилию. Орден Красного Знамени. Он замахал руками:

— Да что вы, сынок, мне хватит медали «За отвагу»! Не забывайте про мое прошлое-то...

Я обнял его. Раненый глаз заблестел слезой.

Мой верный боевой товарищ, по мне, так ты достоин ордена Ленина.

* * *

Я у себя на наблюдательном пункте. Вокруг рвутся снаряды противника. Со мной Сахнов. Я заговорил с ним о том, что пора бы ему уже из кандидатов в члены партии переходить...

Он испытующе глянул на меня.

— А может, еще погодить, товарищ старший лейтенант? Вы же понимаете...

— Понимаю. Все понимаю. Забудь о прошлом, Сахнов, ты смыл его своей кровью и преданной службой Родине в ее самые трудные годы. Уже четыре года ты защищаешь Родину.

Вечером, прямо в окопах, состоялось партсобрание коммунистов нашей роты. Оно длилось всего несколько минут. Времени у нас нет, да и долго быть всем в сборе опасно.

Сахнов обнял меня, улыбнулся сквозь слезы:

— Вот теперь я человек, сынок!..

Сказал, тяжело вздохнул и пошел на позиции. Война...

* * *

Заняли еще одну деревню. Навстречу нам идет большая колонна женщин и детей. Мы только что выдворили гитлеровцев. Стволы моих минометов не успели остыть.

Колонна идет медленно, как бы покачиваясь. Какое-то тяжелое предчувствие сдавило мне грудь. Они подошли совсем близко и вдруг заголосили, кинулись к нам:

— Родные!

Наши!.. Окружили нас.

— Милые, родненькие!..

Наши! Насильно угнанные фашистами в первые годы войны в неволю.

— Ах, родненькие вы наши!..

Плачут, в глазах еще испуг. А одежда на них! Ужас! Одни лохмотья. Бедные, боятся поверить, что свободны наконец.

Мои ребята тоже, глядя на них, чуть не плачут.

Все о чем-то друг друга спрашивают.

И Сахнов, слышу, кричит:

— Из Верхней Борисовки, что в Смоленской области, есть кто-нибудь?

И нашел ведь. Женщина вызвалась. Кожа да кости... Девочка рядом, смеется и плачет, рвет с себя обноски:

— Я мальчик, мальчик!..

Это, оказывается, мать, как угоняли в рабство, надела на него платье.

— Надеялась, так спасу его, а то ведь на месте бы убили...

Мальчику лет четырнадцать-пятнадцать. Он и плачет уже как-то по-девичьи. Шутка ли, четыре года не быть самим собой, все время настороже... Мои солдаты одели его. Сахнов отдал пареньку свой полушубок.

— Ах, родненькие!..

Их пятьсот человек, взрослых и детей. Я поднялся на повозку. С трудом преодолеваю волнение:

— Матери и сестры! Вот вы и свободны! Мы побеждаем...

Мы отдали женщинам трофейные повозки с лошадьми. Сахнов нагрузил одну из повозок своими плугами, лемехами, одеждой и отдал односельчанам — женщине с мальчиком.

— Довезите к нам в деревню. Слышите? И передайте моей Гале, что мы скоро победим и я вернусь.

Мы как смогли одели людей, дали им продуктов на дорогу и проводили.

Караван медленно тронулся на восток. Я облегченно вздохнул, глядя на это шествие освобожденных людей.

* * *

Перед нами довольно большой хутор. Он огорожен высокой каменной стеной. Таких хуторов-крепостей в этих краях много. Это, по сути, поместья. Они являются собственностью воинственных хозяйчиков Восточной Пруссии. Все обнесены противотанковыми рвами и колючей проволокой...

За этот хутор мы бились четыре часа. И наконец, войдя в него, мы увидели пылающие амбары. Хозяева подожгли их, перед тем как бежать.

* * *

Наступила ночь. Можно и передохнуть. Сахнов растопил печь в просторной комнате, откуда-то приволок одеяло, подушку. Я впервые за много месяцев разделся и лег в постель. Все пуховое,

теплое. Сон сморил за минуту. Но поспать мне не дали. Командир пехотного батальона, в состав которого сейчас входит моя рота, прислал за мной связного, требует срочно явиться.

Комбат вместе со своими офицерами расположился в большом просторном зале. Тут сейчас собралось человек восемь-девять офицеров. Горят свечи. Странно, но очень много и молодых женщин, девушек... Неужели немки?

— Приветствую, старший лейтенант, — сказал командир батальона. — Ты, случаем, по-ихнему не говоришь?

— Нет, немецкого я не знаю.

Капитан засмеялся:

— Какой немецкий! Они француженки, тоже в неволе тут были. Порасспроси-ка их поподробнее.

— Так я и французского не знаю...

— Эх, ты! — досадливо качнул головой капитан. — А еще армянин. Я думал, знаешь...

Хрупкие, молоденькие француженки искрятся радостью. Общими усилиями мы разобрались, что гитлеровцы насильно вывезли их из Франции. Они все батрачили здесь на местного владыку — барона.

— О мсье, мерси...

Необыкновенно счастливые лица у всех освобожденных. И потому сейчас все эти девушки кажутся такими красивыми, и мне так их жаль. Так жаль... Глядя на них, я вспоминаю о Шуре, и сердце мое обливается кровью.

Капитан подарил девушкам ящик изюма, изъятый из подвалов барона.

— Берите с собой в дорогу, чтоб было чем червяка заморить.

— О мсье, мерси...

На ящике с изюмом написано: «Турция». Вон кто услаждал гитлеровцев изюмом!..

Француженки что-то без умолку говорят нам, но мы не понимаем.

У меня перед глазами Шура. Спасая чужих мне людей, я уже никогда не увижу Шуры...

С грехом пополам мы втолковывали француженкам, что они могут, ничего не боясь, пробираться к себе на родину.

* * *

Это уже сорок пятый год, люди!

Скоро четыре года, как идет война.

Сахнов говорит, что вот-вот придет весна. Когда она придет?! Вокруг зима. Оттепелью и не пахнет. Где она, эта весна?!

* * *

Сахнов получил письмо от своей Гали. Повозку с плугами и лемехами они получили. «Большое спасибо тебе, родной мой...»

* * *

Этот хутор окружен поясом сильно укрепленных оборонительных сооружений.

Снова бой. Рушится все: ограждения, дома, церкви. Неужели же не будет этому конца. Неужели человечество не обрушит наконец глыбищу на этот трижды проклятый фашизм, чтоб никак ему больше не подняться!..

* * *

Устал я от всего, и нет больше сил, мутит от ужасов, о которых пишу. Разве надо, чтобы кто-то еще потом, после меня, стал это читать? Сам-то я никому не покажу своих записей.

* * *

Грустно от сознания, что фиалки наступающей весны и всех грядущих весен, может случиться, будут цвести и благоухать в наших ущельях и скалах, увы, без меня.

Сегодня двадцать шестое января. Уже двадцать девять дней, как мне двадцать один год. Записи мои беспорядочны.

К МОРЮ

Мазурские озера уже далеко позади, и теперь мы повернули на запад, к морю, к Кенигсбергу.

— Большой город. И порт, и крепость! — говорит Элкснитес. — Река Преголь связывает его с Балтийским морем. В реку эту даже океанские корабли заходят.

Через Преголь перекинуты мосты. Все они разводные. Их обычно разводят, когда проходят корабли, и на ночь. Сейчас все мосты разведены. Немцы, видно, на кораблях покинули город.

Мы перебирались через реку на плотах. Преголь — река незамерзающая. Вот и город. Я пытаюсь разглядеть в бинокль укрепления, но это далеко, да и туман с моря. Видны только купола соборов и темные стены цитадели.

А ведь дошли до Кенигсберга!.. Из души невольно вырывается вздох облегчения и... удивления.

Надо написать домой.

Сегодня тридцатое января. Уже месяц и три дня, как мне двадцать один год. В записях моих дыхание моря.

МОЯ КРОВЬ НА СНЕГУ

Первые дни февраля.

Кенигсберг в кольце окружения. В городе сконцентрировано огромное количество гитлеровских войск, оружия и продовольствия. Это крепость, укрепленная четырьмя линиями мощных оборонительных сооружений. Наш полк стоит против восьмого форта.

Командование нашего фронта предложило осажденному немецкому гарнизону добровольно сложить оружие во избежание бессмысленного кровопролития. Гитлеровцы предложение отклонили.

Разведка доложила, что укрепления противника почти неприступны.

Что ж, раз не желают сдаваться, придется им испытать силу нашего удара. И мы начали бить. Едва ли кому-нибудь из гитлеровцев в те дни думалось, что и они вдруг могут оказаться в

столь грозной осаде. Как некогда сказал великий Фирдоуси: «День ты в седле, день на тебе седло».

По ответному огню противника чувствуется, что снаряды они берегут. Ясное дело, ведь окружены со всех сторон.

Часть войск нашего фронта продолжает продвигаться к морю.

Мой наблюдательный пункт на невысоком холме. Со мной Сахнов, связисты и два наблюдателя. Отсюда очень хорошо просматривается участок обстрела.

Метр за метром я «обрабатываю» его минометным огнем.

По данным разведки, мы знаем, что форты противника по существу неодолимы. Железобетонные, глубокого залегания и с таким толстым и прочным покрытием, они почти неуязвимы даже для самых тяжелых бомб!

— А как же мы будем брать их? — недоумевает Сахнов.

— Штурмом. Ценой человеческих жизней.

— Какие потери ведь будут, а?..

Да, потерь будет много...

Наши войска вышли к берегу моря. Устье Преголя стало кладбищем немецких военных кораблей. Наша артиллерия, Балтийский флот и особенно авиация не дают ни одному их судну выйти в море. Уничтожают прямо в порту.

Мы тоже крушим оборону Кенигсберга. Бьем непрерывным огнем артиллерии, минометов и с воздуха. Как донесла разведка, в городе пять немецких дивизий и гарнизонные войска.

* * *

Противник контратакует.

Сначала появились танки, потом из фортов вышли соединения пехоты, и под прикрытием артиллерийского огня противник двинулся в атаку.

Снова жаркий бой. И я опять в своей стихии. Вокруг разрываются снаряды, над головой проносятся осколки, а я, зарывшись в землю, не отрываю глаз от окуляров стереотрубы, ясно вижу противника и направляю огонь моих минометов.

Грохот стоит невообразимый. Исчезла снежная белизна. Артиллерия разворотила окрест всю землю.

Убило одного из моих связистов. Я оттащил его тело в сторону. Снял наушники и надел себе. Где-то на линии произошел обрыв. Прекратилась связь с батареей. Пришлось выползти из окопа. К счастью, обрыв был совсем рядом. Я соединил концы проводов и повернул обратно. Вдруг рядом разорвалась мина. Я еще глубже вжался в землю. У пояса стало как-то горячо. Я сполз в свой окоп. Там еще был снег, и я увидел, что на нем остается кровь после меня. Это моя кровь. Снял полушубок, задрал гимнастерку и вижу, пуля попала в живот. Кровь льется не переставая. Я зажал рану платком. Сделал глубокий вдох. Порядок, кишки на месте. Значит, пуля прошла только поверху, и мы еще поживем. Но что это? Чувствую, что теряю сознание. И рядом никого. Убитый связист помочь не может. И Сахнова нет. Я связался по рации с командиром первого взвода:

— Лейтенант, проберитесь ко мне в окоп, подмените. Я ранен.

* * *

В себя я пришел уже в санях. Подо мной сухая трава и шуба. Укрыт я каким-то ковром. Передо мной спина Сахнова. Он во весь опор гонит лошаденку. Лес. По обе стороны просеки высятся деревья, издали доносится гул орудий с передовой. В животе жжет.

— Куда ты везешь меня, Сахнов?

— Понятно, что не к теще.

— Поворачивай назад.

Сахнов знай себе погоняет лошадь. И она мчится.

— Смотрите-ка, назад ему хочется, сынку моему, — громко приговаривает Сахнов. — А куда назад? Я уж почти домчал вас до санбата. Командир батальона мне точно указал дорогу. Вы лучше скажите: как вам? Очень худо?

Я молчу. Сахнов не оглядывается. Знает, что молчу с досады.

— Пуля только брюшину вам пропорола, сынок, в нутро, слава богу, не прошла, не то бы... Рана у вас не опасная, только крови много потеряли. Ничего, в санбате подлечитесь.

* * *

Врач обрабатывает мне рану. Я вглядываюсь в него. Смуглый, вроде азербайджанец.

— Как ваша фамилия? — спрашиваю.

— Ахундов.

— Не из Баку?

— Да.

— Случайно, не родственник ли Мирзы Фатали Ахундова[15]?

— Все может быть, — улыбается доктор.

Он дал мне разбавленного спирта. Потом чаю и масла.

А вскоре меня уложили на телегу и отправили в госпиталь.

— Счастливого пути, — говорит доктор.

— Спасибо.

Телегу трясет. Кричат от боли шестеро раненых, что лежат со мной рядом. От тряски и я вроде теряю сознание. Хоть бы на машине перевезли.

Трясет телегу. А в глазах моих кровь.

Кровь на снегу… Что там сейчас делают Сахнов, карабахец Мушег, все остальные… Выжили бы, ребятушки! До конца войны ведь так мало осталось.

* * *

Мы в Инстенбурге, он тоже на берегу Преголя.

Госпиталь размещается в старинном двухэтажном здании. Меня положили на второй полке трехъярусных деревянных нар. Огромный зал полон раненых.

Я в сознании. Нас накормили. И теперь очень хочется пить.

Сегодня девятое февраля. Ранило меня седьмого. Спрашиваю доктора, который перевязку мне делает:

— Скоро на ноги встану?

— Скоро, — улыбается он. — Рана у вас не опасная. Вот если бы пуля вошла чуть глубже, тогда было бы хуже.

* * *

Уже неделю я в госпитале. Начинаю приходить в себя. Домой писать не хочется. Писать, что ранен? Перепугаются насмерть, чего только не передумают!..

Эх, а у нас-то ведь там сейчас весна!..

Рядом со мной лежит раненный в ногу. Он мечется, бредит. Я позвал медсестру. Она пришла, осмотрела его ногу и быстро удалилась. А спустя минут десять раненого унесли на носилках. Сестра сказала!

— У него гангрена.

Солдат умер. Я даже имени его не узнал. А ведь рядом лежали... Тяжелую ночь я провел.

* * *

Уже хожу.

Утро. Собираемся завтракать. Вошел заместитель начальника госпиталя по политической части.

— Товарищи солдаты и офицеры. Печальную весть я должен сообщить вам. Сегодня от тяжелого ранения скончался командующий Третьим Белорусским фронтом генерал армии Иван Дмитриевич Черняховский.

Зал, полный раненых, дрогнул под тяжестью вздоха отчаянья. Голос замполита дрожал.

Кто-то всхлипнул рядом. А может, это я?..

В тот день прах Черняховского привезли в Инстенбург. Загудели паровозы, раздались артиллерийские залпы. Те из раненых, кто

мог ходить, поднялись и застыли в молчании. Все мы чтили память нашего прославленного командующего.

Восемнадцатое февраля.

* * *

Я уже здоров.

Меня выписали из госпиталя и направили в батальон для выздоравливающих. Несколько дней на подкрепление сил — и снова фронт.

Я обратился к командиру батальона с просьбой отправить меня в мой полк.

Он нахмурился:

— Пора уже научиться порядку. Куда надо, туда и отправим. Идите и ждите приказа.

— Есть ждать приказа!

Вернулся в офицерскую казарму, и меня сразу же назначили дежурным.

Наутро, позавтракав в столовой, я вышел на шоссе. Неиссякаемым потоком шли по нему грузовые машины в сторону Кенигсберга. Я вскочил в кузов одной из них и поехал.

* * *

Ищу свою дивизию. Но никто не знает, где она находится. Я уже начинаю бояться, как бы ребята из особого отдела не сцапали меня в качестве дезертира. Сумею ли я тогда убедить их, что

сбежал из батальона для выздоравливающих, чтобы разыскать свою дивизию — свой дом.

Я уж и надежду потерял, да вдруг счастливая случайность: вижу на обочине дороги, у землянок, стоит знакомая машина. Неужто нашего комдива? Точно. Узнаю и шофера.

Не успел поздороваться с шофером, как из землянки вышли наш генерал и его замполит. Я вытянулся перед ними.

— Товарищ генерал, разрешите доложить? Выписался из госпиталя и вот ищу свой полк...

Он узнал меня:

— А, очень рад. Едемте с нами.

Я уселся на мягкое сиденье. Генерал сказал замполиту:

— Надо собрать из госпиталей всех наших людей.

* * *

Под вечер я добрался до своей роты. Сменивший меня офицер погиб. Теперь уж другой вместо него.

— У нас очень много потерь, — сказал он.

Старых моих солдат в живых осталось всего ничего, человек двадцать. И Сахнов, слава богу, жив. Они все радостно окружили меня. Я соединился с командиром полка, доложил о возвращении.

— Рад, что прибыл, — сказал он. — Мы, между прочим, представили тебя к ордену. Ну, принимай свою роту.

* * *

Зима, снег.

А в горах наших сейчас уже весна.

Сахнов передал мне пачку писем.

— Это все, что вам пришло, — сказал он виновато. — И уж простите меня... Саблю я вашу не уберег...

Мою саблю, ту, что мне подарил полковник Рудко на Нарвском плацдарме? Ах, как досадно! Но я стараюсь не выказать своего огорчения Сахнову. Спрашиваю, есть ли весточки от Гали.

— Пишет письма. Все у нее в порядке. Восстанавливают хозяйство.

— Посылки ей шлешь?

— Нет.

— Посылай каждый день.

Сегодня двадцать первое февраля. Уже месяц и двадцать четыре дня, как мне двадцать один год. В записях моих домом веет.

ДАЛЬНИЕ КЛИКИ

А на Шуриной могиле скоро уж, наверное, зазеленеет трава...

Как-то я чуть было не порвал все свои записи. Сахнов не дал.

— Вы что, с ума сошли? — набросился он.

— А кому все это нужно, Сахнов? Кому?..

— Тем, кто придет после нас. Пусть знают, как мы отстояли нашу землю.

* * *

Мне присвоили звание капитана. На моем настроении это никак не сказалось, только звездочка на погонах прибавилась.

Мы все там же, под Кенигсбергом. Видны башни, купола церквей. Время от времени кое-какие из них взрываются, горят, рушатся.

Несколько тысяч орудий день и ночь бьют по этой прусской цитадели.

Немцы хотят любой ценой сохранить за собой подступы к реке Преголь, чтобы иметь выход к морю. Но нет им выхода к морю. Наши военные корабли закрыли его, а бомбардировщики крушат все и вся.

В городе сконцентрировано почти все население Восточной Пруссии, те, кто надеялся морем уйти на запад. А море закрыто.

Кенигсберг истекал кровью.

Наше командование вновь предложило гарнизону Кенигсберга сложить оружие. Противник отказался и на этот раз.

* * *

Весна. Преголь уносит в море трупы. Я вспоминаю Волхов под Новгородом. Он был полон трупов. Вспоминаю заледеневшее тело убитого Серожа. И теперь такая же картина. Только немецкая река Преголь уносит трупы немцев.

Почему все это так? Зачем? — донимает меня этот вопрос.

Зачем?..

Ответа нет. Нет... А почему нет? Кто же должен ответить за пролитую кровь, за разрушения?..

* * *

Чуть задремлю, и передо мной тотчас песок Балхаша и Шура. Просыпаюсь — и чудится, будто слышу голос Шуры:

«Забыл уж меня?..»

Ослепнуть мне, если забыл...

Командующий нашим фронтом теперь маршал Василевский. Он заменил Черняховского. Имя его всем хорошо известно и популярно.

Чуть севернее от нас Первый Прибалтийский фронт. Им командует генерал армии Иван Христофорович Баграмян. Мне думается, что настоящее его имя Ованес. У армян это то же, что у русских Иван. Кто-то сказал мне, что генерал родом из Карабаха. Мечтаю хоть разок увидать полководца-армянина.

Я на старом своем НП. Каждый раз, залезая в окоп, смотрю, нет ли в нем следов моей крови. Но тот снег давно уж растаял и унес с собой мою кровь.

Противник время от времени контратакует нас, но безуспешно.

Весна. Март. Только теперь я заметил, как много тут вишневых деревьев. Маленькие, какие-то придавленные. И все они изранены, побиты. Тяжело и деревьям на фронте.

* * *

Диво дивное: раненые деревья вдруг зацвели. Зацвели среди рвов и воронок, заулыбались, осветили развороченную землю. Ах, бессовестная весна, как ты можешь так невинно, так искусительно улыбаться?..

Троих солдат из моей рты убило, четверых ранило. Этих отправили в госпиталь. Все множатся и множатся могилы наших ребят на этой прусской земле. Я говорю Ерину:

— Земля, где наши могилы, должна быть нашей.

Ерин насупился.

— В старину тут жили славяне, — сказал он, — потом пруссаки захватили у них землю... Ничего, теперь мы вернем ее обратно.

Сегодня второе апреля. Три месяца и пять дней, как мне двадцать один год. В записях моих уверенность.

ЛЮДИ, УЖЕ ВЕСНА...

По-весеннему греет солнце. Окоп мой зазеленел. Трава мягкая. Хочется лечь и попросить Сахнова засыпать меня землей.

— Хочу заснуть вечным сном. Шура ведь спит...

Над землей теплый пар. А вон у пулемета стебелек полевой гвоздики покачивает головкой, бьется о ствол.

Внизу рокочет Преголь, а мне вспоминается фиалка, та, из наших ущелий...

* * *

Восход. Пытаемся штурмом овладеть Кенигсбергом. Не удается.

Мои записи веду на немецкой бумаге. Она белая, гладкая, и ее много.

Зашел Лусеген. Он мрачен, на глазах слезы.

— Убьют меня сегодня...

Мне вспомнился Гопин, и я ничего не сказал.

Он тяжело посмотрел на меня.

— Крест потерял...

— Какой еще крест?

— Тот, что мать мне с собой дала, крест Ани. Потерял вместе с бумажником. Там был еще и комсомольский билет, и письма матери тоже...

— Ну что ты! Мы же на фронте, и не такое бывает. Потерял так потерял...

— Меня убьют...

Ну как его успокоить?.. Как уверить, что он не будет убит? Каждый день ведь кто-нибудь из моих ребят гибнет здесь, под стенами Кенигсберга...

Мне жаль Лусегена. И ему жаль, что потерял крест Ани. Кто знает, может, от потерянного Ани только этот крест и оставался?.. А теперь вот и он утерян...

Лусеген безутешен. Он отчаялся. А отчаяние страшнее врага.

* * *

Вечер. Я пошел в штаб поблизости, поговорить о боеприпасах. На утро назначено наступление.

Какое сегодня число?.. Не помню. Только знаю, что в наших ущельях уже цветут фиалки...

В штабе один из знакомых офицеров протянул мне небольшой черный кожаный бумажник.

— Нашел. Там, по-моему, написано что-то на вашем языке.

Письма на армянском языке. И крест!.. Под счастливой звездой ты родился, Лусеген! Нашелся твой крест.

Я вернулся в роту. Лусеген палит из своего миномета. Молчаливый и мрачный, ожесточенно бьет — мина за миной.

— Ты еще жив, Лусеген?

— Убьют, — проворчал он. — Крест-то мой потерян.

Я сунул ему его крест. Он от радости грохнулся на колени и приложился губами к кресту, совсем как в молельне.

— Все! — сказал он уверенно. — Теперь буду жить!

Поздно вечером его ранило в ногу. Рана не тяжелая. Я проводил его в тыл.

* * *

Ночью прошел дождь, первый весенний дождь у Балтийского моря, в Восточной Пруссии. Надо сказать, что воевать нам здесь, под Кенигсбергом, легче. Во всяком случае, так мне кажется. Может, это оттого, что я уже давно солдат? А может, потому, что мы в Германии, в логове врага? И хотя ведем мы здесь тяжелые,

кровопролитные бои, но переношу я их относительно легко. Мы даже иногда с моими людьми поем под грохот наших минометов.

Утро. Я сбросил с себя полушубок. На мне шинель. И в ушанке жарко. Чувствую теплое дыхание весны.

Мы побеждаем фашизм...

Ночью прошел дождь, первый весенний дождь.

Сейчас надо мной светит доброе, нежаркое солнце, синеет покойное небо. Все кажется необыкновенным. И даже грохот орудий и минометов сейчас какой-то другой, не столь грозный...

На дороге, ведущей к нашим позициям, валяется перевернутая повозка. Под ней раскрытая книга. Я подошел поближе и ахнул от удивления. Раффи?! Дух захватило. Подлез под повозку, вытянул книгу. Нет, это не Раффи, это Мурацан[16], его «Геворг Марзпетуни» на русском языке. Обложка оторвана, но все страницы на месте. Надо же, куда ее занесло, любимую книгу детства, великую легенду о героическом прошлом моего народа!

Мои ребята разожгли было костер, хотели воды погреть, но начался бой, и сейчас они у минометов. Я подержал книгу над горячей золой и страницу за страницей высушил ее. Милая ты моя, как ты сюда попала, кто пронес тебя от родной земли до этих чужедальних краев?..

Вечером к нам на позиции зашел командир полка. Увидав книгу, он спросил.

— Что за книга?

Я рассказал. Он попросил ее на ночь, хоть перелистать. А утром снова зашел и говорит:

— Глаз не сомкнул. Очень занимательная. Да, у вас, армян, история героическая, и народ храбрый, самоотверженный. Надо, чтоб люди почитали эту книгу.

Командир полка посоветовал всем офицерам в полку прочесть «Геворга Марзпетуни». Первым читал начальник штаба полка, майор Прикул. Закончив, он расписался на последней странице. За ним все, кто читал, тоже расписывались. Скоро полей не осталось, пришлось подклеить белой бумаги.

В эти дни в нашем 261-м стрелковом полку много говорили о «Геворге Марзпетуни». И казалось, что полководец минувших столетий снова сражается в наших рядах.

* * *

Сахнов никак не может правильно произнести «Кенигсберг». И все чертыхается:

— Вот ведь придумали, не выговоришь!..

Серый город виден ясно и отчетливо. Крепостной вал цитадели, купола храмов, река и многое другое. Он похож на сжатый кулак.

Ночью был дождь, а утром выглянуло солнце, и крыши домов заблестели. Но это только на мгновение. Солнце спряталось, и снова перед нами серый, мрачный город.

Меня вызвали в штаб полка: нам сообщают кое-какие дополнительные подробности о Кенигсберге. Перед боем все надо знать, если даже перед нами небольшая высотка с засевшим за ней противником. А тут огромный город. И брать его будет ох как нелегко! Во всей Европе не много эдаких крепостей. Издревле он окружен укреплениями. А перед первой мировой войной немцы еще построили линию железобетонных оборонительных сооружений, понаставили форты на берегу Преголя...

Нашей дивизии предстоит штурмовать восьмой форт.

Выглядит он грозно, на высоком, длинном холме, нависающем над рекой.

— Крепкий орешек! — говорит о нем начальник штаба дивизии. — Стены кирпичные, в три метра толщиной. И такие же мощные оборонительные сооружения по обе стороны стен...

Начальник штаба ничего не преувеличивает. Все это серьезно, но не страшно. И какою бы мощной ни была эта крепость, мы уверены, что возьмем ее. Одолеем. С боевых башен противник может вести круговой обстрел, контролируя каждый метр на подступах к городу. В крепости лабиринт подземных ходов, укреплены арсеналы...

— Форт, который мы должны занять, очень силен. В нем установлено шестьдесят четыре тяжелых пулемета, — объясняет начальник штаба. — Каждый пулемет обслуживают три смены расчетов. Им придано десять артиллерийских батарей...

Все эти сведения точны: форт хорошо просматривается в бинокли и даже невооруженным глазом.

* * *

Утро. Началось генеральное сражение наших войск за Кенигсберг.

Моя рота вблизи одной из башен форта, который предстоит брать нашему полку. Ночью мы вырыли надежные укрытия для минометов и теперь бьем по крепости.

Штурм начался в восемь тридцать утра. Грохочет само небо, скрытое от нас столбами взрывающейся земли. Все кругом горит, пылает. В секунду несколько сот мин, снарядов и бомб обрушивается на головы противника.

Сахнов то и дело утирает со лба пот.

— В штыковую атаку бы надо пойти, — говорит он. — Эдакий орех только штыком и пропорешь.

Его слова вызывают у солдат смех. Как бы не так, подойдешь к ней, к такой твердыне, со штыком...

* * *

Четыре дня и ночи мы бьем по Кенигсбергу. Стволы минометов перегреваются. Я периодически даю им «отдых», то одному, то другому. Эдак на полчаса. И солдаты по очереди спят понемногу прямо у минометов или в траншеях. У меня глаза воспаленные, веки набрякшие, еле на ногах держусь от усталости. Но тяжести в голове нет, и ко сну не клонит.

* * *

Наши фланговые части ворвались в город. Мне об этом сообщили по рации, и я тут же передал новость своим солдатам. Они приободрились. Их особенно воодушевляют беспрерывные атаки нашей авиации.

* * *

Полдень. Мне приказали приблизиться к крепости. Мы взвалили минометы на плечи и бегом проделали два километра. Земля у нас под ногами разворочена, взрыхлена, хоть сейчас бросай в нее семена пшеницы — даст всходы.

* * *

Моя рота уже в пределах города. Мы установили минометы под стеной внутренней линии обороны и бьем по крепостным

башням, откуда пулеметы противника все еще преграждают путь нашей пехоте.

Бой смертельный. Деремся на улицах, в развалинах домов. И часто врукопашную. Пехота наша несет большие потери.

Улицы здесь узкие. Здания обрушиваются прямо нам на позиции. Тут и там трупы гитлеровцев, и все больше офицерье.

Вот рухнула башня. Оттуда кинулись вниз несколько солдат противника и разбились на грудах камней и кирпича.

Из ближних развалин вышли три немца. В руках у каждого по белому флажку.

— Сдаемся...

Они испуганны и растерянны. Через переводчика спрашиваю:

— Что же вы раньше думали? Конец ведь вам. Город зря погубили.

Один из немцев, старший по званию, сказал:

— А почему вы не сдавались под Москвой?

— Неудачное сопоставление. Москвы вам бы, как своих ушей не видать. И к тому же там никто из наших не сдавался в плен, как вы сейчас.

Немец перекосился.

— Да, да. Мы не сдавались, а вы сдаетесь. Так не лучше ли было сделать это раньше?

Немец в ярости закинул подальше белый флажок и молча уткнулся лицом в ладони.

Кенигсберг погибает.

* * *

Ночь на шестое апреля. Штурмуем внутреннюю линию укрепления города. Небо и земля смешались?-Атакуем беспрерывно. Сахнов с Мушегом подорвали еще одну башню. Едва рассеялась пыль, стали группами выходить немцы. Сдаются. К нам и генерал даже попал.

* * *

Девятое апреля. Тишина.

Сахнов где-то добыл мне великолепной бумаги и самописку.

Из окон полуразрушенных зданий свисают белые флаги.

Кенигсберг капитулирует.

* * *

Мы под стенами цитадели. Тишина.

Солдаты мои варят в котелках еду.

Бронзовая голова кайзера Вильгельма раздвоена, ногу его лошади оторвало. У постамента тела двух убитых фашистов.

Узкие трамвайные вагоны лежат поваленные. Окна разрушенных зданий подобны глазницам слепого.

* * *

Ко мне подошли двое детишек, просят хлеб.

— Брот, брот...

Белобрысые мальчонки. Кроткие, испуганные. Сахнов отдал им весь наш паек: хлеб, сахар, масло.

— В войне больше всего жаль детей, — вздохнул Сахнов. И, помолчав, добавил: — Вы и про этих напишите, тоже ведь горе мыкают не по своей воле...

И женщины подошли к нам. Я вздрогнул — так одна из них показалась похожей на Шуру!.. Не забыл ли я, где могила Шуры? Нет, не забыл... Женщины попросили курева. Мы дали им.

— Ну и что скажут фрау?

Фрау молчат.

— По душе вам война?

Фрау молчат.

* * *

Под ухом у меня затрещал полевой телефон. Это командир полка.

— В городском саду засели эсэсовцы. Для ориентира — там неподалеку могила Канта. Ударь туда своими минометами.

Сахнов побежал поднимать роту. Бойцы побросали свои котелки как были, на огне, и ринулись к орудиям. Такой хороший день...

* * *

Весна. Где-то на дереве поет скворец. И я будто дома, у нас в сяду. Слушаю песнь нашего скворца. И слышу плач моей матери.

— Мамочка, милая потерпи еще немного. Как бы то ни было, я вернусь.

Итак, нам предстоит атаковать эсэсовцев.

Сахнов неспокоен. Его Галя должна была уже родить.

Рота моя выступает.

Идем в бой...

* * *

Встретил братьев Буткевичей. Они одеты по-походному. Через плечо скатки шинелей.

— Вот, уходим, — сказал Витя. — Прощайте!..

— Но куда?.. И почему?..

— В Суворовское училище. Это мы сами так захотели. Никто нас не принуждал. Да и война ведь уже кончается. Прощайте.

— Счастливого пути, ребята! — Я обнял их. — Желаю вам счастья! Большого, долгого счастья!..

На груди у каждого из братьев по две медали «За отвагу» и по ордену Красной Звезды. Сердце у меня сжалось! Милые мальчики, ведь в нашу победу и они вложили немалую толику...

Счастливого пути, дорогие мои, храбрые мальчишки! Счастливого пути!..

Я поспешил уйти, чтоб ребята не увидели навернувшихся мне на глаза слез...

Эсэсовцы сопротивлялись целый день и целую ночь, но к утру они все же сдались. А не сдались бы, так мы всех до одного уничтожили бы.

Сахнов развел костер прямо в окопе.

— Идите, погрейтесь, сынок.

Никто уже больше не боится, что враг приметит дым костра и начнет бить в нас. Ему теперь не до того.

Мы овладели Кенигсбергом и гоним противника к морю. Сегодня четырнадцатое апреля. Вчера наши войска освободили столицу Австрии Вену. Вена... Я знаю, что в этом городе есть мхитаристская конгрегация[171] и хранилище древних армянских рукописей. Не пострадали ли в войне манускрипты? Будем надеяться, что рукописи в Вене уцелели. О Вене писал в своей «Рушанской скале» Наири Зарьян. Как бы то ни было, гитлеровцам капут...

* * *

Мне позвонили из штаба полка. Начальник штаба майор Прикул, милый, смуглый, высокий латыш.

— Наши войска подошли к Берлину, друг мой. Бои идут на подступах к городу.

— И мы направимся туда? — спросил я.

— Наш путь лежит к морю...

К Балтийскому морю. Левым берегом Преголя с боями продвигаемся к морю...

Сахнов подоил здоровенную коровушку и протянул мне теплого, дымящегося парного молока.

— Пейте, сынок. Парное, полезно.

— Я что, больной, что ли?..

— Эх, отправить бы ее с теленочком да к нам в деревню. В колхозе-то ведь ни одной коровенки небось не осталось...

* * *

Двадцать второго апреля советские войска вели бои на подступах к Берлину, а двадцать пятого город был полностью окружен нашими.

Сахнов сетует:

— И почему наш полк не пошлют на Берлин?

— Ничего, — утешаю я. — Здесь тоже перед нами фашисты. Все дороги ведут в Берлин.

— И тем не менее, — разводит руками Сахнов.

* * *

Мои ребята у одной из деревень взяли пятьдесят шесть пленных. Это уже не прежние гитлеровцы, которые на берегах Волхова кричали: «Эй, Иван, иди сюда! Яйки ест, масло ест!»

Сахнов с презрением бормочет:

— Э-эх, ну какие же вы солдаты, коли у себя дома в плен сдаетесь? И не стыдно?

Один из пленных покачал головой:

— Капут, капут!..

— Что капут?

— Берлин, Гитлер капут.

— А вы что же, думали в Москве фокстрот танцевать? — злится Сахнов. — Теперь вы у нас в руках. Я русский и видел много худого от вас. Убийц надо убивать. Это даже Иисус Христос понимал.

— O, ja...

Согласны теперь. И не кто-нибудь, немецкий обер-лейтенант согласен. Перед тем как сдаться в плен, он привел свой мундир в порядок. Хотел выглядеть мужественным и храбрым. Ох, как нам знакомы эти серые мундиры!

Я еще помню страх, охвативший меня, когда впервые увидел форму немецкого солдата. Помню, хотя увидел я ее на убитом немце годы назад. Может, это странно, но помню. Гитлеровские каски не круглые, а как бычьи головы, с рогами-отростками. Пряжки на кожаных ремнях, как щиты. А кинжалы в ножнах у пояса казались мне змеями. Вот и сейчас мне чудится, что с кинжала этого обер-лейтенанта стекает кровь. Особенно противны у них сапоги, грубые, с высоченными голенищами. Каблуки большие, подкованные. Этими каблуками они топтали полотна Лувра, детей Праги, государственный флаг Польши и рукописи Льва Толстого в Ясной Поляне. Каблуки убийц... Синие, приподнятые спереди и сзади, фуражки гитлеровских офицеров кажутся разинутой пастью дракона. А чего стоит свастика?

Омерзительна мне форма фашистов...

Пленных мы отправили в тыл на специальный сборный пункт.

* * *

Из штаба полка сообщили, что остатки берлинского гарнизона сдались советским войскам. Все. Берлин пал. Над рейхстагом наше знамя. Сегодня второе мая. Наш флаг над рейхстагом поднят позавчера — тридцатого апреля. Я позвал Элкснитеса и велел ему сообщить об этом немцам, засевшим неподалеку от нас и еще сопротивлявшимся. Элкснитес крикнул в рупор:

— Сдавайтесь, немцы! Берлин ваш пал! Сдавайтесь и вы!..

Гитлеровцы ответили яростным огнем.

Море близко. Мы обошли противника и повернули к морю.

* * *

Вечер восьмого мая. Я сижу на траве у моей роты, ем кашу с мясом и запиваю шампанским, которое ящиками извлекли из каких-то развалин мои ребята. Связист протянул мне трубку:

— Командир полка на проводе.

Голос у него, как всегда, спокойный, чуть хрипловатый.

— Сегодня восьмое мая, — сказал он. — Сегодня в Берлине представители командования немецко-фашистских вооруженных сил подписали акт о безоговорочной капитуляции. Германия побеждена.

Я прижал трубку к лицу и не заметил, как из глаз полились слезы. Рядом всхлипнул Сахнов:

— Наконец-то...

В трубке еще звучит голос командира полка:

— Сегодня гитлеровская Германия сдалась. Мы победили, мы победили!.. Поздравляю вас, орлы мои!..

Я чуть с ума не сошел... Выскочил из окопа и ору во все горло:

— Победа!..

В одно мгновение этот майский вечер озарился огнем тысячи, нет, десяти, ста тысяч выстрелов в небо из винтовок, автоматов, пулеметов, пушек, ракет... Или это не от выстрелов, а от пламени наших сердец засветилось небо?..

Фронт буйствует...

А на стороне противника — ни звука. Противник сдается.

Гитлеровская Германия потерпела поражение.

Этого дня я ждал долго, очень долго. Ждал и верил, что он настанет. Настанет! И вот настал...

Передо мной, руки вверх, стоят восемь немцев. Я вдруг страшно удивляюсь. Я впервые ощутил, что они люди.

Сегодня восьмое мая. Четыре месяца и десять дней, как мне исполнился двадцать один год. Победны мои записи.

Я ОЩУТИЛ ВЕСНУ

Девятое мая. На позициях тишина. С берега моря то И дело группами подходят немцы. В полном боевом порядке, с оружием, с боеприпасами, они сдаются в плен.

— Прикажите, — говорят, — куда сложить оружие, куда дальше следовать.

Сахнов показывает куда-нибудь под дерево и говорит:

— Складывайте вон там и идите дальше на восход солнца...

Солнца?.. А где оно восходит, солнце? Не знаю, забыл уже. И что это? Неужто весна? Зеленые деревья, зеленая трава, и птицы поют... Чудо-то какое, люди, я ощутил весну!..

* * *

Попросил командира полка вернуть мне «Геворга Марзпетуни». Он отказал.

— Это, — говорит, — оружие полка. У нас в полку и останется...

* * *

Мне позвонил Арто Хачикян.

— Поздравляю, — сказал он, — еще новость. Ожидается большая репатриация в Армению.

— Говори потише, Арто. Потише!.. С ума можно сойти от радости. Что еще? Что там еще?..

Слезы льются у меня из глаз. Ну и пусть льются. Ведь говорят: если не плакать, от радости может разорваться сердце.

Пушки смолкли. И это так непривычно. За годы мы до того стерпелись с грохотом войны, что мир и тишина кажутся нам пугающе необычными.

* * *

Из дому пришла телеграмма. Брат мой жив. Он был в плену, и наши войска освободили его.

Мама больше не будет плакать.

Я послал ей две тысячи четыреста рублей.

Этот май — свет моей жизни. Я жив. Я буду жить. И брат мой вернулся из плена. Сестры прислали мне фиалки. Они целый месяц пролежали в конверте. Завяли и даже засохли. А пахнут. Пахнут у меня в ладони. Мне хочется прыгать, барахтаться в траве. Я не даю своим солдатам никаких команд и приказаний. Отдыхайте, спите, пируйте, дорогие мои, родные!..

* * *

Я попросил Сахнова запрячь коляску. Она у нас шикарная, с верхом. И коврами выстлана. Два резвых скакуна одним махом одолели двадцать пять километров и домчали меня на побережье к другу, старшине Тиграну Закаряну.

Ну как в такие дни не выпить с другом!

— Давай, Тигран, по маленькой. Весна-то какая!..

Тигран выпил и сморщился. Не любитель он. Горько ему. Я смеюсь. Нет больше горечи. Все сейчас сладко.

Сегодня пятнадцатое мая.

Через семь месяцев и тринадцать дней мне будет двадцать два года.

Люди, мне будет двадцать два года!..

В записях моих ликование.

Начато — 23 июня 1941 г. Армения, Кафан.

Окончено — 15 мая 1945 г. Германия, Кенигсберг.

ШЕСТЬ НОЧЕЙ
Повесть

Хачкар[18] *на безвестную могилу отца моего, Николая Ханзадяна*

НОЧЬ ПЕРВАЯ

Всю ночь не спалось.

Усталый, он лег навзничь, закрыл глаза. Но сон будто рассорился с ним, все только терзал мучительными кошмарами.

Небо было ясное, нежно подсвеченное неброским мерцанием весенних звезд. И холод уже не пронизывал. Ничто не нарушало глубокой тишины ночи. Можно было подумать, весь свет вымер. И лишь едва слышное дыхание спящего рядом товарища напоминало Асуру о том, что есть в мире жизнь и есть они в этом мире.

Что стряслось с белым светом и с ними?.. Вроде бы ничего. Вроде бы во сне все приснилось. И сейчас еще снится... Но, если так, почему этот страшный сон такой долгий! И почему его никак не сбросить с себя, чтоб наступил наконец предел и этому сну, и этим мукам?..

Люди бегут от самых берегов Евфрата. Бегут все: солдаты, крестьяне, женщины, дети. Бежит и он, солдат Аствацатур[19], для краткости прозванный Асуром...

И пусть не Аствацатур, пусть будет Асуром. В этом нет ничего уничижительного. Больно другое: стираются с лица земли, уничтожаются целые деревни, вытаптываются поля, вырубаются сады. Не о том он печалится, что отпала-утерялась бо́льшая часть имени. Горько другое. У него на глазах исчез целый мир: деревни с дымящимися очагами, города дохристианских времен. Погибли вместе с дымами тониров[20], с песнями невест. Погибло все, что существовало тут со времен Навуходоносора, — армяноликий мир с его древними легендами, с подобными благословению ежедневными пожеланиями «доброго света, доброго дня» и со множеством других реликвий.

Они тоже бегут — Асур и вот этот спящий рядом с ним Срапион. Бегут те немногие, еще оставшиеся в живых, бегут в надежде кто знает где перевести дух и уцелеть или иссохнуть, как отторгнутый от скал прозрачный ручей иссыхает в песчаной пасти пустыни.

Турки сначала разрушили Карин-Эрзрум, потом Артаган, потом обратили в пепел еще один город, два города, тысячи сел. Потом... Позор тебе, о боже! Горит добрая страна, гибнут верующие в тебя твои чада, а ты безучастно взираешь на все это со своего небесного трона да еще всадил мне в глаз кривой кинжал полумесяца. Кинжал красный, и звезды тоже красные — разбрызганные на темно-синем красные капли крови.

Странное дело, в этом кровавом аду Асур не забыл своего села, которое не в здешних краях, а в далекой дали, там, где восходит солнце над их страной. В тех местах много глубоких ущелий, а в ущельях беспорядочное нагромождение скал, — оно-то и есть их село. Там на перепутье одна подле другой его и Срапиона пещеры-дома. А во впадине скалы над ними — другой дом. В нем Наник в красной одежде, с пунцово горящими щечками и алыми губами. Девушка подобна цветущему миндалю. Станет, бывало, на вершине скалы и пугливо улыбается, полная неискушенной прелести и очарования...

Асур покинул свое село, свою мать, покинул, обжигающую сапфировым светом глаз Наник и вместе со Срапионом и другими молодыми односельчанами, став воином, дошел до берегов Евфрата, защищая отечество от огнедышащего острия того кровавого полумесяца, который кинжалом вонзился в чистое лоно неба и залил звезды синей кровью...

Они воевали, падали замертво, отдавая в жертву родной земле свои сердца. Сколько их погибло!.. Кажется, только он да Срапион остались в живых, и нигде никого больше нет. Гадай не гадай, отчего все так обернулось, — не уразумеешь. Погибли, и все тут. Умирают...

Три дня назад они со Срапионом неведомо каким чудом вырвались из вражеских силков и вот очутились в этих необитаемых скалах, спасаются бегством. А куда бегут, знает только бог. За три дня они одолели семидневный путь, не меньше, зато теперь как подкошенные свалились здесь без сил. Срапион спит. И у Асура все вроде тоже спит — ноги, руки, все тело. Только мозг в беспокойстве бодрствует. И чего не уймется?.. Надо уснуть, во что бы то ни стало уснуть, хоть на время забыться от этих кошмаров, от преследующей смерти, себя наконец забыть.

Он повернулся, лег навзничь, уткнулся в траву и, жадно втягивая в себя дух земли и благоухание цветущих маков, стал впадать в дремоту, в забытье.

Дурманящий тяжелый запах маков сделал свое дело — он уснул.

* * *

— А ну, вставай, вставай, Асур!

Мать, что ли, будит?.. Может, сон наконец исчез, испарился?.. Неужто он дома?.. Но нет. Это Срапион тормошит его за плечо:

— Вставай, уходить надо...

И они пошли на северо-восток, в сторону Арарата.

Туда, к Арарату, устремились насильственно выброшенные из своих гнезд, спасающиеся от резни, разрозненные горстки людей. За ними неотступно следовали турецкие аскяры, гнались, настигали, снова гнались, варварски уничтожая на всем пути изнуренных, истерзанных мучеников, сжигая посевы, жилища и целые села — все, что дышало армянским духом, что имело армянский лик.

Упоенные кровавым разгулом страстей, аскяры с истошным воем проносились по растоптанной земле, безжалостно сея опустошение и безлюдье всюду, где ступала их нога.

Асур и Срапион, карабкаясь с вершины одной горы на другую, шли по тропам, проторенным сернами и косулями, избегая дорог, на которых носилась бесноватая смерть. Шли, похожие на выходцев с того света. И бежали они не столько от гибели, сколько от ужаса...

Асур облизнул сухие, растрескавшиеся губы.

— Как думаешь, Срапион, дойдем до места?

— Э-эх!..

И почудилось Асуру, что это дом их каменный так простонал, и стон отозвался здесь, рассыпался у его ног.

— Вот доберусь до дому, женюсь, Срапион!..

Срапион сдавленно засмеялся. Это скорее даже был не смех, а какой-то безумный хохот, от которого тоже веяло смертью.

— Э-эх...

Темнота опутала их, сгустилась и осела в ногах. Это прибавило им сил. Они зашагали уверенней. Шли всю ночь, пока вот не свалились от изнеможения.

Туманная морось остудила их разгоряченные тела и рассеялась. Асур, широко раскрыв рот, жадно вдыхал холодные клубы низко проплывающих мимо облаков.

— Нет, Срапион, мы дойдем до места.

— До какого места? — спросил Срапион.

— До нашего села. До наших домов. Обязательно дойдем!

— О женитьбе думаешь? Э-эх!.. Не спеши. У земли бездонное лоно. И тебя заглотнет, и меня, и тысячи нам подобных.

Срапион примолк, помрачнел, плюнул в тучу, зачерпнул рукой, хотел приложить холод ко лбу, остудить его. Но рука была пуста.

— Э-эх, эх-эх, все пустое. Через пятнадцать — двадцать дней доберемся до дому, если не протянем ноги в пути, как дохлые ослы.

— Поживем еще! — успокаивая и его и себя, сказал Асур. — Должны пожить!..

Срапион свистнул с шипением, словно змея; свист его эхом пробежал в горах.

Срапион был старше лет на пять. Взгляд у него суровый, руки длинные, ростом высок. Перекинутое через плечо ружье болталось за спиной, как щепка.

Ломоть сухого хлеба и куска два сахару — вот все, что у них осталось. Они размочили краюху в ледяной воде, ручейками стекающей с ледников, и съели с сахаром. Заморив червячка, улеглись спина к спине, чтоб теплее было. Надо немного поспать, подкрепиться перед дорогой, которой нет конца, перед новыми мучениями и ужасом.

Туман рассеялся. Заря занималась медленно, как лениво разгорающийся огонь. Пусть бы и вовсе не занялась. Для чего ей заниматься? Зачем он им нужен, доносчик-рассвет, — гонимым, бегущим и от света, и от целого мира?..

В ближних кустах вдруг заблеял ягненок. Это привело Асура в ужас. Что за ягненок? И чего он блеет, когда все вокруг мертво? И где тогда овцы? Ведь раз поблизости ягненок, значит, и овцы рядом?! И выходит, люди тут тоже есть?!

Но нет, горы безмолвны и необитаемы. И в воздухе не чувствуется, что где-то близко может быть хлев, овчарня. Э, нет! Никакой это не ягненок, просто показалось. Чего не взбредет, когда человек возбужден. Надо спать, спать!..

Однако все повторилось. Асур вздрогнул. Нет, это не ягненок. Скорее, котенок душераздирающе мяучит.

Асур в страхе разбудил Срапиона:

— Слышишь?

Тот привстал и насторожился — злосчастный крик снова повторился. Срапион снял с плеча ружье.

— Это человек! Будь осторожен...

Они наставили дула туда, откуда доносился голос, залегли и принялись ждать. Однако чей бы он ни был, этот голос, — человечий или кошачий, — только один этот ужасающий звук нарушал безмолвие гор. Ничто другое не говорило о том, что окрест есть жизнь.

Срапион потянул винтовку на себя:

— Ребенок это плачет!..

Крик обрывался, опять повторялся. И был он то порывисто-громкий, то обессиленно-всхлипывающий. Ужасно было, что звучал он так одиноко и никто ему не отзывался, не вторил.

— Похоже, что рядом с ним нет никого, — сказал Срапион.

Асур, как был с ружьем в руках, пополз на голос. Полз, полз — остановился. Запыхавшись, прислушался, не крикнет ли Срапион: «Не ходи!» Но товарищ ничего такого не сказал, и Асур пополз дальше. Наконец стало тошно ползти, и он вскочил, выпрямился во весь рост и, рассекая высокую траву, пошел. Из-под ноги его выскользнул большой камень и долго с шумом скатывался, и казалось, будто это олень мычит в пустом ущелье.

Вот взлетела стая стервятников и тяжело поплыла в воздухе. Асур с ужасом глядел вслед улетающим птицам: где стервятники — там смерть... Он замер, на миг присел в траве, но ребенок снова заплакал. И Асур опять пошел, приминая цветы горных лилий и васильки.

Плач не прекращался. И казалось, что сама земля под ногами так жалобно стонет. Мороз по коже пробирал от этого плача земли и от того, что он действительно вдруг прозвучал прямо в ногах... Что это?.. В траве, раскинувшись на спине, лежит женщина. Будто спит. Но если так, то почему она не просыпается от плача?.. Голова женщины обвязана чем-то окровавленным. А рядом, господи, мечется так напугавший Асура и Срапиона своим стенанием крошечный, пухленький малыш. Сучит ножонками и силится дотянуться до полуобнаженной материнской груди с капельками молока на соске.

Асур в ужасе присел рядом с женщиной и ее осиротевшим ребенком. Малыш кричал жалобно и как-то сдавленно, сипло, почти как взрослый. Асур долго глядел на него. Осторожно взял под спинку, приподнял и в страхе посмотрел на женщину: вдруг вскинется, вцепится ему в глотку!.. Но она была недвижима. Асур подложил малыша к материнской груди. И тут кто-то схватил его за плечо.

— Что делаешь, безмозглый! Она же мертва!

Кто это сказал? Умершая женщина? А может, захлебывающийся плачем у него в руках ребенок, которому всего-то шесть-семь месяцев от роду, или эта пропитанная кровью земля?..

Но нет, то был Срапион. Он оттащил Асура, нагнулся, приложил ладонь ко лбу женщины. Осмотрел рану. Кровь в ней еще алела.

— Недавно скончалась... Раненая бежала, пыталась вынести свое дитя из ада. Вон, видишь, и палка рядом. Не далеко, бедняжка, ушла. И какой конец! Сама уже мертвая, а грудь все еще струит молоко для ребенка. Вах-вах!..

Срапион сорвал своими одеревеневшими пальцами несколько листьев с цветущей мальвы и прикрыл полуобнаженную грудь умершей.

— Вах, вах!..

В полыхающем пламени восходящего солнца, далеко-далеко внизу, дыбились пыльные и дымные тучи. Это значит, турецкое воинство уже у подножия гор. Того и гляди, настигнут.

Срапион и Асур поспешили убраться подальше от преследующей их опасности. Асур запеленал потуже малютку, завернул его еще и в материну шаль с кистями.

— Мальчик, Срапион!.. Жалко, имени не знаем.

— Имени? — усмехнулся Срапион. — Зачем тебе его имя? И ему оно ни к чему. Все равно ведь помрет. Оставь. Пусть лежит рядом с матерью...

Асур с ужасом воззрился на товарища.

— Что ты говоришь? Оставить здесь?!

— Лучше пусть помрет возле матери, — сказал Срапион. — И души их вместе воспарят к спасителю, Иисусу Христу... Нечего сказать, хорош спаситель!

Асур прижал ребенка к груди.

— Зачем же ему умирать?!

Срапион хмуро глянул на малыша, который на руках у Асура совсем успокоился, перестал плакать и во все глазенки рассматривал своего спасителя.

— Неужели ты решил взять его с собой?

— Ну, а как иначе? — удивленно и даже не без раздражения сказал Асур. — Не оставлять же его здесь! Турок вон огненным шаром катит сюда и мать мертва!

— А ты, что ли, жив?

Асур прикусил язык. Может, верно, может, и он мертв? Как эта женщина! Он сильнее нажал зубами на язык: больно!.. Выходит, он еще жив. И Асур радостно вскричал:

— Жив я!

Срапион дико как-то захохотал. И зубы его показались еще крупнее и белее на немытом, обросшем, измученном лице. Он заскрипел ими.

— Мы пойдем через ад, Асур!

— Пусть и он будет с нами.

— Умрет ведь!..

Асур крепче прижал запеленатого младенца и выпрямился: до того он все еще стоял на коленях. Срапион зашагал вперед, вверх.

— Пусть хоть кости бы рядом лежали материны и ребенка!..

Асура в дрожь бросило. Он пошел за Срапионом, все убыстряя шаг. Ему казалось, что вслед несется крик матери младенца: «Куда вы уносите мое дитя?..»

А далеко внизу все полнилось дымом и огнем. И дым делался гуще и гуще.

НОЧЬ ВТОРАЯ

Подъем был очень крутой. Идти стало трудно, но какие уж тут трудности, когда надо спешить, бежать отсюда, перевалить гору. А за этой горой — другие горы, ущелья. И там, куда они бегут, уже, наверно, собрались все те, кому удалось спастись, бежать с полей сражения. Среди прочих там должны быть остатки их соединения: они сопровождают беженцев на северо-восток, в сторону Арарата...

Что бы то ни стоило, пусть дух вон, а надо спешить. Глянешь назад, на поле сражения, оторопь берет: все затянуто клубами дыма, там кружит враг, упоенный собой, хмельной от запаха горячей крови, там смерть. Она уже поглотила целый народ вместе с матерью вот этого младенца. И все никак не насытится...

Ребенок не плакал. Бедный маленький сиротка! Ему, наверно, кажется, что он снова в теплых руках своей матери, в ее нежных объятиях. И хорошо, что так кажется. Хорошо и то, что он заснул, хотя стал от этого почему-то много тяжелее. Личико у него круглое, как гата. И спит с улыбкой. Носик тоже удивительно симпатичный, как маленький пшат[21], и ноздри вразлет. Губки сложены щепоточкой, а верхняя часть оттопырена, И между ними, как зернышко чечевицы, маленькое круглое отверстие.

Малыш не производил впечатления испуганного. Видно, прошлую ночь он тоже, до того как мать его скончалась, был угрет и доволен, как птенец под теплым материнским крылышком. От него приятно пахло молоком. Через пеленки он согревал и Асуру грудь и руки. Потому, наверно, Асур с такой

легкостью взбирается вслед за Срапионом на гору, и на душе у него радостно: вот ведь вчера их было двое, а сегодня они втроем.

Часа два Асур шел счастливый. Но горькие думы о том, что выстрадано и что их ждет впереди, чувство тревоги и ужаса скоро опять вытеснило из сердца маленькую негаданную радость. Ребенок тем временем проснулся, выпростал ручки, сладко зевнул и уставился своими синими глазенками прямо в зрачки Асуру. Смотрел, смотрел и вдруг закричал.

И это было ужасно!.. Поди знай, в какой из горных впадин залегла в засаде их смерть. А что они могут, два горемычных солдата?.. Чудом спаслись от обрушившейся на них лавины, с трудом выскользнули из когтей смерти; как серны, одолели уже тысячу гор и ущелий, делая все, чтобы даже их тень не выдала, где они есть. И вот сами, по доброй воле, взяли да и обрушили беду себе на голову. Плач ребенка подвергает их двойной опасности. Но что делать?!

Асур как умел старался успокоить дитя, но тот надрывался все громче. Срапион зло проворчал:

— Не было у тебя печали, так выискал.

Асур с тревогой посмотрел на товарища. Лицо у Срапиона сделалось жесткое и шершавое, как пемза, того и гляди, лопнет от злости.

Голос малыша был пострашнее пушечных выстрелов. От них можно удрать, спастись. А от этого крика никуда не убежишь. Асуру казалось, что на голос ребенка обязательно слетятся вражьи стаи, подобно тому, как стаи стервятников слетелись на еще не остывшее тело несчастной матери младенца.

— Ну, маленький мой, душа моя, замолчи же наконец, чтоб тебя... Ты понимаешь или нет, что вокруг нас турки?.. Най-най!.. — ласково взмолился Асур, никогда дотоле не державший в руках ребенка. — Най-най, дитятко.

Но какое уж тут «най-най», младенец знай одно кричал в ответ: «Вай-вай». И это был не просто плач, а душераздирающее стенание, крик детеныша, потерявшего мать. Да, да, ребенок плачем своим звал мать! А мать осталась там, на склоне горы, которая уже далеко-далеко. Осталась не похороненная, с рваной раной во лбу, с обнаженной грудью, едва прикрытой листьями мальвы...

Они пошли быстрее. Казалось, спешили только потому, чтобы оторваться от этого устрашающего плача. Только потому...

Асур совсем замолк, словно оцепенел. Срапион время от времени со свистом сплевывал. Асур неумело укачивал ребенка, прижимал его к груди, подносил к его губам свой палец, чтоб пососал, — может, замолчит. Всяко пытался утихомирить. Но ничто не помогало: малыш не унимался.

Срапион зло бросил:

— Говорю, помрет!..

Асур ласково глянул на ребенка. Кто помрет? Это безвинное создание? Этот благоуханный теплый комочек? Зачем ему умирать?! Мало, что ли, младенцев сгинуло в резне — на дорогах от самого Евфрата до этих гор и дальше, — чтобы еще и ему погибать?! Нет, нет! Пусть хоть он останется жить! Да не закроются синие глаза этого малыша, не угаснет их ясный свет! И да не иссякнет его голос! И пусть плач его грозит им сейчас большой опасностью, но он — свидетельство жизни, может, единственный живой голос в этом истерзанном мире.

— Голоден, видно, — уразумев наконец, отчего плачет дитя, сказал Срапион, — потому и кричит!..

— Что же нам делать?

Срапион неопределенно пожал плечами.

Вскоре им попался горный родник. Срапион сорвал листок конского щавеля, попробовал набрать в него водички и напоить

малыша — хоть этим отвлечь бедную кроху, авось примолкнет. Однако ничего не дышло. От холодной воды ребенок замотал головкой, покраснел и теперь уже не просто плакал, а истошно орал. Срапион заколотил ногами о камни.

— Ты погубишь нас! — взревел он. — Какого дьявола подобрал это чудище?..

Асур в душе обозлился и настороженно посмотрел на Срапиона, словно бы и он враг, который, того и гляди, выхватит у него ребенка и размозжит ему головку о камни.

— Не говори так, Срапион! Не говори! — взмолился Асур.

— А что же мне сказать? — побагровел Срапион. — Думаешь, выживет? Нет! Умрет, так и знай, умрет! А раз так, пусть бы умер там, рядом со своей матерью. Думаешь, мы с тобой выживем? Да еще и его человеком сделаем? Э-хэ!..

Асур отгородился ребенком от Срапиона: не хотелось ему сейчас видеть волчье обличье товарища...

Зашагали дальше.

До самого полдня плакал ребенок. Затихал только на короткий миг — когда уж совсем обессилеет и охрипнет, чтоб дух перевести. Такого кошмара Асур не переживал даже в штыковой атаке, когда по малочисленности им приходилось один за одним отходить под натиском беспрерывно накатывающих, как волны, всё новых и новых вражеских рядов...

Он диву давался: откуда только силы берутся у этого крошки, у этого едва ожившего комочка, чтобы так вот визжать без умолку и не захлебнуться в собственном крике?!

На круглой мордашке малыша от прежней его кротости и ясноликости не осталось и следа. Глазенки больше не улыбались. Он даже не раскрывал их.

Что же делать?..

Срапион шел впереди. Изредка оборачивался, затыкал уши и кричал:

— Умрет ведь! Говорю, умрет. Глупый ты человек! Не видишь разве, весь мир в тартарары летит! Убивают нас! Смертельно ранили и гогочут, ждут не дождутся, когда земля испустит дух. И ведь доживут до такого, проклятые!..

Асуру не хотелось верить в слова товарища.

— Чушь ты несешь! — бросил он и вдруг, как ни странно, не поверил своему собственному голосу.

Шутка ли, от самого Карин-Эрзрума и до этих мест, до истоков Аракса, они видели только тела убитых и кровь. И земля, как мать этого младенца, вся растерзана, растоптана!.. И хотя она, земля, как и мать ребенка, пока еще теплая, и кровь на челе не остыла, и грудь еще струит молоко для несчастных чад, — земля эта мертва. Мертва, и никакой спаситель уже не воскресит ее.

Это становилось невыносимым. Надо во что бы то ни стало найти средство заставить его замолчать!.. Но как? И откуда добыть ему пищу?.. Окрест только дикие скалы да безбрежные ветры. В ущельях вражьи логова. Там смертоносны даже редкие кустарники, деревья и камни. Враждебны и птицы в небе. Вон они, черной тучей застят солнце. А время от времени с карканьем опускаются терзать корчащуюся в муках землю. Все здесь враждебно. И ему, и этому ворчливому Срапиону, и ничего еще не познавшему несмышленышу, не ведающему, как жесток мир, и пока только плачущему на все голоса. Вон и сейчас то истошно кричит, то всхлипывает, а то и горько как-то стонет.

Кого просить о помощи? Как сделать, чтоб это дитя выжило? За ними огнем стелется войско — пешие и конные. На арбах везут орудия, пленных женщин и даже дойных коров гонят. Тоже людьми называются. И бога своего имеют!.. И матери у них есть, и дети. Но попробуй-ка разживись у них хоть глотком молока или воды для ребенка. Горло тебе перережут. Прикончат и их, и этого злосчастного младенца.

Проклятые, не знаете нашего норова!..

Нет, знают. Потому и уничтожили страну, простирающуюся с юга на север, от ноева ковчега до священных вод Евфрата. Уничтожили и теперь вот в бесовском круговороте носятся над трупами убитых. Понятно, что к ним не обратишься за помощью. И в огонь не ринешься, туда, где в расщелинах скал дымится ближнее селение. Там ведь тоже затаилась смерть... Но что же тогда делать? Ребенок-то зайдется криком. Угаснет. Он ведь голоден. И не ведает, что мать его убита, что мир удушен и что ему враждебно само небо, отсвет которого отражен в его полных слез глазенках. Все это нипочем младенцу. Он хочет есть. Он хочет жить. Порожденного да вскорми!..

От всех этих дум у Асура в груди что-то сжалось в комок и наконец вырвалось вскриком отчаяния:

— О-ох!

— А то как же? — словно бы подхватив его горестный стон, сказал Срапион. — Обязательно умрет...

Асур, не слушая его, кусал губы. Напрасно, видно, он подобрал ребенка. Пусть бы и правда остался лежать возле матери под открытым небом. Пусть бы и умер, ему-то что, Асуру? Мало разве таких погибло? «Нет, нет! Что это я! — рассердился на себя Асур. — Как можно, чтобы не проросло это живое дышащее семя?» Такое и думать грех. Это дитя — теперь частица самого Асура, частица его души и тела. Ребенок должен жить. Еще утром младенец был совсем-совсем чужим ему. А теперь, смотрите-ка, стал словно бы одной крови, как родной, как свой ребенок.

И полного дня не прошло, а родной?! Асур испытывал к нему такую безмерную нежность, как будто у него в руках его собственная плоть и кровь. Визгун, мучитель, а как дорог: трепетный, живой и такой теплый! Вот только бы не слова Срапиона...

— Увидишь, помрет...

— Не каркай! — бросил Асур. — Если трусишь, можешь дальше идти один. А я его не брошу. Ни за что!..

Срапион с усмешкой посмотрел на Асура и процедил сквозь зубы:

— Ну и глупец же ты!..

Едва видимая тропка вдруг тоже кончилась, истаяла. И они оказались в беспорядочно раскиданном в скалах, невесть как тут растущем кустарнике. Однако перевал уже близок. Еще полчаса такого подъема, и они «оседлают» его.

Срапион так взмок, что над спиной у него курилось облако пара. И это было очень смешно. Асуру казалось, что перед ним движется дымящаяся копна подожженного сырого сена. Он и сам был весь мокрый. Струйки пота стекали и с лица, капали на ребенка. Но как бы то ни было, а надо продвигаться вперед. Если даже совсем истаешь, изойдешь по́том и вольешься в речку, надо идти.

До перевала добрались, когда сумерки уже окутали землю черной пеленой. Асур не чувствовал ног, они подгибались под ним и были как чужие.

— Срапион! — взмолился он. — Может, передохнем немного?

— Еще что придумал, — не сказал, а с трудом выдавил из себя Срапион, — горный ветер так тебя прохватит, потного, в минуту рубаха станет ледяным панцирем. Иди, не останавливайся!..

На спуске настроение у Асура чуть поднялось, хотя малыш по-прежнему все плакал. Голос у него, правда, ослаб, и теперь это уже больше походило на хрип. И тельце, которое утром было крепким, как сбитое, сейчас стало похоже на опавший кузнечный мех. Если еще час-другой не удастся раздобыть ему еды, он и впрямь помрет не позже этой ночи.

Асура от такой мысли дрожь пробрала. Господи, неужели ребенок должен умереть на его руках?! Подумать страшно!.. До чего же они несчастные, и этот малыш, и он, Асур, и весь род человеческий!.. Ведь где-то в мире миллионы, может, десятки миллионов таких малюток, сопя от удовольствия, взахлеб сосут материнскую грудь, и у всех у них, у этих миллионов, прижатых к сердцам матерей младенцев, губы увлажнены теплым грудным молоком, а глазенки — синие, черные, круглые и миндалевидные — таращатся и улыбаются.

До чего же несправедлив мир. И кто бы ответил Асуру: чем этот малыш хуже тех сытых, счастливых? Почему те живут и радуются, а этот должен умереть?.. И что только не полезет в голову! Пусть все дети живут! А с ними и этот тепленький плачущий несчастливец. Пусть живут!.. Его сверстники — поди знай, сколько их на земле, — сейчас покачиваются себе сухие в своих теплых люльках, а этот, увернутый в чужую, жесткую робу, мыкает горе по скалам и ущельям. Мало, что мать у него убита, так и сам обречен на гибель. Ну скажите мне, люди мира, в чем вина этого шести-семимесячного младенца, в чем его преступление? В чем? Что плохого сделал он этому миру, вам, люди, тебе, о господи? Почему вы все закрыли глаза, потеряли жалость и позволяете ему умереть? Если он не имеет права на жизнь, зачем ты создал его, господь? Зачем наделил дыханием и улыбкой, глазами и голосом? Зачем? Или ты заведомо обрек его на смерть, на поругание? Для того и создавал? В таком случае я плюю тебе в рыжую бороду! Плюю на тебя и на всех богов, вместе взятых!..

Асуру и самому стало горько и смешно от бесполезного приступа гнева: плюешь и плюй себе, только ребенка ведь этим не спасешь. Если ты мужчина, без бога, сам что-нибудь сделай для него, не дай погибнуть. Сам спаси. Благое дело — вернуть жизнь умирающему, спасти погибающего. Помочь выжить — это трудно, но человечно, а убийство — не геройство. Вот хоть с дитем этим: зажми ему пальцами носик — две дырочки, и нет малютки, погас-отгорел. А человек, это сделавший, может, и не задумается, что совершил зло; будет считать себя непричастным к разгадке таинства жизни и смерти...

Они пока еще только наполовину одолели спуск с горы. До ночи есть время, и можно бы продолжать путь, да сил уже нет.

Свалились на землю. Асур рад бы сам помереть. Пожалуй, и смерти-то не почувствуешь — так устал и замучился... Но что это?..

Срапион что-то сунул ему в ладонь.

— Сахар... Дай горлану. Пусть пососет, — почему-то шепотом сказал он. — И поспи давай. Сначала ты, потом я... У тебя ведь тоже кусочек есть. Береги и его для ребенка...

Асур схватил руку товарища, чуть не поцеловал — так он был тронут, но тот отдернул. Асур смочил сахарок языком и сунул в рот малышу. И тот, словно кутенок, с восторгом вцепившийся в материнский сосок, довольный, начал сосать сахар.

Стало темно. Мрачным и беззвездным было и небо. Асур не видел того блаженного выражения, которое разлилось по личику маленького человечка.

НОЧЬ ТРЕТЬЯ

Заря пробуждалась поначалу лениво. Потом разошлась — начала струить свет из звезд. С лилового неба заструились белыми ручьями лучи. Вот они упали на горы, на младенца, который спал, приникнув головкой к плечу своего спасителя.

Неправдоподобно тихим и прекрасным был этот рассвет...

По склонам гор поднимался дух отары. Овцы, довольно отфыркиваясь, жевали пырей, а козы с опаской обгладывали молодые побеги на колючих кустах шиповника. За ними шел пастух. Он то и дело хрипло выкрикивал какую-то бессмыслицу:

— Кхис-кхис! Кхис-кхис!..

Асур и Срапион укрылись в расщелине, там, где трава повыше. Человека ведь повстречали, а это опасно — надо прятаться. Мало

разве натерпелись от человека? И они, и это дитя с кулачок видели от себе подобных только зло, только смерть...

— Кхис-кхис!..

Если б этот голос принадлежал волку, гиене или даже медведю, и Срапион и Асур глазом бы не моргнули, так и шли бы своей дорогой. Но навстречу им приближался человек! А это для них беда, каких мало. И путники забились в глубокие впадины скал, приникли к ним так, словно и сами закаменели, чтобы двуногий пес «Кхис-кхис», чего доброго, не учуял их.

Из тайника своего Асур видел, как над травой по синеве неба, раскачиваясь, плыли непомерно высокая косматая пастушья папаха-шалаш и посох. И как же они нарушали гармонию покойного прозрачно-чистого неба!.. Асура в дрожь бросало от скрипучих выкриков Кхис-кхиса и от того, что перед глазами маячил его посох, легкого прикосновения которого достаточно, чтобы размозжить головенку младенца.

Однако почему это какой-то неведомый пастух так ненавистен Асуру? Почему?.. Э, спроси осиротевшего ребенка! Он все тебе скажет своей бессловесностью, своим стенанием. Спроси у этой земли, у мира, который — вот он! — бьется перед тобой в судороге, захлебывается кровью. Спроси, и возопят тебе в ответ дымящиеся развалины и пожарища, вскинут сжатые кулаки мертвецы. Само страдание будет ответом на твой немилосердный вопрос.

Но нет, лучше не спрашивай. Ни о чем не спрашивай.

И до того муторно стало на душе у Асура от боли и горечи, что он чуть было не нацелил ружье на движущееся встречь ему двуногое чудище, на этого Кхис-кхиса; чуть было не крикнул: «Эй, ты, человек или пес, все едино, я хочу убить тебя, хочу поквитаться за мать этого ребенка, поквитаться с тобой, называющим себя человеком! Хочу, понимаешь?! А потому получай мою пулю!» И Асур тронул курок, но в тот же миг отдернул руку. Что бы ни творилось вокруг, но перед ним ведь человек! А он еще никогда не убивал человека!..

Одна из собак отары прошла совсем близко. Она почти коснулась руки Асура и уже собралась было гавкнуть разок-другой, но, видно, сочла, что и он тоже мертвец, из тех, которых так везде много, и не залаяла — поджала хвост и убралась подальше. Бедная псина, надо думать, она тоже по горло сыта мертвечиной...

А коза лизнула соленый от пота затылок Асура. Он глянул на нее: задние ноги расставлены широко-широко, а между ними большое черное вымя с парой налитых сосков.

От удивления Асур вскинулся и сел.

— Эй, пастух, подойди-ка сюда!..

Кхис-кхиса как пригвоздило к месту. А собака, та, что приняла было Асура за мертвого, вдруг завыла. Толпившиеся поблизости овцы испуганно отпрянули. Проснулся и закричал младенец.

Асур вскинул винтовку и грозно повторил:

— Иди сюда. Эй, тебе говорю! Мы хоть и вооруженные, но не убийцы. Подойди, не бойся!..

И пастух повиновался, не столько, наверно, из страха, сколько от удивления. Его обожженное солнцем лицо было черным, сухие, растресканные губы обсыпаны болячками. Обут он в изодранные трехи. Через плечо переброшена сума, расцвеченная многочисленными заплатками.

Пастух подошел и встал перед Асуром, весь как замшелый камень. Срапион, не глянув на него, тихо проговорил:

— С нами грудной ребенок. Он голодный. Дай молока для него.

Пастух пришел наконец в себя. Сообразив, что эти чужие вооруженные люди требуют у него всего лишь молока, он, однако, не мог в толк взять: как это так, с оружием — и не убивают?..

— Молока?.. Только молока вам надо?!

— Молока! — крикнул Срапион и зло сплюнул. — Не станем же мы тебя убивать!

Пастух поймал козу, вытащил из сумы своей медную, довольно узкогорлую посудину — кувшин не кувшин — и грязными шершавыми пальцами стал доить козу. Доил, доил и словно бы так, между прочим, спросил:

— Что вы за люди?

— Армяне мы, солдаты, — ответил Срапион. — А ты курд?

— Да, — кивнул пастух. — Бежите?

— Все бегут. От самого Арзрума бежим!

— Эх-ха! — Пастух покачал головой. — Какие же вы солдаты! Турок всю страну вашу затоптал.

— Ты давай-ка лучше молоко, — бросил Срапион. — Недалек день, когда вестник злой доли заревет ослом и над твоим ухом. Посмотрим тогда, как ты запляшешь?

Асур влил в рот малышу чуточку молока из посудины. Ребенок поначалу воспротивился «насилию», закричал и все выплюнул, но потом распробовал молоко и стал жадно пить, глоток за глотком. На обветренном, обросшем лице Асура мелькнуло нечто вроде улыбки. Итак, на сегодня ребенок сыт. И, словно бы оповещая мир о счастье, он, Асур, крикнул:

— Вот посмотришь, будет жить!..

Срапион приказал пастуху надоить еще молока. Курд поймал другую козу и снова наполнил посудину. Срапион в мгновение опорожнил ее, обтер губы травой и сказал:

— Какое оно вкусное, парное молоко! И теплое. Надои-ка еще!..

Асур тоже выпил. Срапион снова протянул посудину курду:

— Еще одну козу подои.

Пастух не противился. Срапион взял у него посудину, заткнул ее листьями конского щавеля и сунул в пастушью суму.

Курд растерянно поморгал глазами и пробормотал:

— Разбойничий мир, все только и знают, что грабят.

Срапион взъярился:

— А ты не грабишь? Взять хоть бы эту посудину, она ведь тоже чужая. Видишь, на ней крест начертан. Может, скажешь, ты с крестом? Не иначе, как у тебя полон дом набит грабленым!

— Ну а как же? — простодушно признался пастух. — Понятно, и я грабил. Нас ведь тоже кто-то грабит! Сейчас все друг друга грабят, убивают. Сейчас сам бог благословляет разбой. Только не теряйся... У вас нет ли табаку?

— Нету.

— Ну хотя бы сахару кусочек дайте.

— Нет у нас и сахару! — заорал Срапион. — Откуда его взять? А ну вываливай, что у тебя там из еды припасено в суме! Быстро!

Курд обомлел:

— Отдать вам мой хлеб?

— И боль, и проклятье твое!.. У тебя есть пристанище. И овцы с козами есть. А мы как бездомные волки. И нам сейчас сам бог велит брать все, чего у нас нет. Вынимай-ка свой хлеб, клади его вот на этот камень да убирайся. Ты же не осел, понимать должен.

Курд снова поморгал глазками, но делать было нечего, вытряхнул содержимое своей сумы и развел руками.

— Ну что сказать, вы люди не без сердца. Я бы, наверно, на вашем месте был злее, может, и убил бы… А вы какие-то непонятные…

И он поспешил убраться.

Пошли своей дорогой и Асур со Срапионом.

Тучи спустились с заснеженных горных вершин, и как-то вдруг, неожиданно зарядил проливной дождь.

Асур укрыл ребенка шинелью у себя на груди. Он то и дело взглядывал на личико малыша. Слава господу, спит спокойно. Что значит сыт.

А дождь лил, холодный и промозглый. В белой туманной мгле едва виднелась земля. Усталые ноги тяжело увязали в размякшей земле.

Оба они, и Асур и Срапион, были почти без сил, но шли и шли, погоняемые бедой.

Асур чувствовал, как у него подгибаются ноги, а голова просто раскалывается — каждый шаг отдается в ней звоном. Спина тоже, того и гляди, переломится. Ну и ладно. Уж лучше рухнуть сейчас на этой сырой земле и умереть своей смертью, чем бежать и бежать от звериной погони.

В этом мертвом мире истинно лучше умереть. Асур удивляется, что они вообще еще живут, существуют. И он, и его друг по несчастью, и этот младенец за пазухой. Хотя, пожалуй, младенец-то и ведет его, Асура, вперед, удерживает на ногах. Своим теплом, своим маленьким тельцем удерживает в мире, заставляет шагать, дает силы и надежду. Кто-кто, а этот малыш должен жить! Из сотен тысяч несчастных пусть хоть он выживет. Нельзя допустить, чтоб весь род людской был истреблен. Младенец должен выжить!

* * *

Разорвав облачную завесу, выглянуло солнце. Все вокруг было влажным: и земля и зелень. Солнце тоже было каким-то необычным — оно взбухало на глазах и скоро сделалось похожим на большую зрелую осеннюю тыкву. И над этим огненно-красным шаром нависла мглистая дымка тумана, как примочка на лбу у больного.

Они уже дважды поили малыша молочком, потому-то он и был тих и спокоен. Но едва проклюнулось солнце, начал попискивать — видно, и света боится.

Срапион не выдержал, снова заорал:

— Заткни ему глотку! В этих местах должны быть дозоры турок. По крику нас найдут. Подобрал на свою голову. Того и глади, задохнется у тебя за пазухой.

Асур не ответил на речи Срапиона. Только сказал, что надо бы искупать малютку да молока еще дать. Срапион опрокинул посудину. Она была пуста.

— Мокрый, наверно, — хмуро бросил он. — И к тому же голоден. Теперь будет орать как резаный! Пока не поздно, заткни уши травой!..

В голосе у Срапиона была безнадежность. Но что это?.. Он опять вдруг захохотал и выкрикнул:

— Умрет! Так и знай, умрет!.. Проклятье!.. Я еще никогда не видел умирающего ребенка. Говорят, это вытрясает душу из человека... Но что мы можем поделать?! Он умрет!..

Асур укачивал младенца и что-то тихо нашептывал ему на ушко. А может, просто гладил своими иссохшими губами его щечку?..

Ребенок то совсем заходился плачем, а то чуть затихал и только тяжело всхлипывал. И это было ужаснее всего: так горько и безнадежно всхлипывал, что сердце разрывалось.

Срапион отыскал где-то в расщелине съедобный корень, выжал из него прямо в ротик малышу белый молочный сок. Но тот все выплюнул и заорал пуще прежнего.

Срапион взревел:

— И почему мы не отдали его курду-пастуху! Ума мне, ослу безмозглому, не хватило. Отдали бы, может, хоть выжил бы. Умрет ведь!..

Асур незаметно смахнул набежавшую слезу.

К полудню туманная мгла рассеялась, и солнце обдало жаром плечи Асура. От весенней взбухшей земли поползли вверх клубы пара.

Раздобыть бы хоть какой-нибудь пищи!

Трава и цветы тоже потянулись к теплу. Камни обсохли. Неподалеку в овраге притулилась одна-одинешенька грустно-заброшенная мельница. Асур подумал-подумал и решил, что неплохо бы выкупать малютку. И теплой водицей попоить. Может, хоть этим удастся, пусть ненадолго, угомонить горемычного? И он зашагал к мельнице.

— Похоже, мельница-то армянская?

— Армянская она или басурманская, тебе-то что с того? — проворчал Срапион. — Чего ты там не видал?

— Воды погрею, дам ребенку...

— С ума спятил! — обалдело воззрился на него Срапион. — Чтобы привлечь к себе внимание? Давай, давай! Преследователи не замедлят явиться. Придут, поклонятся тебе в ноги, что искать не заставил, и хвать за глотку. Только хватка у них будет мертвая — придушат на месте.

— Что будет, то будет, а ребенка надо успокоить! — стоял на своем Асур. — У меня еще есть кусочек сахару, растворим в теплой воде, дадим ему — и то дело.

— Я не останусь больше с тобой, уйду! — пригрозил Срапион.

— Что ж, доброго пути.

— И уйду! Не хочу быть ослом-мучеником. Не велика честь пожертвовать собой ради этого несмышленыша!..

— Ну чего же тянешь? — тихо, с обреченностью в голосе спросил Асур. — Отдай только мне посудину из-под молока и иди.

Срапион протянул ему плошку, потоптался-потоптался на месте и пошел прочь. Асур, даже не оглянувшись ему вослед, переступил порог мельницы.

Внутри все было разграблено. Оставался нетронутым только очаг, полный золы. Рядом валялось несколько кизяков и поленьев. В глубине, у самой стены, лежали два трупа: один — старца, другой — ребенка. Асур перекрестился.

Положив неподалеку младенца, он занялся очагом, стал разводить огонь. Дрова разгорелись быстро. Асур вышел за водой.

Срапион не появился. И, как ни странно, это даже обрадовало Асура. «Ну, что поделаешь, человек ведь, — подумал Асур, — хочет уберечь свою голову от гибели. Что тут плохого? Ничего». Вот и он, Асур, тоже хочет уберечь от смерти безвинную душу, хочет спасти ребенка.

Оставшись один, Асур почувствовал себя даже как-то спокойней, хладнокровней. Можно подумать, Срапион был ему обузой. Но в душе Асур конечно же был огорчен. Как это — бросить товарища и уйти?.. Как такое могло приключиться?..

Вода скоро вскипела. Асур разбавил ее холодной и с грехом пополам выкупал ребенка. Потом извлек из нагрудного кармана заветный кусочек сахару, растворил его в воде и стал поить

малыша. «Ах ты маленький, что за умник, вон как хорошо пьет теплую сладкую водичку! И улыбается, проказник. Вот так-то, ягненок, будь, не в пример другим, храбрым и веселым. Пей, пей, мой малыш, чтоб выжить назло всем смертям, чтоб и мое сердце хоть чуть успокоилось...»

Снаружи донесся выстрел. Асур прислушался. Выстрел повторился. Три... четыре раза. Но Асуру даже не захотелось узнать, что же там творится. Он не выглянул. Сейчас ему все едино. Пусть хоть весь мир, вся земля разверзнется! Важно лишь то, что его малыш жадно пьет сладкую воду. Вот она, сама жизнь, у него на руках — теплая, трепетная! И Асур сделает все, чтобы уберечь своего младенца, спасти от гибели любой ценой, пусть ценой жизни: он и так уже жертва. А если враг ворвется на мельницу, Асур будет биться. Легко он не дастся...

Асур снова запеленал ребенка, уложил его у себя на груди, как ладанку, и вышел. Близ мельницы все было тихо-мирно. Солнце, улыбчивое небо, весенняя свежесть... Но кто же стрелял?.. А что, если стреляли в Срапиона? Асур встревожился и ускорил шаг... Где может быть Срапион?! Что с ним! И правда ли, что вообще стреляли? Может, это только так, показалось?..

Асур взял путь на восход. Он шел и озирался по сторонам — высматривал Срапиона. Неужто с ним беда?

Думы жгли ему мозг, а мирские тревоги тяжким грузом давили на душу...

Асур вдруг услыхал за собой шаги и сердито глянул назад... За ним следовал Срапион. Асур не удивился. Он только обрадовался, что с товарищем не случилось беды.

— Спит? — заботливо спросил Срапион.

— Да.

— Два турка-крестьянина шли на твой дымок к мельнице. Пришлось пугануть их. Удрали...

Асур довольно улыбнулся. Иначе и быть не могло. Срапион вовсе и не уходил. Он был близко и сразу пришел на помощь. И до чего же хороший парень этот Срапион!..

А малыш спит себе на груди у Асура, как спят все младенцы мира, когда их выкупают и накормят.

НОЧЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Они шли сейчас по следам беженцев. Следов этих не потеряешь. Вон на одном из камней засохшая кровь. Чуть дальше — наскоро присыпанный могильный холмик. А вот — прямо на дороге — лежит мертвый старик. Одежду с него снял человек, а глаза выклевал стервятник.

Особенно много вокруг детских трупов. Один лежит в кустах, рука вытянута, будто о милосердии взывает. У другого лицо в родниковой чаше, словно склонился напиться. А третий... Нет, нет! Хватит этих ужасов!..

Итак, ориентиром для путников служили мертвецы. Идти такой дорогой небезопасно. Вражье войско и разного рода мародеры, подобно стервятникам, идут вдогонку за несчастными беженцами, обирают убитых. Не приведи бог столкнуться с ними — вмиг растерзают, да так, что едва ли потом кому другому послужишь ориентиром на пути, костей не оставят. Однако за ними-то небось больше уже и нет беженцев. За ними только враг. Он змеей ползет за ними, вперед и вперед, разрушая и пожирая все вокруг, оставляя за собой только мертвое безлюдье.

* * *

Уже четвертый день, как они подобрали ребенка, а покормить его все нечем. Молока больше нет, сахару тоже. У них и у самих-то всего ломоть сухого-пресухого хлеба. Но худо ли, бедно, они размочили ломоть и поели с конским щавелем да разной другой

съедобной травой. А вот ребенка поди накорми... Асур так страдал, что словно бы и не хлеба поел, а желчи горькой наглотался.

— Может, и ему тоже хлебушка дать? — предложил Срапион.

— Думаешь, будет есть? — с надеждой посмотрел на него Асур.

— Попробуем.

И они рискнули. Асур пожевал, пожевал кусочек и положил в рот ребенку. Тот сначала молча помял мякиш губенками, а затем, весь сморщившись, выплюнул его. Не только есть не стал, но еще и закатился плачем, да так, что снова стал захлебываться до посинения.

Благодетели его не знали, что и делать. Ведь ребенок же наполовину истаял, хотя в прошедшие дни им еще давалось то козьим молоком его напоить, то подслащенной водой.

Бедный малыш плакал и плакал, а вокруг все безмолвствовало, все было разрушено и необитаемо. И даже эти развалины дышали враждебностью...

Путников не останавливал и плач ребенка. Они шли и шли вперед, гонимые теперь уже больше его бедой, его голодом. Сейчас уже и Срапион иногда брал малыша на руки, бережно укачивал и пробовал своим довольно жестким, грубоватым голосом убаюкать его, усыпить. Но из этого ничего не получалось.

— Хоть бы мякиша пожевал! — сокрушался Асур.

— Видно, у матери молока было много — не приучила к прикорму, — сказал Срапион и, чуть помолчав, снова завел свое: — Говорил ведь, умрет. Не сегодня, так завтра. Что можно поделать? Только грех на душу взяли.

От безысходности Асур лишь зубами заскрежетал. Почему этот ребенок должен умереть? А вон там, в селе, по другую сторону ущелья, его сверстник останется жить? В чем причина этой

несправедливости? Неужели только потому, что тот родился турком и, по их разумению, он особенный, он хороший, а этот плохой? Кто породил эту чудовищную рознь? Кто?..

Нет, нет! Плох не этот малыш! Ужасен тот, кто выбросил его из колыбели и лишил матери. Ужасен убийца, разрушитель! Убийца любой нации!..

Разве это дитя не такое же богом данное, как все другие?! Вон ведь как светел его лик, какие мягкие, словно шелк, волосенки, а как чисты синие глазки! За что они полнятся слезами, за что замутили их безгрешную синь? Бедный малыш! Гаснет свет на ясном лице. Смерть витает над ним...

Думая свою горькую думу, Асур все больше и больше ощущал безысходность.

— Мир создан вкривь и вкось, Срапион!..

— Не иначе как ты собрался выправить эту его кривизну? — усмехнулся Срапион.

— Напротив, хочу, чтоб все еще больше пошло наперекосяк, — зло бросил Асур. — Чтоб в тартарары все провалилось!

— Ха-ха! — сверкнул зубами Срапион. — Я-то знаю одно: горбатого только могила исправит, так и с миром...

Они шли под плач ребенка, рискуя на каждом шагу столкнуться с опасностью. Слезы младенца капля по капле скатывались на землю, и казалось, будто вместе с ним плачут и безмолвные камни.

Чем все кончится? Неужели пробил час невинной жертвы и ужасающий конец наступит уже этой ночью?..

— Нет! Нет! Боже милостивый, — молил Асур, — не дай ему умереть! Не дай!..

А Срапион знай твердил свое:

— Умрет!.. Посмотришь, умрет!.. Как ему выжить?..

Стемнело. И это приободрило обоих. Теперь-то идущий следом за ними враг, сморенный темнотой ночи, свалится прямо на земле и проспит до рассвета. А они тем временем будут идти и идти, все удаляясь от ужаса смерти, стремясь к той смутной надежде, которая хоть и незрима, но есть въяве. Она там, эта надежда, — в той дали, куда они держат свой путь, по другую сторону большой реки. Кто знает, может, им еще и удастся перейти эту реку и спастись?!

Без надежды нельзя. Беда только в том, что, может, ребенку-то нет доли в этой надежде?.. Донесут ли они его до реки? Смогут ли?.. Поди знай!.. Вот уже целый день и ночь, как он маковой росинки во рту не держал. Все только плачет. И теперь так тихо, что звук его голосочка едва доходит до слуха Асура.

Понимая всю безнадежность положения, Асур стал и сам себя клясть, раскаиваться, что взял младенца, отторгнул от тела матери, ничего ему не дав. Мало было своей беды несчастной голове, так взял еще одну боль на душу, повесил ее камнем себе на шею. Ведь он, Асур, тоже сын своей матери. Его ждут не дождутся и мать, и отец, и Наник. А он, грешный, о них и не думает. За что разом три сердца разбивает? Ну почему бы богу не пощадить его, зачем столкнул с этим дитем, эдакую обузу на сердце взвалил? Остался бы ребенок во власти своей судьбы, давно бы угас и спокойно лежал бы рядом со своей матерью, избавившийся от ужасов этого страшного мира. А Асур бы и ведать не ведал о нем. Так нет же, сам, своими руками подобрал горемыку, а теперь вот стал он божьей карой и гложет душу Асуру. И нет от этой кары избавления. Ну как его бросишь? Никак нельзя оторвать от себя эту живую муку, Асур ведь теперь ему за отца, сердце свое несет в руках. А с сердцем как можно расстаться?..

Что за наваждение? В темноте мелькнул свет небольшого пламени, как мак полыхнул кроваво-красный.

Оба остановились. Они почуяли опасность, но ни словом о ней не обмолвились. Огонь был довольно далеко, и Срапион не мог решить, что бы это значило: враждебный он или это неожиданный приют?

В том, что костер разведен не армянином, сомнения у них не было. Земля хоть вокруг и армянская, но армяне здешние либо убиты, либо бежали, спасаясь от гибели. Мертвому огонь не нужен. А беженец огня не разведет из страха перед шныряющим вокруг врагом…

Что бы там ни было, путники пошли дальше. Тихо, как тени. Вот огонь уже совсем рядом, на берегу маленькой речки, перед мельницей.

Вокруг костра сидели четверо: старик, юноша и две женщины. Это были турки. Они мололи зерно и все угрюмо молчали. Над огнем покачивался закопченный котелок. Старик подкладывал в костер по полешку и то и дело с шумом зевал, во весь свой беззубый рот. Видно, монотонный рокот воды и мельничных жерновов нагонял на него сон.

Асур и Срапион с завистью наблюдали за этими четырьмя счастливчиками.

За какую такую угодную богу службу ниспослано им благоденствие? Сидят себе тихо перед огнем, мелют муку и в голове не держат, что в мире есть страх и ужас, разрушенные очаги, умирающий ребенок.

Срапион снял с плеча винтовку и присел на камень.

— Ты подойди к ним, Асур, скажи, чтоб дали какой-нибудь еды. А я отсюда постерегу тебя. Иди…

Асур молча кивнул и шагнул к костру.

Увидев перед собой вооруженного, обросшего человека, женщины взвизгнули. У юноши, который что-то жевал, челюсть так и отвисла. Старик потянулся за топором, лежавшим неподалеку. Асур успел ступить ногой на топорище и, обращаясь к женщине, протянул ей ребенка:

— Это дитя умирает, дай ему поесть.

Женщина с ужасом отпрянула, словно бы ей поднесли змею. Асур закричал:

— Дай, говорю, ребенку поесть!

Голос звучал грозно, в глазах сверкнули искры. Старик турок схватил его за полу шинели.

— Яваш, яваш[22]. Ты вермени?

— А кто же? Не видишь разве? — Асур вырвал у него полу. — Кто еще так мучается, кроме армянина? Армянин я, армянин! А что, армянин не имеет права жить? Вы убили мать этого ребенка!..

Старик сердито сказал:

— Кто убил? Побойся греха, человек! Присаживайся-ка вот лучше на этот камень, погрейся.

— Приглашаешь садиться, а сам за топором потянулся! — И он снова закричал: — Мой ребенок с голоду помирает, чего мне садиться?

— Садись, садись, — твердил свое старик. — И нечего колоть мне глаза топором. Все мы в аду пребываем. Садись. И не говори, что я хочу смерти этому ребенку. Грешно. Аллах свидетель, я в своей жизни никому не сделал ничего плохого. И не сделаю! А топор?.. Что ж, человек есть человек, и страх тоже при нем. Особенно в такое лихое время.

Он взял у Асура ребенка, на свету рассмотрел его и протянул сидящей рядом молодухе, закутанной в чадру.

— Эй, ахчи[23], ты кормящая мать, дай ему грудь.

Женщина приоткрыла лицо и с нескрываемой брезгливостью посмотрела на ребенка. Тот, болтая ручонками, заплакал.

— Аман, гяур он, гяур![24]

Старик рванул ее за волосы и потряс голову.

— Дай ему грудь! Ребенок умирает! Отродье шайтана, сама ты гяур, раз называешь гяуром это безвинное создание. О аллах, и почему это небо не разверзнется!

Молодуха схватила ребенка у старика, отодвинулась от огня и, без стеснения вынув свою налитую грудь, сунула сосок малютке. Ребенок вцепился в неродную грудь и начал жадно сосать.

Асур глубоко вздохнул.

— Поймал, разбойник! Наконец-то насытится!

— Сирота все вынесет, — грустно проговорил старик. — А как же ему иначе?..

Юноша-турок испуганно смотрел на Асура, готовый в любой миг сорваться с места и броситься бежать в кромешную тьму. Видя его страх, Асур пожалел парня. «Глупый, — мысленно укорил он его, — не думай, что я пальну в тебя из ружья». Но вслух он, однако, ничего не сказал: почему-то не захотелось ему развеять страх у юноши. «Пусть кто-то и меня боится...»

Старуха скрюченными руками разминала колени. Голова ее при этом оставалась опущенной. Она считала грехом взглянуть на солдата-гяура. Та, что кормила, сидела, прикрыв веки и сжав зубы от ужаса.

Лицо сосущего младенца постепенно успокаивалось, делалось ублаженным.

Все молчали. Ворковал только огонь. Ему радостно вторила речушка, а мельничные жернова истово вгрызались друг в друга, монотонно ропща: «Чар-чар, чар-чар».

Старик, словно бы боясь гнетущего молчания, заговорил:

— Откуда ты вынес этого ребенка, солдат?

— Из-за той горы, — сердито ответил Асур. — Лежал там подле мертвой матери. Ваши с ней расправились. Турки. Позор вам, баба[25].

Старик взбушевался:

— Ты свой «позор» кинь богу, парень. На нем грех. Это он творец всех людских деяний. И зверя в человека вселил тоже он. Ты, я вижу, очень смелый, так плюнь в него. А нам, нам какой же позор? В чем наш грех?..

И тут старуха, ударившись головой об острые свои коленки, закричала на старика:

— В бога камнем не кидайся! Наш грех, наш! Рядом с нашим селом было армянское село!.. Было ведь? Было. Не мы разве их извели? Мы. Я, ты, муж вот этой молодухи и еще сотня других! Мы это сделали. Владельцем этой мельницы кто был? Не армянин?.. Армянин. А где он сейчас? Кто убил безвинного? Впрягаемся в упряжку дьявола, а потом лаем на бога. Будьте вы все прокляты!

Старик воздел руки к небу, словно рванул за бороду тьму кромешную:

— О Осман, о Абубекир!..

— Злой пес ваш Осман! — выкрикнул Асур.

— А ваш Иисус Христос? Ваш добрый спаситель? Если он не злой пес, отчего не поможет вам? Почему не покарает нас, ваших

убийц? Плевать я хотел на лживого Христа и на такого же лживого Османа! Пле-вать!..

По душе пришлась Асуру ярость старика. И верно ведь, столько лет поклонялись пустоте! Безумство, да и только. От идола этого, именуемого спасителем, плесенью воняет. И никакой-то в нем силы небесной. Просто люди боятся заглянуть в бездонное око бытия.

Асур потянулся к котлу над огнем.

— Чего это у вас варится?

— Молоко, — сказал старик. — Вскипело уже. Накрошим в него хлеба, вот и пища нам.

У Асура кадык так и заходил вверх-вниз, как в пустом мешке.

— Я тоже голодный. И мой товарищ. Он здесь неподалеку, ждет меня.

Сказал и замолк. Пусть только не дадут еды, он оружием возьмет. Ни перед чем не остановится. И женщину, что кормит ребенка грудью, не пощадит. А как иначе? Бог его лжив, но оружие зато верное...

Малютка тем временем насытился и, довольный, гладил ручонками грудь чужой ему женщины. Асуру даже почудилось, что ребенок смеется. А почему бы и нет? Его-то бог не лжив. Вот он — его бог, эта кормилица.

Молодая женщина вдруг тихо всхлипнула и прижала малютку к груди. Это растрогало Асура. Нет, ни за что он не тронет этих людей, этой плачущей женщины. Он ведь человек!

Старик сходил на мельницу и вынес оттуда набитый хурджин[26].

— Здесь, — сказал он, — хлеба и сыра хватит на пять дней. И соль тоже есть... На соль сейчас такая цена, как огонь жжется. И не найти ее... Но тут есть немного, солдат. Бери все и молоко тоже.

Неси товарищу. На здоровье вам. — Старик как-то вдруг очень заволновался, лицо его стало напряженным. — Да живите, о люди, о армяне! — воскликнул он. — Отбирайте, уносите, только постарайтесь выжить! Понимаешь?..

Старуха между тем извлекла из-за пазухи два кусочка сахару и протянула Асуру.

— Поскорее уходите, горемычные, — сказала она. — Село совсем близко, а в нем видимо-невидимо разного сброда.

Асур пристроил молоко в хурджине, как было — прямо в котелке, ребенка обернул полой шинели и поднялся. Старик тоже встал.

— Ущельем не ходите. Там дозоры аскяров. Идите склоном горы, чтоб никто вас не увидел. За перевалом будет город Оргов, потом снова большая гора. Кустарниками спуститесь в Игдир. Там и Аракс недалеко. А за Араксом войны уже нет. Не доходите до моста, мелководьем перейдите реку. Ну, с богом в путь...

Асур слушал старика с полным доверием.

— За сколько дней доберемся до Аракса?

— Если бог убережет вас от случайностей, дней за пять.

Асур кинул взгляд на огонь, хотел было подойти к старику, пожать ему руку, но... передумал и заспешил.

Он чуть пригнулся под тяжестью хурджина, и через миг тьма поглотила его...

Срапион перехватил у него с плеча груз и уверенно зашагал впереди. Похожий на кроваво-красный зрачок, сполох костра скоро совсем пропал из виду.

НОЧЬ ПЯТАЯ

Ночь была какая-то вязкая и словно бы затаившаяся...

Шли нехоженой тропой, склоном незнакомой горы. Ребенок знай себе спал. По-весеннему прохладный ветер бился Асуру в спину, хлопал полой Срапионовой шинели. Справа по ходу высоко в небе покачивалась большая снежная вершина. Казалось, она вот-вот обрушится на них.

Вскоре чуть пониже вершины завиделись огоньки. Друзья в тревоге остановились, затем, не сговариваясь, молча свернули, пошли стороной.

Был такой миг, чуть не напоролись на турецких солдат. Спас ветер, донес до слуха топот копыт их лошадей, и Асур со Срапионом успели укрыться за каменными громадами. Всадники, бывшие, видно, караульным дозором — трое их, — проехали рядышком, и очень скоро конский дух, испарившись, исчез вовсе.

Путники еще чуть переждали и заспешили к вершине большой горы Во что бы то ни стало надо до рассвета миновать перевал...

Они шли и молчали. О чем было говорить? И зачем?.. Шли, почти слившись друг с другом. Малыш только разок пробудился, погукал сам с собой и снова закрыл глазенки, словно темноты убоялся.

— А старик не обманул! — шепотом выдохнул Срапион. — К рассвету и правда доберемся до Оргова.

— В город войдем? — спросил Асур.

— Что ты? — испугался Срапион. — Там люди!

Какая жестокая нелепость! Они так нуждаются в людской помощи, и, однако, именно человек им сейчас хуже змеи. Все в мире перевернулось с ног на голову. А что можно поделать?! Где это слыхано: погоняемый слепым исступлением, человек ищет себе подобного только затем, чтобы убивать, резать, мучить.

Асур не мог осмыслить, как происходит чудовищное преображение человека, что пробуждает в нем зверя?.. И не безумие ли то, что он при этом по-прежнему прозывается человеком?.. Ведь совсем недавно, кажется, будто вчера или позавчера, когда еще не было этой ужасной войны, люди с тревогой заботливо оберегали друг друга и, будь то худой старичишка, радели о нем, стараясь облегчить страдания, насколько возможно продлить ему жизнь. А теперь то же самое божье создание, именуемое человеком, обернувшись чудищем, убивает, льет кровь и, торжествуя, ликует, видя гибель себе подобного.

И что это за змеиное жало засело в человеке?.. Старый турок одинаково плюет и на Христа, и на Османа, но потянулся-то он за топором... И окажись в первый миг топор или ружье у него под рукой, он, может, не задумываясь, отправил бы на тот свет и Асура, и этого малютку.

Старик поносил своего бога, а его, Асура, мать каждое утро коленопреклоненно лобызала подножие каменной святыни, вырубленной прямо в скале, неподалеку от их дома. Кому из них верить? Кто из двоих прав, мать или старый турок?..

Вспомнив о матери, Асур до слез затосковал по дому.

Уже два года, как он покинул его. Село их далеко. От Аракса еще, наверно, дней восемь — десять пути, если не больше; оно в одной из горных впадин, где начинают свой путь багряные зори...

Сейчас, наверно, в рассветной дымке уже не виден ердик[27] их дома, а белесая рысь убирается в свою берлогу в горах, и от страха перед ней воют собаки, и вой их отдается эхом в мрачных пещерах. И мать небось пугается этого воя...

«Эх, старик, ты спишь?..»

«Нет...»

«Собаки взъярились. Никак сын наш вернулся. Испугают его. Поднимайся...»

И старый отец только кряхтит ей в ответ.

Оба так и проводят недремлющими филинами свои бессонные тревожные ночи, в ужасе от воющих гор, от мира, часть которого словно бы обвалилась и словно рушится...

Сердце у Асура болью заныло. Ведь он один у отца с матерью, единственная надежда. И каждый их день сейчас занимается и угасает с болью и тревогой за него. А в горах воет рысь. И он, Асур, идет на вой этой рыси, идет по острию жизни и смерти, и это вовсе не тропа, а глубокая пропасть...

Светало. Весело вспорхнул навстречу пробуждающемуся дню красный жучок; наслаждаясь светлеющим небом, затрепетал жаворонок. Ликовали и горы. Только Асур да Срапион посылали проклятья восходу: им он сулил новые неприятности — высветил мир, обернув его в бело-желтый саван, и опять надвинул смертельную опасность над беглецами.

Однако кляни не кляни, а рассвет, вон он, уже полыхает всеми красками утра, не посчитавшись с их проклятьями.

Рассвет словно бы смеется, а ты, содрогаясь от ужаса перед ним, благословляешь то далекое небытие, когда тебя еще вовсе не было в этом мире...

Рассвет пробудил и ребенка. Малыш заплакал. Нет, это был не плач, а душераздирающий крик.

Внизу расстилалась довольно большая долина. Нависшая над ней утренняя дымка заволокла ее, и, распластанная, она напоминала оставшееся незахороненным тело матери этого малютки...

Итак, продолжать путь невозможно. Все вокруг, весь мир уже освещен, и надо снова прятаться.

Они залегли в высокой траве, как закаменели, а на губах не остывало проклятье восходу.

И когда теперь день сменится ночью?..

А ребенок плакал. Опять его мучил голод. Вот ведь наказание! И чего плачешь, горемычный. Хочешь, чтобы весь мир знал, что еще живешь? Как можно обнаруживать себя, если с четырех сторон нас окружает враг?! Когда смерть так и рыщет по пятам, вынюхивает, где ты есть. Ну, замолчи! Говорят ведь, замолчи!..

Ну, что тут втолкуешь этому комочку живого мяса? Он есть жизнь, а жизнь берет свое. Он не ведает, что творится вокруг. Его плач — это протест, это укор. Мол, эй, вы, солдаты, спасли меня, значит, помогите выжить, — это теперь ваш долг! Ведь я не просил вас вырывать меня из лап смерти. И уж раз добровольно вызвались в спасители, то и извольте добыть мне пищу. Решились быть людьми в этом бесчеловечном мире, так будьте ими до конца!

Срапион извлек из хурджина посудину с молоком, развернул Асурова малыша, высвободил ему ножки, развесил посушить мокрые пеленки и стал поить крикуна молоком. И тот, насытившись, сразу замолк и уснул, согретый теплом падающих на него солнечных лучей.

Срапион протянул кусок хлеба с сыром Асуру.

— И сегодня он у нас продержался. На завтра тоже хватит. А что потом?.. Все равно помрет... И нас за собой утянет. Сами навлекли на себя кару небесную, из-за жалостливости своей!..

И Асура вдруг обуял страх: он почувствовал теперь уже, что начинает всерьез верить товарищу, верить, что ребенок и правда не выживет. Эта мысль привела его в ярость. С отчаяния он стал ласкать малютку, целовать, дышать ему теплом на ручонки. Так голубь своим дыханием выхаживает птенца. Неужто этот комочек жизни все же угаснет?! Нет, нет! Асур не допустит! Он вскроет себе вены и теплой своей кровью напоит ребенка, чтоб выжил!..

А малютка спал на зеленой постели из травы и цветов. Сейчас он был спокоен.

— Срапион, — заговорил Асур. — Я хочу сказать...

— Что?..

Асур не сразу выразил свою мысль, словно еще для себя додумывал ее.

— А хорошо ведь это, Срапион, что и среди такой разрухи еще есть люди...

— Какие люди?

— Да хоть бы, скажем, тот, с виду такой недобрый, козопас. И те турки, у мельницы. Старик и женщины...

— Ты о них как о сестрах двоюродных говоришь или о зятьях своих!.. — с иронией в голосе пробурчал Срапион.

— И все же!.. — не уступал Асур. — Не будь их, где бы мы взяли молока для ребенка, да и хлеба для нас? Они ведь дали?!

— Не дали, — сказал Срапион. — Мы силой у них забрали...

— Их бы не встретили, так и забрать бы не у кого! — Асур вздохнул. — Нет, брат, хоть они и турки, а козопас курд. Но люди! Добрые люди! И хорошо это, что доброта неиссякаема, что истинно человеческий род неистребим. Не то белому свету уж давно был бы конец.

Срапион тихо засмеялся.

— Ты, я смотрю, Христом на мою голову обернулся! Мне-то что оттого, истребим или не истребим человеческий род? Какой в этом толк, если все, чем я жил, мертво, если ветвь моего рода иссушается!.. Не играй в Христа, Асур!..

Они замолчали. Срапион облазил все окрест. Выискал и нарвал съедобной травы. К хлебу и сыру, что дал турок, она пришлась как нельзя кстати. И тут уже Срапион подумал, что Асур, видно, действительно прав: не приведи бог, чтоб на свете людей вдруг не стало. Добрых людей...

Внизу тем временем рассеивалась туманная морось. Весенний день входил в свои права, открывая глазу неоглядную даль большого поля.

* * *

Стемнело не скоро.

Малыш проснулся и опять за свое: есть, мол, давай. Споили ему остатки молока. И сами поели хлеба с сыром да запили водой из ручья, стекавшего откуда-то сверху.

— Пошли бог надежду!.. — перекрестились они.

Однако в путь двинулись, уповая не столько на бога, сколько на темноту.

Впереди шел Срапион, следом Асур.

Молчали.

Утешить друг друга нечем, да и рискованно говорить.

Дышать и то небезопасно. Враг, он коварен. Кто знает, не затаился ли где поблизости в засаде. И что говорить, ясно ведь, обречены на погибель. Вот и молока ребенку больше нет. Остался всего кусочек сахару, что старуха дала, и больше ничего. А бог, он не балует, на него надежда плохая, никому еще милостыни не подавал.

Одно слово — обречены на погибель...

До большой реки дорога еще очень длинная. И страхов на ней ой как много, на каждом шагу смерть — и впереди, и за спиной, всюду. Ах, если б дитя было смышленым, понимало бы, что никак ему нельзя кричать, будить злых ночных духов. Никто его не вразумит. Паршивец, понимает, что только плачем он может

нагнать страху на своих спасителей, принудить их раздобывать ему пищу. Только плачем. Этим он держится. Выжимает из своей крохотной плоти последние звуки и плачет. Но вот беда, плач его путникам уже нипочем: бросившийся в реку не боится дождя. Орет и пусть себе орет, пока вконец не изойдет. И, однако же, этот крикун не ведает ни страха, ни жалости. Никак он не уймется. Того и гляди, из тьмы вынырнут вооруженные вражьи люди.

Терпению Срапиона настал конец.

— Осел, сунь ему сахар в пасть! — закричал он. — Заткни паршивцу глотку или удуши его наконец!.. Всего-то ведь с ноготок, а с потрохами нас съест...

Асура придавило смешанное чувство вины и безнадежности. Он смочил языком сахарок и положил мальчонке в рот. Тот сначала засопел, потом примолк и стал сосать. «О господи! — боясь Срапиона, про себя взмолился Асур. — Да неужто же нет в тебе жалости, господи? Человеколюбия нет? Укажи хоть какой-нибудь путь!

Уже к рассвету добрались до густо поросшей кустарником балки. Еще чуть прошли. Но, увидев вдруг свои тени, которые, вытянувшись вперед, неуклюже подпрыгивали по камням, путники вдруг испугались.

Все. Опять светает, и продолжать путь снова опасно. Они, как каменные жабы, приникли к корневищам кустов и деревьев и схоронились.

Не кто иной, как недруг, наслал им этот рассвет, это солнце, которое с такой нежностью ласкает листья, зелень трав, камни, землю.

— Э-эх, была бы снова ночь!..

С полчаса лежали они так тихо, словно мертвые. Первым схватился Срапион. Сел тут же на землю, где лежал, втянул воздух — понюхал его.

— Сдается мне, Асур, селом пахнет, дымом!.. А ты чуешь?

— Нет, — ответил Асур. — Я чувствую запах смерти!..

— Чтоб тебе головой о камень трахнуться! — рассердился Срапион. — Помер ты, что ли? Не чуешь разве, что внизу село есть?

— Ну и пусть себе. Нам-то что?

Срапион примолк. Глянул на Асура...

— Давай отнесем ребенка в то село. Подбросим кому-нибудь и убежим.

— Отдать туркам?!

Срапион как осатанелый стал кулаками бить о камень.

— Так что же делать, дать ему помереть? И нас чтоб за собой потянул?

Асур загородил ребенка.

— Не вздумай пальцем до него дотронуться!.. — угрожающе крикнул он.

Срапион остолбенел. Крик Асура будто ножом его резанул, обжег лицо. Это был вой волчицы. Нет, что-то еще пострашнее. Никак с ума Асур сходит?.. Глаза у него мутные, налиты кровью, рот перекошен, губы сухие, волосы вздыбились, как шерсть на спине у продрогшего пса. До чего же страшен, на кого хочешь нагонит ужас! Неужели и он, Срапион, выглядит эдаким чудищем?

— Возьми мою душу на покаяние, слепец-бог! — воздев руки к небесам, простонал Срапион.

Теплый весенний ветер поиграл с кустом шиповника и, как воришка, удрал, унося с собой розовые лепестки и аромат цветов.

А на пути ветер еще и всколыхнул волны трав и уж только потом бултыхнулся в реку.

Асур повернулся к ребенку и уставился на него не мигая: то ли спит, то ли совсем угас?.. Бескровное личико сузилось, сделалось таким маленьким — в ладони упрячешь. Асура пробрала дрожь — даже зубы застучали. Жалость и ярость перемешались в груди. Он отчетливо понимал, что не сегодня-завтра потеряет это дитя, эту свою божью кару. Вон и ветер в безумии воет о том же... Ну чем тут помочь?!

Что это? В траве торчит чья-то борода и... пялятся чьи-то глаза, полыхают желтыми бликами. Турок?! У Асура пальцы сжались в кулаки.

Турки — и совсем рядом?!

С зеленым побегом шиповника в зубах, помахивая бородкой, сверху на запеленатого малыша удивленно глазела обыкновенная коза. Рядом с ней воткнулись еще три не менее удивленных бородача. Козы почти по-человечьи смотрели на расположившихся на земле людей, даже с оттенком сострадания.

Срапион выдохнул Асуру в затылок:

— Не шевелись!..

Приглядевшись, они увидели, что в кустах разбрелось целое стадо. Больше сотни. Козы и овцы общипывали листья на кустах и, довольные, с хрустом пожирали их. Там же, наверху, чуть поодаль, беспечно созерцая ущелье, восседал на камне пастух.

Срапион осторожно притянул за шею козочку, что была совсем рядом, начал гладить ее, почесывать спину и за ушами, провел пальцами по губам, дал лизнуть.

— А ну, вынь-ка посудину из хурджина, — едва слышным шепотом приказал он товарищу.

Асур достал кувшин, ползком подтянулся к козе и схватил ее за соски раздутого, как полный мешок, вымени.

Струйки теплого молока журча полились в посудину.

— Потише жми на соски, испугается.

По лицу Асура скользнула улыбка. Молоко ударялось о стенки кувшина, пенилось. Вот когда ом досыта напоит своего ребеночка! На целый день будет ему еды. И не один такой день, десять тысяч, нет, больше дней он готов любой ценой оберегать его, кормить, пока наконец совсем спасет, принесет в свое село, к матери, и скажет:

— Вот, получай еще одного сына.

Мать обрадуется. Очень обрадуется.

Да, он спасет его! Обязательно спасет! Ведь вот уже пять дней, как уберегает. Еще три-четыре дня продержаться, а там и Аракс перейдут. Нельзя бога гневить, он милостив к сироте. Вот и пищу ему ниспослал. «Я было наглупил, поругал тебя, господи! Прости. Я пес твой. Потявкаю-потявкаю, а полу одежки твоей из рук не выпущу. Будь и впредь так же милосерден, господи!..»

Козье вымя опорожнилось до последней капли.

— Отпусти ее, — сказал Срапион, — кувшин уже полон. Хотя нет, погоди...

Асур еще почесал козе спину, погладил глаза, надо же поблагодарить животину. И ей это нравилось.

Отара тем временем поднялась наверх. Юноша-козопас последовал за ней, и вскоре он уже скрылся за перевалом.

Срапион нарвал листьев шиповника и скормил их козе прямо с руки.

— Дай-ка ей немного соли, — сказал он Асуру. — Мы оставим ее при себе. Давай соль, задобрим, может, удастся приручить. И напои ребенка молоком, пока оно теплое.

Малыш пил взахлеб. До того насытился, что даже отвернулся. Асур протянул кувшин Срапиону.

— На, тоже попей.

— А ты? — вопросительно глянул на него Срапион.

— Хватит и мне. Молока много.

Оба сделали по нескольку глотков и заспешили уйти подальше от этого соблазна. Пригибаясь, а где и ползком, они прошли кустарником по склону, миновали небольшую рощу. Асур нес ребенка, Срапион — козу.

Был уже полдень. Пройдя всю рощу, они наконец решили передохнуть. Устроились в расщелине скалы. Укрытие было надежным. Срапион сразу начал рвать траву для козы-кормилицы.

— А парень-то этот, козопас, настоящий осел.

— С чего тебе так показалось? — хмыкнул Асур.

Срапион довольно улыбнулся.

— Не заметил ведь нас, слепой, что ли?..

— А заметил бы, нам несдобровать.

— Я прирезал бы его!

Асур вздрогнул от этих слов. Он машинально потрогал свой кадык и посмотрел на ребенка.

НОЧЬ ШЕСТАЯ

Вот и еще одна ночь черным стервятником разостлала свои крылья над беглецами, над ребенком и над козой. Ущелье уже потонуло во тьме, тогда как на дальних вершинах еще играли блики заходящего солнца. И небо там еще розовело...

Снова тронулись в путь. У Срапиона была теперь своя ноша — он привязал козу к поясу и вел ее рядышком, а Асур нес свою неделимую плоть — ребенка.

Так они пробирались к цели еще три ночи кряду. Днем по-прежнему прятались в укрытиях, пасли козу и доили ее — тем и кормились, а ночами шли и шли.

На исходе третьих суток, перед рассветом, они наконец увидели перед собой Аракс. Как духи ночные, затаились в высоком камышнике и с нетерпением приготовились переждать, пока стемнеет. Еще целый день предстояло прятаться. Но едва наступит желанная тьма, они выйдут к реке.

Срапион заботливо ухаживал за козой и больше не укорял Асура, не был суров к ребенку, не твердил, как прежде: «Умрет». Ничего такого уже не говорил. Ведь они наконец у цели. И конечно же оба рады, что спасли малыша. Оба теперь полны надежды, что ночью перейдут реку. Но недаром говорится, что у сироты день черен, а бог глух. Откуда ни возьмись, против них на холме появились аскяры. Четверо. И шли они прямо на них, про тайник будто знали. Неужто приметили?.. У Асура в горле пересохло. Затеплившаяся было надежда снова сменилась болью и тревогой. Срапион поднял винтовку и прицелился.

— Положи ребенка и бери ружье! — приказал он.

Асура удивило, что голос у Срапиона был очень спокойный, никакой в нем растерянности, будто им вовсе ничто и не грозит. Асур уложил ребенка на траве и занял позицию там, где велел Срапион.

Турки продолжали приближаться. Можно было почти безошибочно предположить, что идут они в этом направлении не случайно, а потому, что заметили их. Идут уверенно, дерзко, не предвидя для себя никакой опасности. Так испытанный мясник с топором в руках подходит к быку, чтобы одним ударом оглушить его, повалить, а потом и заколоть.

Как назло, вдруг захныкал ребенок. Но Асур не стал его успокаивать. Все равно они уже обнаружены. У него как то даже прибавилось мужества и хладнокровия — теперь-то ведь надо непосредственно постоять за жизнь этого безвинного младенца. И то, что дитя плачет, может, даже к лучшему. Кто знает, не из камня же те, кто идет на них. Может, детский плач пробудит в них милосердие. Люди ведь! Сердце имеют и душу тоже. Значит, должны пожалеть ребенка. Может, не тронут, отступятся?

С того самого дни, как они пустились в побег, Асур впервые так близко, лицом к лицу, видел врага.

Похоже, турки вот-вот выстрелят. Начнется столкновение. А потом?.. Что будет потом? Асур не мог найти ответа на свой вопрос. Перед ним враг, а в ушах плач ребенка.

Аскяры приближаются все с той же дерзкой самоуверенностью. И плач им нипочем. Окаянные, хоть чуточку встревожьтесь! Ребенок ведь плачет, может, даже умирает. Наверное, услышь тявканье щенка, бросились бы к нему с лаской, а здесь ребенок надрывается. Человек в беде!..

Срапион вдруг всполошился.

— Бей! — скомандовал он.

И Асура словно обухом огрело. Что делать? Стрелять?.. Но как стрелять, ведь это люди! Шагов за тридцать от него. Как ему стрелять в людей?.. А если он вдруг кого-нибудь из них убьет? Или ранит, и тот попросит о помощи?.. Что тогда делать?.. О господи! Что за наваждение, что за кошмар ты нагнал на меня! Освободи от смуты душевной! Сними с меня бремя всепрощения и доброты!

В глазах у Асура шли темные круги. Казалось, он слепнет.

И вдруг удар. Асур вздрогнул. Это выстрелил Срапион...

— Бей!..

Кто это приказывает? Срапион? Или ребенок велит ему стрелять? А может, это требование изнываемой в агонии земли?

— Бей!..

Асур прицелился и... выстрелил. Два аскяра упали разом, прямо перед ними. А двое других в недоумении смотрели в их сторону.

— Эй, гяуровы суки, — крикнул один, — откуда у вас оружие и где вы научились убивать?! Эй, бабы!..

Срапион снова скомандовал:

— Бей!..

И, прежде чем аскяр успел снять с плеча ружье, Срапион снова выстрелил. Оба турка упали.

Мертвое молчание задохнулось в тростниковых зарослях. Ужас тишины сомкнулся, как смыкаются скалы, и стал давить, сжимать Асуру голову.

— Решили, что здесь женщины с ребенком, — усмехнулся Срапион. — Плач мальчонки их обманул...

Над камышником закружили стервятники. Где-то поблизости завыл шакал. Коза, задрав от удовольствия свой короткий хвостик, грызла стебли тростника. Малыш затих, наверно удивляясь нежданной тишине. Асур подскочил к нему. Какая-то синяя бабочка кружила над пуговкой-носиком. Ребенок, широко раскрыв глаза, смотрел на бабочку...

Оставаться в этих зарослях небезопасно, наверняка убитые аскяры были не одни: поблизости есть войско, и выстрелы сейчас уже докатились туда. Враг попытается во что бы то ни стало настигнуть их. Надо быстро уходить.

Лучше бы, конечно, днем отсидеться в тростниках и только ночью перейти реку. Но, пожалуй, теперь это было бы безрассудством.

Надо уходить к реке. Поскорее выйти на берег — и в воду...

Асур с привычной бережностью уложил на груди свою запеленатую ношу. Срапион перекинул через плечо хурджин.

— Надо спешить, Асур! Надо спешить!..

Поначалу шли пригнувшись и то и дело настороженно озирались. Коза за ними не пошла. Где ей? Она ведь вкусила сладость тростника, вот и грызет — не оторвется.

Они были уже довольно далеко от места, где укрывались, когда вдруг увидели перед собой глубокий овраг. Он вел к реке. По нему-то беглецы и припустили к цели.

Срапион подпрыгивал, словно аист. Шея у бедняги стала такая тонкая, того и гляди, переломится. У Асура сердце сжалось от боли и сострадания. Товарищ его был похож на скелет, восставший из гроба. Наверно, и он, Асур, выглядит не лучше. О-ох!

На груди у него вроде бы и не было никакого груза. Ребенок совсем ничего не весил. Несчастный вконец изголодался, измучился. И Срапион весь высох. Да и сам он тоже. Иссохли, истерзались. И белый свет, вроде них, иссох-истерзался, тоже вот-вот хребет переломит. Туда ему и дорога, пусть канет в бездну, не оставив и следа во вселенной!..

По сухому песчаному дну оврага стелились путаные следы. Так и впечатались. Это были следы взрослых и детей. Все больше от босых ног или от трехов.

В нос вдруг ударило зловоние. На песке грудились трупы. Сколько их тут? Двадцать, пятьдесят?.. Женщины, дети, старики. Похоже, что это дело рук тех самых аскяров, которые, услыхав крик плачущего ребенка, пошли на них. Пошли, решив, что и там женщины, и там пожива. Пришли и нашли свой конец — навсегда остались лежать в песке.

Пробирающийся с зажатым носом мимо трупов, Срапион тоже казался мертвецом, который бог весть каким чудом поднялся и, став символом проклятья, уносится из ада.

У Асура в душе все горело, хотелось кричать как безумному. Он и правда был близок к помешательству. И чтоб не заорать, не задохнуться от трупного смрада, он зарылся лицом в спеленатого ребенка и так, ничего не видя, кинулся бежать из этого ада.

Срапион, тот онемел от ужаса и отчаяния. Ему казалось, что мертвецы все разом поднимутся, пойдут на него. И на ребенка, на Асура!..

В себя они пришли только на берегу реки. Еще бы шаг и... бултыхнулись бы в воду.

Асур снопом повалился на траву и посмотрел, что с ребенком. Он улыбается! Выходит, в мире еще жива улыбка?!

Срапион вдруг невпопад пробурчал:

— А коза-то осталась там. Жалко... Шакалы раздерут. Весь этот берег и камышник — все здесь вотчина шакалов. Они и детей уносят, если на спящих нападут!

— Сейчас не унесут, — сказал Асур. — Тут столько мертвецов...

— Глупый ты! Какое такое безмозглое животное станет жрать мертвечину, если рядом живность? И уж шакалы-то знают, что им надо...

Аракс был спокоен. В своем камышовом ложе он словно бы и не воды нес, а густую кровь, которая, вот она, тихо бьется о берег, о камни...

Две утки, клюв в клюв, вспорхнули над рекой. Под солнцем блеснула серебряная спинка сома, толстенного, как бревно. Он прыжком рассек воду и погрузился в свое царство тьмы.

Вдали виднелись вершины Арагаца. Они в снежной фате, с глубокими впадинами, от которых вверх, к самому небу, поднимаются светлые блики. Ниже, под вершинами, широкой кромкой стелилась синяя туманная мгла, и от этого создавалось впечатление, будто белые вершины висят в воздухе, ни на что не опираясь.

Еще ниже, под мглистой синевой, зеленели сады и поляны. И к ним сбегали солнечные лучи — коснутся земли и вспорхнут-взовьются вверх, словно спугнутые.

На берегу, нахохлившись в зеленой дымке, тихо курились ивы. Под ними трава и вода светлыми поясками окружает стволы. Появился какой-то человек с лопатой, видно садовник. Женщина промчалась на лошади прямо через сад. Два буйвола подошли к реке и, казалось, вот-вот войдут в мутные воды, но, откуда ни возьмись, вдруг возник юноша. Он отогнал их в глубь сада...

Два друга обалдело смотрели на эти такие знакомые, но давно забытые картины. На том берегу Аракса была жизнь! Зеленая жизнь со столбиками дымов, вздымавшихся из ердиков.

И река. Обильная. С очень мутной водой.

Велик он, Аракс. Начало берет в дальней дали, в лоне истерзанной земли, и, петляя, уходит кто знает куда...

Срапион кинул камень в воду.

— Живет!..

— И улыбается!..

— Бедолага. И имени-то мы его не знаем!.. — Срапион сплюнул в песок. — Реку перейдем прямо здесь. На том берегу наши... Плавать умеешь?

— Как бобер!..

— Я тоже! — выдохнул Срапион. — Готовься.

— А чего тут готовиться? Я готов, ружье за плечом, ребенок на руках...

Асур поднялся.

— Поспешим, пока гончие не напали на наш след.

Срапион поправил на плече хурджин, затянул потуже пояс и вошел в реку.

— Бог в помощь. Вода теплая.

Она уже по колено Асуру.

Срапион идет впереди. Ему легко в воде, ног словно вовсе нет.

Все глубже и глубже. Асур едва нащупывает дно — вода дошла до груди. Он поднял ребенка на плечо, чтобы не промок, и, поддерживая его одной рукой, другой балансирует, чтобы не потерять равновесие на волнах. Срапион уже по самую свою тонкую шею под водой. И он, Асур, того и гляди, с головой окунется.

Они держали чуть вкось по течению, так легче идти.

Вот дно совсем ушло из-под ног. Надо плыть. Срапион подождал, пока Асур нагонит его.

— Одной рукой ребенка держи, — подсказал он, — а другой греби. И дай-ка мне ружье, полегче станет.

Асур снял с плеча ружье, отдал Срапиону. Подняв над собой запеленатого малыша, он лег на воду и свободной рукой начал грести.

Срапион плыл рядышком.

— Не бойся, я близко. И осторожно. Хорошенько держи ребенка, не урони.

Асуру вдруг вспомнился случай. Парнишкой он еще был. Овцу как-то переправлял через реку. Обхватив ее одной рукой за шею, другой греб. Ушел с головой под воду и плывет, не подумав, что ведь овца-то тоже под водой. И, когда он выбрался на берег, оказалось, что овца конечно же захлебнулась и уже сдохла. Мать ужасно сердилась на него.

— Чтоб тебе пусто было!.. Одну овцу — и не уберег!..

Сейчас у него в руках не овца. Ребенок в руках. И река не та. Река сейчас большая, широкая и, конечно, глубокая. Но теперь-то он держит ребенка как надо — над водой — и, боже упаси, не даст ему захлебнуться. Сейчас к тому же с ним Срапион...

Вспомнив о матери, Асур потеплел душой, радостно подумал, что еще немного, и они пересекут реку, избавятся от преследований и опасности. Он принесет ребенка, отдаст его матери. И станет она растить малыша, как своего. Мальчишка ведь!.. Подрастет, и однажды они вдвоем отправятся и разыщут тот горный склон, где оставили умершую мать ребенка. Разыщут ее останки и предадут земле...

Асур истово рассекал воду и верил, что такой день непременно настанет.

Он поднял малыша еще выше. Вода сама держала их. Асур плыл легко, он был уверен в себе. За свою жизнь столько поплавал в речке близ родного села... Вот только овцы до сих пор жаль... Да ведь несмышленышем был. Потом он не раз переплывал реку. С

теленком, к примеру. На другом берегу было хорошее пастбище. Теленок потяжелее, чем малыш. С ребенком легко. Пенящиеся волны помогали Асуру продвигаться вперед.

Чудеса, да и только: проказник-то снова смеется. Выпростал ручонку, лупит ею по воде и смеется! И это вовсе не плохо! Может, этот комочек души и тела чувствует, что вот они и впрямь наконец спасут его?.. Смеется, а!.. Ну и пусть смеется. Вон ведь уж сколько проплакал за свою коротенькую жизнь. Теперь пусть смеется.

Впереди совсем близко отчетливо виделся берег. Чуть пониже от ивовой рощи высилось исполинское ореховое дерево, зеленое-презеленое. Его толстые, переплетенные корни уткнулись в воду. Обнаженные ивовые корни были красные, а у ореха — белые. И все это очень хорошо видно на срезах обрывистого берега. Вода билась о корни, и они отсвечивали красными и белыми бликами.

За прибрежными деревьями над ровной зеленью сада поднимался столбик дыма. Это, наверно, садовник разжег костер и обсыхает, греет промокшие в росе ноги. Жаль, что он не появляется. Может, голос подать?.. Но, пожалуй, не стоит — вот-вот сами доберутся до берега. Оба, и Срапион тоже, благополучно гребут к красно-белым корневищам, которые вон уж совсем недалеко. А ты, малыш, чего смеешься? Проказник! И еще лупишь ручонкой по воде?.. Что ж, смейся! Смейся!..

Срапион плывет слева. Иногда на какой-то миг он уходит под воду, потом выныривает. Видно, что он очень рад. Да и как не радоваться? Ведь наконец спасутся. И малыша своего спасут.

Нога Асура вдруг задела о камень. Значит, уже добрались до мелководья? Он сделал еще два-три рывка и, подняв ребенка в обеих руках, встал на ноги. Под ним было дно. Вода только по грудь. Значит, дальше можно идти. Берег близко, корни орешника тоже. Пройди еще чуть-чуть и хватайся за кривую укрючину корня!..

Вдруг что-то свистнуло прямо над ухом. В воде взбурлил маленький фонтанчик рядом с Асуром — в нос ему ударил.

Срапион закричал:

— Турки, Асур! Скорее!..

Асур невольно оглянулся. На том самом месте, где, перед тем как войти в реку, стояли они, сейчас толпились около десятка конных аскяров и палили им вслед. Вон их пули врезаются в воду, выбрасывая вверх струи вскипающих фонтанчиков. А иные не сразу уходят ко дну. Отскочив от водной глади, они еще раз-другой подпрыгнут на волнах и только потом исчезают.

— Быстро иди под воду! — кричал Срапион. — Ныряй! Под водой пуля не одолеет. — Сказал и сам исчез.

Асур тоже чуть было не нырнул, но вовремя спохватился — вспомнил о ребенке в руках и... об овце, с которой когда-то так неудачно нырнул там, в своей реке. Нет! Сейчас он этой ошибки не повторит. Попробуй только нырни, ребенок вмиг захлебнется.

Асур ускорил шаг. Эй, зачем вы стреляете? Не смейте! Не видите разве, что на руках у меня ребенок?!.. Не видите? Очень даже хорошо видите. Поймите же, окаянные, у меня на руках ребенок! Я не могу нырнуть. Не палите из своих ружей. Вы же убьете его! Девять дней я уберегал малыша. Почище Христовых мук терпел, а сберег. Оставьте хоть этого, пусть живет! Ну что он вам такого сделал, эй, немилосердные? Не стреляйте!..

Срапион показался из воды. Жадно глотнув воздух и крикнув «Ныряй!» — он снова ушел с головой.

А ребенок уже не просто улыбался. Он заливисто гулькал и смеялся, словно свист подпрыгивающих вокруг пуль доставлял ему особое удовольствие.

Асур плотно прижал дитя к груди, подставив пулям спину, чтобы они, не дай бог, не угодили в ребенка.

Стало уже совсем мелко. Срапион тоже шел. Вот он одной рукой ухватился за корни орешника, а другую протянул к Асуру:

— Давай мне ребенка! А сам пригнись. Все уже, конец!..

Асур протянул к нему младенца. Срапион подхватил насквозь промокший сверток, положил его за ствол орешника, чтобы вражья пуля не тронула, и, прячась за камнем, подал руку Асуру, хотел помочь ему, вытянуть из воды...

Рука так и осталась протянутой. Там, где стоял Асур, на воде раскачивался только кровавый круг. Чуть ниже на мгновение показалась голова Асура и тотчас исчезла в водяной толще.

Волна ударила кроваво-пенящимся гребнем о камень и разбилась...

ЭПИЛОГ

В горах было тепло.

По утрам в росистой траве и на цветах сверкали короткие лучики тысяч маленьких солнц.

Зато вечерами огромное закатное светило раскаленным шаром ложилось на дальней вершине, окрасив цветом алой крови камни и зажатые в них тропинки...

Был весенний звенящий закат. Срапион с наслаждением втянул в себя воздух, пахнущий дымом очагов.

Горы тоже дымились. Лениво-лениво. У Асурова дома лаял пес. Срапион прошел между несколькими домами-пещерами и остановился у того, где жил Асур.

— Эй-эй, нани![28]

В жерле скалы появилась мать Асура. Поморгала, приложила ладонь козырьком ко лбу, чтоб отгородиться от слепящих лучей низкого заходящего солнца, и вскрикнула:

— Срапион!.. Да будет мой отец тебе жертвой, это ты, Срапион? А Асур мой?! Асур мой где?!..

— Вот тебе Асур, нани!..

Мать взяла у него ребенка и, как подрубленное дерево, повалилась на колени. Узкие ее плечики забила дрожь, Срапион отвернулся и обшлагом рукава стер слезы с глаз...

На вершине горы, словно бы оседлав ее, покоился огненно-красный шар солнца.

1965 год — апрель, Москва

1967 год — декабрь, Ереван

ЖАЖДУ — ДАЙТЕ ВОДЫ
Повесть

ДОРОГА ЖАЖДУЩАЯ

Давным-давно это было

Прерывистая нить тропинки, поднимаясь из ущелья, безжизненно стелется по высохшей земле Ладанных полей. На

простор выбирается сторожко, как бы затаив дыхание, — каменная теснина кишит клубками ядовитых змей.

Нет иного пути у моего отца, почтальона. К селам, что лепятся на краю Ладанных полей, нет другой дороги. А там глаза и сердца тех, кто ждет вестей издалека. И мы взбираемся по этой тропинке: отец с большой почтовой сумкой за спиной, я — с маленькой...

Дальние это были села. Пока мы добирались до первого из них, души иссыхали от жажды.

Велики Ладанные поля — от горизонта до горизонта. Длинна дорога наша, а воды на ней всего горсть — Родник Куропатки. Не утолишь здесь жажды, губы растрескаются, как земля Ладанных полей, и, чего доброго, останешься на полпути...

Ступаем мы по обожженным камням. И нет вокруг ни деревьев, ни травы, ни цветов. Опаленную солнцем землю пожирает змея. Наверное, оттого ужаленный ею буйвол мгновенно падает замертво.

То и дело натыкаемся на скелеты: человечьи, лошадиные... И все они столетней, а может, и тысячелетней давности.

Проходя мимо них, отец обычно замолкал и брал меня на руки. Язык у него развязывался только у Родника Куропатки.

С сумкой за спиной отец припадал к роднику. Надолго приникали мы к каменной чаше, куда из скалы стекала тоненькая струйка. Он погружал в воду усы, а я всю свою рожицу. Первым пил я.

«Вода малому», — говорил отец.

И я пил. Иссякала каменная чаша. Отец ждал, пока она вновь наполнится.

Он пил долго, долго. И все благословлял Хачипапа. Тот и на сей раз с дьявольской находчивостью заткнул пасть змее из ущелья.

Завяжу, завяжу крепко
И пасть и пуп братца Змея...

Отец слизывал оставшиеся на усах капли воды и облокачивался на сырой камень родника. А я думал о Хачипапе. Все умел Хачипап, даже завязывать пасть змее...

Вот у родника появилась бабушка Шогер. (Мне она и тогда казалась бабушкой.) С ней тоненькая высокая девочка Астг[20]. Бабушка Шогер жена сына Хачипапа, козопаса Мамбре, мать одиннадцати детей. Меньшая ее дочь, Астг, как заплатка на платье у матери, всюду с нею. У бабушки Шогер за плечами корзина, собралась, видать, за ежевикой на склоны Ладанных полей. Она ставит корзину на землю, набирает в горсть воды и поит девочку, а затем сама делает несколько глотков и спрашивает отца:

— Что новенького, братец-почта?

— Ничего, — вздыхает он в ответ. — Опять засуха...

Бабушка Шогер поправляет изорванное платьице Астг.

— И зачем только ты на свет родилась? Нет мне от тебя покоя, носишься как угорелая. Вся ободралась.

От стыда за дочку бабушка Шогер краснеет. Краснеет и отец. Он тоже одет в латаные-перелатаные блузу и штаны. Бабушка Шогер протягивает мне пригоршню ежевики.

— Расти большой. Когда вырастешь, отдам тебе мою Астг в жены.

Астг хлещет меня кусачей крапивой по голой коленке. Я сжимаю зубы, делаю вид, что мне вовсе и не больно, и стараюсь не глядеть в ее черные, как спелая ежевика, глаза. У Астг обнажены и плечо и коленки — какой-то бесстыжий куст располосовал ее ситцевое платье. Безжалостный куст! А может, и не безжалостный?.. За что Астг огрела меня крапивой?! Не будь здесь отца и бабушки Шогер, я бы так отделал ее голое плечо, вечно горело бы. Хорошо ей! Вон как хохочет, сверкая зубами-рисинками...

— Мамбре дома, Шогер? — спрашивает отец.

Мамбре — тощий, тщедушный человек, щелкнешь по носу, отдаст богу душу. В глубине его глаз всегда прячется гнетущая тоска.

— Нет его, — вздыхает бабушка Шогер, — топчет горные тропы вместе с козами. О-ах!..

И отец мой охает-ахает.

Астг показывает мне язык.

А отец продолжает разговор.

— Хачипап дома?

— На молотьбе, — отвечает бабушка Шогер. — Письмо есть?

— Есть...

Они еще долго беседуют о том о сем, еще не раз охают и ахают. И наконец расходятся: мы идем своей нелегкой дорогой, они — своей.

Давным-давно это было.

Машина поднимается к Ладанным полям. Шелестит мелкий гравий. Гладкая, хорошая дорога, но былой страх еще живет во мне, и я внутренне сжимаюсь. Спрашиваю едущего со мной инженера:

— Когда проложили эту дорогу, Граче?

— Четыре года назад.

— Змея не помешала?..

Он смеется.

— Подползала к бульдозерам. Только много их было, не одолела.

Инженер Граче — старший внук бабушки Шогер, сын Арташа, того, что был подпаском.

Когда я с почтовой сумкой за спиной сновал по этим местам, Граче еще не было — Арташ тогда в холостяках ходил. А потом, когда я работал учителем в их селе, Граче только в пеленках барахтался. Зато сейчас...

Не успел Граче еще разок-другой пошутить, как мы выехали из ущелья к Ладанным полям. Смотрю и не вижу старой тропинки. Оно и понятно. Найдешь ли в большой реке след тоненькой нити ручья?

Тропинка исчезла...

Стоим на обожженной земле. Граче напряженно вглядывается в сторону Родника Куропатки. Что хочет он увидеть сквозь осеннее золото? Стайку куропаток, слетевшихся туда, или еще что-то? А может, пробует учуять влагу родника? Я тоже смотрю туда. Вдруг да покажутся дядюшка Мамбре, бабушка Шогер, а может, отец или Хачипап. Но нет, никто не придет. Хоть бы Астг, мою Астг увидеть. Она живет сейчас в этих ущельях. Бабушка Шогер и дядюшка Мамбре тоже еще здравствуют. Не встречу я только Хачипапа да отца моего. Ни сегодня, ни завтра, никогда.

Граче тянет меня за рукав.

— Слышишь, они под землей.

Я вздрагиваю.

— Кто?

— Ребята. Прорываем туннель. — Граче ковырнул носком ботинка землю. — Хочешь посмотреть?

Я отвожу взгляд от далей Родника Куропатки. Не сбыться надежде, не придет моя Астг за водой. Не придет, и не будет у нее в руках крапивы.

Внизу, в глубине ущелья, грозно грохочет Воротан. А с могучих плеч скалы водопадами стекает и вливается в него синяя-синяя Лорагет. У слияния рек на язычке скалы высится Цицернаванк[30], увенчанный косым пламенем искривленного креста, а под сводами эхом отдается голос бабушки Шогер: «Э-эй, Астг, иди домой!»

Вон тропинки, вон и заснеженная гора Татан, и ущелье. А в ущелье село. На берегу реки сад, в саду — старая груша Хачипапа.

Передо мною целый мир — ущелье в ущелье, скала на скале, мир, осиянный светом Астг и реликвиями минувших времен...

Астг не придет к Роднику Куропатки за водой. Не придет, это ясно.

Жаждущая земля Ладанных полей изнывает. За целый год здесь не пролилось и капли воды. Несчастная земля! Иссохли губы ее и язык. Трещина рассекла крест Цицернаванка и ствол груши Хачипапа, который выше кривого креста. Вход в туннель манит своим влажным дыханием, запахом свежевзрытой земли, светом фонарей — один, два, тысяча... Каменный свод отделан искусной резьбой.

Вхожу в туннель, и меня охватывает благоговейный страх, как и многие годы назад, когда впервые ступил я под расписные своды Цицернаванка.

По туннелю тянется желтая цепочка света — возьмись за нее и иди.

Был свет и в Цицернаванке — огонь очей моей Астг, свет улыбки на ее губах...

Чаша родника медленно наполнялась водой. Перед тем как уйти, отец мой еще раз опорожнял ее. Пил он, стоя на коленях, словно

молился. Пил, а сам все смотрел на растрескавшуюся, иссохшую землю и будто стыдился, что он утолил свою жажду, а она нет: «Я ублажил себя, а ты, земля?»

Бабушка Шогер вздыхала.

«Чтоб разверзлось сухое небо!»

Вздыхала и уходила. Только недалеко. Чуть пройдет и остановится.

«Хачипап заждался. Принеси вечером письмо».

«Принесу, — скажет отец, — сейчас после этой деревни в вашу зайду».

Из-под трехов бабушки Шогер поднимаются облака пыли.

«Чтоб ты разверзлось, сухое небо!..»

Не небо — земля обрушивается под нами. Не сама по себе рушится — рушат ее. Глянешь вокруг от входа в туннель, все Ладанные поля видать. И дальний берег кажется близким. Затяни я сейчас живущий в моей памяти с тех давних времен «Оровел»[31], пасущиеся вон на том склоне буйволы обрадуются, и та девушка, что несет воду пахарю, замедлит шаг и, может, подумает: «Джан, умереть мне за тебя и за твой «Оровел».

Однако отсюда до тех мест дорога длиною в день. И если голос мой донесется до них, то рука не дотянется. Между нами ущелье Воротана — бездонное, как само небо. Семь сел в этом ущелье, а над ними высится гора Татан: вершина в облаках, а подножье в водах глубокой реки. У кромки снегов на Татане рассыпаны хмельные нарциссы, напоенные снегом виноградные лозы, инжир и гранат.

Если бы, отозвавшись на зов Астг, я не принес ей хмельных нарциссов, Астг не простила бы мне этого. И я приносил их.

Бабушка Шогер выводила, как молитву, слова древнего «Оровела»:

«Жажду — дайте воды...»

И угощала меня хлебом и сыром, не переставая при этом попрекать:

«И когда вы наконец подведете воду к Ладанным полям, когда? Или ты не мужчина? Ответь же мне!»

А что я мог ответить?

Интересно, узнает меня бабушка Шогер? И скажет ли, как прежде: «Расти большой. Когда вырастешь, отдам тебе мою Астг в жены».

Давно это было. На висках моих уже серебрится седина. Целых пятнадцать лет прошло с тех пор, как я последний раз ел тут хлеб с сыром.

Узнает ли Астг меня?

Свет был синим

Изнемогающие от жары пчелы тянулись к прохладному туннелю. Над ущельем пронеслось легкое облачко. Занялся было дождь, но похоже, передумал. Несколько капель, словно жучки, блеснули в воздухе и пропали в иглистых лучах солнца. Из конца в конец над ущельем перекинулась необычно широкая и какая-то словно тяжелая радуга. Туннельщик Мелик размечтался:

— Вот бы по этой радуге перейти через ущелье!

Туннельщик — внук козопаса Мамбре. Тщедушный, словно мальчонка.

— Перейдешь, — говорю я и вспоминаю, что когда-то давно, еще ребенком, он был моим учеником у них в селе. — Перейдешь, ты легок.

Радуга в глубоком ущелье. И солнце в ущелье. И река так далеко, что даже Мелик с его тонким слухом не слышит грохота падающей на камни воды.

Мелик качает головой.

— Никак не поверю, что вода поднимется на Ладанные поля.

Граче смотрит на туннель. Там светятся электрические лампы, как светлячки в ночи.

— Для чего же мы тогда роем его, Мелик?

— Ты старше меня, брат, — пожимает плечами Мелик. — Велишь, вот и рою. К тому же ты инженер. А я...

И он смеется. Зеленая каска на его голове кажется рыцарским шлемом. А лицо такое простодушное и доброе, можно подумать, он так и родился с улыбкой.

Мне рассказали занятную историю. Едва Мелик вернулся с войны, бабушка Шогер насела на него: должен, мол, жениться, и все тут. Делать нечего, собрался Мелик и пошел в соседнее село. Знал, куда пойти! Пришел, а навстречу ему хозяин девушки, отец, значит.

«Где жених-то, мальчик?» — спрашивает.

Услыхал Мелик такой вопрос, схватил в руки полы и айда домой.

Бабушка Шогер не того десятка. Узнав о случившемся, вооружилась палкой и пошла к дому хозяина девушки.

«Эй, кому это вы посмели от ворот поворот показать? Ну-ка я вас...»

Через неделю в ущелье гремела свадьба.

Вот какое было дело. Ребята, вспоминая об этом, и по сию пору заливаются смехом.

Мелик не смеется, когда рассказывают эту историю.

О его брате, инженере Граче, который старше всего на год, не подумаешь, что на войне был. Совсем юноша. Лицо смуглое, волосы густые, как у отца, у пастуха Арташа. Но в них уже пробивается седина. Только она словно бы не его, будто запуталась в черных волосах с той самой поры, как бабушка Шогер прижала к своей груди горемычную голову парня, вернувшегося с войны, и повела его показывать могилу матери во дворе Цицернаванка.

«Ушла, сынок, с мыслью о тебе! — сказала она. — Плачь, милый, плачь...»

Радуга гасла, оставляя только отсветы на плечах скал. Должна же она что-то оставить, нельзя ведь просто исчезнуть.

Рядом с нами раскрытая пасть туннеля. Мне вспоминается мать Граче и Мелика. Теперь бабушка Шогер заменила им и мать. Вспоминаю я и их отца Арташа, на войне со мной был...

Туннель начинается с верхней окраины села и, минуя вторую, третью деревни, устремляется к плато Воротана. Там создают море.

В детстве Граче не раз, поспорив со своими сверстниками на полный карман орехов, проникал в потайной лаз Цицернаванка и надолго исчезал в его темном и узком зеве.

Наверху его ждал Мелик, дрожа от страха: шутка ли, под землей живет черный дэв! Так говорила бабушка Шогер. Говорила, хотя ни она, ни даже ее свекор Хачипап, которому было уже сто три года, никогда не видывали этого дэва.

Мелик ждал брата. Проход под храмом длинный. Говорили, что тянется он до грохочущей реки. Если Граче принесет в бутылке воду, значит, это верно и он выиграл пари. И дэва, выходит, никакого в помине нет. Но если не принесет?..

Мелик с тревогой смотрел на выбирающегося из-под земли Граче. Ура, в бутылке вода!

И он летел к брату.

«Дэвы были?»

Граче, весь в пыли, измученный, отвечал:

«Там я слышал только звук воды: у-у-у...»

...В тот день Мелик тоже долго ждал брата — сержанта Граче.

И в тот день Граче пробирался лазом под старой церковью. Старик сторож утверждал, что лаз ведет к морю. Он будто бы в молодости сам не раз этим путем доходил до моря, плещущегося за большой горой...

Поступил приказ: взорвать занятый врагом железнодорожный мост по ту сторону горы.

Командир роты спросил; «Кто готов выполнить задание?»

«Я! — тотчас отозвался сержант Граче. — Я пойду».

Командир недоверчиво глянул на узкоплечего паренька. Ему едва исполнилось двадцать, худой, щуплый. Сдюжит ли?

«Ты?»

«У нас в деревне тоже под храмом есть лаз. По нему я не раз проходил до самой реки.. »

Рядом стоял брат. Он хотел закричать: «Неправда!» Но так и не смог раскрыть рта. Ведь это не было неправдой. Граче! Что он делает! Рвется в лапы самой смерти. В проходе под Цицернаванком черных дэвов не было, а здесь они есть — дэвы с черной свастикой.

Граче сказал брату:

«Если не вернусь, дома язык держи за зубами. — И улыбнулся. — Да смотри в будущем не суйся под Цицернаванк. Опасно».

Граче полез. У Мелика дрогнули губы, а медсестра Вера закрыла глаза руками. Ей тоже хотелось удержать Граче, но она только тронула Мелика за плечо.

«Вернется?»

Мелик спрятал за пазуху дневной паек брата. Сестра Вера зажала в ладошках миску с кашей, чтоб не остыла. Она пожгла бы пальцы, все грела бы и грела кашу, лишь бы Граче вернулся! Лишь бы вернулся...

С горы хорошо просматриваются линия будущего канала и Цицернаванк, под которым не единожды пробирался к реке непослушный мальчишка Граче. Туннель пройдет под храмом. И хлынет вода к этой жаждущей земле.

Я спрашиваю:

— А что было после, Граче?

— Взрыв был. Мост взлетел к небу... И еще лицо Веры. Белое-белое..

Граче говорит, а сам не отрывает глаз от туннеля. Оттуда ему подмигивают лампы-светлячки.

Чего ждет Граче? Света, воды или ту белолицую медсестру?

Прошли годы с тех пор, как он взорвал мост на побережье. Теперь инженер Граче взрывает скалы и горы. Он должен подвести воду к Ладанным полям. Чтобы бабушка Шогер сказала: «Охай»[32].

Дорогу воде прокладывает. И весь он сейчас в этой дороге. Ждет не дождется…

— Не дождется? — говорю я Мелику.

— Ждет Веру, — шепчет Мелик. — Очень ждет. Надеется…

— Вон что.

— Так-то! — Мелик мрачнеет.

По туннелю тянутся рельсы узкоколейки. На них падает свет от лампочек. И кажется, будто серебристые ручейки несутся к дальним берегам. Граче весь в ожидании. Но кто-то другой тоже ждет.

Кого?..

Где ты, Астг, мой дальний свет? Ожги меня крапивой…

Горячий ветер, горячий песок

Ущелье Воротана. И село в ущелье. Село моей Астг. Отец с трудом взбирается на плоскую крышу Хачипапова дома.

— Э-эй, получайте почту, люди!

Он скидывает с плеча сумку и спрашивает:

— Пить хочешь, сынок?

— Нет, — качаю я головой.

— Голоден небось?

Я молчу. Отец неспроста таскает меня, маленького, босоногого, по этим ущельям. Хочет приучить к крутым горным тропкам, к труднопроходимым зарослям, чтобы когда-нибудь потом я взвалил на себя его ношу.

Виднеющийся в расщелине скалы церковный купол напоминает каменного медведя. Он словно задрал кверху морду и рычит. А чуть поодаль вроде бы собака вгрызлась в медведя-скалу и роет пещеру.

Все вокруг сотрясается. Кричат совы, гудят водопады. А мы с отцом идем да идем...

Но вот в скалах вдруг показались горки кизяка, десяток-другой хижин, красные и желтые кровли — это на них сушеные груши, бусы шиповника, кизил и вобравшие в себя все солнце тыквы.

Столбы дыма обнимают склон скалы. С крыши, сидя верхом на собаке, голопузый мальчишка швыряет мне вслед камни и кричит:

— Ошта-пошта...

Бабушка Шогер крошит ячменный хлеб в сироп из шиповника и ставит миску передо мной.

— Ешь, родненький.

На крыше у Хачипапа собирается все село. Каждый дом имеет кого-то в дальних краях. Каждый дом ждет писем. Отец передает мне несколько конвертов.

— Читай.

Десятки глаз с надеждой всматриваются в письма в моих руках.

— «Селсавет, — читаю я при гробовом молчании, — палучит Хачипап Хачунцов».

— Ай да молодец! — Хачипап сыплет мне в карман орехи. — И кто вложил в уста ребенка благословенную русскую речь? Счастливый...

— Учитель Оганес, — гордо отвечает отец. — Я плачу ему за обучение. Каждую неделю отвожу на осле вьюк сена.

— Ба! — удивляются сельчане. — Так дорого?

Хачипап сыплет мне в карман еще горсть орехов.

— Вскрой письмо, вскрой, родной.

Я разрываю конверт и читаю уже по-армянски:

— «Первый поклон — читающему письмо...»

Все село, обратившись в слух, смотрит то на меня, то на письмо.

— «...Да будет тебе известно, апер, холода наступили. Скажи Шогер, пусть свяжет мне пару шерстяных носков. Пришлите с оказией, очень ноги мерзнут. Послал вам восемь рублей и четыре аббаси[33]. Квитанция в кармане. Если б ты знал, апер...»

— Умереть нам за тебя, — срывается благословение с чьих-то уст. — Парень что надо! Восемь рублей и четыре аббаси! Это же целых две овцы!..

«Парень» — старший внук Хачипапа. Он гариб[34].

Бабушка Шогер утирает слезы.

— Ослепнуть мне, ноги у бедного мерзнут...

Астг протягивает желтую грушу. Я немею от радости.

— Больше не буду стегать крапивой, — говорит она.

Ночью на крышу падают звезды. Хачипап беседует с моим отцом:

— Какие новости, братец-почта?

— О чем ты?

— Да о реке, — вздыхает Хачипап. — Неужели эта вода так и будет течь без пользы? Сгорают ведь Ладанные поля. А подвести бы к ним воду, всего стало бы вдосталь. Пора людям подумать об этом...

— Ничего я не слышал, апер.

Но вот Хачипап захрапел, и звезды испуганно разбежались.

Утром бабушка Шогер подносит моему отцу чашку тутовой водки, а мне дает вареное яйцо. Хачипап благословляет нас в дорогу.

— Мамбре в ущелье. Он там с козами. Смотри не забудь обрадовать его, скажи про письмо, — кричит дед вдогонку.

Мне казалось, что ущелье Цицернаванка звенит, да так чисто. По узкой тропинке мы спускались-поднимались. Вот село у подножья скал. Здесь мне насыпают в карман бобов, жаренных на конопляном масле. Отец говорит:

— В этом селе был человек, умеющий читать. Недавно помер.

И тут тоже читаю я.

Еще село. В лесу. В дубах, как в дупле. Отец вздыхает:

— А здесь никто никогда не умел читать.

Узка тропинка — затерянная в ущелье нить. Держаться надо крепко. За камни, за обнаженные корни кустов шиповника. Не дай бог свалиться вниз. На берегу реки есть островок горячего

песка. Здесь живет песочного цвета каменная ящерица. Говорят, она прыгает, может прилипнуть к лицу человека. А еще говорят, надо дать ей кувшин золота, и тогда она оторвется от лица.

В этом селе много кувшинов, но хранят в них только просо и чечевицу да письма, полученные из дальних краев. Может, золотом здесь называют просо?..

Над песчаным островком раскинула свою крону одинокая черешня. Под ней расположились козы. Отец приветствует козопаса Мамбре.

— Какие новости, братец-почта?

— В будущем году почту будут привозить летающие машины...

— Ба!.. — рот пастуха Мамбре открывается сам по себе.

— Вот тебе и «ба»! Письмо вам было. Хачипап велел сказать тебе, порадовать...

— Что пишет?

— Просит носки, ноги, говорит, мерзнут.

— Ба!.. Еще что?

— Больше ничего. Деньги, пишет, послал. Получили?

— А? — кадык пастуха Мамбре задвигался. — А?

В ущелье горячий ветер, песок тоже горяч. У Мамбре опускаются плечи.

— За деньги премного благодарны, получили их. А что это ты сказал о машине?

— Ну сказал, — улыбается отец. — Слыхал я, что в наши горы пришлют летающую машину.

— Ох! — вздыхает Мамбре. — На что нам летающая? Прислали бы такую, чтобы воду этой злосчастной реки подняла наверх. Вот было бы дело. А понапрасну летать незачем. Этим брюха не наполнишь.

Под старой черешней стоят две синие «Волги». Над ущельем рокочет зеленый самолет...

«В будущем году почту будут привозить летающие машины».

Рот пастуха Мамбре так и остался открытым: «Ба!..»

Солнечные лучи играют в стеклах домов. В ущелье Воротана раскинулось большое село. Строящий здесь дороги, мосты, поселки инженер Граче полон энергии. Он показывает подковообразное здание, все из стекла и света.

— Что это? — спрашиваю я.

— Кафе для молодежи поселка.

Вот на этом самом месте стоял тогда его дед, козопас Мамбре, тут, где теперь высится кафе...

Козопас Мамбре так с раскрытым ртом и ушел за козами в горы. А я забрался на черешню. Внизу бушевал Воротан. По бревенчатому мостику отец перешел на другой берег. Я остался на дереве.

Внизу бушевал Воротан. Он сорвал со своей спины и унес мостик. Отец намучился на том берегу, я — на этом. С почтовой сумкой за спиной он совершил путь длиною в день, пока наконец где-то наверху пересек реку, пришел и снял меня с дерева...

Эта черешня еще сохранилась. Старая, отживающая свой век. А рядом кафе, наполненное песнями и светом. Поселку в ущелье четыре года. И мост через реку новый. По нему теперь проходит и стадо овец пастуха Мамбре. И Мамбре теперь редко чему

удивляется. А во рту у него приятный вкус кофе, который он только что выпил с внуком Меликом.

— Как, брат? Понравилось?

— Еще бы!

Мелик и меня угощает кофе. Я спрашиваю:

— Ты знаешь про Хачипапа?

— Знаю. Его папаха и трехи хранятся у нас дома.

— А я помню, как на пахоте он одной рукой поднимал плуг.

— Ба!..

Мелик угощает меня и брата сперва вином, а потом кофе и песней. Песня и вино состарились в этом ущелье, а кофе здесь новость. Дом туннельщика Мелика тоже новый.

И у Граче дом, и у Астг тоже.

Дом Мелика возвышается даже над дедовской черешней. Во дворе стоит синяя «Волга», а рядом целый букет детишек, которые не обращают никакого внимания на машину.

Внук козопаса Мамбре туннельщик Мелик рушит дедовский уклад жизни и скалы тоже. Он прорубает русло для реки, строит плотины, создает водохранилище, море. Ущелье Воротана станет морем, широким и глубоким. Оно напоит обожженную землю Ладанных полей. Ведь вон как стонут!

«Жажду — дайте воды!» — взывает все кругом...

Бабушка Шогер ставит передо мной хлеб и сыр.

— Когда же вы наконец поднимете наверх воду из ущелья? Когда?..

Внуки ее, Граче и Мелик, создают в ущелье море, чтобы дать воду иссохшим землям. А этот поселок, построенный ими, этот маленький город останется под водой?

— Нет, будет стоять на берегу, — говорит Мелик, — стоять и глядеться в море.

Все вокруг облито солнцем: и здания, и окна, и занавески в них. На берегу реки против поселка — старое село и одичавшие сады старого села. Живы еще столетняя груша, и яблоня, давшая не один десяток урожаев, и старый рогатина-орешник.

Не раз отец мой, сидя под этим орешником, делил трапезу с Хачипапом. Он разводил костер, а Хачипап забрасывал плетенку в реку, и ко времени, когда огонь уже полыхал, плетенка бывала полна рыбы.

«На деньги, что прислал парень, две овцы купил, братец-почта. И его жизнь да будет долгой, и твоя! Пусть сынок твой напишет ему письмо, чтоб не беспокоился. Вот адрес».

Хачипап статрехлетними пальцами гладит мои волосы.

«Напиши, милый. Весной я дам тебе саженец груши. Не груша — мед».

Хачипап убирает руку с моей головы, гладит ствол груши. Так гладят стельную корову...

Груша Хачипапа должна остаться под водой. На месте старых садов будет водохранилище. Жаль эти сады. Но они не исчезнут бесследно. От груши Хачипапа взяли черенок. И семья рогатины-орешника тоже вон на склоне Цицернаванка. Три года уже стоит саженец, и тень уже есть от него.

Все в природе обновляется. Люди сменяют друг друга, деревья тоже. Нет Хачипапа, но есть его потомство — девять семей в новом поселке. И грушевый сад есть. Целый склон.

Там, над старыми садами, на опаленной земле, козы пастуха Мамбре не находили даже колючек, чтобы пожевать. А сейчас вон что делается: рокочет вода в реке, блестит под сенью деревьев нового сада. Граче поставил на реке насос и поднял воду к склонам Цицернаванка.

Хачипап

Тропинка все такая же, как и много-много лет назад. По той же скалистой теснине спускаемся в село. Старая крепость на краю пропасти. Цицернаванк! Древнее этой крепости лишь легенды времен Ноя.

Ничего не изменилось в селе. Только трещина рассекла крепостную стену. Скала обрушилась, три дома в лепешку смяла. Еще сильнее скривился крест Цицернаванка.

В мирной ночной тишине две звезды сверкали над кривым крестом. Две свечи тлели в подсвечниках ризницы храма. Моя Астг тихо шептала мне в ухо:

«Ты не покинешь наше ущелье, нет?..»

Сейчас Цицернаванк дремал под тяжестью своего многовекового существования, беззвездный и забытый.

Умолкший колокол жизнь моя,
Развалины храма,
И нет больше паломников...

Пусто в старом селе. Дожди смыли землю с тока. Оголенным и скользким стал головокружительной крутизны склон.

Мы оставили нашу машину на Ладанных полях, спустились вниз, как спускались сюда десятки, сотни и тысячи лет назад многие поколения.

Но почему пусто в селе? Не видно дыма, не слышно ребячьего гомона. На крыше дома Хачипапа свил гнездо аист. И собаки не лают. Молчит село.

Три старика сидят во дворе Цицернаванка. В одном из них я узнал козопаса Мамбре. Подхожу к нему.

— Где люди? Село есть, а сельчан нет.

Мамбре палкой ковыряет землю.

— Переселились в новый поселок.

Он протягивает мне руку.

— А вы что здесь потеряли?

— Пришли на могилу Хачипапа. Тепло тут. Старые камни хорошо греют.

Я обнимаю иссохшее тело Мамбре.

— Ты ведь дядюшка Мамбре?

— Верно, родненький, — радостно вскидывается старик, — я это!

— Дед Граче и Мелика?

— Да, да, родненький. А ты чей?

— Ошта-пошта!..

— Ба! — рот пастуха Мамбре широко раскрывается. Я сажусь рядом с ним на могильный камень.

— Вспомнил? — спрашиваю.

— Отца твоего? Ну как же!

— И Хачипапа?

— Ба! — улыбается дядюшка Мамбре. — И деда помнишь?

Он ласково проводит рукой по могильному камню...

Сверху кто-то прокричал:

— Хачипап умер, эй!..

Весть обрушилась на село на рассвете. Стада еще не выгнали на пастбище, еще не дымились крыши, и мы с отцом только вошли в село. А голос все надрывался:

— Хачипап умер, эй!..

Если бы сказали, что сено загорелось, и тогда погруженное в сон село не поднялось бы так быстро на ноги.

— Что, что? Как это?..

— Как это — умер Хачипап? Не может быть. Как могло случиться такое, как могло? Замолчи, ворон, не каркай!..

— Хачипап умер, эй!.. — не унимался голос.

Из дома Хачипапа доносился плач бабушки Шогер. Все село — сто двадцать дымов — заахало. Можно подумать, никогда никто не умирал в селе. А ведь было дело, даже жених один как-то помер. Видать, глаза господни были закрыты.

Хачипап не жених. Сто три года прожил он на свете. А село вон как всполошилось.

Злая весть вынесла из дома даже самого председателя сельсовета.

— Что это за дурная башка разоралась? — спросил он, но услышал плач бабушки Шогер и побледнел. — Зачем помер? Кто теперь будет ремни на плугах затягивать?

В селе было всего три плуга. Ремни их латал-затягивал только Хачипап.

Приносили три бычьи шкуры, расстилали на его крыше. Хачипап засучивал рукава, брал в руки нож, склонялся над кожей.

«Да будет долгой жизнь».

Приходил пастух, отвешивал поклон Хачипапу.

«Ковер ткут в приданое дочери. Не зайдешь ли канву навести?»

Хачипап отрывался от дела, шел наводить канву.

«Пусть будет счастлива».

Пастух потом забывал пригласить его на свадьбу. «Ничего, — не обижался Хачипап. — У бедняги не густо в хозяйстве».

Сосед приносил Хачипапу седло залатать. И дед латал. Не грех бы попросить за это воз травы привезти, но Хачипап стеснялся, молчал. «Трава нынче плохая, сгорела вся, где ему взять?»

Село переполошилось. Кума Хачипапа стенала и била себя по коленям.

— Вай, ослепнуть мне. Последний кувшин треснул! Кто теперь залепит?

Хачипап знал и гончарное дело. Не только кувшин — треснувшие карасы из-под вина, бывало, так сладит, словно новенькие. Владелец карасов скажет: «Погоди, Хачипап, сейчас зарежу курицу». — «Ни к чему это, — махнет рукой Хачипап. — Пусть курица носит яйца, в нужде ведь живете».

Из-за хлевов вынырнул запыхавшийся пастух. Словно пес за ним гнался.

— Что ж теперь будет, коли корова не сможет отелиться? Ай, Хачипап, и зачем ты помер...

Случалось и такое. Отяжелевшая корова не могла отелиться. И опять вся надежда на Хачипапа. Он освобождал корову от бремени, и теленок рождался цел и невредим.

«Благослови тебя бог, Хачипап, — радовался хозяин. — Вечером пришлю тебе мацун».

Обещали и забывали. Хачипап не напоминал. Никому ни о чем не напоминал...

— Ну разве это дело? Зачем он помер? — не унимался пастух.

Кто-то хлопнул папахой о колено.

— Не вовремя помер, старый! Кто теперь соорудит мне тонир?

Весть о смерти Хачипапа докатилась до мельницы, что у Цицернаванка. Мельник обомлел:

— Как помер? А кто направит мои жернова?

Село шумело, словно лес в бурю. А издали доносился плач бабушки Шогер:

— Переломился хребет деревни, эй...

Как сегодня все это было: бабушка Шогер взяла меня за руку, поставила перед телом старика.

— Прочти ему письмо внука. Пусть услышит. Из-под ее руки смотрит мне в глаза Астг. Я проглотил кашель.

— «Селсавет... Палучит Хачипап Хачунцов...»

И мне показалось, будто старик сказал: «Вот молодчина».

— «Первый поклон — читающему письмо. Носки, что послала Шогер, получил...»

Бабушка Шогер всхлипнула:

— Ослепнуть мне!..

Письмо положили Хачипапу за пазуху.

В притворе Цицернаванка рядом с могилой писца Нерсеса поднялась могила Хачипапа. Письмо тоже было там, с ним...

Старое вино, старое пламя

Дядюшка Мамбре берет меня за руку.

— Ну, вставай, — говорит, — вставай. Идем домой.

Удлиняются тени Цицернаванка. На карнизах воркуют голуби...

«Ты не покинешь наше ущелье, нет?» — полынно дышит мне в лицо Астг...

Дядюшка Мамбре взбирается по каменной лестнице старого дома.

— Помнишь?

Еще бы! Сколько раз поднимался по этим ступеням вместе с Астг.

Камни замшели, стали зеленые.

— Шогер в новом поселке, — говорит дядюшка Мамбре. — Не знает, что ты здесь, не то бы...

Мелик и Граче разводят костер в древнем очаге. Будет шашлык.

Дым горек, дом пуст, небо беззвездно. Нет моей Астг. В старом доме все, как и было: резной свод очага, кладовая. Даже старый черпак бабушки Шогер тоже тут. Небось новый сладили, потому этот и не взяли. Сел я на ветхий стул, и почудилось, что передо мной пахнущие грушей руки Хачипапа, и будто только что Астг стеганула меня крапивой, и укус этот слаще Хачипаповой груши...

Дядюшка Мамбре устроился на тахте.

— Когда село перекочевало в новый поселок, радостнее на душе стало. Ближе к миру мы теперь. В старом селе никто больше не живет. Только иногда заглянем помянуть былое.

...Развалины храма,
И нет больше паломников...

Дома старого села целы; вот и здание школы — две комнатенки под плоской крышей. Все, как тридцать лет назад, когда я был маленьким почтальоном, и как пятнадцать лет назад, когда я учил здесь людей грамоте...

— Старые очаги мы не рушим, — говорит Мелик. — Тут есть даже тысячелетние дома. Бережем наше прошлое.

А прошлое это вон какое: храм пятнадцативековой давности и домов больше сотни, тоже не вчерашней постройки. Старое село — оно как Матенадаран. Только хранятся тут не рукописи, а древние жилища.

Падающая со скал родниковая вода по каменным трубам течет к домам, всегда прозрачная и чистая. Ниже села в глубоком ущелье гремит Воротан. Напротив Лорагет. Сорвавшись с ледников скалы Татан, она грохочущим водопадом сливается с большой рекой. Грохот по-своему убаюкивает старое село, оберегает покой всех тех, кто из века в век по склонам этих скал сходил к реке, всех, кто со времен Большого Хачипапа и писца Нерсеса обрабатывал эту землю, растил на ней виноградную лозу, инжир и краснобокие персики.

Сады, как ковры, волнами спускаются к реке. И кажется, будто это бабушка Шогер помыла их, чтобы чище да ярче стали, расстелила посушить и забыла, ушла в новое село...

Хачипап сыплет мне в карман орехи и говорит: «Вот молодчина».

Так было всякий раз, когда я приходил сюда вместе с отцом-почтальоном, а потом и один, когда юношей учителем вернулся в село. Тогда бабушка Шогер поцеловала меня и сказала: «Вырос, родненький...»

— Во что бы то ни стало надо сохранить эти чудо-сады на скалах — наши кладовые вина и плодов, — говорит Мелик. — Не уследишь — быть беде. Оползни свое дело сделают. И оголятся тогда наши зеленые скалы.

Мелик берет в руки старый-престарый кувшин и разливает вино в глиняные чаши, которые когда-то, очень давно, смастерил сам Хачипап. Вино нежно-розового цвета, приятное на вкус и легкое — порождение солнца, бурных вод и мирных скал.

— Мелик, — говорю я, — мне знакомо это вино.

— Где же ты пил такое? Может, во Флоренции или в Бордо? — улыбается он.

— Здесь. Тридцать лет назад.

— У кого, помнишь?

— В давильне у Хачипапа, когда почту с отцом носил.

Хачипап давил только янтарно-прозрачные гроздья. Его босые ноги в каменном чане давильни были похожи на мраморные колонны. Он подносил мне в горсти еще не перебродивший сок.

«Пей да тянись к солнцу».

Отцу он подавал загодя схороненный бочонок.

«Это мы разопьем вместе. Благородное вино, откупоришь, надо прикончить, не то испортится».

И они пили.

«Что нового, братец-почта?»

«Э, ничего», — пошатываясь от вина, отвечал отец.

Хачипап держался крепко, словно пень с глубоко вросшими в землю корнями, не качался. С удовольствием обсасывал намокшие в вине кончики седых обвислых усов и затягивал древний «Оровел»:

Жажду — дайте воды, о, о...
Горю, жарюсь я, о, о...

А то, бывало, уложит голову на камень и застонет: «Ушел, ах, ушел!»

Я удивленно спрашивал: «Кто ушел, Хачипап?» — «Крунк ушел!..»

Мелик разливает вино в глиняные кубки.

— Последний бочонок, оставшийся от Хачипапа. Еще им самим приготовлено.

Старое вино говорит на языке ушедших дней.

Это было вон в том доме — в орлином гнезде. Изборожденный морщинами, как резной хачкар, Хачипап садился на тахту и снимал шапку.

«Эх, дитя мое, жалко ведь нас, скалы совсем зажали. Выбраться бы из этого пекла, пожить на открытом месте. Если бы на Ладанные поля пришла вода!..»

Как жаждущая земля, трескались его иссохшие губы.

...Огненно-рыжий жеребец несет меня по Ладанным полям. Рассекая черную завесу ночи, несет к одинокому шатру под большим холмом — склоном горы. Там грустит моя Астг, ждет...

Весенняя ночь. Все дышит весной: и мой рыжий скакун, и камни.

А вот и шатер бабушки Шогер. Перед ним конь на привязи, а внутри лампадка. Здесь, в шатре, тоже весна. Она в волосах Астг, источающих запах тимьяна...

Дядюшка Мамбре не пускал меня из дому: «Ночь ведь, учитель. Тропинка — что волосок. Не ходи».

Я не послушался...

Пахнущая молоком бабушка Шогер причитала: «И как только ты сумел в эдакую темень из ущелья выбраться!»

Астг, запрокинув голову, смеялась: «Да он же трус, мам!..»

Ночь коротка. Звезды грустно угасают. Передо мной старое вино из старой давильни. В его зеркале я вижу проседь в своих усах. И еще вижу Астг. Только плечи у нее теперь округлые и губы — словно вино. Рядом она, Астг. В новом поселке. Как раз там, где летом ставили шатер для ее матери. Совсем близко. Но где тот огненно-рыжий жеребец, что в ту темную ночь промчал меня сквозь Ладанные поля? Не ржет жеребец во дворе, и меня уже не сводит с ума вино! А ведь как оно бушевало во мне, словно ошалелое!..

Передо мной сидит черноволосый улыбчивый туннельщик Мелик.

— Молодцы, что храните старое село, — говорю я. — Без прошлого нет человека. Без старого дома, без старой песни, без старого вина!

— Вспомнил былое? — понимающе кивает Мелик...

Бабушка Шогер разводит огонь, собирается жарить яичницу.

— Если кто из села, что в ущелье, посватает Астг, не отдам, — говорит она.

— Почему? — трепещет мое сердце.

— Не хочу, чтобы мою горную серну в тех камнях тоже превратили в камень. Не отдам!

Астг вся как бы вспыхивает от пламени своих глаз. Я опускаю голову. Что мне остается делать, если я живу в том селе? Да, да, в том, что в ущелье?

— Говорят, село перекочует на Ладанные поля, — невольно выдаю я свою мечту.

Бабушка Шогер хитро улыбается.

— Оно и неудивительно. За моей Астг не село, весь мир двинется с места.

Астг снова заливается пламенем, а бабушка Шогер ставит на стол яичницу и уже печально добавляет:

— На Ладанных полях нет радости и воды тоже нет. Моя Астг может стать счастливой, если там будет вода. Знай это...

Село рвалось из каменных объятий. В реке производили замеры, чтобы потом поднять ее воды к Ладанным полям. Близился день радости моей Астг.

Но грянула война. Страшная война! И были дороги. Дальние, длинные, трудные...

Вместе с Меликом кружим мы по новому поселку. Раскинулся он неподалеку от реки на плато, что повыше, в зелено-пестром уборе, с дотоле невиданным освещением. Я и Мелик чуточку захмелели. Но есть свет на нашем пути, хотя вокруг ночь — вино Хачипапа нам светит.

— Который из домов твой, Мелик?

— Тот, с синим балконом и с молодым садиком.

— А дом Граче?

— С красным балконом. И сад тоже молодой.

Сердце стучит сильнее.

— Где дом твоей тетушки Астг?

— Видите белый балкон и те тополя…

С деревянного забора у дома Астг, будто кланяясь прохожим, свесились кусты роз. Я срываю одну. Мелик понимающе смотрит на меня…

— Тогда вино было гуще, Мелик.

Два тополька колышут листвой над домом с белым балконом и красной крышей. Деревья далеки друг от друга, ветвь одного не заденет ветви другого, тень не коснется тени. Закат поджег их верхушки и окна дома Астг.

Поджег не только их.

Что еще?

В старом селе больше никто не живет. Все спустились сюда, в этот новый поселок. В старом селе бродит мед старых воспоминаний. Но одно сердце все еще дымит от старого огня.

Чье?

Была война...

Цветет и хорошеет новый поселок. И они — этот Мелик и Граче — добрые волшебники, потому что, строя новое, не разрушали старого.

Реликвии старого села!.. О многом говорят они сердцу, в котором робко дымится воспоминание о былом.

ДОРОГА ВОДЫ

Лорагет не мутнеет

Лорагет не мутнеет даже в пору буйных весенних ливней, хотя в такие дни река будто сходит с ума в своем зелено-цветистом ложе.

Начало она берет в ледниках горы Татан, из уст родников. Падая с отвесных скал, река устремляется в свой долгий путь по ковру качающихся, как во хмелю, нарциссов и зеленых трав. Беснуясь, она тем не менее не отнимает у берегов ни клочка суши. Умна, бестия. Знает, что в ущельях мало земли.

Воды Лорагета поначалу светлы и прозрачны, как лед, их породивший. Но став пристанищем камней и чаек, они оживают, покрываются осыпающимся цветением яблонь и, уже молочно-синие, продолжают свой бег.

Цветы всюду: на невесте-черешне, на свивающей гнездо горлице, в расщелине скалы, там, где начинается Лорагет. Цветы на рогах бычка, что пришел к бурлящей воде.

На кровлю Хачипапова дома опустился аист. Стоит и не сводит глаз с реки. Зазеленела крыша Хачипапа.

Вот тут я сидел, поджав под себя ноги, и вскрывал пожелтевший конверт: «Первый поклон — читающему письмо».

Зазеленела крыша — тахта Хачипапа. Зазеленела и старая тропинка, что ведет меня к Цицернаванку, к моей Астг...

«Ты не покинешь наше ущелье, нет?..»

Поросла травой тропинка Астг. Граче и Мелик проложили в ущелье новую дорогу. По ней мчится синяя «Волга». Теперь уже не пешком, а на машине добираюсь я до цветущего нового поселка. Сердце предательски мечется. Моя Астг. Вот-вот сверкнет на дороге. Но нет! Только Лорагет блещет предо мной. И в синие косы реки вплетены цветы.

Есть цветок и на груди бабушки Шогер. Венком обвилась вокруг шеи правнучка. Ее дед, Арташ, не вернулся с войны.

Бабушка Шогер едва сдерживает слезы. Женщина она волевая, я это знаю. Помню, когда уходил из этой деревни на войну, в волосах бабушки Шогер не было седины, а сейчас они белым-белы, будто осыпаны снегом Татана. Но глаза не угасли и маленькая добрая рука не дрожит.

— Ушли, — говорит она, ставя передо мной хлеб с сыром. — Шестеро ушли на войну, четверо не вернулись, ослепнуть мне.

Бабушка Шогер помолчала, потом вдруг спросила:

— И ты ведь уходил?

— Уходил, — отвечаю я, с наслаждением вдыхая запахи сыра и свежеиспеченного лаваша, — уходил.

— Ослепнуть мне, Арташа моего не видел на войне?

— Нет, не видел...

Что еще мне сказать ей? Видел я бывшего подпаска Арташа, брата моей Астг, отца Мелика и Граче. Видел. Лихой вихор на лбу, на левой брови родинка. Видел его убитым. Но как сказать? И надо ли говорить?

— Нет, бабушка Шогер, не видел...

— Ослепнуть мне, все жду его!.. Слава богу, Мелик и Граче вернулись. Отец их, Арташ мой, хотел построить дом на берегу реки, да война началась... Десять лет его ждали. Не вернулся. А дом вот построили. В его память.

Светом осенен дом на берегу Лорагета. Малый Цицернаванк — каменная перемычка на воротах, каменные карнизы и лестница. Комнаты полнятся солнцем, журчанием реки и ароматом цветов.

— Без страха живете, бабушка Шогер? — спрашиваю я. — Не боитесь, что река выйдет из берегов?

— Ба?! — удивляется она. — Что говоришь, сынок? Река — родная нам, друг в несчастье и радостях: воду дает и огородам нашим, и овцам. Разве не знаком тебе ее норов? Не помнишь, как подростком приходил сюда с отцом?.. Яблоко в нее упадет, и его выбросит людям на берег. Река — не война и не враг, людей не губит и домов не рушит...

Бабушка Шогер обернулась и крикнула жене Мелика:

— Невестушка, принеси-ка мацун. Видишь, странник вернулся. Он тоже мне как бы сын.

Это та самая, которую отец не хотел отдавать Мелику.

В глазах невестки искорки веселой усмешки, щеки пылают. Я гость бабушки Шогер в этом новом поселке.

Чуть ниже старого села высится Цицернаванк с тысячелетним сливовым деревом на крыше.

И в старом селе и в новом поселке всего только один человек играл и играет на зурне — старик бабушки Шогер, козопас Мамбре.

Дядюшки Мамбре нет дома. Он в горах.

— До ста лет, видно, с овцами не расстанется, — ворчит бабушка Шогер. — Внуки просят: живи, дед, в этих палатах по-царски. А он свое: нет, говорит, умру в горах.

Село редко видит дядюшку Мамбре. Но есть ли дом и есть ли сердце, в котором не звенела бы оставшаяся ему в наследство от Хачипапа зурна? Да, есть. Это его дом! Его сердце!

Была война. В его дом не вернулось четверо сыновей. Сломал свою зурну дядюшка Мамбре и с тех пор, раненный в сердце, один-одинешенек бродит за стадом по склонам Татана.

Есть рана, но есть и лекарство для врачевания.

Село живет. Невест из отчих домов уводят под звуки зурны. А в селе только один дядюшка Мамбре играет на зурне.

Пришла осень — пора свадеб и вина. Пришли к дядюшке Мамбре.

«Иди, — говорят, — растопи сердца людям, дай им радость».

Не пошел дядюшка Мамбре, не совладал с болью своего сердца. Загрустило село, загрустили и невесты. Какая же свадьба без зурны!

Задумался дядюшка Мамбре, затаил поглубже свое горе — не омрачать же радость всем, — починил кое-как старую зурну и пошел.

Только в дни свадеб играет дядюшка Мамбре, и только в дни свадеб бывает он в новом поселке. Выплеснет радость к ногам невесты, наполнит сердца людей торжеством вечно нового счастья единения и опять с посохом в руке уйдет вслед за своими овцами в горы до новой свадьбы...

Дядюшка Мамбре в горах. В дом доносится шум переплеска в ложе Лорагета. Зурна молчит.

Дома Мелик, его жена и корень рода — бабушка Шогер.

— Молодец мой Мелик, — говорит бабушка Шогер, — женился. Не то что Граче! Все ведь при нем: инженер, голова — ума палата, только сердце обожжено — не вьет себе гнезда. Э-эх!..

Мне вспомнился синий свет Граче, девушка, которую потерял он в лютые военные дни. Я облизываю сухие губы. Прошу попить. С колен бабушки Шогер слетает Меликова младшенькая.

— Принести воды, да, бабушка?

— Беги, милая, принеси.

— Кусачей воды принести, да, бабушка?

— Да, да, — тает от лепета правнучки бабушка Шогер, — кусачую неси, родненькая.

Иссохли и растрескались губы бабушки Шогер. Четыре сына не вернулись домой. Была война...

Вросшее в крышу храма сливовое дерево корнями своими удерживает отсеченный молнией камень купола, камень с врезанными в него письменами.

Правнучка ручонками своими и звенящим голоском удерживает в этом мире бабушку Шогер, кажущуюся куда древнее этого камня с письменами. Храм с рассеченным куполом одинок, у бабушки Шогер семья: внуки, правнуки, невестки...

Старое село сполна хлебнуло горя. Все тут знали: и голод, и слезы. Сколько их пролито о не вернувшихся с войны сыновьях!..

Сейчас на берегу реки выросли дома с зелеными, синими, белыми балконами.

— Какие дома! — душит вздохом старую боль бабушка Шогер. — Из сырых пещер перебрались в эдакие палаты! Радуйся и ты, сынок.

Радоваться? Я весь — ожидание. Вот-вот появится Астг. Бабушка Шогер будто забыла о ней. Слова не скажет о дочери. Кажется, все перебрала в памяти, а того, что некогда обещала у Родника Куропатки, словно и не было.

«Расти большой, — сказала она тогда. — Когда вырастешь, отдам тебе мою Астг в жены».

И я рос. Еще и еще. А потом?..

Бабушка Шогер шаркает шлепанцами по крашеному полу, режет ладанно-желтый хлеб, смешивает с желтым ладаном-мацуном.

Маленькая девочка приносит в графине «кусачую» воду. Пей и забудь про «джермук» из бутылок. Заверни в ноздреватый лаваш зелени. Съешь с аппетитом и запей медовым мацуном. Отдай должное этому старому очагу.

Бабушка Шогер гладит тугие щеки девочки, принесшей «кусачую» воду.

— Дома у нас в поселке новые, милый, да и сам он новый, не успели еще придумать ему имя, вот и называем поселком. Моя Астг говорит, что дадут название, когда будут готовы море и туннель.

Сердце мое вздрагивает, и я протягиваю руку к «кусачей» воде.

— Была председателем сельсовета моя Астг. Слыхал, наверное? И сейчас она у власти в поселке. Э-эх, ослепнуть мне!

Чувствую, что бабушка Шогер почему-то недовольна судьбой Астг. Почему? Как сложилась жизнь моей Астг? Неужели и она считает себя несчастной? Но старушка молчит.

— Когда пришла весна и забурлила река, — вспоминает бабушка Шогер, — пришли черные бумаги, — черные вести о сыновьях. Я пошла к реке, хотела броситься в нее, река не приняла. С давних лет жили мы с ней по-соседски, лицом к лицу. И вот не приняла. Река, она мудрая. Ведь на войне еще воевали мой Мелик и мой Граче. Теперь, слава богу, они со мной. Вернулись, построили дома в память об отце и обо всех, кто не пришел...

На пороге появился Мелик. Девчушка с визгом бросилась к отцу, и шум Лорагета кажется еще многозвучнее.

Все здесь ново: и этот сад, и это окно с синими занавесками, и эта скатерть — белый снег Татана.

По-новому улыбается и бабушка Шогер. И вообще как хорошо улыбаются все эти люди!..

Мелик моется и довольно фырчит.

— Дело близится к концу, мам. Скоро туннель будет готов. — И он тоже улыбается. — Дай-ка ты мне за это поесть, умираю с голоду.

Стар родник «кусачей» воды, стар Цицернаванк с рассеченным куполом, стара бабушка Шогер...

— Эх, увидел бы Арташ нашу жизнь хоть одним глазком!..

А Мелик говорит о своем — хочет порадовать меня:

— Трава нынче хорошая и цветов тьма. Пчелы трудятся вовсю. В садах и огородах тоже всего полным-полно. И хлеб уродился...

Может, и не совсем оно так, но Мелик говорит уверенно. Гость ведь я. Поставили передо мной все, чем богаты. Перед гостем не принято жаловаться.

От Мелика пахнет сырой землей и породой, а еще хмельными нарциссами, которые обвивали его ноги на пути к дому. Похоже, будто само поле ворвалось в этот новый дом древнего рода.

Всеми морщинками своими бабушка Шогер улыбается и без устали потчует меня:

— Ешь, дорогой, все будет хорошо, ешь.

— Давай-ка и впрямь закусим, — предлагает Мелик. И чтобы подтолкнуть меня, они с бабушкой подают пример.

— Ешьте, — бормочет бабушка Шогер. — Было горе, была боль. Боли — занозу в глаз, ешьте-ка лучше.

За окном бурлит Лорагет. В комнату заглянула жена Мелика.

— Я пошла...

В туннель она на работу идет. Возит там вагончики с породой и сваливает ее в ущелье. Выглядит совсем юной, а ведь трое детей.

— Приходите к нам! — приглашает она меня. — У нас под землей тоже есть на что посмотреть.

И вот уже во дворе загрохотал мотоцикл. Я выглядываю в окно. Жена Мелика, подчиняя мотоцикл своим маленьким, но сильным рукам, направляет его к Воротану, туда, где зияет туннель.

Под окном течет Лорагет.

Лорагет не мутнеет даже в пору буйных весенних паводков...

Вдали мерцает крест Цицернаванка.

Храм поливает со всех своих карнизов молочным лунным светом старые замшелые хачкары.

«Ты не покинешь наше ущелье, нет?..»

Но ведь была война! Были дороги. Дальние, чужие...

На свете есть только один Лорагет. Всего один.

Лорагет не мутнеет даже в пору буйных весенних паводков...

Вечер. Спускаюсь по старой тропинке. Иду, а в ушах зов Цицернаванка. В ущелье гремит река. На противоположном склоне все залито солнцем. Лучи как бы стекают в ущелье и устремляются к туннелю. Тропинка тоже радуется, звенит. Давно небось никто не ходил по ней.

Умолкший колокол жизнь моя,
Развалины храма,
И нет больше паломников...

Спускаюсь все глубже и глубже. В ущелье сгущается тьма. Лучи, вспугнутые ее тенями, скрываются один за другим.

Вот и могила писца Нерсеса. Присаживаюсь на камень послушать звуки угасающего дня — здесь, в ущелье, они особенные.

Память возвращает меня на дороги моей жизни: из ущелья туда, к домам у скал, где зимой было много сушеных груш, было вино Хачипапа и дрожащие от холода дети перед закоченевшим учителем.

Потом дороги войны уводят к чужедальним странам, к рекам, к всплескам огней, и всюду на пути моем сквозь горе утрат и радость побед неярко сияет Астг.

Вот еще одна дорога, мрачная, темная. Воспоминание о ней вызывает дрожь. Дым пожарищ, кровь на белых бинтах, боль и муки людей...

Как я выстоял?

Меня сохранил свет моей Астг, надежда моей Астг.

Я пришел на этот свет. Свет был на кривом кресте. На кривом кресте сейчас черные тени, и ничто не освещает мне дорогу. Холоден могильный камень писца Нерсеса.

Я остаюсь здесь, пока солнце не отогревает меня, распростертого на могильном камне, пока над головой моей не закружились орлы-стервятники. Просыпаюсь от шумных взмахов их крыльев. Что они тут делают, стервятники? Думают, умер... А я жив!.. Неужели жив?..

Иду туда, где скоро будет море. Пена на поверхности воды еще белая. Река еще резвится, словно необъезженный конь. Не знает, глупая, что ей уже готовят седло и узду — высокую плотину и длинный туннель.

Подумать только, в этом громадном ущелье будет море! Вон новый поселок, а там старый сад и груша Хачипапа...

Граче и Мелик стоят у входа в туннель.

— Не испугала, видать, тебя? — спрашивает Мелик.

— Кто?

— Цицернаванкская ночь.

Я краснею. Ясное дело, люди волновались.

— Наша Астг уж хотела было послать на розыски милиционера, — продолжает Мелик. — Ты же гость, не дай бог что случится...

И я уже улыбаюсь. Сколько ночей я провел под сводами Цицернаванка! Знать бы им... Да, но в те дни я был не один, у меня была Астг!..

Колеса вагончиков мягко перезваниваются под скалистыми сводами туннеля. С потолка на затылок мне вдруг упала капля воды: возьми, дескать, себя в руки.

Я дрожу от холода. Куда несут нас рельсы? Ах, да! К реке. Туда, откуда зачинался Цицернаванк...

Вот и разрез туннеля — темная пробка в скалах. Два туннельщика беседуют с военным. Знакомимся. Это военком здешних мест. Он смотрит на Граче.

— Поздравляю! — говорит военком.

— Нашли? — загорелся Граче. — Нашли?

— Нашли... Награду твою нашли.

Граче ждал не этого. Сколько уже лет он надеется и ждет свой синий свет из кровавых окопов...

Военком вынул из кармана маленькую красную коробочку.

— Орден Славы 3-й степени. Наконец-то награда нашла тебя...

...Воздушной волной его сбросило в подземный ход, и он пополз. Любой ценой, только бы добраться до Веры. Пусть еще хоть раз ее улыбка осветит мир. Хоть раз. Уши глохли от грохота разрывающихся снарядов, ноги не подчинялись, а он все полз и полз по темному ходу. Правое плечо горело огнем. Граче дотянулся до него левой рукой — мокро. Ранен, значит. Надо ползти быстрее, пока еще потерял не всю кровь и сознание еще теплится, пока светит в глаза синий свет его судьбы...

Коленями, здоровой рукой, подбородком упирался он в сырую землю и полз, полз...

Пришел в себя неведомо где и когда. И увидел склоненное над собой испуганное лицо.

«Миленький, ну же, миленький, открой глаза!..»

Граче видел только синий свет и ничего больше. Он не мог понять, во сне это с ним или наяву...

Военком открыл коробочку.

— Приказ о награждении не дошел до части, вот теперь только... — Он повернулся к Граче. — Это за взорванный тобой мост. Поздравляю...

— Что?

Граче весь в прошлом. Голос эхом прокатился по туннелю. А свет? Где он?..

Через неделю он спросил у Веры:

«Рука будет действовать?»

«Непременно, — ответила она. — Еще камни будешь дробить ею».

«Волосы твои буду гладить...»

Граче взял в руки отбойный молоток, приложил хоботом к стене туннеля и включил.

Граче ждет.

Вчера бабушка Шогер сказала: «Ослепнуть мне, Граче не отводит глаз от дороги».

Вокруг все сотрясается. Молоток медленно погружается в грудь твердой породы, а земля стонет: «Жажду — дайте воды».

Дай волю Граче, мог бы всю гору Татан сокрушить. Только бы синий свет появился!

Разве не бывает чудес?..

«Запрягай, запрягай», — пела свою песню красноклювая птица, давний друг пахарей...

Под камнями, заполнившими ущелье, затих Чар-Катай. Пришел покой в ущелье и в село. Посветлели воды Лорагета и с тех пор не мутнеют даже от сумасшедших весенних паводков.

Писец Нерсес начертал на своем пергаменте:

Всходи, свет мой, всходи,
Глазам твоим солнце из родника.
Душа моя, сердце мое...

И Большой Хачипап заработал сохой на земле-пергаменте, на склоне горы.

Жажду — дайте воды.
Сгораю без дыма.

А пламенная Астг вновь носила пахарям хлеб, воду и инжир.

Это — легенда — правдивая и достоверная.

Монгольский нойон Чар-Катай навеки умолк. А сын его, Чар-Баслан, жив. Разыскал он в далеких скалах тропинку и пополз по ней вором все к той же молельне писца Нерсеса. Пал писец Нерсес на политый кровью пергамент. А кровь обернулась маками. Вон они и сейчас пылают в расщелинах скал.

Хлеб, воду и инжир несла Астг. Не думала, не гадала, что ждет ее беда. Монгольский нойон Чар-Баслан кинул петлю, хотел похитить ее. Схватила Астг посох Нерсеса. Разъяренная, она готова была принять смерть, лишь бы не стать поруганной.

Бросив соху, поспешили ей на помощь семь кровных братьев. Сражались и пали поодиночке от руки Чар-Баслана семь братьев. Только, падая, каждый из них превращался в исполинский дуб, закрывая собой сестру. И когда обернулся дубом последний брат, и Астг обернулась ладанным деревом.

И поныне живут семь исполинских дубов: один рассеченный молнией пополам, другие же грозно-величавые. Поднимитесь чуть повыше входа в туннель и выше Цицернаванка, увидите на краю поля, засеянного пшеницей, эти дубы. Под их защитой схоронилась Астг — ладанное дерево...

Моя Астг каждой осенью срывала веточку с ладанного дерева, приносила в свой дом, и всю зиму очаг Хачипапа благоухал ладаном...

Благоухает на склоне горы ладан. В глубоком ущелье шумит Воротан. «Насыпай, насыпай».

С ветки гнет шею красноклювая птица: «Запрягай, запрягай...»

Я стою там, где некогда пас своих овец и орудовал плугом дядюшка Мамбре.

«Оровел, о...»

В глубину веков уходят благоухание ладана и «Оровел», из глубины веков пришли они к нам.

«Оровел, о...»

Со спины быка тянет шею красноклювая птица. Из теснины взывает Воротан: «Насыпай, насыпай!»

Насыпают. Но что?

Внук дядюшки Мамбре Мелик рассекает отвердевшую за века грудь скалы, прорубает подземное русло для вод Воротана к целинным склонам, к Ладанным полям. А в ущелье рычит уверенная в своей силе и мощи река: «Насыпай, насыпай».

Легенда в горах

Село взгромоздилось на хребет скалы, на тот самый клочок, где лес как бы расступился. Диву даешься, как только люди туда забрались. Не иначе, чудом их занесло, дорог-то ведь никаких не было.

Отец мой рассказывал:

«Не было в этом лесном селе ни души, кто бы смог письмо прочитать. Золотом здесь называли просо...»

Лорагет у села бурлит крутой пеной. От водопадов взвиваются ввысь водяные облака. Они дают жизнь черешне, что лепится на плече скалы, обнаженным корням инжира, свисающим, как старушечьи космы, дают жизнь садам. Чудо-река протекает в ущелье, а водяной шлейф свой стелет на скалах.

А разве дерево ладана не чудо? Вон то, что чуть выше, над входом в туннель. В его дупле молельня-часовенка Цицернаванка. В ней уединялся писец Нерсес. Кто считал, сколько сотен лет прошло с тех пор.

Это легенда — правдивая и достоверная.

Мифами и легендами овеяны наши горы. У Ладанных полей тоже своя легенда — правдивая и достоверная.

...Вокруг дерева ладана кружились в хороводе семь дубов-исполинов. Один из них рассечен пополам молнией, сорвавшейся с горы Татан, но все еще держится.

Дерево ладана — особое дерево: две пары сросшихся стволов, четыре корня в груди скалы. Эти четыре ствола и часовня писца, созданная кто может сосчитать сколько сотен лет назад, разве не чудо?

Писцу Нерсесу воду, хлеб и инжир носила из сада дочь Большого Хачипапа Астг. Околдовал ее писец своими письменами, и постигла она с его помощью их таинство...

Это легенда — правдивая и достоверная.

Бабушка Шогер рассказывает: «Имя ей было Астг. И говорила она солнцу: «Ты не всходи, моего света хватит земле».

Как-то раз моя Астг напомнила мне молитвенную песнь легенды — правдивую и достоверную:

Всходи, свет мой, всходи,
Глазам твоим солнце из родника.
Душа моя, сердце мое...

Войско монгольского нойона Чар-Катая обрушилось-обвилось вокруг левого берега Воротана: черная туча, черная саранча. Помутнела Лорагет от бесчисленного множества копыт, потеряли свои краски кармрахайты[35]. На правом берегу реки жители лесного села встретили вражескую орду градом камней.

До слуха монгольского нойона дошла молва о красоте Астг, той, что сказала солнцу: «Ты не всходи, моего света хватит земле». Молва эта и привела Чар-Катая на берег Воротана.

Писец Нерсес вместе с сельчанами, вместе с Большим Хачипапом обрушил на монгольского нойона град камней.

«Насыпай, насыпай», — подбадривал сельчан писец Нерсес.

Запрягли они быков и навозили камней, чтобы завалить ими ущелье, преградить путь Чар-Катаю.

Каменный ливень затопил узкую тропинку на дне ущелья, завалил-засыпал озверевшего нойона. И осталось неприступным село.

Глыбы скатываются в реку. Из туннеля по узкоколейке с шумом выезжает караван вагончиков и сваливает вниз отрытую скальную породу.

«Насыпай, насыпай».

От самого входа в туннель тянется лента электрических лампочек. Она бежит вглубь, в темноту. Держась этой ленты, я уверенно вступаю в туннель.

Чтобы урвать здесь горсть скалы, надо пролить горсть пота. Параллельно узкоколейке течет ручеек, не потом ли он полнится?

Навстречу мне скользит караван вагончиков с грузом. Я прижимаюсь к стене. Что за чудо? Караваном управляет золотоволосая красавица. Да это же моя Астг! Но нет, только померещилось. Это другая звезда, звезда Мелика. Невестка бабушки Шогер, мать той девочки, что принесла мне «кусачую» воду.

А может, это Астг из молельни пустынника Нерсеса? Кто еще, как не женщина из легенды, может подчинить себе этот стальной караван?

Но вот звезда Мелика остановила свой поезд, и я очнулся.

— Пришли? — говорит она. — Видите, как у нас хорошо под землей, прохладно.

Говорит и улыбается, обнажив белые ровные зубы:

— Они далеко? — спрашиваю я.

— Кто?

— Мелик, Граче и все остальные, чьим потом полнится этот ручей?

— Далеко. Держитесь света этих лампочек и дойдете.

Она не спешит уезжать. Хочет что-то сказать. Я это чувствую.

— Вчера наша Астг показала мне одно письмо, — наконец проронила она, глядя куда-то в сторону.

— Какое письмо?

— Ваше письмо с фронта.

Словно жаром из лавы обдало мне лицо. Но я молчу, не знаю, что сказать.

— У нашей Астг очень нежное сердце... Она плакала. Почему вы после этого письма больше не писали ей? Почему?

Звезда Мелика, не дождавшись ответа, резко сорвала с места вагончики и уехала. В ущелье гремела река: «Насыпай, насыпай».

Еще насыпать? Как уместить в одном сердце столько боли? Как?

В туннеле душно. Я расстегиваю куртку. С потолка срываются холодные капли.

«Насыпай, насыпай».

Пусть эта порода обрушится мне на голову, пусть! Чтобы все наконец кончилось! Все...

Возвращался я вместе с Граче.

И на этот раз навстречу нам несется караван вагончиков. Звезда Мелика дает долгий сигнал, и мы прижимаемся к стене.

— Огонь, а не женщина! — озорно подмигивает Граче. — Эй, Астг!

— И она Астг? — удивляюсь я.

— Разве не похожа на звезду?

— Нет, почему же. Просто у вас есть еще одна Астг — сестра твоего отца.

— Да, — кивает Граче. — И еще одна, та, что стала легендой. Наш род никогда не был беден звездами. Что правда, то правда.

Вагончики приближаются. Астг сдерживает ход. Граче с шутливой сердитостью выговаривает ей:

— Поосторожней со своим космическим кораблем. Где это видано, прижала к стене двух мужчин.

Астг смеется.

— Обоих вас надо одним жгутом связать, — бросает она. — Испугались? Погос-Петрос из вас не получится, увядшие холостяки.

Граче даже обиделся.

— Болтаешь всякое, — отмахнулся он.

Астг залилась еще звонче.

— Не сердись, деверек. Цветов на свете много... — сказала она наконец и увела свои вагончики.

Я с минуту смотрел ей вслед и зашагал вместе с Граче. Шли мы навстречу свету. Мне показалось, что Граче как-то уменьшился в размерах. Туннель стал уже, сжимал наши плечи. И я вдруг спросил:

— Не видно что-то твоей тетушки Астг. Где она?

Граче ответил не сразу. Я ждал и в растерянности ступал то на рельс, то мимо.

— У власти она, — сказал наконец Граче. — День и ночь занята делами поселка. Тоже не женщина — огонь! Не оставляет меня в покое. Только и слышу; это построй для поселка, то построй. Наши встречи тем и кончаются. Она-то не спросит, не упрекнет, почему я остался увядшим холостяком, не то, что эта Астг... И кафе я построил по ее заказу.

— А семья у нее есть?..

Граче отрицательно качает головой.

— Мы с нею оба неудачники в этом смысле. Оба — увядшие холостяки. Хотя она, конечно, далеко не увядшая. У нее был какой-то свой цветок, синий, красный или черный, не говорит. А ждет кого-то. Глядишь, так и прождет всю жизнь.

Хорошо, что Граче идет впереди и не видит, как бьет меня дрожь. Не под землей я, а во льдах горы Татан вместе с моей Астг...

«Не уйдешь ведь, правда?»

Срываю мох с камней Цицернаванка, чтобы не замшели каменные письмена.

«Не уйдешь...»

А я ушел. Скитался неведомо где, и вот...

Солнце. Весна.

Водопадами срывается в теснину ущелья Лорагет. Падает в Воротан — синим поясом на его спину. Захлебывается буйный Воротан глыбами, сорвавшимися сверху со скал. Здесь строят плотину.

— Прекрасное будет море, и это в скалах, где раньше и слыхом не слыхали о нем, — раздумчиво говорит Граче.

Астг возит и возит караваны вагончиков с породой и с грохотом сваливает камни в реку. Беззлобно рычит Воротан: «Насыпай, насыпай».

Астг остановилась у каменного разреза.

— Бедный наш Воротан, — сказала она с детской наивностью. — Жил в свое удовольствие. А теперь вот преграждаем ему путь.

Граче попытался пошутить:

— Ну, что же, ведь и твою дорогу преградила бабушка Шогер. Пришла, забрала из отцовского дома и бросила в сети к Мелику.

Астг рассмеялась. На удивленье смеются звезды в этом ущелье!

— Не обижай моего Мелика. Из-за одной его улыбки тысячи звезд упадут с небосвода.

— Ого, — удивился Граче, — какого ты мнения о своем муже!

— А ты как думал? Остается нам с Меликом взять в союзники бабушку и найти сети и для тебя. Давно пора связать по рукам и по ногам. Посмотрим, как ты будешь выглядеть в бабушкиной медовой паутине. — Астг Мелика посмеялась над своими же словами и примирительно добавила: — А сейчас, Граче, подумай пока о вентиляторе. Уж очень он барахлит, может, заменить?..

Она увезла вагончики. А Воротан все рычал: «Насыпай, насыпай!..»

Когда здесь будет море, длинный-предлинный туннель наполнится водой, а Ладанные поля и все склоны и земли получат воду, этот волшебник — Граче, медное тело — Мелик и его Астг высекут на скале у Цицернаванка: создано море в таком-то году!..

Потом пройдет тысяча лет. И другой юноша Граче, стоя на берегу моря, скажет своей золотоволосой Астг: «Это легенда — правдивая и достоверная».

И они прочтут письмена на скале: создано море в таком-то году.

ДОРОГА ЦИЦЕРНАВАНКА

Цицернаванк

Граче довез меня на своем газике до курчаво-зеленого подножья горы.

— Видишь эту тропинку?

Еще бы не видеть. Сколько раз ходил по ней. Я киваю головой и выхожу из машины.

— Иди вот по ней, — говорит Граче, — по этой тропинке. Она выведет тебя к Цицернаванку. Никуда не сворачивай. Ни влево, ни вправо. Иди все прямо.

Я закинул ружье за плечо и пошел по тропинке. Граче крикнул мне вслед:

— Может, дать в попутчики Мелика, а?

— Не надо, — ответил я. — Не потеряюсь, не бойся.

Шагов пятьдесят, и я уже в лесу, совсем в ином мире. Умолк, исчез грохот строительства. И мне тут же почудилось, что я снова с отцом, маленький мальчик с почтовой сумкой за спиной. Потом вспомнился день, когда я пришел в село Хачипапа учителем. И вдруг разозлился на себя: чего это вспоминаю все былое, тягостное? А как же иначе? Если не вспоминать прошлое, перестанешь быть тем, что ты есть, превратишься в ничто, как та порода, которую звезда Мелика сваливает в ущелье. Разве будет жить этот шиповник, если вырвать его с корнем?

Под деревьями играют желтые блики заката, лоскутки золотистого света.

Темнеет в лесу незаметно. Соскользнут с плеч деревьев черные бурки, и под ними погаснет светлая нить тропинки.

Я не спешу. Куда и зачем?

Осенний лес в своем уборе: желтый, багряный, золотистый, синий и даже белый-белый. Моя Астг очень любила белый цвет. «Приноси мне только белые цветы, — говорила она, — только белые».

Лес полон запахов дикой груши, ежевики и спелого инжира. От сладости плодов слипся клюв у птицы, и она энергично трет его о мох.

Это забытый, дальний лес. Нет к нему хоженых дорог. Не вспугнет выстрел дикую козочку, и она спокойно греется в желтых бликах солнца.

Наевшись вдосталь ежевики и сладких груш, что-то бормочет нарождающемуся диску луны медведь. Недоволен, верно, жарким солнцем, отряхивается, сбрасывает лучи его со спины.

Вьется под ногами тропинка, вся точно разрисованная следами медведя и горной козочки, багрянцем опавших листьев и темными заплатами чернозема. Осеннее солнце заходит, оставляя в лесу только дыхание своего тепла. Одна за другой гаснут свечи-вершины.

Присев на ствол поваленного дуба, я считаю эти гаснущие вершины и корю себя за то, что все не отважусь повидаться с Астг. Сколько времени уже здесь, а к ней не иду. Что удерживает меня? Страх?..

«Ты же обещал вернуться, — спросит она, — почему не вернулся?..»

А другая Астг, звезда Мелика, хохочет мне и Граче в лицо: «Погос-Петрос из вас не получится, увядшие холостяки!»

Горды и дерзновенны девушки наших гор. Так засмеются тебе в лицо, что потеряешь свою дорогу.

Сижу я на стволе поваленного дуба и смотрю, как гаснут вершины. Вдруг слышу, чьи-то шаги. Не медведь ли идет, учуяв

мое присутствие? Лес так доверчиво спокоен, что рука не тянется к ружью.

За изгибом тропы откуда-то сверху срывается вниз что-то пенно-белое. Что это? Водопад? Нет, белый жеребец с красным пламенем в ноздрях. Конь чего-то испугался и замер на месте, раскачивая дыханием своим ветви кустов с черными плодами. Всадница (да-да, это женщина!) едва сдерживает порыв скакуна. Во мгле видны гибкая спина, коротко остриженные волосы. Кто это? Лесной дух или его невеста на крылатом коне?

Женщина легко соскочила с коня, привязала уздечку к дереву, забросила ружье на седло. Под ее маленькими сапогами весело зашуршала опавшая листва. Взгляд мой, став ее тенью, последовал за ней. Еще несколько шагов, и ее отражение блеснуло в синем зеркале воды. Только теперь я заметил, что чуть ниже есть крохотное озерцо. В его темных водах тоже еще то тут, то там мелькают блики заходящего солнца, мягко раскачивая отражение девушки. Что это за озеро и почему я не знаю о его существовании? Странно, что в те дни моя Астг не показала мне это лесное чудо.

Девушка сняла платье, осталась в купальнике и через миг скользнула навстречу своему отражению в воде. На ветке дерева хлопнула крылом красноперая древесная перепелка. Дикие гуси кликами восхищения взорвали тишину леса.

Кто сказал, что русалки бывают только в сказках? Такому неверующему оказаться бы рядом со мной у этого озерца. Я отвернулся. Свет колышущейся в воде русалки слепил мне глаза...

И остался я снова один с ружьем на коленях, продрогший, словно прирос к стволу дуба. Копыто коня ударилось о камень, взметнулась искра.

Осторожно, русалка, не подпали лес...

Жеребец поскакал обратно, унося на спине своей свет. И в мгновение лес потемнел.

Пробродил я в лесу, полном ночных таинств, до утра.

Ноги ныли от усталости. Где дорога к новому поселку? Тропа шелестит листвой, шелестит и лес. Вскрикивают белые сороки. Стайки куропаток срываются и, хлопая серебристыми крыльями, тяжело улетают к скошенным клочкам на Ладанных полях. На откосе скалы не на жизнь, а на смерть бьются два горных козла. Их бревна-рога, соприкасаясь, бряцают, как оружие. Самка в стороне ждет исхода поединка.

Я и тут не снял с плеча ружья, не помешал поединку отважных в битве за утверждение силы, да и не хотелось обагрять кровью золотистую листву. Поспешил уйти, чтобы не стать свидетелем поражения одного из соперников. А поражение ведь будет!..

Нащупал следы конских подков на сырой земле и пошел по ним. Казалось, что следы эти еще хранят свет искр, вырвавшихся из-под копыт.

Дремлет под сенью дубов Цицернаванк. Две недели назад я тоже был здесь. Из города тогда приехали погостить два моих друга, архитектор и поэт. Мы с Граче водили их в Цицернаванк. Храм околдовал моих друзей.

«Это творение самого неба!» — разводя руками, воскликнул архитектор.

Поэт молчал.

Это было две недели назад. Тот же Лорагет опоясывал пенистый Воротан, то же солнце сияло над камнями Цицернаванка.

Две недели назад это было.

Едва мы спустились в ущелье, на сини неба высветился кривой крест, потом купол и — о чудо! — дремлющий на величественной скале храм.

Цицернаванк!

Воды тысяч морей дошли до его подножья руслами обнимающих скалу рек. Какой-то дерзкий кустарник расцвел на притолоке. И дуб вонзил свои корни ему в спину. Но храм спокоен и величав. Он дарит миру красоту. Базиличным называют его. Удлиненный, прямоугольный, внутри два ряда колонн. Они делят храм на три части.

На высоком карнизе под крышей примостились клюв в клюв два голубя.

Друзья мои, поэт и архитектор, здесь впервые, они удивлялись творению рук человеческих. Я жил другим...

С каменных цветов, что под крышей, на каменные плиты упало голубиное перо. Я поднял его и вдел в волосы Астг. Она засмеялась и дыханием своим обласкала мою едва подернутую пушком щеку.

Давным-давно это было.

В тишине мирной ночи над кривым крестом Цицернаванка блестели две звезды. А в храме в подсвечниках тлели две свечи. Две прозрачные реки сплелись в объятии у подножия этого храма. Белые слезы расцветшей черешни падали в бурные, словно обезумевшие воды рек...

«Ты не покинешь наше ущелье, нет?» — шепчет Астг.

«Нет, не покину».

Одна из звезд вдруг падает и, задев кривой крест, гаснет. Гаснет и одна из свечей. А в ближнем селе потерявшая сон бабушка Шогер кличет: «Э-эй, Астг, иди домой».

Голос бабушки ломается в пустоте ущелья, словно эхо молитвы под сводами храма.

Моя звезда упала.

«…Не покинешь наше ущелье, нет?»

«Нет…»

Под куполом базилики воркует голубь.

«…Не покинешь… нет?»

Голубь тянется клювом к клюву голубки.

«Нет…»

Поэт стоит на скале, недвижен, словно хачкар. Архитектор забыл обо всем на свете. Он зарисовывает, что-то измеряет, пытается разобрать письмена на камнях.

«Пятнадцать веков!.. Нет, вы понимаете, пятнадцать веков назад!»

Мое сердце ноет…

Гибели своей не страшусь.
Умолкший колокол жизнь моя.
Развалины храма,
И нет больше паломников…

Река вобрала в себя этот шепот храма, чтобы вечно шептать его скалам.

Пятый век…

Пятую ночь я глажу волосы Астг. Пятую ночь звенит в ущелье голос бабушки Шогер: «Э-эй, Астг, иди домой…»

Летняя ночь ласкает нас ароматом хмельных нарциссов и воркованием голубей.

Бьется о крест базилики и рассыпается шепот Астг: «Не уходи…»

Люди спустились по старой тропинке в ущелье и поднялись к Цицернаванку. Иные еще помнили меня сквозь туман прошедших лет. Мамбре сетует:

— Стареешь и ты, вон как волосы поседели.

— Помнишь?.. — спрашивают меня люди.

Помню. Все помню: и разрушенный, унесенный рекой мост, и Хачипапа, захороненного с письмом внука. Помню и разлегшегося на дереве медведя, и вино Хачипапа, и тот черный день, когда тропинка так надолго увела меня из тени Цицернаванка.

Помню. Село было окутано осенней мглой. Далек каменный колодец от дома учителя. Из каменного колодца приносила мне воду в кувшине Астг.

«Пей понемногу, студеная...»

Разве такое забудешь?

Тогдашнее мое пристанище сейчас пустует, как и все старые дома в старом селе. Его новый хозяин тоже перебрался в новый поселок и тоже живет в новом доме. Жалкой кажется маленькая школа старого села, где я учил босоногих детишек.

То было в год, когда упала звезда...

Из камней, привезенных издалека, инженер Граче построил новую школу.

Село поднялось из ущелья, вышло на простор, обрядилось новыми садами, теперь в нем есть кафе и многое такое, чего не было в год, когда упала звезда. Сады поднимаются склонами к Цицернаванку.

Гибели своей не страшусь...

Деревья разрослись и укрыли тенью каменистую тропку, по которой водила меня Астг, свет моей судьбы, в те далекие ночи.

Я ищу согретые солнцем следы моей Астг, ищу ее свет в этом осиянном звездами ущелье.

Нет их... Причудливые тени деревьев легли на трепу. Зазеленела и крыша давильни Хачипапа, той самой, где я пил молодое вино и где мы пережидали непогоду.

Садимся на могильный камень Хачипапа под тень бывших в те дни еще саженцами черешен. Кажется, что и этой черешне пятнадцать веков, так она стара. И кажется, что ничего уже не вернуть. Ни того, чему пятнадцать веков, ни того, что было пятнадцать лет назад.

Сижу понурый. Архитектор пытается рассказать козопасу Мамбре и другим все, что ему ведомо про чудо — Цицернаванк.

— Храм этот поначалу был местом, где поклонялись весне и любви...

Рот козопаса Мамбре, опушенный седыми усами, открывается словно лишь для того, чтобы больше не закрываться:

— Ба...

Я прошу воды. Интересно, сохранился ли прежний вкус у воды из каменного колодца?

Не свожу глаз с ущелья. Все ищу и ищу знакомую тропинку.

Мне протягивают воду в стакане. Я вижу только стакан, тарелку и руку с тоненьким серебряным колечком на пальце.

«Пей понемногу, студеная...»

Жгучая дрожь пронизывает тело. Не знаю, кто поднимает мою голову, я сам или та звезда-девочка.

Астг, как и Цицернаванк, одна-одинешенька.

«Пей понемногу, студеная...» — смотрит она на меня.

В волосах белые пряди, те хмельные нарциссы с горы Татан. Во взгляде все тот же зов и тот же блеск. Астг глядит на меня с былою нежностью и теплотой, но и с каким-то отчаянием.

«Пей понемногу, студеная...»

Архитектор все рассказывает собравшимся о Цицернаванке.

— Пятнадцать веков, словно драгоценный алмаз, блистает в этом ущелье чудо — Цицернаванк...

Вот блеснула слеза в глазах моей Астг. Всего одна. Астг смахнула ее.

«Пей понемногу, студеная...»

В сердце звенит стон Цицернаванка.

Умолкший колокол жизнь моя.
Развалины храма,
И нет больше паломников...

Опускается ночь. С неба падает звезда. Она цепляется за кривой крест Цицернаванка и тотчас гаснет.

Радуйся и ликуй

Дремлет Цицернаванк под сенью дубов. Своенравный кустарник прижился и расцвел на его притолоке. Неподалеку давильня Хачипапа, чуть дальше его же чудо-груша...

Сидит, бывало, Хачипап, жмет сок желтой медовой груши на жареную рыбу да еще вином приправляет, а сам рассказывает:

«Говорят, камень для постройки храма возил бык моего прадеда. Всего один бык. Вон из той каменоломни, что в лесу...»

В той лесной каменоломне сейчас ребята из нового поселка обтесывают сине-розовые глыбы туфа для своих сине-розовых домов...

«Быка похоронили неподалеку, у опушки. И могилу эту люди считают святой. Стоит какому-нибудь быку занемочь, приводят его туда и пускают кровь из уха, чтобы выздоровел...»

Я слушал Хачипапа разинув рот. Чтобы я закрыл его, старик протягивал мне ломоть хлеба с рыбой и приговаривал:

«Ешь, сынок. На свете еще и не такое бывает...»

Притолока Цицернаванка не замшела. Она взывает пышно-цветными письменами: «Да услышу я голос твоей радости».

Вчера свет в озере не подал мне голоса. А жаль.

Обжигая губы, я все повторял слова, начертанные на камне в глубокой древности: «Да услышу я голос твоей радости».

Глаза того, кто создавал этот храм, тоже, наверно, видели свет в водах озера. И свет этот стоном сердца излился в камне.

На притолоке высечен в камне еще и кудрявый крылатый ангел. Глаза и губы его смеются, взывают ко всему живому: «Радуйся и ликуй».

В те далекие дни безвестный каменотес поделился своей радостью, изваял песнь-хвалу всему сущему: «Радуйся и ликуй».

А чему мне радоваться?

Вернись, звезда Цицернаванка, дай свет моим глазам, и я буду радостным, как этот рассвет, и ликующим, как медведь, запустивший лапу в медоносный улей.

Мрачные дубы глухо шелестят, роняя желтые листья-слезы на крышу храма и мне на плечи.

Следы коня ведут меня в глубину леса. И за спиной мне чудится мольба:

Да услышу я голос твоей радости,
Да услышу!..

Иссякшая тропа подступает к улице, и я неожиданно обретаю себя в новом поселке.

«Радуйся и ликуй».

Поселок, словно свешенный прямо с неба, навис над рекой.

Не поселок — лес садов. Золотя крыши и кроны деревьев, отдыхает солнце. На балконах лимоны в кадках и кошки с зелеными глазами, похожие на диких.

Свои тяжелые лапы опустила на плетень изнемогающая от ноши груша. Рядом рдеет румяными плодами яблоня. Чуть дальше нежит под солнцем свои алые кудри дерево кизила.

«Радуйся и ликуй...»

Женщина тянет на веревке упирающегося мула и ворчит:

— Чтоб обрушилось на нее небо, на председателя.

...Со звоном рушится светлая молитва. Такое злое проклятье в этом сине-прозрачном ущелье?..

На муле перевешена пара корзин, а в них фрукты. Нет, не фрукты — осколки солнца, источающие мед сквозь плетенье корзин.

Из соседнего сада налетает Меликова Астг:

— Эй, кого это ты проклинаешь?

Женщина с мулом сердится:

— А что она нос задрала? Вот уже семь лет, как мой брат за ней волочится. Другого такого во всей Армении нет, а она, твоя родственница, отказывает ему. Вишь, гордячка какая...

Женщина берет из корзины горсть инжира, нет, горсть солнца, протягивает мне.

— Полакомись, пришелец.

Она сует инжир мне в руки.

Астг подходит к плетню.

— Твоего брата мы и псом не держали бы в нашем дворе!.. — говорит и смеется.

Женщина с мулом отталкивает ногой щенка, чтобы мул не затоптал его. Астг протягивает мне два персика.

— Ешь. Не обращай внимания на ее брехню.

Я тотчас соображаю: не обо мне заботится Астг, просто освобождает руки, того и гляди, бросится на женщину с мулом.

— Пусть твое проклятье обернется на тебя!

— О ком это она, Астг? — спрашиваю я.

— О нас! — задыхается от злости звезда Мелика. — О нашей Астг. Брат у нее, видишь ли, начальник. Думает, этого достаточно, чтобы за нашей Астг волочиться.

Кровь приливает мне в голову.

— Ну и что?

Астг не замечает волнения в моем голосе.

— А ничего. Она и глянуть на него не желает! — Астг оборачивается и гневно смотрит вслед удаляющейся женщине. — У, чертовка, пусть проклятье обернется на тебя!

Из глубины сада доносится голос девочки, той, что поила меня «кусачей» водой:

— Мам, Хачик дерется!

Это новый поселок, здесь создают море, чтоб напоить распростертые от горизонта до горизонта земли Ладанных и других полей, извечно стонущих от жажды и безводья.

Это новое поселение: с электрической цепью в туннеле, со стеклянным кафе, со своим сельсоветом и председательницей Астг, которая не желает замечать влюбленного в нее начальника.

Фруктовый мед течет из сосков молодых деревьев нового поселка. Деревья запрокинули свои кроны на крыши, обвили стены.

Я вхожу в контору поселкового Совета. Моя Астг — председатель Совета. Есть ли у меня дело к ней? Нет у меня дел, но я вхожу. Может, раньше, чем я, войдет тот начальник? А вдруг Астг согласится стать его женой!

В конторе люди: бурильщик без традиционных усов и бороды, но в шляпе, женщина в туфлях на высоких каблуках, в нарядной блузке, подросток с сигаретой в зубах и...

«Радуйся и ликуй».

Это она! Та, что блистала в синем зеркале озерца, та, что вскочила на коня и, разбрасывая вокруг искры, исчезла, унеся с собой свет...

Сомнений нет. Это она. Но где же Астг, почему нет ее? Неужели и на этот раз нам не суждено встретиться? Наберусь ли я смелости еще прийти сюда?

Женщина сидит за письменным столом и, часто встряхивая самописку, что-то строчит, склонившись над бумагой.

Мне хочется, чтобы она подняла голову.

«Да услышу я голос твоей радости».

Но женщина продолжает писать. Что это? В ее темных волосах белые нити? Сердце в груди снова бешено колотится. В крепко сжатых губах ее молчаливое торжество, а глаза, опущенные на лист бумаги, мечут черные лучики с кончиков ресниц.

Но вот она протянула бумагу бурильщику:

— Отдашь Граче. Он выполнит твою просьбу.

Сказала и так посмотрела на меня, будто давно уже знает о моем здесь присутствии.

Передо мной была Астг. Слышите, моя Астг!..

«Не покинешь, нет?»

Передо мной была моя Астг, да, да, моя Астг! Смуглолицая, черноглазая, чернобровая.

Все во мне кричало: «Я это, я!»

Господи! Как же я сразу не узнал ее! Вот и черная родинка в уголке рта, и ямочка на подбородке...

«Не покинешь, нет?..»

Астг! Звезда моих юношеских дней, звезда моей жизни! Как же я не узнал ее? Все тот же свет в больших глазах, только словно бы чуть повлажнели они. А я-то думал, годы унесли с собой все!..

— Слушаю вас, товарищ.

Я мгновенно пришел в себя.

Она улыбнулась. Снисходительно, как ребенку.

Я не знал, что сказать ей в ответ. Что привело меня сюда сегодня? Не страх ли перед неведомым начальником, что домогался ее руки?

Глаза Астг спокойны. В них нет сочувствия и, кажется, нет и огня. Передо мной словно бы не солнечный луч, а лунный свет.

«Радуйся и ликуй...»

Астг продолжает смотреть на меня. Убийственно, что в уголках ее губ и в глазах мне чудится ироническая улыбка.

Астг не выдает себя. Но глаза и особенно губы говорят, что я узнан, и, может, еще вчера...

— Слушаю вас, товарищ.

Я должен что-то сказать. Господи, откуда такой страх?

— Знаете что, — наконец отважился я. — Вообще-то, может, к вам это и не относится, тогда извините, товарищ председатель, но...

Я смог добраться только до этого «но». А дальше? Что дальше? Я уже чувствовал, как она с трудом сдерживает порыв. Порыв неизбывной женской нежности.

Ах, спасите меня! Люди, горы! Спасите!

И я вдруг вспомнил Цицернаванк, кустарник, впившийся в него, и каменную молитву: «Да услышу я голос твоей радости». Вспомнил и обрел дар речи.

— Может, к вам это и не относится, но я должен сказать. Цицернаванк ведь в ваших владениях. На его притолоке начертано...

Астг, кажется, улыбнулась и сказала:

— «Радуйся и ликуй...»

— Вот именно, — приободрился я. — Но Цицернаванк вовсе и не радостен, он какой-то заброшенный.

Астг прервала меня и, как мне показалось, вздохнула.

— А кто рад одиночеству? — лицо ее вновь омрачилось, и я вспомнил, какие молнии метал взгляд Астг, когда она сердилась. — Все покинули Цицернаванк. Только куст-разрушитель цепко впился в его камни. Я понимаю! Вы хотите, чтобы я вырвала с корнем этого непрошеного кровопийцу? Что ж, я услышала голос радости...

Она вдруг улыбнулась и поднялась с места. Ушла женщина в туфлях на высоких каблуках. Ушел и подросток с сигаретой.

— Вы купались вечером там, в лесном озере?..

Уши мои загорелись.

— Нет, я не подсматривал за вами, когда вы купались!..

Она снова рассмеялась, теперь уже с грустью.

— А хоть бы и подсмотрели. Не грех, — и почти шепотом сказала: — Я всю ночь думала о вас... — Голос ее задрожал, но только на миг. Она тотчас взяла себя в руки. — Честно говоря, боялась, как бы не угодили в лапы медведю. Они у нас здесь свирепые.

Астг взяла со стола пачку сигарет. Курит! Давно ли? Взяла кнут с рукоятью из слоновой кости. Его я видел в руках у Хачипапа в те далекие дни моего детства.

— Я велю вырвать этот бесстыжий куст из груди Цицернаванка, чтобы не разрушал свидетеля былых людских радостей и печалей...

«Радуйся и ликуй».

Она ушла, оставив меня одного...

«Не покинешь, нет?..»

Я вышел.

Из открытого окна слышался голос Астг. Она говорила по телефону уже из другой комнаты.

— Эй, Граче. Да услышу я голос твоей радости... — Зазвенел раскатистый смех. — Притолока Цицернаванка рушится. Ты слышишь меня?.. Пришли людей, пусть вырвут куст. Да чтобы с корнем. Чужие приезжают посмотреть поселок и твое море и жалеют, когда видят, что храм рушится. А мы не жалеем свою красу...

Я заткнул уши.

«Чужой!..»

О господи, как она жестока, звезда моего счастья!

В этом новом светлом поселке я вдруг сразу почувствовал себя никому не нужным, как та порода, которую другая Астг вывозит из туннеля и сваливает в ущелье.

«Радуйся и ликуй».

Я кинулся к кладбищу старого села.

— Поднимись из могилы, Хачипап...

«Ты не покинешь... нет?»

В ущелье Лорагета и зимой можно отыскать цветок.

Найдешь его в расщелине скалы на дереве кизила, что греется под солнцем, найдешь и у ердика овчарни, откуда бьет теплое дыхание овец, согревающее и камень и росток.

Сорвавшаяся с родников горы Татан река, приближаясь к Цицернаванку, чуть утихает и становится прозрачной, как зеркало. С желтым песком и с пляской кармрахайтов на дне.

Короток путь Лорагета. От истока до слияния с Воротаном золотисто-алый кармрахайт, резвясь, добирается за день. Рыбка бросается с водопада вниз, в пенную радугу воды, и больше не поднимается в свое гнездо, что прячется в красных корнях ивы.

С грохотом падает Лорагет в объятия буйного и мутного Воротана, и, опоясав его синим поясом, течет непокорная река в обиде на Воротан.

Золотистые кармрахайты рвутся из вод Воротана к привычному аромату цветов горы Татан. Но тщетно... Водопад высок, а безрассудный прыжок из западни слаб. И гаснут искорки золотистых кармрахайтов в водах черномордого Воротана.

Короток путь Лорагета. И чтобы за небольшой тот путь дать миру больше и больше, без устали гонит свои прозрачные воды звонкоголосая река — щедрая кормилица этих ущелий.

На зеленом берегу распласталась последняя груша Хачипапа. Умирает она без вздоха, с чувством исполненного долга: шутка ли, сколько лет лакомились ее плодами и люди и птицы.

Здесь будет море. Земля иссохла и взывает: «Жажду — дайте воды».

Без вздоха умер и Хачипап. Сто три года услаждал он себя водами Лорагета и медом земли. И ушел из жизни. А село полнится его внуками и правнуками.

Весна. Кипит земля, и на нее, кипящую, бросили свои короткие тени тысячи молодых яблонек и груш. Они будут расти и плодоносить вместо упавшей сверстницы Хачипапа.

Нет смерти в ущелье Лорагета.

— Старый сад угасает, — говорит Мелик из рода Хачипапа. — Новый будет расти вместо него.

Мы присели и прислонились спинами к стволу распростертого на зеленом ложе дерева, как в детстве, когда подпасками в стужу прижимались потеснее к лежащим на пашне быкам и грели их теплом свои щуплые тела. Хачипап в таких случаях вздыхал и приговаривал: «Спрячьте руки под живот быка, теплее будет».

Мелик из рода Хачипапа прикуривает от зажигалки сигарету.

— Пустим воду на Ладанные поля, всем молодым дадим земли, пусть строят дома, сажают деревья, приводят невест.

Состарились старые сады в ущелье. И старое село тоже состарилось. И построенный Хачипапом тонратун[136] тоже.

В ущелье новый поселок. Но этого, оказывается, мало. На Ладанных полях хотят строить новые дома отслуживший свой срок солдат и призывник. Призывник пока еще только собирается посадить перед уходом в армию дерево на оживших Ладанных полях и выбрать себе девушку, чтобы потом, когда он тоже отслужит и вернется, и дерево бы подросло, и невеста ждала, а там уж и дом построить — не дело, благо земля теперь есть.

Вот как все повернулось. Некогда босоногие мальчишки обзавелись детишками и теперь вот дома строят, Ладанные поля обживают, хотят жить высоко и привольно. Бабушка Шогер тоже просит Граче:

— Построй, сынок, дом на Ладанных полях, приведи невесту. Порадуй меня на старости лет!..

С горы Татан уплывает облако. Оно оставляет снежную рубашку на зелени и спинах кудрявых баранов.

Нарядно одетая, по-городскому причесанная, проплывает мимо Меликова Астг. На плече у нее кувшин с водой. Это вода из каменного родника для бабушки Шогер.

«Она охлаждает мне сердце», — говорит старушка.

Узкую тропинку к старому селу проложил Хачипап, когда таскал из леса бревна для тонратуна...

Соскальзывает девушка с камня тропинки. Вдребезги разбивается кувшин. Девушка закрывает ладошкой лицо. А наверху краснеет от смущения вернувшийся накануне из армии ее жених...

Эх, сколько кувшинов разбилось на тропе, проложенной Хачипапом. Сколько молодух замирало от страха перед гневом свекрови: «Век бы тебе сидеть в отцовском доме! Такой кувшин расколотила!..»

Каменный родник одиноко журчит у старого села. Как-то жалобно журчит, будто стонет: оставили, мол, меня, бросили.

Но напрасно сетует каменный родник. Его вода тоже нужна. Она нужна людям. Пить ее будут и стар и млад...

«Пей понемногу, студеная...»

На старой тропинке грязнят свои лапки перепелки-невестки и перепелки-невесты, разбиваются кувшины вместе с надеждами.

— Стыд и позор нам за то, что невесты льют слезы на этих тропинках, — вздыхает туннельщик Мелик.

Целина Ладанных полей ждет рук человеческих, ждет воды, ждет, когда вырастут здесь дома и деревья и зазвенят счастливые голоса молодоженов. Ждет, чтоб и самой омолодиться, подобно саду Хачипапа. В надежде пребывает и молодежь поселка. Чешутся у них руки. А бабушка Шогер тянет нараспев:

«Построй дом на Ладанных полях, Граче. Приведи в него невесту...»

Стыдливо рдеют губы черноокой смуглянки, едва она подумает о внуке бабушки Шогер. Пойдет невестой в новый дом на Ладанных полях? Пошла бы... А живой как ртуть паренек, отработавший трудный день, смотрит сквозь стекла кафе в сторону Ладанных полей и бормочет:

— Дайте им воды, а мне земли, не то женюсь да уеду из ущелья.

Лорагет журчит, будто стонет в ответ: «Куда, куда ты уедешь, цветок мой и семя?»

И Ладанные поля взывают: «Не уезжай. Отдай нам тепло твоих рук. Не уезжай. Видишь, вон ведут воду, скоро утолят жажду. Не уезжай...»

Кармрахайт, удалившись в буйной пляске от своего гнездовья у горы Татан, уйдя в воды Воротана, больше не возвращается назад. Мутны воды грозно грохочущего Воротана, взыгравшего под натиском весеннего половодья. Будь осторожна, прекрасная рыбка кармрахайт...

И зимой можно отыскать цветок на берегах Лорагета. В расщелине скалы, на дереве кизила, что греется под солнцем, у ердика овчарни, откуда бьет теплое дыхание овец, согревающее и камень и росток.

Я знаю, где искать зимние цветы. Я не раз рвал хмельные нарциссы для Астг. Она прижимала их к груди.

Давно это было...

На новой улице нового поселка моя Астг преграждает мне путь.

— Если решил остаться здесь, выбери место, где будешь строиться. Если решил остаться...

Жаль, нет у нее в руках крапивы, не то ожгла бы меня, как в те далекие дни там, у Родника Куропатки. Я смотрю в ее озаренные светом глаза.

— Была война, Астг...

Влажный свет в глазах гаснет.

— Родник Куропатки окажется в самом центре нового поселка, — говорит она, думая о своем. — Хочешь, возьми участок у самого родника. Только решай сейчас. Потом поздно будет. Будет поздно...

Я жду, может, спросит: «Не уйдешь ведь, нет?»

Не спрашивает. Совсем близко мелькают огоньки туннеля, внизу покоится Цицернаванк.

Умолкший колокол жизнь моя.
Развалины храма,
И нет больше паломников...

Из туннеля, сдерживая караван вагончиков, выезжает другая Астг. Она сваливает породу в ущелье, прикладывает козырьком

ладонь ко лбу и долго смотрит на нас. Потом весело машет рукой. Губы ее шевелятся, она что-то говорит, но я не слышу ее голоса.

Передо мной — моя Астг.

Смотрю я на Ладанные поля. Там сейчас свет — это искрятся лампочки туннеля. Он кончается неподалеку от одинокой липы. А начало берет у нового поселка, там, где Граче и Мелик накидывают узду на Воротан. Укрощенные воды горной реки покорно вольются в новый подземный путь и рассеются на землях жаждущих полей.

В ушах моих так и звенит мольба бабушки Шогер: «Когда же вы поднимете воду на Ладанные поля? Когда?»

Вспоминаются и Родник Куропатки, и сухие, растрескавшиеся губы отца, и веселое обещание все той же бабушки Шогер: «Расти большой, когда вырастешь, отдам тебе мою Астг в жены».

И икры мои все еще будто горят от укусов крапивы...

Воспоминания! Одно за другим накатывают они на меня...

Озимая пшеница уже дала всходы, покрыв пугливой зеленью безводную землю. Если выпадет снег, не замерзнет изумрудное покрывало и заколосятся тогда летом хлеба на Ладанных полях. А если еще и дождь пойдет в мае, теплый тяжелый дождь, непременно быть жатве на Ладанных полях. Но не приведи господь, и снег, и дождь пройдут стороной — не задымятся тогда тониры в селе.

— Есть надежда? — спрашиваю Мелика.

— Есть, — улыбается он. — Вон она, в небе! Снег, он ведь не захочет, не выпадет. И дождь таков — обидится, не пойдет!

И земля взывает: «Жажду — дайте воды».

Дадут. Очень скоро дадут. Для того и обуздывают буйную реку, создают море в ущелье. Вода поднимется, вольется в туннель и придет, придет на Ладанные поля.

И Астг, моя (или не моя) Астг, крикнет с вершины скалы: «Люди, вода пришла!»

Не станет больше Астг отдавать свой свет лесному озерцу. Здесь будет море.

Вода — она и созидатель. Дай ей только верный путь.

Инженер Граче открывает путь на Ладанные поля.

Я на минуту зажмуриваю глаза и вдруг вижу, как из туннеля рвется вода! Поток заполняет все трещины иссохшей земли. Вот он наконец утолил жажду ставших тоже землею Хачипапа и отца моего.

«Охай...»

Досыта напоит вода жалкие чахлые нивы.

И тогда пусть хоть совсем не будет ни снега, ни дождя...

«Жажду — дайте воды».

Скоро уже. Дадут.

По старой тропинке пришел я к дому Хачипапа.

Зима. Заморозила она змей в теснине, которых так боялся отец. Все заморозила. Кроме голода.

Не было хлеба, не было и пути к хлебу. Голод царил в ущельях из края в край.

Пришел я в дом Хачипапа.

— Старый это очаг, — сказал отец, — наверняка у них что-нибудь да есть. Иди туда, зиму там перебьешься.

И я пришел...

В чем душа у мальчонки держалась, а пришел.

Через снега Ладанных полей, что по шейку мне доходили, добрался до села...

Пурга. Ни зги не видать. Шел я на купол Цицернаванка и на трубу дома Хачипапа, а они вдруг пропали из виду. Ноги увязли в снегу, слезы, стекая по щекам, превращались в сосульки. А потом все исчезло в тумане, и я погрузился в мягкую снежную постель...

ДОРОГА СВЕТА

Это легенда — правдивая и достоверная

На Ладанных полях еще живет старая-престарая липа.

Если смотреть из нового поселка, маленькой и круглой кажется эта одинокая липа.

Косарь всадил свою косу в землю, надел на нее шапку и присел передохнуть под тенью липы. Так делал и Хачипап, когда косил.

Здесь, именно здесь слушал некогда писец Нерсес песню Большого Хачипапа.

«Жажду — дайте воды!..»

Слушал он и песню молодой невесты, что приносила воду своему жениху-пахарю. Девушка приходила сюда из ущелья. Оттуда, из света Цицернаванка.

Я и вино, и вода прозрачная!
И все для тебя, господин мой,
Пахарь земли нашей...

Здесь, именно здесь потчевал некогда Большой Хачипап писца Нерсеса вином и шашлыком из мяса серны.

Под одинокой липой бил родник. Большой Хачипап устраивался под тенью дерева и услаждал слух Нерсеса мастерской игрой на свирели. А много позже он свалил каменные глыбы в Воротан и построил мост, чтобы сын его мог ходить в школу на другом берегу...

Так было. Не веришь?! Взгляни. Вон, видишь, школа во дворце Цицернаванка и песенник Нерсеса в руках у Астг, у звезды Мелика. Открывает Астг песенник, и глаза ей слепит свет, что излучают строки на его страницах.

Всходи, свет мой, всходи,
Глазам твоим солнце из родника.
Душа моя, сердце мое...

Под одинокой липой был буйный родник. Здесь утоляли жажду возделыватель Ладанных полей Большой Хачипап и писец Нерсес.

Одинокое дерево на Ладанных полях осталось жить, родник исчез.

Налетели ураганом кочевые племена из пустынь, что восточнее буйного Аракса, далеко за Каспием. Заполнило войско эти горные долины, испепелило все на своем пути, истоптало виноградные лозы, порушило хачкары. Тысячеглавая орда окунула свою пасть в родник Ладанных полей, сокрушила все окрест. Так было не год, не два — много лет. Большой Хачипап пришел в Цицернаванк к писцу Нерсесу.

«Помоги советом, скажи, как извести врага».

Помрачнел великий писец. Он ли не видел разорения своей страны? Не его ли песни источали мольбу и ярость?

И Нерсес дал совет: «Отведите воду родника Ладанных полей. Исчезнет родник, покинет наши горы и долины враг».

Опечалился Большой Хачипап: как людям-то жить без родника? Но велик был ужас перед сеявшими смерть. И Большой Хачипап прошел по домам, что лепились во впадине ущелья, собрал всю, какая была у людей в запасе, шерсть и забил ею исток родника.

Вода подалась, повернула вспять, пропала в глубинах земли. И ушло войско из ущелий.

Свободно вздохнули горы. А вода пропала...

Пришел в себя в объятиях бабушки Шогер.

— Ребенок замерз, — стонала она, — совсем замерз!

Астг поливала мои обмороженные ноги горючими слезами и растирала теплыми ладонями.

А козопас дядюшка Мамбре тем временем бормотал себе под нос:

— Иду я за сеном на сеновал, вдруг вижу, в снегу что-то чернеет. И такой был ветер. Ну, думаю, овца убежала из хлева. Подошел поближе, а это наш мальчонка!..

Хачипап — белая зима — поднял меня на своих руках, понес в стойло, оттирал там снегом мои ноги.

— Отойдешь, сынок-пошта! — уверял он.

И я отошел. Объятия бабушки Шогер, теплые ладони Астг и Хачипап отходили меня, отвели от края смерти-пропасти. Подпасок Арташ, что был выше меня на две головы, снял с себя папаху и натянул на мою голову.

— Храни, — сказал, — голову, а без ног как-нибудь обойдешься. — Улыбнулся и добавил: — Ты у нас парень холодоустойчивый. Молодец, выдюжил.

Пар от танапура[37] стелился по белой бороде Хачипапа и каплями стекал на ломоть хлеба. Бабушка Шогер протянула кусок рыбы. Да, да, рыбы. А мне-то и хлеб только снился.

— Ешь, родненький.

Хачипап хитро усмехнулся.

— Откуда эта рыба, невестка?

Бабушка Шогер, по обычаю, не смеет открыть рта перед Хачипапом. Она взглядом показала на мужа, козопаса Мамбре, что деловито расправляется со своей долей танапура.

— Поймал в большом бассейне за Цицернаванком.

— В бассейне, говоришь? Плетенку закидывал?

— Нет. Вилами подхватил.

Хачипап утирает мокрые от танапура усы. Что-то, видимо, былое припомнилось. В глазах заиграли искорки.

— Перекинул я как-то на коня две плетенки, — заговорил Хачипап, — собрался в лес, приспела пора зкер[38] собирать на засолку...

Хачипап рассказывает, а рыба у меня во рту так и тает.

— Подошел я к этому самому бассейну Цицернаванка, — продолжает дед, — там наша река растекается, словно тебе море. Конь у меня удалой, и я молодец хоть куда. Лет девяносто назад это случилось, мне и коню моему в ту пору и море было по колено. Взялся я за хвост коня, и вошли мы в реку. Конь сразу поплыл и меня за собой повлек. Из воды торчали только кончики

его ушей. Плывем. Посреди реки вижу, конь мой сдал, не может дальше плыть. Удивился я очень. Что случилось с таким богатырем, ума не приложу. Делать нечего, стал я одной рукой грести, а другой коня поддерживаю, чтоб ко дну не пошел. Держусь как могу и вдруг вижу — не день тот, а солнце того дня вижу, — коня моего что-то так и тянет книзу. Глянул, а плетенки мои, что с конем под воду ушли, полным-полны рыбой! Да, да, до краев полны. И в каждой самое меньшее пудов эдак восемь рыбы. Ну, думаю, значит, сам бог мне в помощь, может ли удачнее статься! Какой еще там зкер-мкер? Каждый пуд такой рыбы стоит десятка вьюков зкера. Возблагодарил я бога, с грехом пополам повернул коня назад — и к берегу. Выбрались из реки, вода из плетенок вытекла, рыба осталась — не рыба, а сливочное масло.

Хачипап, может, и еще бы что вспомнил, да только на него вдруг напала дремота. Подсунул он ноги под ковер и... захрапел.

Астг, разморенная едой, а может, радостью, что я выжил, теперь уже не растирает — щекочет мне ноги и смеется:

— Ха-ха. Папа подумал, что ты овца, в снегу заплутавшая! Ха-ха!

Дядюшка Мамбре латает трехи, зубами тянет кожаную нить. Астг и тут успевает:

— Папа ест кожу!..

Бабушка Шогер провеивает чечевицу: надует щеки — ффу, — разлетится по сторонам пыль да шелуха, и смахнет она чечевицу с деревянного подноса себе в подол, а подносом тем не преминет толкнуть Астг в бок.

— Держи зубы прикрытыми, ты же девочка!

Астг склоняется к моему уху. Я отодвигаюсь, думаю, чего доброго, еще укусит, но она вдруг шепчет:

— Корова наша отелилась, завтра будем есть творог.

В каменном подсвечнике гаснет лампада. Особенная лампада, похожая на голубку. Это Хачипап смастерил. Он из глины такое делает! И каркасы и дудки разные, замысловатые, расписные.

В ердик на меня глядит звезда. Она словно бы грозит: «Заморожу».

Дядюшка Мамбре дует на пальцы рук.

— В эту ночь тоже будет морозно...

Говорит, а сам позевывает — ко сну его клонит.

Спать мы укладываемся вокруг курси[39]. Храп Хачипапа дробится во мраке. Кошка опрокидывает кувшин с водой. Вода вытекает из него: клт, клт...

Бабушка Шогер приподнялась:

— Брысь, паршивая, опять пролила!

Кошка мяукает. Она боится Хачипапова храпа...

Так прошла та зима. А потом снова наступило лето, и снова у нас в доме был хлеб. Бабушка Шогер, взяв меня за руку, повела по узкой, словно нить, тропинке. Боялась, как бы я не свалился в пропасть. У дверей домов-башен тут и там были привязаны телята, а еще черноглазые мальчишки и девчонки. На случай, чтобы, играючи, они не угодили головой вниз.

Скалистый двор — это берег. Астг закрывает глаза, чтоб не дай бог не увидеть, если я вдруг поскользнусь и полечу в ущелье. Ненасытное оно.

Ушел ведь, ушел

Луна выходит из глубин ущелья, того самого, что заглатывает людей. Она пока еще внизу, а мы наверху. Ее свет рождает сотни маленьких лун в переливах быстротекущей реки.

Рельсы, что бегут в туннель, светятся желтым. Это от электрического света, он стекает на них каплями.

Долог, ох как долог этот путь под землей. Долгим будет и звон воды, что устремится по нему к жаждущим землям. От горизонта до горизонта простерлись они, от Ладанных полей до далекой дали, складками впадин, холмами. Земля ведь! Дашь ей воду — сторицей вернет она хлебом и вином...

Инженер Граче останавливает «Волгу». Подошел ко мне, пожимает руку. Сильная у него кисть, как стальные тиски, зажала мои пальцы. Молод Граче, а в этих ущельях сейчас первый человек. Такой же смуглый, каким был и его отец, подпасок Арташ. Худой, но жилистый. Шутка ли дело — в скалах туннель пробивает. Семь потов с него сходит за день. Семь потов!

— А здесь школу будем строить, — говорит Граче. — Посмотрел бы проект, может, что подскажешь нам. Он у председателя поселкового Совета.

Я хочу сказать Граче, что боюсь его тетушки-председателя. Когда-то в руках у нее была крапива, а теперь — плеть... Хочу сказать, что боюсь, а говорю другое:

— Обязательно посмотрю. Большая будет школа?

— Большая. На шестьсот человек. Со всеми современными удобствами.

— В поселке сколько детей? — удивляюсь я.

Граче смеется.

— Семьи-то растут. У одного Мелика вон уже трое! Только мы с тобой пустоцветы.

Я вздыхаю. Но не о том. Мне вспоминается время, когда я учительствовал. Была в моем распоряжении единственная комнатенка. А в ней два класса ютились: в одном девять ребятишек, в другом — одиннадцать. Холод — словами не опишешь. К тому же потолок протекал. Только и радости бывало, когда вдруг бабушка Шогер неожиданно входила со свертком в руках.

«Съешь-ка эту теплую кашу, сынок-учитель, отогрей душу», — говорила она и, раскрыв сверток, ставила передо мной миску с кашей прямо на парту.

Не уходила, пока не съем все до конца. Иногда заглядывал дядюшка Мамбре. Принесет охапку дров, разожжет печь, усядется подле, молча греется и слушает.

«В иных северных странах, — рассказываю я ребятишкам, — дома прямо во льду строят...»

Рот дядюшки Мамбре открывался: «Ба...»

Луна расплетает свои косы и полощется в реке. В моей памяти одно за другим расплетаются и звенят воспоминания прошедших дней...

...На кривом кресте Цицернаванка трепещет луч луны. Моя Астг горячо дышит мне в лицо: «Не уйдешь ведь, правда?»

Я молчу. И ущелье молчит. И весь мир. Моя Астг словно молится, и лунный свет играет на ее губах.

Тропинка — как в заплатах. Это причудливые тени скал на ней.

Тропинка коротка, а вздох Астг долог.

Рассвет встречает нас на окраине села. Со скалы слетает сухой кашель Хачипапа: «Кхе, кхе...»

Это сама скала кашляет влажной впадиной своей. Астг убегает — как бы дед не увидел! В полдень Арташ на пути, поймав меня за рукав, говорит: «Сегодня вечером моя свадьба! Придешь?»

Ну конечно же приду. Ведь там будет и Астг.

Грустит, печалится ночь. Печалится и гаснет под свадебным покрывалом свеча-невеста. Козопас Мамбре зажимает в губах зурну и раздувает щеки. Звуки каскадом обрушиваются в ущелье, гаснут во мхах Цицернаванка. У дверей толпятся полураздетые ребятишки. Они дрожат от холода. Но как же не поглазеть на свадьбу! Я беру одного из них за руку.

«Не замерз, Авик?»

«Нет, — отвечает мальчонка. — Когда играет зурна, я не мерзну».

Как ни старается дядюшка Мамбре, не может он развеселить ни заблудшую ночь на лунной дорожке, ни дрожащую, как лунный свет, мою Астг, ни меня...

В ущельях засуха. Нет дождей. Родник Куропатки примолк, пшеница увяла, едва приподнявшись над землей.

«Жажду — дайте воды».

Земля под нивами стала пылью. Облаком перелетает она из конца в конец, покорная ветрам. Засуха...

Засуха и в моем сердце. Мысль моя бродит в иссушенном ущелье Цицернаванка и во влажных глазах моей Астг. Белое покрывало мокро от слез невесты. Рада она, что стала женой подпаска Арташа, но таков обычай — невеста должна плакать. Звуки зурны дядюшки Мамбре хрипловаты. Нет в них должной пронзительности. Слезы невесты превращаются на ее свадебном покрывале в звезды с отсветом лампадки в сердцевине. Дрожат губы бабушки Шогер: «Состариться вам на одной подушке. Первенец пусть будет сыном, да родится он в весенний дождь».

Рядышком с невестой печалится Астг. Головка ее клонится к плечу, как крест Цицернаванка. Хачипап плещет водой из каменного чана на раскаленный нож: «Воды дай, воды...»

Граче протягивает мне сигареты.

— Кури.

Я прихожу в себя, очнувшись от воспоминаний. Передо мной первенец той радостно-заплаканной невесты.

Он рассказывает о строительстве туннеля, о земле.

— Почему не женишься, Граче? — спрашиваю я.

Он глотает дым, молчит. А мне вспоминается история его награждения, его синеглазый свет, и я уже жалею, что задал свой вопрос.

— Когда ты родился, была засуха. Помнишь?

Он смеется. Его смех множится под каменными сводами туннеля. От горной породы отрывается еще один пласт. Еще на пядь удлинилась дорога воды...

...А под сводами Цицернаванка множится стон моей Астг: «Не уйдешь ведь, правда?»

Я молчу. Молчит и ущелье, и весь мир молчит.

Хмельная свадьба стелется по изнывающему от жажды селу, наполняя звуками своими все окрестные ущелья. И кто-то ровным голосом выводит в сухой ночи молитвенные слова «Оровела»: «Жажду — дайте воды».

Гаснет последняя свеча в доме, где играли свадьбу. Катятся слезы из глаз Астг...

Катятся дни один за одним, подгоняя друг друга.

Была весна. Последняя весенняя майская ночь. Последние цветы на деревьях.

Подпасок Арташ, ошалев от счастья, схватил меня за рукав.

«Пошли к нам. Сын у меня родился».

Бабушка Шогер, увядшая и иссохшая, как кора земли, пеленала малютку внука. Дядюшка Мамбре сидел у края тонира. И то ли он, то ли отягченная хачкарами земля, все бормотали:

Горит, иссыхает душа моя, хо, хо,
Жажду — дайте воды, хо, хо...

В ту ночь пошел дождь. Все окрест возрадовалось. Шел дождь. Теплый говорливый дождь. Истомленное, словно отжившее свое, село вмиг помолодело. От дождя, должно быть, а может, от крика младенческого, вдохнувшего в мир новую жизнь?..

...Учу грамоте Арташа и его суженую. От усердия он даже язык высунул и зажал его в уголках губ.

Дядюшка Мамбре посмеивается:

«Когда бык пашет борозду, он тоже высовывает язык!»

Арташ вздыхает:

«Трудно ведь, да и карандаш тонкий, в руках не удержишь».

Молодуха особенно старательно выводит буквы и краснеет от радости, когда получается. От ее платья пахнет молоком. Кормит она. Мать.

Астг расчесывает волосы, стоя перед обломком зеркала, и там, в этом обломке, ловит мой взгляд. Дядюшка Мамбре кряхтит про себя: «Э-эх, ушел ведь, ушел...»

«Кто ушел?» — спрашивает Астг.

«Крунк...»

Словно стена рушится.

Мы с моей Астг уходим в избу-читальню. Я обещал сельчанам почитать газеты. Идем, и она все твердит: «Не уйдешь ведь, правда?»

Я молчу. Молчит и ущелье. Весь мир молчит...

А горы не молчали. Они заговорили. Устами сына Арташа заговорили. Граче все рассказывает и рассказывает о том, как вода поднимается в горы. А я вспоминаю, как его пеленали. Вода тысяч морей протекла по дну этого ущелья, пока младенец Граче стал мужчиной. Протекла, не отдав ни капли жаждущим склонам...

— Осталось всего два километра... Когда пройдем и этот путь, откроется дорога воде, — говорит инженер Граче. — Дадим землице испить досыта... Между прочим, вчера в туннеле Мелик наткнулся на подземный источник — целая река. На вкус что тебе вино. Может, это та самая вода, что от орды увели? Не иначе как ее нашли!..

И найдут. Они мужчины. Еще в пеленках были неспокойными эти Граче и Мелик. Орали и рвались из люльки, словно богатыри. Помню, как краснел от смущения за своего горластого первенца Арташ, когда учился у меня грамоте. С укоризной глядел он на люльку и еще старательнее склонял голову над тетрадкой; сто потов спускал, как на пахоте, только бы удержать карандаш, который так и норовил выскользнуть из грубых пальцев.

«Не могут потолще сделать! Спица, а не карандаш!» — недовольно бормотал он.

А жена Арташа, не переставая, покачивала ногой люльку со своим отпрыском, чему-то улыбалась про себя и выстраивала в аккуратные рядки букву за буквой.

«Нива полегла, причина тому — град», — заливалась она, если что не ладилось.

Смеялась и бабушка Шогер у очага, ласково поглядывая на внука: «Ослепнуть мне, человеком будет!..»

Астг улыбалась грустно. Она тоже могла быть невестой и матерью...

Вернулся я, Астг

Над ущельем навис звездный шар. Где-то у Цицернаванка кричит сова. Сын подпаска Арташа Граче курит. Курит и смотрит на огни поселка, что выбросили красные ленты на реку...

Та река тоже была красная, сплошь красная от тысяч ракет в небе. А на берегу часть наша стояла, моя и подпаска Арташа. Мы уже были солдатами.

«Как они там, мои Граче и Мелик? — вздыхал Арташ.

Они тоже были солдатами, его сыновья. Только воевали на берегу другой реки. Арташ писал домой письма (одолел-таки грамоту). «Чтобы знали вы, я здоров и невредим. Чтобы знали, война идет», — писал он.

Мне так хотелось, чтобы он спросил об Астг. Но я не решался сказать ему об этом.

«От тебя поклон передать?..»

Я неопределенно пожимал плечами. Арташ смотрел на горящую землю и тяжело вздыхал.

«Жаль землю», — говорил он, чуть не плача.

Жаль, ох как жаль! От раскаленного ливня снарядов, падающих с неба, под тяжелыми гусеницами танков горели нескошенные нивы, горела и обращалась в пепел земля. И смотреть на нее, на горящую, мука мученическая.

Не только земля горела. И река за нашими спинами, и лес, и весь мир — все горело. Чего только не проносила мимо нас река: горящий хлеб, пылающие колыбели и... трупы. Много, ох как много трупов. Арташ, весь сжимаясь от ужаса, все только повторял: «Вай, вай...»

Неприятель обрушил новый удар на узкий плацдарм. Арташ застонал: «Куда они, проклятые, бьют, ведь здесь люди, люди! Вай, вай...»

Я тоже закричал: «Вай, вай...» — увидев пламенеющую кровь на груди Арташа.

Опаленная земля жжет ноги. Нет снега в горах, и дождя тоже нет. Как бык, свалившийся на колени и уткнувшийся в борозду от жажды и усталости, мычит земля: «Жажду — дайте воды».

Звоном бурной горной реки отдается в ушах голос Граче:

— Через два года эта земля утолит свою жажду.

Утолит? Что ж, потерпим. Два года — не срок!

Я не говорил Граче, что на фронте мы были вместе с его отцом. И бабушке Шогер не говорил. Она и по сию пору ждет возвращения сына. Ждет и надеется. Иной раз тяжело упрет ладони в колени и спросит: «Неужели ты не видел моего Арташа?»

Я молча качаю головой.

Сказать ей правду выше моих сил. Пусть ждет и надеется. Без веры ведь жить невозможно.

Осеннее утро. Мы с Граче стоим в опаленной мураве. Зев туннеля дышит прохладой.

На горизонте резанул молнией белый жеребец. А на нем чудо-всадница — моя Астг. За спиной развевается синяя шаль, словно крылья несут всадницу. Она уже совсем рядом. Смотрит гордо. Еще бы! На коне и крылата! Астг протягивает Граче кувшин.

— Вода из пропавшего родника, пей.

Граче приникает к горлышку и долго пьет.

— Охай!..

Я не поднимаю глаз на Астг, ноги меня не держат. Черная стрела обжигает сердце...

«Не уйдешь ведь, правда?..»

Едва сдерживаю крик: вернулся я, Астг, вернулся!.. Немой вопрос и скрытая ирония застывают на ее крепко сжатых губах. Я еще ниже опускаю голову. Астг рывком поворачивает коня и протягивает кувшин теперь уже мне.

— Хочешь?

— Нет, — выдыхаю я беззвучно.

Ее глаза теплеют.

— Участок для дома выбрал? Спеши, не то опоздаешь. — И, обернувшись к Граче, добавляет: — Эту найденную воду надо поднять к Ладанным полям, к Роднику Куропатки. Ты хозяин строительства, подумай, как сделать.

— Ты власть, — улыбается Граче, — ты и думай.

— Я тебя напоила, чтоб знал вкус воды. Мое дело сделано. А ты думай. Не спеши. Торопить не стану.

Астг снова на миг взглядывает на меня и резко пускает коня вскачь. Жеребец вихрем уносится к дальним далям. Концы синей

шали разрезают горизонт. Гаснет крылатая искра... Только сердце мое выбивает: «Куда же ты, Астг? Я вернулся... Видишь, вернулся...»

Безответен и пуст рассеченный синим горизонт.

Я поднимаю с земли кувшин и с наслаждением приникаю к нему.

— Охай!..

Еще немного, и Граче с Меликом утолят жажду этой земли. Она отойдет, умиротворится и заглядится на звезды. У земли тоже есть свои звезды.

«А что делать мне?» — взываю я к опустевшему горизонту.

Ответа нет. И ущелье молчит, и весь мир. Моя звезда исчезла.

— Ты и впрямь будешь строить здесь дом? — возвращает меня к жизни Граче.

— Да, буду, — отвечаю я. — Не вечно же скитаться, пора и свой очаг задымить.

Граче показывает в сторону Родника Куропатки.

— Возьми землю там. Оттуда дальше видно...

Он подходит к «Волге».

— А я ведь уезжаю, — говорит Граче.

— Куда?

— На побережье...

— Отдыхать?

Он качает головой.

— Отыскалась могила Веры. К ней поеду.

Я вспоминаю рассказ Мелика о медсестре. Вглядываюсь в лицо Граче. Он едет на могилу той, что светила ему в душу мягким синим светом. Я пожимаю руку Граче.

— Дождешься моего возвращения или уедешь? — спрашивает он.

— Куда? — пожимаю я плечами. — Ни за что больше не уеду из этих ущелий!..

«Волга» скользит по новой дороге, протянувшейся сквозь Ладанные поля. Хорошая, ровная дорога. Только меня она больше не манит в дальние края.

Пропавшая вода

Мой отец-почтальон ведет меня за собой по горной тропе. Показывает на плоскокрышие домики на скале или под скалой.

«Это Гржик, — говорит он, — это лес Морус — борода в горсти. Это Цакут, это Чертов мост. А это Цицернаванк».

Отец крепко держит меня за руку, чтобы я не сорвался в пропасть. Часто, обхватив за плечи, прижимает поплотнее к себе, чтобы колючки не изодрали мой старенький пиджачок.

При виде Чертова моста, с грохотом изрыгающего белопенную воду, меня охватывает ужас...

Давно это было.

Сейчас я еду по дорогам моего детства в мягко скользящей «Волге», еду по следам отца.

«Это Гржик, — говорю я друзьям, — а это лес Морус — борода в горсти. Это Цакут, это Чертов мост. А это Цицернаванк...»

Как-то, стоя здесь, высоко над Лорагетом, вместе с Граче, который потом построит эту дорогу, мы, не единожды устрашенные грозными скалами, которых даже молнии с горы Татан не могут краем задеть, молча думали каждый о своем...

«Нелегкая у нас задача, — прервал наконец молчание Граче. — На редкость дикое ущелье. Недоступное».

«Неужто построите здесь дорогу?» — пожимаю я плечами.

«Немыслимо, — вздыхает он в ответ. — Но строить надо. Надо...»

И вот сейчас, сидя рядом с ним в машине, я еду этим некогда недоступным ущельем. Гляжу и не могу надивиться: как удалось одолеть твердь этих ущелий, рассечь их и проложить дорогу? Дивись не дивись, а вот она — дорога, построенная людьми, имена которых уже стали легендой. Подумать страшно, через какие скалы пробили широкий путь жизни!

Разве это не чудо?

Отец занемог.

Закинул я почтовую сумку за спину и стал разносить почту в ближние и дальние села. Была осень. Не доходя до Цицернаванка, я остановился как вкопанный: на стволе груши Хачипапа распростерся медведь — муха на острие иглы. Вопит и корчится он в предсмертных судорогах. Забрался, видно, на дерево полакомиться грушами. Наелся небось до отвала, насытился и по своей медвежьей привычке решил спрыгнуть на землю, да не тут-то было — напоролся на сук.

Рычит, вопит медведь, разрывает криком небо.

Спрятался я в расщелине скалы. Другой тропинки-то нет. Наверху — непролазное скопище скал, словно стада на перегоне, а внизу — грохочущая река.

Целый божий день рычал медведь и ночь рычал, зажав мое щуплое дрожащее тело в скалах. А когда замолк и над его тушей закружились стервятники, я наконец сорвался — и бежать из полного ужасов ущелья...

Давно это было.

А новый сад Мелик насадил совсем недавно. Сад — потомок сада Хачипапа.

Редкие тени скользят по зеленому ковру склона. Председатель поселкового Совета Астг спорит с двумя гидрологами. А Мелик рассказывает об ущелье, о заботах тех, кто обуздывает его.

Перед нами теснина Воротана с девственными скалами вокруг. И прямо на скалах лес. А из леса к подножию Цицернаванка спадает белопенный поток. Это вода того самого некогда сокрытого родника. Шестьсот лет она пропадала. И вот туннельщик Мелик да инженер Граче отыскали ее, вывели к людям.

На той стороне бесплодного лона реки — царство колючек. От самого берега до высоких скал на Ладанных полях — целина с Цицернаванком посредине. На притолоке храма уже не растет куст-разрушитель. Астг сдержала свое слово.

«Радуйся и ликуй...»

В тени молодой яблони качается хмельной нарцисс. Далеко под ним в глубинах земли горит свет. Там прорывают туннель. А по дороге ползет зеленый жучок — газик. Приемник его разносит по ущелью звуки незнакомой, чужестранной песни.

Астг опускает руку в пену обретенного родника.

— Чудная вода. Пресная. Поднимем ее к новому поселку. Не пить же нам речную...

Шутка сказать, поднимем... Но разве не эти люди проложили дорогу? Астг брызжет водой в лицо Граче.

— Э-эй, не засни! — кричит она и оборачивается ко мне. — Нам нужно пять километров труб, чтобы эту воду сперва спустить в ущелье, а уж оттуда поднять на Ладанные поля… Всего пять километров…

С высоких круч стремительно скатывается вниз вода, ни больше ни меньше шестьсот лет прятавшаяся от людских глаз.

— В этом ущелье никогда не бывает зимы и туч, — говорит Мелик.

Астг смеется.

— Такое же холодоустойчивое, как ты!

— Есть кому греть, потому и не мерзну, — дерзко бросает Мелик.

Астг укоризненно взглядывает на меня. Астг одинока. Ее никто не греет. Пятнадцать лет ждать! Целых пятнадцать лет! Зато теперь, когда вот я рядом, почему-то опять сдерживает себя. Большую любовь иные скрывают под броней, и не подвластна она тогда никаким стихиям. Даже молнии, сорвавшейся с горы Татан, не поразить ее.

Жаждущая тень Цицернаванка тянется к текущему по дну ущелья Воротану. Зря тянется. Не достать ей воды.

Астг долго молчит. Потом, как бы стряхнув с себя ношу, звонко спрашивает:

— Так что скажешь, Граче?

— О чем ты?

— О трубах.

Граче улыбается.

— Привезу! Так и быть, привезу. Не то ведь покоя не дашь.

Астг обращается уже ко мне:

— А ты как? Выбрал участок?

— Выбрал.

— В каком месте?

— У Родника Куропатки.

Лицо Астг зарделось. Только на миг. И она вновь принялась за Граче:

— Воду поведешь наверх с таким расчетом, чтобы вывести ее у Родника Куропатки. Там крапива растет, надо с ней расправиться.

— Все сделаю, как велишь, дорогая тетушка, — согласно кивает Граче.

— Не тетушка, — замечает Астг. — Сейчас я тебе председатель поселкового Совета. Так-то, племянничек.

Астг смеется. И мне кажется, все вокруг оживает и даже земля уже не взывает: «Жажду — дайте воды».

Может, так оно и будет? Отойдет, забудется кручина «Оровела»? Оживет Родник Куропатки, все окрест напоит.

ДОРОГА ЗВЕЗДЫ

Его звезда закатилась

Вода ледников горы Татан сквозь толщу скал пробилась к людям. Она грохочет и зелено-белым пенным потоком течет по каменному руслу.

Вон новый сад, за ним зеленая гора, и уж потом Татан с покрывалом свежевыпавшего снега. Снег не опустился до входа в туннель. Должно быть, побоялся заморозить бесстрашную черешню. Милая моя черешня, одиноко жмущаяся к скале. Не дерево, а чудо!

— Белая радость на этой желтой мрачной скале...

Кто это сказал? Ах, Граче, он вернулся.

Черешня стара, а вход в туннель нов. Я свидетель рождения дерева, но не видел рождения туннеля.

Граче нежно гладит красноватый ствол расцветшей белопенной черешни.

— Бедное ты мое, одинокое дерево.

Вокруг Цицернаванка, словно к пляске изготовившиеся, красно-зеленые свечки. Это молодые деревца черешни.

Весна пробуждается. Из-под надтреснутой коры струится мед. Высовывают головки почки. А ветки тем временем наливаются силой, что идет к ним из земли.

Моя Астг с надеждой смотрит на деревца — сама деревце.

«Они уже не замерзнут? — спрашивает Астг с тревогой. — Мне жалко их...»

А сверху на нас обрушивается голос бабушки Шогер: «Эй-эй, Астг, иди домой...»

Под куполом Цицернаванка вокруг краснолапые голуби.

«Иди-и домой...»

Пышноцветная черешня удивленно смотрит своими белыми цветами...

— Не замерзает? — спрашиваю я.

— Кто? Черешня?

— Черешня. Стоит ведь у самого снежного покрова горы.

— Привыкла. Не замерзает. Четыре года назад, когда мы пришли сюда решать, где проложим дорогу воде, увидали ее, одинокую, соседку скал и льдов. Чудом нам показалась эта отважная черешня. И надумали мы сберечь чудо на радость людям...

Снега таяли. Плакали снега, увенчавшие скалы над Цицернаванком. А под молоденькими черешнями зеленела травка, местами прорезанная желтоглазой лиловостью фиалок.

Снега таяли. Плакали снега, увенчавшие скалы над Цицернаванком. Плакала и моя Астг.

Закат оросил багровым цветом зелень ущелья и снега на скале. Мы поднялись до самых снегов: полюбоваться подснежниками и собой, своей юностью покрасоваться.

Это было здесь, на том самом месте, где растет сейчас одинокая черешня.

Были снег и черная земля. И подснежники на границе черной земли и снега: ножки в темных рубашках, а головки белые-белые. Астг или, может, подснежник шепнул: «Ты замерз?..»

Я зачерпнул горсть снега, чтобы охладить свои губы.

«Ты замерз?..»

Астг тоже зачерпнула горсть снега, чтобы охладить губы.

Отчего горели наши губы?

Астг горячими губами приникла к моим пылающим губам и шептала: «Не уйдешь ведь, правда?» — «Правда!..»

Когда лучи солнца снова упали на крест Цицернаванка, моя Астг вырвала из земли молодой росток черешни и посадила его рядышком с другим. Вот здесь, на этом месте, мы некогда скрепили свой союз.

«Не замерзнут?» — спросил я.

«Нет, — улыбнулась моя звезда. — Теплом нашего счастья продержатся».

Вода ледников горы Татан сквозь толщу скал пробилась к людям. Она грохочет и зелено-белым пенным потоком течет по каменному руслу.

Одиноко стоит черешня.

А где же другая?

Инженер Граче словно подслушал мои мысли.

— Было здесь два дерева, — говорит он, — две черешни — одна другой опора... Я сам их видел. Не дожила вторая, засохла...

Были в наших горах тропинки. Долгим был путь от склона к склону ущелья, а крикни из конца в конец — все слыхать. Проложили дороги в наших горах, и подступили они к той тропинке, что вилась в скалах к Цицернаванку. Подступили и увели меня.

«Не уйдешь ведь, правда?..»

Были дороги. Дальние, страшные. Дороги смерти и разрухи. Не все с них возвращались. Была война. Жестокая и долгая. Она залила кровью не только сердца, но и души, надежды...

Эта дорога новая. Старые здесь: одни горы да снег на них.

Граче тогда еще был в пеленках. Он не видел первого цветения этой черешни. Но потом и Граче прошел по дорогам войны. Молод он, а вон и на его висках седина. Может, все горцы седеют рано? Но нет, наверно, рано седеют те, кто видел дальние трудные дороги, те, кто много тосковал.

— Плодоносит? — спрашиваю я, кивая на черешню.

— Нет, — отвечает Граче. — Одинока она, да и холодно здесь. Чуть морозцем в ночи прихватит, цветы сожмутся, опадут.

Я глажу ствол черешни. Он жжет мне ладонь. Кривой крест Цицернаванка словно обрушивается на мою голову.

Отец мой не боялся медведей, что бродят в наших ущельях, зато никогда не отважился забраться на ледяное плечо горы Татан. Он боялся стужи, боялся Снежной невесты.

«Не поднимайся к снеговым вершинам, — заклинал он меня, — в них опасность — там живут Снежная невеста и Смерть. Не поднимайся...»

Я боялся медведей. А легенды о Снежной невесте не знал и не боялся. В те далекие дни крылья носили меня по земле и по скалам.

В те далекие дни я и Астг поднялись на ледяное плечо горы Татан.

Да успокоится душа твоя, отец!..

С горы спускаются юноша и девушка. Их ноги в снегу, лица опалены пламенем. Юноша сжимает в руке обломок черного камня. Камень покрыт льдом.

— Если ударить этим камнем о другой такой же, возгорится искра.

Искрятся их глаза. Отчего? Поцелуй и во льдах обжигает. Не веришь? Тогда вернись в те далекие дни, когда черешня эта еще не была одинока.

У них своя дорога, у юноши и девушки. Она поведет их к новым и новым вершинам, не к огню, не к смерти.

— Не замерзли вы там? — спрашиваю я.

Юноша смотрит на девушку, девушка смотрит на юношу. Веселый звонкий смех взрывается в снегах. Невесело только расцветшей черешне. Ей грустно. Она одинока. Не смеюсь и я — погасший очаг. Я тоже одинок.

Черешня шелестит.

«О чем ты?»

Ответа нет. Белые цветы черешни прикрывают свои глазки-лепестки. Не иначе как замерзли от моего холодного дыхания.

На кривом кресте Цицернаванка догорают лучи заходящего солнца.

— До осени ты должен поднять воду на Ладанные поля. — Астг властно глядит на Граче. — Там уже выделены участки. Люди начинают строиться. Слышишь?

Обращается она к Граче, но мне кажется, что все это Астг требует от меня. Граче покорно соглашается:

— Сделаем, все сделаем. А ты бы подсадила еще одну черешенку к этой, — кивает он на одинокую черешню. — Жалко ее, одна ведь.

— Черешню жалко? — пожимает плечами Астг, и опять мне кажется, что она укоряет меня.

— Здесь бы парк насадить, — думая о своем, продолжает Граче.

Астг молча уходит. Граче вынимает из нагрудного кармана и протягивает мне фотографию.

— Все, что осталось...

Одинокая могила у самого моря. Рядом Граче со склоненной головой.

В могиле этой угасший синий свет, тот самый свет, который так долго искал Граче.

Его звезда закатилась.

Белые голуби

Граче просунул голову в полуоткрытую дверь.

— Идешь с нами?

Ну конечно же иду. Я так долго ждал этого дня. Беру шапку и выхожу.

Какой день — золотая осень и еще две весны! Поселок шумит так, словно в каждом доме свадьба. Балконы улыбаются. Их свет отражается в море. Да, да, в море. Не море, а синее чудо в глубоком ущелье в венце скал! Вдали виднеется электрический столб. Он по горло затонул в воде. А светильник на нем горит ярким пламенем. Чем не маяк?

Море тянется далеко, туда, где недели две назад, когда еще не перекрыли русло реки, виднелась груша Хачипапа и рогатина-орешник.

Какой-то самолет очень тяжело и медленно пролетел над морем, обрушив ливень красно-зеленых листков. Ну как тут не вспомнить давно минувший день?

Под рогатиной-орешником сидят рядком мой отец и дядюшка Мамбре.

«В будущем году почту будут развозить летающие машины», — говорит отец.

«Ба...»

Рот дядюшки Мамбре больше не закрывается.

И вот прошли годы. Дядюшка Мамбре вместе с бабушкой Шогер идут по берегу к плотине. Бабушка Шогер нарядилась в старинный убор и величественно несет себя сквозь толпу, словно букет роз. А мне вспоминается, как стояла она босиком у Родника Куропатки.

Давно это было...

— Держи бабушку под руку, под руку держи! — Это кричит звезда Мелика.

Дядюшка Мамбре и правда решил было взять свою старуху под руку, но та отстранила его и пригрозила невестке:

— Приди только домой, все волосы повыдергиваю.

Звезда Мелика звонко рассмеялась, а бабушка Шогер принялась за мужа:

— Тоже хорош. Отойди-ка подальше. И чего это вырядился в белые штиблеты? Стыда в тебе нет.

Дядюшка Мамбре улыбнулся из-под белых усов.

— Чего стыдиться, мать? Стыдно было босыми ходить. Уж не тебе бы меня попрекать.

Дядюшка Мамбре сказал и с удовольствием глянул себе на ноги. Не кто-нибудь, невестка Астг такую красоту ему подарила. Старалась. Большие купила, чтоб свободно было его усталым ногам. Ан не рассчитала. Старым, огрубелым, стертым о камни пальцам все же тесно. Только дядюшка Мамбре виду никому не показывает. Зажал покрепче в губах зурну и заиграл. Да так, что все ущелье наполнилось звуками. И вода в море словно бы замерла, подобного она еще не слыхала. И бабушка Шогер забыла, что не дожурила муженька. Ей вдруг показалось, что это на ее свадьбе играет зурна. В глазах заблестели искорки, сердце наполнилось радостью небывалой. Она сбросила с себя груз прошлых лет и боялась взглянуть на мужа, чтобы не увидеть его стариком.

Весь поселок собрался у плотины. Красная шаль бабушки Шогер радостно трепыхалась на ветру. От века не было такого ликования в этих древних ущельях, где под грудой каменных глыб лежат кости нойона Чар-Катая, где высится светлоликий Цицернаванк с крестом, рассеченным молнией.

— Наша груша осталась под водой, Шогер, — вздохнул дядюшка Мамбре.

— Э, — махнула рукой старуха. И, щурясь от непривычного блеска воды, спросила: — Ты лучше скажи, как мы теперь доберемся до Цицернаванка?

— На лодке, — ответил Мамбре. — Вон, видишь? Целых три лодки привез Граче. Моторные называются. Сядем в них и мигом доедем.

— А если ноги промокнут?

Дядюшка Мамбре так и закатился:

— Ну и скажешь! Словно в первый раз мир видишь.

Бабушка Шогер отвернулась.

— Ты за меня навидался. И этого хватит.

Дядюшка Мамбре подошел к столу с угощением, выпил полную чарку водки, чтобы собраться с силами. Вода жизни тотчас запылала румянцем на покрытых седой щетиной щеках старика. Глаза засветились давно забытым шалым огоньком.

— Шогер, — сказал он тихо. — Из горячего теста ты выпечена. Смотри, съем.

Бабушка Шогер косо глянула на него и отошла. Мамбре последовал за ней.

— Помнишь, Шогер?

— Что помнишь-то?

— Год нашей свадьбы. Шли мы в Цицернаванк...

— Был Вардавар[40], — всколыхнулась бабушка Шогер. — Ты столкнул меня в воду, я чуть не утонула...

И оба погрузились в воспоминания. Когда это было? Пятьдесят лет назад? А может, больше?..

Река остановилась в ущелье, разлилась морем. Не шумит больше, не буйствует. Только рокот моторок, что бороздят синюю гладь, изредка нарушает тишину.

— Бабушка, не хочешь ли прокатиться по морю?

Это крикнул Мелик.

Бабушка Шогер прикрыла лицо. Мамбре хитро ухмыльнулся:

— Боится моя вспугнутая серна.

Бабушка Шогер сверкнула глазами.

— Выпил бы еще чарку, так я бы тебе уже не серной показалась, а невестой, дурень ты мой старый!

Тень Цицернаванка упала на синее зеркало моря и простерлась к поселку. Кривой крест в воде выпрямился, утолил наконец свою жажду. Две белые чайки мелькнули над водой и с кличем полетели к далям морским.

Над синим зеркалом понуро свесили головы тени скал — черные буйволы в воде. Тень горы Татан со снежной короной тоже в воде. Далека была — приблизилась. И водонапорная башня на плотине смотрится в море. А стоящие на ней Граче и другие люди словно бы кинулись головой вниз.

Бабушка Шогер глянула на воду и не своим голосом закричала:

— Вай, утонут.

Дядюшка Мамбре улыбается.

— Не жена — ума палата.

Телята из поселка, вздернув хвостики-цветки, приближаются к воде, но, увидев свои отражения, изумленно пятятся назад: «Ба...»

На плотине выстроились школьники. У них в руках цветы, и они поют. Председатель поселкового Совета Астг очень серьезная, вся в хлопотах. С двумя юношами она приладила микрофон к столу, покрытому красной тканью. Между делом вдруг спросила меня:

— Не хотел бы выступить от имени гостей нашего поселка?

— Что сказать-то? — пожал я плечами.

— Люди такое сотворили, а тебе сказать нечего? — укоризненно покачала она головой.

— Многое бы я сказал, да лучше не буду.

И в самом деле, лучше ничего не говорить. Я невольно оказался здесь гостем. Пожалуй, даже не гостем. Быть гостем — это еще что-то значит. А я чувствую себя лишним на берегу этого синего моря, среди радостной, бурлящей толпы. Мне хотелось бы сейчас быть под водой, как груша Хачипапа. Я тоскую по старой тропинке. Мне совестно, но это так. Люди ликуют, а я вижу себя мальчишкой с почтовой сумкой за спиной и горюю о прошлом.

Граче подзывает бабушку.

— Ты должна открыть туннель! — говорит он.

Еще чего не хватало! Бабушка Шогер удивленно смотрит на внука.

Но она не успевает толком удивиться, как ей дают в руки ножницы и подводят к входу в туннель, из конца в конец перетянутому лентой.

— Режь, — кричит моя Астг, — режь! Настрадалась без воды. Получай теперь сполна.

Бабушка Шогер разрезает ленточку. Мелик тем временем приводит в движение колесо распределителя воды, и слышится журчание. Бабушка Шогер обнимает Граче. Стоя в стороне, плачет Астг. Мне не по себе. Люди напоили Ладанные поля, напоили все и всех вокруг. А меня не хватило на то, чтобы утолить жажду одного сердца! Лишний, я лишний...

Бабушка Шогер протягивает руки к дочери.

— О чем ты скорбишь? Сегодня не день траура. Зачем плакать?

Вода бурлит в туннеле. Мы этого не видим, только слышим. Вода идет под землей. Дети бросают цветы в воду. Вода расцветает всеми красками и течет к Ладанным полям.

Над морем парят белые чайки. Раньше их здесь не было. Вода течет к Ладанным полям. Дядюшка Мамбре играет грустную мелодию. Бабушка Шогер отнимает у него зурну.

— Нашел время тоску разводить. Сегодняшний день для радости. Пусть играют дети, пусть поют и танцуют люди!

Вслед за водой народ устремился к Ладанным полям. Кто на чем может. Но все больше пешком.

Мелик усадил своих на мотоцикл. Вот на белом жеребце пронеслась Астг.

Граче подходит ко мне.

— Поедем?

Он сам ведет машину. Нас двое в ней. Проезжаем новой дорогой. Его дорогой. Граче говорит:

— Я взял участок на Ладанных полях. Буду строить себе дом. А ты будешь?

— Не знаю, — отвечаю я, а сам всматриваюсь вперед, туда, куда ускакала всадница на белом коне. — Не знаю...

— Это не ответ. Есть вещи, которые надо знать, и знать точно.

По дороге он забирает в машину бабушку и деда. Они величественно усаживаются на заднем сиденье.

— Бабушка, ты врачиху нашу знаешь? — спрашивает Граче.

Бабушка наклоняется к нему.

— Знаю. Как не знать! Ладная девушка.

— Засылай сватов!, — Граче смущенно улыбается. — Старый обычай надо хранить.

Бабушка сзади обнимает внука за плечи.

— Правда, Граче? Правда?

— Правда, бабушка, правда. Проси ее руки для меня.

Радость дядюшки Мамбре выплескивается из машины.

— Вот это дело! — кричит он. — Давно бы так!

Подъезжаем к Ладанным полям. Море осталось далеко, в ущелье. Едва виден крест Цицернаванка. У Родника Куропатки стоит белый жеребец Астг. Я говорю Граче:

— У тебя есть проект для дома?

— Конечно, есть. Весь из света и солнца. Устал я от мрака, от стона тяжелых каменных стен. Пусть в моем доме будет свет.

— А мне спроектируй такой вот, с тяжелыми стенами. Похожий на Цицернаванк. И чтобы дверь с трещоткой, а на ней призыв: «Радуйся и ликуй!» И купол пусть будет, пусть под ним умножатся звуки радости. Про карниз не забудь, чтобы голуби на него садились. Договорились, сделаешь?

— Почему бы и нет?

Машина едет по воде. Вода туннеля уже дошла до Родника Куропатки. Ручейками бежит она по голой и сухой земле. Спешит к далям. Иссохшая земля поглощает ее.

Дядюшка Мамбре первым выходит из машины. Он становится на колени на жаждущую землю, наклоняется и пьет воду. Воду, что его внуки привели к Ладанным полям.

— Охай...

Мне вспоминается, как некогда утолил свою жажду у Родника Куропатки мой отец...

«Я утолил свою жажду, а ты, земля?..»

Детишки босиком бегают по воде, которая обильно течет по Ладанным полям. Белый жеребец Астг ржет от удовольствия. И ржанье его стелется по земле от горизонта.

Зеленая тень

Скала, из которой бьет Родник Куропатки, коршуном нависает над ручьем, что уносит родниковую воду по склонам к зеленеющим кустам и травам. Бело-красным пожаром полыхают расцветшая черешня и куст граната. Оба они — новоселы на Ладанных полях. Всего две недели назад посадила их здесь Астг. Цветки граната надтреснуты, и красный густой сок, стекая с них, тяжелыми каплями падает на воду...

Вот уже какой день в час догорающего заката приходит сюда бабушка Шогер и, опершись о ствол черешни, молча стоит, озаренная факелом, пока темнота не погасит блеска воды.

Все вокруг ново на Ладанных полях. И сады, и виноградники.

Не стонет больше земля, не мычит, как бык, упавший на борозду, истомленный от жажды...

У самого Родника Куропатки отвела мне участок под дом моя Астг. А чуть дальше участок Граче. Там дядюшка Мамбре уже успел насадить сад — вон они, деревья, стоят в пышнозеленом уборе.

Вода отозвалась. Подалась к людям, пришла на земли извечно стонущих Ладанных полей. Много ее теперь. Не растрескается больше от жажды земля...

Бабушка Шогер изо дня в день приходит сюда, садится под тень цветущего граната и о чем-то думает. О чем? Спроси у вод, что пришли по длинному туннелю в эти ущелья и теперь с серебряным звоном падают к ногам бабушки Шогер, поливают корни граната, синим поясом охватывают изумрудное одеяние земли.

У этих вод, говорю, спроси. Они, пожалуй, не ответят. Поди-ка лучше и спроси у тех, что текли здесь год тому назад, пятьдесят, сто и тысячу лет назад. Спроси у Лорагета, что со звоном тек здесь, не одаривая ни людей, ни землю.

Утекли, говоришь, те воды? Тогда спроси у бабушки Шогер, что стоит под сенью черешни, стоит, как старое сучковато-морщинистое дерево, и вспоминает о днях своей молодости...

Лорагет протекал в ущелье. Внук бабушки Шогер перекрыл русло реки, создал море и поднял воду на Ладанные поля. Некогда бесстыдно хохочущая в ответ на стоны людей и земли вода поднялась на Ладанные поля. Сумасбродная река утихомирилась, обернулась умным, добрым морем.

На склоне ущелья лепилось маленькое село — несколько вспаханных клочков с колосящимися на них чахлыми хлебами да грядками фасоли. Были на склоне виноградники и кусты граната, которые кто знает когда посадил здесь Хачипап.

В каждом доме была невестка и рано или поздно раздавался детский крик. Была невестка, был детский крик и в доме Хачипапа. Жена козопаса Мамбре, цветущее гранатовое дерево, Шогер, с зелеными ветвями — двумя детьми.

...На плоской крыше у Хачипапа собирается вое село. Я вскрываю письмо.

«Первый поклон — читающему письмо...»

Хачипап сыплет мне в карман горсть орехов.

«Молодец, родненький...»

Когда Шогер пришла невесткой к Хачипапу, Мамбре повел ее на свой садовый клочок у Цицернаванка, чтобы соком граната и медового винограда усладить ее нетронутые губы.

Хлебом и смехом маленького села была вода тонкоструйного ручейка...

Рука бабушки Шогер затрепетала в воде. Вспомнилось, какой она была в дни молодости. Бывало, глянет в осколочек зеркала и испугается румянца щек, черноты и глубины глаз — огнем они обжигали.

Выше над садом стоял их каменный дом с плоской крышей, на крыше зеленая трава и рассыпанные для сушки фрукты. Это был их очаг: Хачипапа, Шогер, Мамбре и их двух младенцев.

Сто двадцать дымов было в селе, сто двадцать клочков земли с садами и нивами — зеленые и желтые заплаты на склоне Цицернаванка.

Под каждым дымом была невестка и раздавался плач детей. И все они — дома, невестки и дети — жили в надежде, что не иссохнет тоненькая нить ручья, вырвавшегося из скалистых теснин.

Было цветенье весны, надрываясь, пели-стрекотали жучки, гремели воды.

У Цицернаванка заржал конь богатея Бахши-бека. Кинжальные глаза вонзились в невестку Шогер, что в ту минуту поливала сад. «Сладок плод в саду у козопаса Мамбре», — подумал Бахши-бек, и задвигались его стрелы-усы.

«Расцвел твой гранат, красавица. Ничего не скажешь, хорош».

Невестка Шогер прикрыла лицо-солнце мглою черной шали.

«Слава богу, господин».

Сладострастная улыбка скользнула по лицу Бахши-бека.

«Да, слава богу», — сказал он и умчался.

Голуби Цицернаванка взметнулись от громкого цокота копыт.

Было утро. Было солнце. А свет погас.

Над изголовьем ручья стоял прислужник Бахши-бека. Он сомкнул уста ручья, закрыл воду. Не воду, а кровь села пленил прислужник.

«Вода принадлежит Бахши-беку, — бросил он в лицо ограбленным сельчанам. — Кто вы есть, чтобы пить его воду? Он хозяин этой земли».

Село взмолилось: «Пощади! Без воды мы погибнем! Верни ее нам».

Не вернул поганец воду.

Высохло русло ручья. Пожелтела зелень нив. Свесил губу сине-сиреневый цветок фасоли. Темно-красные цветы граната сгорели. Медленно умирала виноградная лоза.

Без воды иссыхало село: корыто и ердик, колыбель и дитя в ней.

От каждого дома ходили люди на поклон к Бахши-беку. Целовали землю у его ног. Не внял Бахши-бек новым мольбам бедняков. Вернулись люди с сухими, шершавыми от жажды языками и мокрыми глазами...

«Жажду — дайте воды», — стенала земля.

А поганец прислужник сидел себе у истока умолкшего ручья. Дохнул он огнем на ухо жаждущей земле и жаждущим старикам.

«Село жаждет воды, а Бахши-бек — жену козопаса Мамбре, — сказал поганец. — Вода — в объятиях жены козопаса Мамбре... Мир — это дай и возьми».

Онемели жаждущие старики.

«Мир — это дай и возьми...» — тысячекратно гремело над ними.

...Высохло русло ручья. Горели и гасли, чернея, цветы граната, сохла и сжималась виноградная лоза в раскаленной, иссохшей земле.

В полнившихся горем домах стонали и плакали колыбель и дитя!

«Жажду — дайте воды».

Старики потянули за полу невестку Шогер.

«Все погибает, и село и земля. Пади к ногам Бахши-бека, спаси...»

Рвала на себе волосы невестка Шогер над погибающей землей и над колыбелью своих погибающих младенцев.

Не пошла.

Старики окружили невестку Шогер. Простерли руки с черными ногтями к ее черным глазам-озерам: «Иди».

Земля стенала под ногами невестки Шогер: «Иди».

Пошла.

Дорога не спрашивает, кого несет. Ей все одно. Несет она на себе и смерть, и смерть несущего.

Пошла. Село ведь: земля, дети. Все умирает без воды. И у нее там двое изнывают от жажды.

Пошла...

Не дорога была — черная змея. Пошла по опаленной спине черной змеи.

Над ручьем висит скала Родника Куропатки. На скале красным пламенем полыхает недавно посаженное гранатовое дерево, а рядом белеет цветеньем кроткая и покорная черешня.

Вода! Все ей подвластно. Пусть будет весело на дороге.

Рука бабушки Шогер трепещет в воде. Видятся ей черная змея той черной дороги и она, идущая по этой дороге.

«Иди!..» — сказало горе.

Пошла. Можно ведь и вернуться... Земля и люди жаждали воды, а Бахши-бек — ее.

Пошла. Хачипап воспротивился было. Не послушала, пошла. Ничего не сказала пасущему в ущелье коз Мамбре.

Пошла...

Сладострастной улыбкой зажегся Бахши-бек, увидев жену козопаса Мамбре.

«Пришла?»

Сурово глянула на него невестка Шогер.

«Верни людям воду! — сказала она. — Земля и село погибают, жалко их. Верни воду».

«Верну, — криво улыбнулся Бахши-бек. — Только знай, красавица, мир — это дай и возьми».

Пощечина невестки Шогер черной змеей стеганула жирное осклабившееся лицо Бахши-бека.

«И не дал, так возьми! Возьми и запомни: я, невестка Хачипапа, пришла, чтобы плюнуть тебе в лицо».

Зазвенела еще одна пощечина.

Бахши-бек едва успел проглотить выбитый зуб, а невестка Шогер исчезла...

Дорога, она ведь и уводит и возвращает.

Вернулась. На скале ее ждал Мамбре. Невестка Шогер весело шепнула ему на ухо: «Я выбила зуб Бахши-беку, Мамбре...»

Хачипап гремел со скалы: «Нет у меня сына Мамбре, пока есть Бахши-бек».

Старик спустился со скалы, снял с себя папаху и надел ее на голову невестки.

«Будь благословенна!» — сказал он.

И невестка Шогер вдруг расплакалась. Перед ней блестели глаза-кинжалы Бахши-бека. «Мир — это дай и возьми». Рука еще горела от ударов.

«...И не дал, так возьми!..»

Рука бабушки Шогер трепещет в воде.

...Полой стерла кровь с пальцев и вернулась в село.

А воды нет. Не зажурчал ручей в сухом русле. Цветы граната не ожили. Иссохшая земля не напилась прозрачной влаги.

Давно это было... Бабушка Шогер зачерпнула воды из ручья, утопила в ней горячие губы.

— Охай...

Шипучая змея скользнула подальше от водной дороги.

— Получил свое, Бахши-бек?

Бабушка Шогер засмеялась в лад с журчащей водою. Но тотчас примолкла.

Воспоминание о том кровавом дне не оставляло ее.

...Зарычало ущелье. Пришел Мамбре с окровавленным кинжалом. Погладил он волосы Шогер и сказал: «Пес получил свое...»

Хачипап снял папаху с головы невестки и надел ее на голову Мамбре.

«Месть твоя свята, сын мой...»

Давно это было...

Перед бабушкой Шогер мгла. Из мглы черным голосом рычит тот далекий день. Село собралось на горе и оттуда забрасывает камнями место, где испустил дух монгольский нойон Чар-Катай, где будут тлеть кости Бахши-бека, где потом зажурчит несущая жизнь вода.

«Насыпай, насыпай...»

И сейчас еще высится груда камней в ущелье Цицернаванка...

Гранат горит красным пламенем на зеленеющей земле Ладанных полей. Под тенью его журчит вода.

Бабушка Шогер вынимает руку из воды, стряхивает капли на землю, чтобы ни одна из них зря не пропала, чтобы не пропал труд и пот ее внуков.

Зазеленели Ладанные поля. Тень граната прохладная.

Мчится Астг на коне по Ладанным полям, баюкающим в своих объятиях обильную воду, источающим зеленую песнь земли. Не искры, а брызги воды — сотни маленьких солнц — вылетают из-под копыт коня.

Ладанные поля утолили свою жажду. А мы, крылатая всадница?.. Мы с тобою утолим?..

...Стонут Ладанные поля.

«Не уйдешь ведь, нет?..»

«Нет! — кричит мое сердце. — Не уйду!»

Запоздалая улыбка на лице бабушки Шогер. О чем она?

Из ущелья выходит дядюшка Мамбре. Приближается и садится под тень расцветшего граната.

— Что ты? — спрашивает он, глядя на улыбающуюся свою старуху.

— В кладовой старого дома осталось вино, — говорит бабушка Шогер. — Сходи за ним.

— На что оно тебе?

— Сходи. Будем свадьбу играть моему Граче...

Жажду — дайте воды

Новые сады на Ладанных полях. Все вокруг утонуло в зелени...

Впервые в жизни я оказался здесь на пахоте малым ребенком. Наш клочок земли был рядом с Хачипаповым. Он и пахал его. А меня вроде бы на подмогу прислали.

Умаявшись, садились перекусить тут же на борозде. Крестьянская пища нехитрая: хлеб, мацун да мята перечная для остроты.

«Чего на борозду садишься»? — удивленно спрашивал я Хачипапа.

«Чтоб тепло земли выгнало холод из моих колен», — отвечал он.

Закончив вспашку, мы спускались к дому: Хачипап — пешком, я — на груженном сеном коне. Мал был еще.

Собираясь домой, Хачипап не вытряхивал землю из карманов и трехов — уносил все крохи с собой, чтобы оживить клочок скалы перед своим домом. В ответ на мой недоуменный взгляд Хачипап говорил:

«Вырастешь — узнаешь цену земле».

«А не лучше ли спуститься сюда и здесь построить дом?» — спрашивал я.

«Ба! — сердился Хачипап. — Неразумное ты дитя. Да мыслимое ли дело строиться на земле-кормилице? Перво-наперво хлеб, брат мой!..»

И Хачипап с такой силой опирался на плуг, что тот почти наполовину врезался в каменистый чернозем.

«Э-эй, молодцы, — кричал Хачипап подпаскам. — Затяните «Оровел», потешьте душу. Глядишь, и быки и земля тоже спасибо скажут».

Первым начинал Арташ:

Жажду — дайте воды, хо...
Растопите снег горы Татан, хо...

Арташу подпевал и сам Хачипап своим густым, словно бы тоскующим голосом:

Уведите вон лучи, хо...
И уймите стон земли, хо...

Как по цепочке, тянулся «Оровел», поднимаясь в гору, все выше и выше. И докатывался наконец до склоненной над люлькой невестки бабушки Шогер, жены Арташа.

«Ослепнуть мне, опять жаждой томятся, горемычные», — вздыхала мать пятерых детей и не знала, что ей делать: отнести ли кувшин воды детям, подпаску ли душу остудить или землю иссохшую напоить?

Село, изнывающее от зноя, утопающее в кизячном дыму, исходило стоном: «Жажду — дайте воды».

Молили о воде все: и Арташ, и быки, и Хачипап, и я. И земля молила. Земля, кормящая и людей и быков.

Из зажатого в скалах села нитью спускается вереница невесток. Пахарям воду несут.

Булькает вода. Хачипап не столько пьет из кувшина, сколько льет на землю: пусть, горемычная, тоже хоть малость утолит свою жажду. Примеру Хачипапа следовали все — от меня до внука его, подпаска Арташа.

Только мало ей было, земле. С завистью глядела она на нас и стенала: «Жажду — дайте воды».

...Томилась жаждой земля Ладанных полей. Томился склон Цицернаванк, томились поля и нивы — изнывала и стенала горная страна.

«Жажду — дайте воды».

Кто знает, сколько сотен, сколько тысяч лет тщетно молила земля...

По-весеннему тепло на Ладанных полях. Ожерельем блистают воды в зелени нив. На землю, которую кровью и потом своим поливал Хачипап, пришла вода.

Вот они, правнуки Хачипапа, что напоили эту извечно стонущую землю. Сидят у ручья на зеленом ковре. Здесь и мои давнишние друзья-подпаски, точнее, те из них, кто остался на этой земле. И сидим мы на той самой борозде, которую Хачипап кропил стекающими со своих усов считанными каплями. Теперь тут воды видимо-невидимо. Дядюшка Мамбре черпает ее пригоршнями, плещет в изборожденное морщинами лицо, льет по белым своим усам. И распрямляется его спина.

— Ох-хай!..

Давно ли это было: Хачипап в карманах носил снизу землю и ссыпал ее на скалу, а потом поливал из ручья шириной в палец?

Хачипапа сколько уж лет нет на свете, и деревца его не выжили на скале...

Эх, был бы жив старик, послушал бы, с каким бурным весельем заливает журчащая вода некогда иссохшую землю, надел бы он свою честь-папаху на голову туннельщика Мелика, как некогда надел ее на козопаса Мамбре...

Я вглядываюсь в дали Ладанных полей. Вон он, тот склон, на котором когда-то полегли овцы моего деда, пастуха Аракела. За одну ночь все передохли от жажды — высох Родник Куропатки, единственная вода на этой земле, а до реки овцы не доплелись.

Рассказывают, что наутро дед мой чуть живой ввалился в дом с одним только посохом на плече да с тремя оставшимися в живых собаками...

«Жажду — дайте воды...» — стенала земля, стенал и мой дед.

И стенания их, обернувшись «Оровелом», дошли до людей.

Вот они — те, кто избавил от стонов и скорби землю моей горной страны. Вот они, сидят на берегу созданного ими моря, и рядом с ними на зеленой траве трепещут только что выловленные юркие рыбки, кармрахайты, — сверкающее золото снегов горы Татан, подсвеченное синими и красными бликами.

Давно ли это было — здесь камень трескался от безводья, а с колючек словно струился яд и пожирающая сухой мох змея укусом своим насмерть валила буйвола?

А сколько босых ног избито тут в кровь о сухостой и о камни...

Давно это было! Теперь пей и пой, земля! Расцветай и смягчай свой норов, колючка!..

«Жажду — дайте воды!» — молила земля.

Пришла вода, и земля больше не стонет. Но живет в народе древний «Оровел» как свидетель былых стенаний, живет и кривой крест Цицернаванка...

Поздний вечер. В ушах моих неотступно стоит шум воды. Я иду мимо Цицернаванка. Море плещется у его подножья. В водную гладь смотрятся огни нового поселка — звезды в черно-синем небе под ногами.

«Радуйся и ликуй...»

Над могилой Хачипапа склонилась расцветшая черешня-невеста. Веселый яркий свет с высоты электрического столба освещает древние письмена под притолокой: «Да услышу я голос твоей радости!..»

Как шальной, стою на берегу моря и кричу своим горящим сердцем: «Да услышу я голос твоей радости!»

Кричу, и неподвластные мне слезы ручьем льются в море, а ноги сами по себе отрываются от земли, и воды морские манят в свои глубины. Там — спокойствие, там — синее царство безмолвия.

Глаза мои закрываются от радостного ощущения погружения в синее царство, а в ушах звучит голос бабушки Шогер:

«...Пошла к реке, хотела броситься в нее, река не приняла... Река, она мудрая...»

Тихие волны лижут мне ноги.

«Вернись...»

Темные своды Цицернаванка грохочут:

«Не уйдешь ведь? Нет?»

А вдали звенит знакомый зов:

«Э-эй, Астг, иди домой».

Это кличет бабушка Шогер. Иду на зов, будто меня она кличет...

«Да услышу я голос твоей радости!» — взывает Цицернаванк.

Волны морские вторят с утроенной мощью:

«Да услышу...»

Чайки парят над водой. Их крик оглашает храм, полнит жизнью вечно немые скалы.

«Да услышу...»

Иди, человек, вдоль синего моря по этой дороге. Пусть ведет она тебя зеленым ковром туда, где светят огни.

Иду.

Вот он, дом моей Астг. Два молодых тополька раскачиваются над красной крышей. Далеки они друг от друга: ветка не задевает ветку, тень не касается тени.

Звезды роняют лучики на верхушки тополей, светят бледным свечением. Тяжело ступаю по лестнице. В окне ваза с хмельными нарциссами. Белыми-белыми...

Я всегда приносил ей хмельные нарциссы...

Дверь распахнута. Сердце отсчитывает мои тяжелые шаги.

У окна лицом к двери стоит Астг!..

Весенняя ночь скользнула по синему ущелью ароматом хмельных нарциссов, соединив клюв в клюв воркующих голубей.

Волна, вздыхая, разбилась о скалу. О мое лицо разбилась тоска моей Астг.

— Ты не замерз?

— Ущелье полно тепла, моя Астг! А твои волосы совсем не поседели...

— Я верила и ждала!.. — вздохнула Астг.

За стеной бушевало море. Не так-то уж буйно. Но море ведь...

Опустилась глубокая ночь. С неба сорвалась звезда, упала на кривой крест Цицернаванка и застыла на нем.

Не зовет больше бабушка Шогер: «Э-эй, Астг, иди домой!..»

Свет Цицернаванка падает в окно на хмельные нарциссы. Они белые-белые…

1966

Примечания

1

Гата — сладкий слоеный пирог. *(Здесь и далее прим. переводчика.)*

2

Ваан Терян — выдающийся армянский поэт XX века.

3

Аветик Исаакян — великий армянский поэт (1875—1955).

4

Из стихотворения А. Исаакяна. Перевод А. Блока.

5

Персонажи пьес армянских писателей.

6

Варужан — крупнейший армянский поэт начала XX века.

7

Крунк — буквально: журавль; народная песня в обработке армянского композитора-классика Комитаса.

8

Е. Чаренц. Неистовые толпы. Перевод М. Павловой.

9

Додохян — армянский поэт XIX века. Автор знаменитой «Ласточки», положенной на музыку композитором Комитасом.

10

Зейтун — горная область в Западной Армении. Зейтунцы в конце прошлого века восстали против султанской Турции. Они славились своей отвагой и непобедимостью.

11

Трехи — самодельная обувь из сыромятной кожи, род лаптей.

12

Ани — одна из древних столиц Армении, ныне находится в пределах Турции.

13

Мацун — кислое молоко.

14

Храм IX века нашей эры в Зангезуре, в Армении.

15

Мирза Фатали Ахундов — азербайджанский писатель-классик.

16

Раффи и *Мурацан* — армянские писатели-классики.

17

Мхитаристские конгрегации — национальные центры армян за рубежом; основаны в начале XVIII века.

18

Хачкар — крест-камень, устанавливают в память знаменательных событий, отдельных людей.

19

Аствацатур — буквально: богом данный.

20

Тонир — специальная, врытая в землю печь; в ней выпекают хлеб, готовят пищу.

21

Пшат — плод пшатового дерева, мелкий, мучнистый.

22

Тихо, тихо *(тюркск.)*.

23

Обращение к женщине *(тюркск.)*.

24

Аман — непереводимое восклицание; выражает испуг. *Гяур* — неверный *(тюркск.)*.

25

Баба — дед, старик *(тюркск.)*.

26

Хурджин — переметная сума.

27

Ердик — отверстие в крыше, в домах над очагом и в овчарнях.

28

Нани — мать.

29

Астг — звезда.

30

Цицернаванк — храм в Зангезуре.

31

«Оровел» — песня пахаря, старинная армянская народная песня.

32

Охай — непереводимое восклицание, выражает восхищение, удовольствие.

33

Аббаси — двадцать копеек.

34

Гариб — живущий на чужбине.

35

Кармрахайт — краснопятнистая форель, пеструшка.

36

Тонратун — помещение, где устроен тонир.

37

Танапур — суп из кислого молока, приправленный пшеничной крупой и пряной зеленью.

38

Зкер — сладкие съедобные плоды распространенного в Армении дикорастущего лесного кустарника, их часто называют шишками.

39

Курси — особое устройство для обогрева. Посреди комнаты под столом, накрытым ковром или одеялом, в небольшое углубление насыпают горячие угли.

40

Вардавар — праздник весны, сохранившийся в Армении с языческих времен.